

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РЫЦАРЬ ДУХА



Виссарион Григорьевич Белинский
1811–1848

*Портрет работы художника
И.А. Астафьева. 1881 г.*

ИСТИННЫЙ РЫЦАРЬ ДУХА

Статьи о жизни и творчестве
В.Г. Белинского

Составитель
И.Р. Момахова

Научный редактор
Ю.В. Манин



Прогресс-Традиция
МОСКВА

ББК 83.3
УДК 880
И 89

Книга издана на средства гранта Президента
Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства

**И 89 Божинский рыцарь духа: Статьи о жизни и творчестве
В.Г. Белинского // Сост. Н.Р. Монахова; Науч. ред. и автор вступ.
статей Ю.В. Мамн. – М.: Прогресс-Традиция, 2013. – 360 с.**

ISBN 978-5-89826-402-4

Сегодня можно объективно, равноправно, без идеологической
задачности рассмотреть личность и деятельность Белинского, оценить
наследие его творчества для русской культуры. В сборник «Божин-
ский рыцарь духа» включены статьи авторов разных покол: воспоми-
нания о Белинском кардинал издателя его писем (Н.С. Турчанинов,
Н.А. Голосовин), статьи литераторов XIX – начала XX века (А.В. Дру-
жинин, В.Г. Короненко, Д.С. Мережковский), работы современных
авторов – исследователей филологии, литературоведов, историков по
конкретным вопросам творчества и биографии Белинского, эссе-
рецензирования писателей и литературных критиков.

Издание предназначено как для специалистов (филологов, ли-
тературоведов, преподавателей вузов, учителей школ, работников
книжных, так и для широкого круга читателей, интересующихся
историей русской литературы, и тем числе для школьников и сту-
дентов.

УДК 880

ББК 83.3

На кармашке портрет В.Г. Белинского работы художника Е.А. Гер-
булина (1871 г.); автограф 13-й страницы статьи В.Г. Белинского
«Общее значение слова литература»; Белинский френчовский дом по
двору старого здания Московского университета, в котором в сере-
дине 1830-х годов жил В.Г. Белинский (фото 1970-х г.).

© Н.Р. Монахова, составление, 2013

© Ю.В. Мамн, вступительная статья, 2013

© Коллектив авторов, 2013

© Прогресс-Традиция, оформление, 2013

© Прогресс-Традиция, 2013

ISBN 978-5-89826-402-4

Содержание

Ю.В. МАНН	
Познание критической мысли	
Вступительная статья	8

Часть I

Н.С. ТУРГЕНЕВ	
Воспоминания о Белынском	29
Н.А. ГОНЧАРОВ	
Заметки о личности Белынского	60
А.В. ДРУЖИНИН	
Сочинения Белынского.	
Томы 1, 2 и 3. Москва, 1859	78
Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ	
Завет Белынского.	
Реальность и общественность	
русской интеллигенции	106
В.Г. КОРОЛЕНКО	
Памяти Белынского	128

Часть II

Ю.В. МАНН	
Литература в движении эпох	135
В.А. НЕДЗВЕЦКИЙ	
В.Г. Белынский о литературе риторической	
и художественной	171
А.С. КУРНАЛОВ	
Уроки Белынского	199

В.Н. АНОШКИНА-КАСАТКИНА В.Г. Белинский о лирической поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова	211
Г.Г. РАМАЗАНОВА Нравственно-реалистичные взгляды В.Г.Белинского в период сотрудничества с журналом «Московский наблюдатель».....	236
В.Н. СТРЕЛЬЦОВ В.Г. Белинский – теоретик литературы	256
А.А. ДЕМЧЕНКО В.Г.Белинский, В.Н.Майков и К.Д.Кавелин в 40-е годы XIX века.....	288
И.П. ЩЕБАКИН Педагогические идеи В.Г.Белинского.....	309
Е.Ю. ТИХОНОВА Белинский и славянофильство о русской действительности	319
Е.Ю. ТИХОНОВА Понятие личности в сочинениях Белинского	343
Г.Ю. КАРПЕНКО Творчество В.Г. Белинского в свете философии видения и эстетики преображения	358
И.Р. МОНАХОВА Гражданство небесное и земное. Гоголь и Белинский о путях развития России	376
И.Р. МОНАХОВА «Истинный рыцарь духа». Роль В.Г.Белинского в истории русской литературы.....	398
А.М. КРУПЧАНОВ К вопросу о дате рождения В.Г. Белинского	417

Часть III

И.А. ВОАГИН Неизвестство Виссариона, Беллинский в историко-литературной традиции.....	437
И.Н. СКАТОВ В Чембаре Беллинского	465
В.В. НЕФЁДОВ Свободы – место рождения В.Г. Беллинского.....	474
Р.В. СЕНЧИН Копренская ракета.....	479
А.А. АННИНСКИЙ Беллинский синдром	510
В.И. ГУСЕВ «Был, особенно любил»	514
А.И. КАЗИНЦЕВ «От избытка сердца...»	528
Примечания.....	552

Ю.В. МАНН

Поэзия критической мысли¹

I

Аксиоматическая истина: В.Г. Белинский – основоположник русской критики или, по крайней мере, новой русской критики, соответствующей классическому периоду отечественной литературы. В качестве очевидной приметы такой критики фигурирует ее мастерство, Впрочем нередко распространяемое и на смежные явления – социологию, искусствоведение, философию и другие гуманитарные науки. А между тем, если говорить о Белинском, то как необычен и сложен этот «пример»! И как много в нем такого, что даже при самой тщательной подгонке никак не укладывается в традиционные представления о мастерстве критики...

Продуманность композиции, гармоничное расположение частей? Но в статьях Белинского всего менее чувствуешь такую гармонию. Они начинаются внезапно и так же внезапно обрываются. В сущности, каждую статью критика можно воспринимать как продолжение предыдущей и под каждой поставить пометку: «Продолжение следует».

Строго логический ход мыслей? Но, кажется, нет ничего свободнее, чем логика статьи Белинского. Намекавшаяся было последовательность тутчас же нарушается самим автором. Провозглашенная в начале статьи задача незаметно отходит на второй план, а иногда и просто забывается. Во второй статье, «Речь о критике», например, Белинский намеревается сделать «историческое обозрение русской критики, от начала ее до нашего времени», но вместо этого увязывает А.П. Сумароковым и чуть ли не всю статью посвящает ему одному. В следу-

вшей статье той же «Речи» Белинский выдвигает новую задачу – «обозначить постепенность процесса формирования и развития нашей поэзии и литературы» в новейшее время, но опять-таки же оставляет исторический способ рассмотрения. Белинский признавался в письме В.Л. Боткину: «Все лучшие мои статьи несколько не обдуманы, это компромиссия», – и надо сказать, что, несмотря на преувеличение, в этих словах много верного.

Разнообразие критических жанров? Но нет: и об этом меньше всего задумывался Белинский, никак не предвосхищавший нашей современной практики по части строгого разделения рецензий, «проблемных статей», литературных портретов, «заметок на полях» и т.д. «Представляя отчеты наши публично, – писал Белинский, – о всех более или менее примечательных явлениях русской литературы, мы не будем несколько заботиться, что выйдет из нашего разбора – критика или рецензия. Пусть сами читатели наши решают это, каждый по своему вкусу и разумению».

Так, может быть, красочность сравнений, афористичность формулировок? Действительно, ярких образов и необычайно емких афоризмов немало у Белинского; но наряду с этим критик ничуть не чуждается обычных, можно сказать, тривиальных оборотов речи. Ему ничего не стоит для передачи поэтического очарования какого-нибудь произведения просто воскликнуть: «Как хорошо, например, это взятое из низкой природы сравнение» (далее – цитата). Или: «Как прекрасна у него вот эта "низкая природа"» (опять цитата).

А заголовки статей Белинского, опять-таки столь непривычные для современного слуха! «О русской повести и повестях г. Гоголя», «О критике и литературных мнениях "Московского наблюдателя"», «Сочинения Александра Пушкина», «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя...» Они не претендуют ни на неожиданность, ни на афористичность. Они называют тему работы, но не ее идею; они не передают то неповторимое, «особенное», что есть в каждой статье. Как-то бы, какое вопиющее нарушение требований о «назвательности слова» критика!

А потом эти огромные, на несколько страниц, выписки из разбираемого сочинения (которые, наверное, привели бы в ужас современного редактора); или пространная – опять-таки на страницу – перечень «всех» удачных и «всех» неудачных произведений писателя; или же подробный пересказ содержания романа, поэмы, повести...

Мы уже не говорим о торопанном, митущемся, стремительном стиле Белинского, где неточно сказанная фраза не изымается, но исправляется следующей, где, в сущности, нет ни беловника, ни черновика, а есть черновик, становящийся беловником на наших глазах. Читая Белинского, ясно чувствуешь, как он писал свои статьи: стоя у конторки, наспех, чуть ли не на глазах у приглашенного из типографии рассматривающего.

И при всем этом каким неотразимым совершенством исполнена почти каждая из работ Белинского, как она выходя по мастерству!

Этим мы вовсе не хотим сказать, что недоработанность является неизменным атрибутом стиля Белинского, – без нее статьи критика были бы еще лучше, совершеннее. Так, кстати, считал и сам Белинский, от души завидовавший тем литераторам (вроде Ю.Ф. Самарина), которые имели вдоволь времени обтесывать и отшлифовывать каждую свою фразу. Белинский, к сожалению, этой возможности не имел. «Дайте мне время обработать эту импровизацию, – писал он об одной своей статье. – Вы не узнаете ее: живость и теплота в ней останутся, а сила ума и таланта прибавится на 20 процентов».

Но если даже и в такой, неокончательной редакции «критики» Белинского производная и производит столь сильное впечатление, то этот факт говорит сам за себя. Попробуйте прочитать по недоработанной редакции какое-нибудь классическое художественное произведение, например гоголевского «Ревизора». В. Пересаев это сделал, и вот как передал он свое впечатление: «Ну, как возможно было так бедно и неуказоме изображать то самое, что знаешь таким прекрасным и стройным? Приходит даже мысль: так-то, пожалуй, и всякий мог бы написать. «Всякий мог бы так написать» – о «недо-

работанных» статьях Белинского при всем желании никто так не скажет.

Это не значит, что критерии мастерства при входе в заповедную зону критики теряют свою силу. Но это значит, что, выдвигая такие критерии, мы часто проходим мимо существенно важного, специфического именно для критики.

II

В русской литературе эта специфика в полную меру была впервые выявлена Белинским. Именно поэтому мы называем его основоположником русской критики, хотя формально она началась задолго до него и была почти ровесницей собственно «язычной словесности». Что же нового внес Белинский в русскую критику с точки зрения самого ее метода?

Еще до Белинского критика научилась судить о произведении как о едином целом, рассматривать поэтические «красоты» – отдельные фразы, стихотворные строчки, образы – в связи с общим духом произведения乃至 всего творчества писателя. Именно так в лучших своих статьях поступал А.Ф. Мерзляков.

Равным образом еще до Белинского русская критика обнаруживала довольно сильное стремление стать теоретической критикой, разбирать каждое произведение с точки зрения коренных начал искусства, выработать – в противовес эмпирическому, случайному знанию – полную эстетическую теорию. Назовем статьи Д.В. Веневитинова, И.В. Киреевского, С.П. Шевырева и прежде всего Н.И. Надеждина.

И пронзительные оценки, точно определяющие то или другое произведение, схватывающие главные особенности дарования их авторов, – также оценки русская критика тоже умела давать еще до Белинского. Вспомним отзыв А.А. Вестужева-Марлянского о «Горе от ума» или же заметки А.С. Пушкина по поводу первых повестей Н.В. Гоголя.

Мы уже не говорим о том, что задолго до Белинского русская критика стремилась рассматривать движение литературы в связи с успехами просвещения, подводила итоги определенного периода, года; знала самую форму годового обозрения... Могут сказать, что все эти тенденции только наметались, проявлялись робко, подчас отдельно одна от другой, и то время как в критике Белинского они впервые раскрылись со всей силой. Все это так, и однако же количественное изменение еще не создает новаторства, и если бы критика Белинского истеривалась названными выше элементами, то мы должны были бы видеть в нем лишь продолжателя наметившейся тенденции, но никак не основоположника новой. А между тем заслуга Белинского состояла в том, что он обновил самый метод литературной критики.

В статье «Речь о критике» Белинский писал: «Критиковать – значит искать и открывать в частном явлении общие законы разума, по которым и чрез которые оно могло быть, и определять степень живого, органического соотношения частного явления с его идеалом».

Вдумаемся в это определение. Вспомним прежде всего, что означали в ту пору для Белинского («Речь о критике» написана в 1842 году) понятия «общие законы разума», «идеал». Они менее всего были просто этическими категориями. Они были равны понятию о всеобщей идее, закономерно и последовательно реализующейся в самой действительности, в «вещности». И критика, по Белинскому, обязана в первую очередь соотносить «частные явления», все многообразие фактов с Идеей, видеть в них ее проявление. Иначе говоря, критиковать – это прежде всего обнаруживать в конкретных фактах, в разрозненных, частных событиях проявление общей закономерности исторического развития.

Это был вывод огромного потенциального значения: одним ударом он выводил критику из собственного литературного ряда, ставил ее в совершенно новые взаимоотношения и с искусством и, с другой стороны, с жизнью.

«Что такое Иван Васильевич?» – спрашивал Белинский о главном герое повести В.А. Соколовца «Таран-

тас». И вот ответ: «...Иван Васильевич – один из тех черняков, которые имеют свойство блеснуть в темноте. В глуши провинции вы обрадовались бы, как неожиданному счастью, знакомству с таким человеком; даже в столице, куда вы недавно приехали и всему тужды, вы поздравляли бы себя с подобным знакомством. Сначала вы очень полюбил бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно нахвалиться им; но скоро вы с удивлением замечали бы, что в нем ничего не обнаруживается нового, что он весь высказался и выказался вам, что вы его изучили наизусть и что он стал вам скучен, как книга, которую вы, за вниманием других, сто раз перечли и наизусть знаете. Сначала вам покажется, что он добр, даже очень добр; но потом вы увидите, что доброта в нем – совершенно отрицательное достоинство, в котором больше отсутствие зла, нежели положительного присутствия добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидетельствующую об отсутствии всякой энергии воли, всякой самостоятельности характера, всякого резкого и определенного выражения личности».

То, что Белинский не комментирует салагубовскую повесть, а разбирает ее, исследует выведенный в ней главный образ, – это ясно. Но только ли литературный образ исследует он? Не говорит ли эта настойчивая апелляция к опыту читателя, эти разветвленные, построшенные по принципу обобщения периоды, что образ Ивана Васильевича был для критика только окном, сквозь которое можно было широко и свободно взглянуть на реальную жизнь?

Для мысли Белинского не существовало литературных рамок: поступки героя, сюжетные коллизии служили ему отправной точкой для перехода к самым широким обобщениям, к определенно главным тенденциям русской общественной жизни – в данном случае (в статье о «Тарантасе») тех, которые способствовали появлению славянофильства (мы здесь не касаемся вопроса, насколько объективна была оценка этого явления). Впрочем, выражение «отправная точка для обобщения» – недостаточно точное: весь смысл этого перехода заклю-

чался в том, что он совершался не после литературного разбора, даже не в результате его, но именно в нем, в его объемах. Говоря о художественном произведении, Белинский уже тем самым говорил о жизни. И это снова позволяет ощутить ту грань, которая отделяет метод Белинского от предшествующей ему критики.

Здесь же – источник многих чисто стилистических и речевых особенностей критики Белинского.

«О Василий Иванович! О великий практический философ, отроду не философствовавший! Как, со своею безграмотностью, как умишл ты этого замутраченного фертника!.. Ах, если бы знал ты, как умен твой глупый ответ...», «О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех людей, которые "любят потолковать об литературе, знают Булгарина, Пушкина и Греча..." Да, господа, дивное слово это – Пирогов!»

Откуда это обращение к герою как к живому человеку, хорошему знакомому? Что это: необычайная эмоциональность, исключительная эстетическая восприимчивость критика? Конечно. Но дело не только в этом. Ведь литературный герой интересен ему как представитель жизненного явления, тенденции, и эта радость открытия общественного типа, радость узнавания того, что уже смутно носилось в воздухе, и вот теперь наконец приобрело телесную форму, немалую запечаталась в самом стиле Белинского.

По той же причине критике Белинского не страшны огромные выписки и цитаты: ведь он не содержание произведения разбирает, а прежде всего запечатлевшиеся в нем жизненные явления. Выписки и цитаты оказываются включенными в систему его рассуждений, становятся тем строительным материалом, который хотя и завысокован, но применим для построения своей концепции.

«Истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков, – отвечал Белинский на пространное мнение. – ...Только банальность эсте-

тического чувства и вкуса, неспособная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность».

В обнаружении такой связи «художественного» и «идеологического» скрывается вся тонкость мысли критики. Это осколок, на котором общие эстетические теории проверяются «на прочность», на соответствие законам и фактам самого искусства. Вспомним объяснение Белинским финала «Евгения Онегина». Для предвещающей ему критики незаконченность – всегда недостаток; в лучшем случае – просто непонятное явление. («Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца?») Но в разборе Белинского, где художественный текст предполагает контекст жизненный, сама эта «незаконченность» предстает как признак высокого совершенства, его художественной цельности: «Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные...»

Как объяснение «одной репанки» Грушницкого, когда этот не оченъ-то отважный человек вдруг дерзко бросает в лицо Печорину: «Стреляйте!.. а... вас ненавижу». Кома скоро нельзя прочертить между этой репанкой и характером Грушницкого прямой линии, можно было бы просто отнести ее на счет противоречивости человеческой природы. Сколько раз встречался в нашей критике с тем, что самое указание на «противоречие» («Но позиция писателя была противоречива...» или «Но этот образ противоречив...») уже претендует на его объяснение! Но в действительности только сведение противоречия к его источнику и таким путем снятие этого противоречия может исчерпать суть дела. Послушаем, как объясняет Белинский репанку Грушницкого, «противоречащую» его характеру:

«Да, это гениальная черта, сильный и мощный взмах художнической кисти!.. Не забудьте, что у Грушницкого нет только характера, но что натура его не чужда

была некоторая добрая сторона: он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу; но торжественное, трагическое, в котором самолюбие его играло бы неприсягаемую, необходимо должно было возбуждать в нем мгновенный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в несбытаемой любви к княжне и в любви княжны к нему; самолюбие заставляло его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина... самолюбие заставляло его выстрелить в безоружного человека: то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставляло предпочесть верную смерть верному насилью через призвание. Этот человек – апофеоз мелочного самолюбия и слабости характера: отсюда все его поступки, – и, несмотря на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел прямо из слабости его характера».

В этом объяснении критик констатирует художнику: он ухватил всю диалектическую противоречивость характера при его определенности, нашел закономерность в самом отступлении от нее. Вместе с тем, раскрывая поэтичность романа, Белинский somehow раскрыл и собственную поэтичность критики, тающуюся в неотступной последовательности мысли, разъединяющей и синтезирующей на наших глазах разнородные элементы, находящей между ними реальные связи. Один университетский товарищ Белинского хорошо определял эту его черту как способность «мыкать» идею, «преследовать» ее до ее конечных выводов.

Главный герой и, так сказать, действователь статей Белинского – это мысль, созревшая, убежденная в своей силе, работающая в полную меру. А главная их тема – это само развитые мысли, охватываемые ею разнообразные стороны действительности, соединение на наших глазах скрупулезного анализа и широкого синтеза.

Белинский был в русской критике первым, кто раскрыл поэзию развития, доказательства и отстаивания идей. Недаром в его статьях такое большое место занимает диалог с воображаемым оппонентом – диалог, в

котором, строго говоря, нет двух спорящих, а есть один человек: критик, развивающий и через «тезу» и «антитезу» доказывающий свои выводы. О нем можно сказать словами Брехта:

Этот подражателю

Никогда не растворяется в подражаемом. Он никогда
Не преобразуется ослепительно в того, кому он подражает. Всегда
Он остается демонстратором, а не воспламеняем.

Он никогда не растворяется в «подражаемом» потому, что ни на секунду не упускает из виду главную задачу: исчерпать все доводы, могущие быть выдвинутыми против его тезиса, снова и снова возвращаться к нему, не оставить ни одного сомнения без разрешения и ни одного возражения без ответа, развить идею до подробностей, до конечных выводов.

«Тонкость мыслей, логичность диалектики при изложении в высшей степени изощрен...» – этот отзыв Белинского о статьях Н.Ф. Павлова показывает, с какими критериями «художественности» подходил он к критике, и вместе с тем служит точной автохарактеристикой его собственных работ, их мастерства. Мастерство в критике – это не украшение, не оживление с помощью беллетристического элемента; это развитие, изменение, течение, отставание – словом, жизнь самой критической мысли. Когда задумаешься над так называемыми образными выражениями Белинского, то видишь, что они представляют собою как бы ступени его критической мысли.

«...Он (Александр Адуев. – Ю.М.) был трагически романтик – по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с толку порядочного человека и заставить его наделять тьму глупостей».

«...Это один из тех людей, которые иногда и видят истину, но, размышлив к ней, или не допрыгивают до нее, или перепрыгивают через нее, так что бывают только около нее, но никогда в ней».

«...Отличие людей такого рода, как Дон Хуан, в том и состоит, что они умеют быть искренно страстными в

самой жизни и непритворно холодными в своей страсти, когда это нужно. Дон Хуан распоряжается своими чувствами, как полководец солдатами: не он у них, а они у него во власти и служат ему к достижению цели».

Такие «образы» – это своего рода куминации стиля: обусловленные характером критика, с его эмоциональной впечатлительностью и художническим инстинктом, они все же гласную свою силу черпают из его мыслей. Поэтому они всегда стимулируют дальнейшее развитие всего хода рассуждения или, наоборот, являются его следствием: при малейшей вспышке можно увидеть много нового, чего не заметишь при обычном осмыслении, но, чтобы рассмотреть, изучить это новое, необходимо более длительное время. И образы Белинского всегда производны от движения и самораскрытия идеи.

Особенно наглядно это видно в статьях о Пушкине. Выразительны те сравнения, метафоры, эпитеты, которые находит Белинский для характеристики творчества поэта: шестистопным выдохом Пушкин «воспользовался... словно дорогой паросский мрамором для чудных изваяний...»; муза Пушкина – «это девушка-аристократка, в которой обаятельная красота и грациозность непосредственности сочетались с изысканством тона и благородною простотой...»; стих Пушкина «нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благоуханен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руках богатыря» и т.д. и т.д.

Но очевидную ошибку допустил бы тот, кто увидел бы в этих примерах только меткие, глубокие оценки различных сторон пушкинской поэзии и упустил бы теснейшую связь подобных образов с общей концепцией критика. Ведь исторический роль Пушкина, согласно Белинскому, заключалась в том, что он должен был «уловить навсегда русской земле поэзию как искусство», как «художество»; что стих его был по преимуществу «поэтический, художественный, артистический стих». Отсюда не только общий характер применяемых критиком по отношению к Пушкину образов, но и слышай их тон, эмоциональная окрас-

ска, стиль – в своем роде тоже глубоко артистический и пластически ясный. Сколько «образы» и сравнения Беллинского словно прошла тою его критической мыслью, и оттого они не только приобрели общую направленность, «одинаковый заряд», но и несколько стали частицами концепции.

Мы уже говорили, какой это был важный, далеко идущий по своим последствиям вывод. Ведь он развешивал руки критику, ставил его лицом к лицу с художественным миром произведения. Вместо шибкой, колеблющейся почвы, составленной априорными системами и построениями, под ногами критика был теперь прочный, жизненный фундамент. Критик получал возможность в самом своем разборе стать исследователем жизни – и именно поэтому исследователем поэзии. В художественный мир критик входил, как в свой собственный дом, чувствуя себя там хозяином и разделяя это право с автором, а иногда даже, так сказать, несколько потеснив автора. Впрочем, эта крайность отчетливо проявилась уже после Беллинского, в русле так называемой «реальной критики».

Дело в том, что погружение в художественный мир как в мир реальностей чревато было большой опасностью. Многое зависело от художественного такта: раскрывая жизненное содержание произведения, легко было поддаваться соблазну отбросить в сторону все эти эстетические «остроты» и «многошества» и видеть в тексте лишь общественный документ, верную (или неверную) картину жизни. А на худой конец, как это произошло уже в литературе советского периода, лишь картину классовой борьбы. Сторожники этой точки зрения, как мы еще будем говорить, упоминали Беллинского как своего предшественника. Напрасно: у Беллинского все сложнее и глубже.

III

Это отчетливо видно, если подойти к критике Беллинского в аспекте «образа автора» – одной из важнейших категорий художественного творчества вообще.

«Символы, характеры и стили литературы осложняются и преобразуются формами воспроизводимой действительности. В сферу этой изобразимой действительности вмещается и сам субъект повествования – “образ автора”. Он является формой сложных и противоречивых соотношений между авторской интенцией, между фантазированной личностью писателя и лицами персонажей. В понимании всех оттенков этой многозначной и многоликой структуры образа автора – ключ к композиции целого...»²

В критике «субъект повествования» – это критик, следовательно, существует и «образ автора» в критике – проблема, которая у нас еще не изучена и, кажется, еще не поставлена.

«Авторская интенция» критика – это умение открыть в себе, сделать очевидными и публичными именно те свойства, которые необходимы для постижения искусства, начиная с бесконечной ему преданности, увлеченности, готовности служить ему самоизвольно и до конца. Вспомним знаменитый пассаж о театре в «Литературных мечтаниях»: «Театр!.. Любите ли вы театр, как я люблю его, т. е. всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем воступанием, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений извне?... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!..»

Но «интенция» критика – это и осознание безмерной сложности задачи, немалый страх, если перед тобой великое произведение. «Признаюсь: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как “Евгений Онегин”...»

И еще: образ критика у Белинского – это постоянный контакт с читателем, стремление не упустить его ни на минуту, будоражить его ум и воображение. «Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя?» И далее еще с десятком подобных вопросов и, говоря современным языком, тестов: («О русской повести и повестях г. Гоголя»).

Но свойство «образа автора» в критике – взаимодействие не только с читателем, но и с персонажами. В мо-

бом произведении проступает образ автора, даже если он специально не обозначен – именем или местоимением (Я, Мы). Критик же формально всегда вне текста, но получается, что он, как и автор, судит не только со стороны, но проникает в святая святых – в художественный мир произведения. «О бедное человечество! жалкая жизнь. И однако ж вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пушкерины Ивановны... О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только плали и сали и потом умерли!» (там же). «Заставил плакать» – как о реальных людях, с которыми был знаком или познакомился критик.

У образа критика еще то свойство, что он доступен, подвержен влиянию, так сказать, внетекстового материала – мемуарного, эпистолярного и т.д., который усиливает акценты, выранивает угол зрения. «В каждом его (Белинского. – Ю.М.) слове, – говорила Гершен, – чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как он сжигает себя... Часто он увлеклся, порой бывал и весьма несправедлив, но всегда оставался до конца искренним»³. «...Белинский так вставлял, смеем выразиться, в авторов, которых изучал, что постоянно открывал их затаенную, невысказанную мысль, поправлял их, когда они изменяли ей или нарочно затемняли ее...»⁴ Вот как! Критик как второй автор, причем обладающий даже большей властью, чем первый... «Белинский был так добр, правдив и честен, так дорожил истиной, что не мог оставаться долго в тумане самооблечения: он сознал свою ошибку...»⁵ (Речь идет о требовании Белинского, чтобы московские писатели не печатались в петербургских «Отечественных записках», которое критик впоследствии снял.)

Все эти оценки даны со стороны, вне текстов Белинского, но они влияют на формирование образа критика именно в этих текстах. Равно как и другое, не столь известное для Белинского суждение, но также способствовавшее созданию образа критика в среде его недоброжелателей. Это – слова Ю.Ф. Самарина:

«С тех пор как он явился на попрание критики, он был всегда под влиянием чужой мысли. Несчастливая восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и решительно от вчерашнего образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей держала его в какой-то постоянной треноге, которая наконец обратилась в нормальное состояние и помещала развитию его способностей»⁶.

IV

Особенно колоритен «образ автора» в письмах Беллинского, и надо осознать, что много *образ* тоже важна (если прибегнуть к неизбежной тавтологии) на образ автора в критике.

Письма Беллинский писал увлеченно, самолюбивно, «со вкусом»⁷. В письмах Беллинский особенно откровенен, он не щадит свое самолюбие, ради истины готов признать ошибку, да еще «обозвать» себя подобающим образом. Анненкову в феврале 1848 г.: «Когда я в спорах с Вами о буржуазии (так! – Ю.М.) называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек». Станкевичу в 1838 г.: «Помнишь ли, Николаенка, мой дикие вопли против скульптуры и вообще греческого искусства? Порадуйся – я поумнел. Новый свет озарил меня, и греки предстали мне в лучезарном блеске...»

В письмах Беллинский предстает в домашнем антураже, в преле житейских забот и волнений. «Он раздвигается под противоположными императивами жизни: служение литературе, с одной стороны, тяжесть бытовых, житейских проблем – с другой. В его личности сосуществуют несколько романтического понимания своей миссии, стремление к высшим ценностям и духовности, а также тягостное ощущение постоянной борьбы с бытом, унижающие материальные проблемы, острое чувство неполноценности и компенсация, сложные переживания сексуальных требований и тоска по настоящей любви» (Агнеша Луккон. На перекрестке жанров: атрибуты

исповеди и диссертника в эпистолярной Беллинского⁸).

Разумеется, другая, заземленная, бытовая стихия существования Беллинского не нашла (или почти не нашла) прямого доступа в мир его критического творчества, но она влияла подспудно, создавая определенный, закадровый фон образа автора. А для тех, кто знал Беллинского лично, в частности для его друзей-корреспондентов, это влияние было и очевидным, наглядным.

Образ автора, каким он предстает в эпистолярной Беллинского, имеет значение и в перспективе последующего литературного развития, о чем сказано в упомянутом исследовании Агнесс Дуккон: «Так, например, анализ и саморазоблачение, столь часто появляющиеся в письмах Беллинского, превосходят А.Н. Толстого, а перипетии дружбы с Бакуниным, сложные чувства любви и ненависти напоминают мир Достоевского».

Особенно восматывает близость к Достоевскому. «Я не верю своим убеждениям и не способен изменить им: я смешнее Дон Кихота: тот по крайней мере от души верил, что он рыцарь, что он сражается с великанами, а не с медведями, и что безобразная и толстая Дульсинья – красавица, а я знаю, что я не рыцарь, а сумасшедший – и все-таки рыцарствую; что сражаюсь с медведями – и все-таки сражаюсь... Я не принадлежу к числу чисто внутренних натур, я столь же мало внутренний человек, как и внешний, я стою на рубеже этих двух великих миров».

Это – из письма Беллинского Н. Бакунину от 9 декабря 1841 г. Как же далек отразившийся в этом письме образ от того самоуверенного и фанатичного человека, каким представлялся Беллинский его недоброжелателям! Исповедальный тон, подкупающая откровенность, как говорила сама Беллинская, «потребность выговаривания и бешенство на эту потребность», двойственность внутреннего мира и мучительные страдания от этой двойственности – превосходят, как справедливо отметила Агнесс Дуккон, те психологические глубины, которым предстояло открыть Достоевскому.

V

Драматична посмертная судьба наследия Белянского и его репутации, особенно в веке предшествующем. Специально касаться этой темы мы не будем, – лишь два-три к ней штриха.

В послеоктябрьские годы – это «мятежная фигура критика-революционера», который «путал» царское правительство; человек, от которого идет примая линия к революционным бойцам 60-х годов – к Чернышевскому и Добролюбову...². В 30–40-е годы, особенно в период Великой Отечественной войны, к этому образу добавлялась нота великодержавности, которой особенно усилялась после известного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклада А.А. Жданова (1946 г.). В это время Белянский – один из главных союзников в борьбе за «идейность» и «социалистический реализм» и против «космополитизма» и «преклонения перед Западом».

Но и позднее, в годы так называемых «застоя», а также «оттепели», «перестройки» и т.д., когда острота идеологического противостояния несколько поулабиалась, Белянский продолжал оставаться в числе главных фигур официальной идеологии и сбрасывать его с «корабля современности» (как, скажем, в свое время Пушкина) никому бы не пришло в голову. Положение изменялось к началу 1990-х годов. В качестве штриха для характеристики времени позволю себе привести сохранившуюся у меня копию письма к Е.Г. Эткинду, отнесенного к 1993 г. Но вначале необходимое пояснение.

В 1991 г. во Франции была издана объемная (1826 страниц!) и весьма содержательная история русской литературы (*Histoire de la littérature russe. Le XIX siècle. L'époque de Pouchkine et de Gogol. Fayard, 1996*). Редакция этого издания представлена такими замечательными учеными, как Ефим Эткинд, Жорж Нана, Илья Серман и Витторио Страда.

Мне было поручено написать главы о Н.В. Гоголе, Н.Н. Надеждине, С.П. Шевыреве и Н.А. Помяном, что я и сделала. Одновременно я послала Эткинду упомяну-

тое письмо (оно недавно опубликовано в кн.: Мамн Ю.В. «Память-счастье, как и память-боль...»: Воспоминания, документы, письма. М., 2011. С. 452):

«Дорогой Ефим Григорьевич! Наденюсь, Вы получали все мои главы. Но у меня к Вам еще один вопрос как к одному из редакторов: а предусмотрен ли в "Истории" Белинский? Вы знаете, как мы склонны впадать в крайности: вот в Академия наук сейчас отменена премия Белинского (полученную в свое время Юлианом Григорьевичем Оксманом за Алетопись критика) и ввели премию Дала. Дала, конечно, достойный человек, но все же Тургенев или, скажем, Гончаров, далеки от радикализма, беда бы составили получить премию Белинского. Я это к тому, что на фоне глав о Шевыреве или Полевом отсутствие Белинского бросалось бы в глаза. Наверное, в "Истории" уже задумана такая глава, если же нет и Вы со мною согласны, то я готов ее написать. Как Вы знаете, я всегда был далек от официального взгляда на Белинского, вижу его большие "недостатки", но признаю и его огромную роль в русской литературе. С искренним уважением, Ваш Ю. Мамн. 22.II.93».

К сожалению, глава о Белинском в книге не появилась – скорее всего, по чисто техническим причинам: мое письмо пришло слишком поздно¹⁰.

Зато в отечественной науке «развенчание» нам, на худой конец, игнорирование Белинского стало в последние годы весьма заметной тенденцией и модным занятием. Особенно в связи со спором Белинского и Гоголем по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» – весьма драматичном, сложнейшем событии, в котором нет безусловно правого и безусловно неправого¹¹.

Между тем неслышными, как это делает один современный автор, объявить выразителем истины Гоголем, проявившего «чувство христианского снисхождения к человеку, пребывающему в греховном заблуждении», то есть к Белинскому. Увы, это мнение сейчас очень распространено, если не типично...

Как известно, большим кобальзом в нашей стране свойственно быть стимулом возмещения кобальра, ис-

правления превзойдет его «недрогоски», а иногда и стимулом попадания в новую крайность. Будем надеяться, что большой юбилей Беллинского, 200-летие со дня его рождения, от крайности нас обережет. А вот восстановление истинного, справедливого представления о его роли в русской культуре действительно необходимо.

¹ Так называлась моя статья, опубликованная к 150-летию со дня рождения Беллинского (Новый мир. 1961. № 5. С. 230–248). Некоторые положения этой статьи развиваются в настоящей работе.

² Ваксберг В.В. Избранные труды: О языке художественной прозы. М., 1980. С. 203.

³ Гершен А.Н. Письма издателя. М., 1984. С. 175.

⁴ Аппельман П.В. Литературные возмездия. М., 1983. С. 226.

⁵ Галахов А.Д. Записки человека. /М./, 1999. С. 221.

⁶ Аппельман С. Беллинский и окружение его современников. СПб., 1911. С. 68.

⁷ См. недавно изданную антологию: Беллинский В.Г. «Как жила моя в письмах»: Из переписки В.Г. Беллинского / Сост. и автор вступит. ст. Н.Р. Мещеряева. М., 2011.

⁸ Мещеряева Ю.Я. *Культура і її континентальні культурові*. Т. 1–2. *Studia Novica XX. Warszawa*, 2010. Т. 1. 145–153. Цитаты из этой статьи приводятся в русском переводе ее автора – Алены Духовой.

⁹ Из предисловия М.Добрынина к подготовительному в начале 1930-х гг. изданию книги А.Д. Галахова «Записки человека». Книга не вышла. Цит. по комментарии Н.М. Воксовой в кн.: Галахов А.Д. Записки человека. М., 1999. С. 341.

¹⁰ Ради полноты картины отметим, что в издаваемой примерно в то же время на немецком языке под редакцией Алена Копельна многоименной истории русско-немецких связей была включена моя глава о Беллинском: *Verständnis und Missverständnis, Vladimir Belinskij*. // *Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Reihe B. Band 3, München*. 1998. S. 789–824. См. также работы: Карпенко Г.Ю. Возвращение Беллинского: Литературно-художественное сознание русской критики в контексте историко-философских представлений. Самара, 2001; Прохоров В.Г. В.Г. Беллинский. Научность публицистической критики. М., 2011.

¹¹ См. об этом в публикуемой в наст. кн. статье: Мещеряева Н.Р. Гражданство небесное и земное. Гоголь и Беллинский о путях развития России. См. также: Мамм Юрий. Гоголь. Завершение пути. 1846–1852. М., 2009 (глава: «Душа моя измучена...»: спор с Беллинским).

ЧАСТЬ I

И.С. ТУРГЕНЕВ

Воспоминания о Белинском

Личное мое знакомство с В.Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше. Вскоре после появления его первых критических статей в «Могаве» и «Телескопе» (1836–1839) в Петербурге начала ходить слухи о нем как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступил и нападал на «исё» – на исё в литературном мире, конечно. Другого рода критика была тогда немислнна – в печати. Многие, даже между молодежью, осуждали его и находили, что он слишком смел и далеко заносится; старинный антагонизм Петербурга и Москвы придавал еще более резкости тому недоброму, с которым читатели на берегах Невы относились к новому московскому светилу. Притом его плебейское происхождение (отец его был лекарь, а дед – дякон) возмущало аристократический дух, установившийся в нашей литературе с александровских времен, времен «Арамааса» и т.п. В тогдашнее темное, подпольное время сплетни играли большую роль во всех суждениях – литературных и иных... Известно, что сплетни и до сих пор не совсем утратили свое значение; исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. Целая легенда тотчас сложилась и о Белинском. Говорили, что он недоучившийся каменный студент, выгнанный из университета тогдашним попечителем Голяхвастовым за развратное поведение (Белинский – и развратное поведение!); уверяли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то пинжик, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов; упорно, и как бы в укоризну, называли его «Белыньским». Слышались, правда, голоса и в его пользу; помнится,

издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала отзывался о нем как о птичке с ногой, как о жучке, которого не худо бы завербовать – что, как известно, и было впоследствии приведено в исполнение, к великому преуспеванию журнала и к великой выгоде самого... издателя. Что касается до меня, то знакомство мое с Белинским как писателем произошло следующим образом.

Стихотворения Бенедиктова появлялись в 1836 году маленькой книжечкой с неизбежной вынужденной на главном листе – как теперь ее вижу – и привели в восхищение все общество, всех литераторов, критиков, всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горам» и даже «Матильдой на жеробце», гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщал мне, что в кондитерской Беранже появилась № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски – и, разумеется, также воспыла негодованием. Но – странное дело! – и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав... Прошло несколько времени – и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною, стали всеми принятым, общим местом – «a l'usage», как выражаются англичане? Под этот приговор подписалось потомство, как и под

многие другие, проигнорированные тем же судьей. Имя Беллинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма «Параша», о которой я говорила выше, я в самый день отъезда из Петербурга в деревню сходил к Беллинскому (я знал, где он жил, но не посещал его и всего два раза встретился с ним у знакомых) и, не называясь, оставил его человеку один экземпляр. В деревню я пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных записок», прочел в ней длинную статью Беллинского о моей поэме. Он так благосклонно отзывался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше счастья, чем радости. Я не «мог поверить», и когда в Москве покойный Киреевский (Н. В.) подошла ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего дитища, утверждая, что сочинитель «Параша» не я. Возвратившись в Петербург, я, разумеется, отправился к Беллинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву — жениться, а возвратившись оттуда, поселился на даче в Лесном. Я также начал дачу в первом Паргомыне и до самой осени почти каждый день посещал Беллинского. Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко мне.

Опишу его наружность. Известный автографический, едва ли не единственный портрет его дает о нем понятие неверное. Срисовывая его черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу и потому придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и несколько не согласовалось с характером и образом Беллинского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и постройкой головы. Одна лопатка заметно выдавалась больше дру-

гой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый *habitus*¹ этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда открывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видел глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воздушенасения; в минуты неслобности взгляд их принимал пылительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотой, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша»². Смеялся он от души, как ребенок. Он любил раскладывать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой шубеной шубенке и стоптанных калошах он торопливой и нервозной походкой пробирался вдоль стен и с путанной суровостью, свойственной верническим людям, озирался кокрут, – тот не мог составить себе верного о нем понятия, и я до некоторой степени понимаю восхищение одного провинциала, которому его указали: «Я только в лесу таких волков видывал, и то трапезничал!» Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терзался. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; подаром в жилах его текла беспримесная кровь – принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы.

Белинский был, что у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способ-

ный и умелчиво безответному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы, — эти люди, вероятно, удивлялись бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что все он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Беланский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философские вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т.п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Беланский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем михрадоочным жаром своей жаждой правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе, между прочим, главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений (иногда даже комических: друзья-наставники Беланского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали²); но уже Гёте

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst...⁴

а Белянский был именно ein guter Mann, был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях пырнула замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди. Итак, когда я познакомился с Белянским, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слышала и сама употребляла не однажды; но в действительности и вполне она применялась к одному Белянскому. Сомнения его именно мучили его, лишая его сна, пищи, неотступно грызая и жгая его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он динно и ночью бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он, исхудавший, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышимым голосом, беспрестанно капающим, с глухим, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, и ослабевая, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белянского умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белянским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, – сказал он мне однажды с горьким упреком, – а вы хотите есть!..» Созналось, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову сомнеться тому, кто сам бы слышал, как Белянский произнес эти слова; и если, при воспоминании об этой правдивости, об этой не боязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка удивления и удивления...

Лишь добившись удовлетворения его и то весьма результата, Белянский успокоился и, отложив раз-

мышления о тех капитальных вопросах, возирателям к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы несколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на всемирный манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

Сведения Беллинского были не обширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его семья, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из-за куска хлеба – всё это, вместе взятое, помешало Беллинскому приобрести правильные познания, хотя, например, русскую литературу, ее историю он изучал основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в этом случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Беллинский был тем, что я позволяю себе называть центральной натурой; он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне, и с хороших и с дурных его сторон. Ученый человек, не говоря «образованный» – это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы общего понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее,

но на этот раз я ограничусь одной этой стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головой, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово: «последователи» – уже предполагает возможность шестника по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но почитать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних их качествах и свойствах, но и в недостатках их; он тем самым глубже и больше чувствует эти недостатки. Сенковский был не в пример учнее не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современников; а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану, но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гаданность, его презрительное глумление, подавительство, холод, все его особенности отчасти происходили от того, что у него, как у человека ученого, специалиста, и цели и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателей, а того, что было нужно: критического и общественного чувства, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшей, неужесточенной братии, – у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, тайне презирав их, как неучей; и они забавлялись им – и на грех ему не верным. Смело надеяться, что мне не станут приписывать желания записывать и как бы рекомендовать неужесточен; я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лес-

сией, для того, чтобы стать вождем своего поколения, полным представителем своей народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль Германия, он был германской центральной натурой. Но Беллинский, который до некоторой степени заслуживает название русского Лессинга, Беллинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Пинта (герда Чатама) с его сыном, В. Пинтом – что за беда! «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...» Для того, что ему предстояло исполнить, он знал довольно. Откуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если б он на самом деле не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

Беллинский, бесспорно, обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заминовать от товарищей, принимать их слова на веру – в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почти оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Беллинский не обманывался внешностью, обстановкой – не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и с бешеной смелостью высказывал свой приговор – высказывал его вполне, без урезок, горячо и смело, со всей стремительной уверенностью убеждения. Кто бывал свидетелем критических ошибок, в которые впадали даже замечательные умы (стоит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шек-

спировское⁴), – тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и инстинктом Белинского, перед его умением «читать между строками». Не говорю уже о статьях, в которых он отводил подобающее им место признанным деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством⁵; но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести – никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров – не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без немалого удивления перед критической диагнозой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выписку, сделанную им в одном из своих годичных обзоров, в которой он, по одной песне о купце Калашникове, произшедшей без подписи в «Литературной газете», предвещал великую будущность автора. Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием «Деревня», по времени первая попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй» – Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько высканном – не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта было несомненно. Покойный И.И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхоушек, уцепившись за некоторые смеховые выражения «Деревни» и, обрадовавшись случаю погулять, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее зна-

чение и предсказала то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? Паладию оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими, – что он и сделал. <...>

Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем оказывается «завеса дня». Не в пору гость хуже татарина, гавсит пословица; не в пору возмущения истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура⁴. Паламерстона, вообще парламентаризм, как исполую и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несовременность (у нас, в России, в 1862 году) подобных нападенний; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбуждало его отрицание наших псевдоклассических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные – и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определенно резко; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применить их, проводить их в

действительность; да если б оно и стало возможным – в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он в это жила – и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы⁷. Зато как литературный критик он был именно тем, что англичане называют – «the right man on the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранил и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, – на В.Н. Майкова, брата поэта; к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обещавший юноша, Д.Н. Писарев. <...>

Саме собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения не мешало его душевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы наверняка выбрал в политически развитом обществе. Что он чувствовал и что он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но что он делал, что он печатал – неуловимо и строго держалось литературной почвой и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме эта страсть, которую он

...во тьме нежной
Вскормил слезами и тоской,

прорвалась наружу – как тот огонь, о котором говорит Лермонтов.

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом. Стараясь изобразить характер эпохи тридцатых, сороковых годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о астронитовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминание этого имени вызвало негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издали; но это неизбежно.)

«А между тем как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невозможно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой и народной эпикой, – в нашем обществе, в нашей литературе совершались если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год), у нас понемногу сложилось убеждение, конечно, справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы – великое, вполне овладевшее собою, неизменно твердое государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого – и стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолявшего Пушкина водворилась тишина». Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложновеличавой школой, продолжа-

лось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно литературная, художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго – но что было шума и грома! Как широко размазлась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то не истинное, что-то мертвящее чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества – и ни одного живого, самообытного ума она себе не покоряла безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России – но что бы то ни стало, в самой сущности не имевшие ничего русского; это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, – а час падения приближался. Но не последние глубоко художественные произведения Пушкина были причиной этого падения. Если бы даже они явились при его жизни – мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда ослепленная, сбита с толку публика. Они не могли служить полемическим целям; они могли одержать, и они одержали победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложновеличавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы – силы байронического анризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере искусства заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли – Белинский.

...В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы предаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратят на себя внимание наших Макаев [если только нам суждено иметь Макаев] и та минута, когда перед

раздутыми и раздутым, как бы официальным великаном предстали: с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество усматривало впервые неизвестный ему прежде, беспощадный укор², да темный малороссийский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: "Неча на зеркало зенить, коли рожа крива"; а с другой стороны, такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усматриваниями этих трех, едва ли знакомых друг другу деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы называли ложновеличановою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время уменьшалось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самым нововводителям, которые они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили – сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчуждался и отнекивался), – идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, назло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы – так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложновеличановой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова: "наступило" – мы бы могли, вспоминая Фонетинина, Новикова, употребить слово: "возвращалось". Подобные "возвратные" обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознаньем собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем – которые и сбылись³ – с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отсылало его новым потребностям. „Торжестве Тассо“ Кукушкина, „Рука всеннышнего“ исчеза, как мыльные

пузыря; но и „Медным всадником“ нельзя было любоваться в одно время с „Шинелью“».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, сопровождавшаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности возстала против фальши, против пошлости – а на какой ступени общества тогда не царил пошлость? – против того ложного общего, несправедливо узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе личности...». И я предлагал так:

«Мы просим теперь у нас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увеченных, но, смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь¹ с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упоминали о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу – идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жила преданная того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти, – тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые сказы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения...»

Быть может, некоторые читатели удивятся слову «идеалист», которым я почла за нужное охарактеризовать Беллинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне – признаюсь в том – доставало не малое удовольствие обвинить Беллинского «идеалистом» перед сборищем людей, которым ния его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т.п. К тому же и самое название шло к нему. Беллинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойствен весьма определенному и однородному, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией, – Западом наконец. Люди благонмеренные, но недобросовестные, употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немыслимы. Беллинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом – для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны¹². Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата – впрочем, относиться к ним свободно, критически – вот каким образом могли мы, по его мнению, достигнуть наконец самобытности, которую он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Беллинский был вполне

русский человек, даже патриот – разумеется, не на лад М.Н. Загоскина; благо родины, ее величье, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отклики. Да, Белянский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы – вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболопного и бессмысленного смирения недоучки преклонялся перед Западом, – значило не знать его вовсе; к тому же не смиренным грешат обыкновенно недоучки. Белянский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавая его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения – и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было точно насилием, было тем, что в новейшее время получило название: *смер d'état*¹⁰; но только не малости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы indebtedны в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доныне не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже занимаем в той семье – это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор и должны были идти (с чем господство славянофилов, конечно, не согласится), должны были идти другими путями, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белянского ни на воле не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не измененная той русской струей, которая была во всем его существе, – тому доказательством служит каждая его статья¹¹. Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Не признавая наших александрийских, александрических авторитетов, испровергая их, он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного,

оригинального и произведенных нашей литературы. Ни у кого уха не было более чутко; никто не ощущал более ясно гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изысканный оборот речи поражааа его мгновенно, и слушать его простое, несколько однообразное, но горючее и правдивое чтение какого-нибудь пушкинского стихотворения или лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже; да и голос его скоро ослабевал.

Еще одно замечательное качество Беллинского как критика состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «in earnest»¹²; он не шутил ни с предметом своих размышлений, ни с читателем, ни с самим собою; а подчас и такое, столь распространенное глумление он бы откинул, как недостойное легкомыслия или трусости. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трюнит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шутливость и неясность собственных убеждений. Человек смеется, хохочет... Поди угадывай, разумей его речь: куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом «зубы скалят». Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину и что смеющимся устами легче высказывать ее... Да разве Беллинский жила в такое время, когда можно было все высказывать начистоту? И, однако же, не прибегал он к глумлению, к «изысканному» сарказму, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свежашином», недалекого ушла от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского... И здесь и там выплывала та же склонность к грубой потехе, к гиперству, склонность, к сожалению, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поощрять. Хохот невежества почти так же противен — так же и вреден, как его злоба. Впрочем, Беллинский

сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, была не в бровь, а в глаз. И в разговоре, так же как и с пером в руке, он не бывал остроумным, не обладал тем, что французы называют *sargit*, не ослепала игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мыслью, и выражалась она своеобразно и в конце концов уласкательно. При совершенном отсутствии того, что обыкновенно величают мощенцией – при явной неспособности и неохоте к «успашиванию», к фразе, – Беллинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, например, афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

Беллинский, как известно, не был поклонником принципа: искусство для искусства; да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на – отсутствующего, разумеется, – Пушкина за его два стиха в «Поэт и чернь»:

Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!

– И конечно, – твердил Беллинский, сверкая глазами и белая из угла в угол, – конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка и нем пишу варю, – и прежде чем любоваться красотой истукана – будь он распрефидысовский Аполлон, – мое право, моя обязанность накормить своих – и себя, палю всяким негодующим баригам и виршепыетам! Но Беллинский был слишком умен – у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и силу его естественности, его физиологическую необходимость. Беллинский признавал в искусстве одно

из коренных проявлений человеческой личности – один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни; недаром же он был идеалист. Всё должно было служить одному принципу, искусство – так же, как наука, но своим, особым, специальным образом. Воистину детское и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражанием природе не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот преслабый аргумент лишается всякой силы – как только мы возьмем человека сытого. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной правды¹⁵. Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе. Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток, и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя об Иванове и Бродском могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и ложного пафоса может завратиться человек, когда заберется не в свою сферу. Хор чертей в «Роберте-Дьяволе» был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа он поднимал басом этот дьявольский напев. Пение Рубина потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Всё драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще о театре, дышат страстью; надо было видеть, какое впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мочалова в «Гамлете», о том, как он, в известной сцене представления траге-

дня перед преступным королем, приносима, задыхаясь от восторга и ненависти:

Олеся рыцаря стрелой...

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с мало знакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему про его комедию «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе». Комедия эта точно весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов – к слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву кинематическому сопернику. Все это изложено пространно, натянута, мертвенным слогом... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия да еще статья о Менцеле были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он признавал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье он видел ошибку – гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным нажимом истерпения, тоскливого желания перейти из области недостижимых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как будто то, что существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедный Белинский, конечно, не имел понятия, что за птица был господин Менцель, – и возмал за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения... В этом случае недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было как-то заговаривал с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками и, низко наклонившись вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем, он побоялся

красным патриотизмом недолго. Вообще лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полуса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с андоррадным рисунком пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так называемые *Schlagwörter*. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений!¹² Надо же было и Белинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбегала, оставив за собою только хорошие семена, и снова являлся во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным крутым почерком. Он не имел времени вычищать слог, вычищать и обдумывать каждое выражение и потому поспешно впадал в некоторую многоглазность; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все-таки оставались литературным произведением и не превращались в дреблный разговор, в пухлые вариации на избитые темы – вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

Всем известно, какую обузу наваливала на Белинского расчетливый издатель журнала, в котором он участвовал. Какие сочинения ни приходилось ему разбирать – и соняжки, и поваражные, и математические книги, в которых он ровно ничего не смыслил! Зато, когда после аккуратного выхода журнала в первое число месяца наступало несколько дней отдыха, как он наслаждался им, как предавался удовольствию бездействия, беседы с приятелями, а иногда и карточной игры в кошеичный преферанс! Играл он плохо, но с той же искренностью

впечатлений, с той же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним, не в деньги – а так, он выигрывал и торжествовал... но вдруг обременился, остался без четырех. Потемнел мой Белынский туше осенней ночи, опустила голову, как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния так было искренне на его лице, что я наконец не выдержала и воскликнула, что это уже не то что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты! «Нет, – отвечал он глухо и измученно на меня исподлобья, – всё конечно; я только до бубновой игры и жию!» И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил.

Я часто ходил к нему после обеда отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже на Фонтанке, недалеко от Анничкова моста – невеселые, довольно сырые комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешними молодым людям не приходилось испытать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратила твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унизительные объяснения, оправдания, выслушать его беспощаднейший, часто насмешливый приговор...¹⁸ На улице тебе попалась фигура господина Булгакова или друга его, господина Греча; генерала, а даже не начальник, а так, просто генерала, оберала или, что еще хуже, позирала тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: няточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, несутся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехстенный коммюнт, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шныряют и расползаются доносы; между молоде-

жизню ни общих сикли, ни общих интересов, страх и принужденность во всех, хоть рукой махнул! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, предет другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно была в глаза всякому. Общий характер наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно. При всей строгости и действительной возвышенности своей натуры Белинский поступал иногда как ребенок: услышит что-нибудь, что ему очень понравится, какое-нибудь место из Жюль Верна или П. Аеру – тогда он входил в моду и о нем таинственно (!) переписывались под именем Петра Рыжого – услышит и тотчас попросит списать ему это место и вычитает с ним. Но все это шло к нему; живой русский человек сказывался и тут. Иногда бездельница его задвела. Однажды он целых шесть недель носил у себя в кармане книжку Гётевского «Западно-Восточного Дивана» (*Westöstlicher Divan*) вот по какому поводу. Я ему как-то цитировал оттуда стих «*Lebt man denn, wenn andre leben?*» (Можно ль жить, когда живут другие?) Он повторил этот стих в укор своему Гёте перед А. Н. С., некогда известным переводчиком Гётевских стихотворений; тот усомнился в точности цитаты и чуть ли не подтрунил над легковесностью Белинского. Вот он и выпросил у меня экземпляр «Дивана» и постоянно имел его с собою, чтоб при встрече поразить С...; но встречи этой, к великой досаде Белинского, не состоялось. В последние два года его жизни он, под влиянием все более и более развивавшейся болезни, стал очень нервозен – и хандра на него находила.

Я виделся с Белинским в течение четырех зим – с 1843 по 1846 год, и особенно часто перед январем

1847 года, когда я отправился надолго за границу и когда был основан «Современник», то есть куплен у покойного П.А. Плетнева. История основания этого журнала представляет много поучительного... Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые драги. Довольно сказать, что Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и пополнился в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для большого затеянного им альманаха. Белинский для «Современника» разорвал связь с «Отечественными записками», а оказалось, что в новом журнале он, вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемщика, какое было за ним и в старом. «...» Белинский с добродушным снисхождением, с сочувственным жаром поощрял начинавших писателей, в которых признавал талант, поддерживал их первые шаги; но он строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал и хвалил с одинаковым беспристрастием. Зато на первых порах он иногда доходил до нежности, увлеклся очень много, почти трогательно, почти забавно. Когда попался ему в руки «Бедные люди» г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг. «Да, – говорил он с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг, – да, батюшка, я вам доложу! Не велика птичка, – и тут он указывал рукою чуть не на аршин от полу, – не велика птичка, а ноготок востер!» Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом с г-м Достоевским, я увидел в нем человека роста более среднего – во всяком случае выше самого Белинского! Но в припадке отеческой нежности к новонарождающемуся таланту Белинский относился к нему, как к сыну, как к своему «дятилке». Точно так же он, летом 1843 года, когда я с ним познакомился, аселея и всюду рекомендовал и выноднл в люди Некрасова...

Как во всех людях с пылкой душою, во всех ситуациях, в Белынке была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгорая, ни одной частички правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодованием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными. Но его можно было «прошибить», как я сказала ему однажды и чему он много смеялся; истина была для него слишком дорога; он не мог окончательно уперстовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам, он всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли вразрез всему тому, что он любил и во что он верил. Вообще Белынский умел ненавидеть – *he was a good hater* – и всей душой презирал достойное презрения. *Айбениц* где-то говорит, что он почти ничего не презирает (*je ne méprise presque rien*). Это похвально и похвально – в философе, постоянно живущем на высотах духовного созерцания; но наш брат, человек обыкновенный, по земле ходящий, не в силах возвыситься до этого бесстрастного холода, до этой величавой тишины; чувство презрения, которое внушают нам Фаддее Булгарины, подтверждает и крепит наше нравственное сознание, нашу совесть. В собственных промахах Белынский признавался без всякой задней мысли: маленького самолюбия в нем и следа не было. «Ну, враг же я твой!» – бывало, говорил он с улыбкой – и какая это в нем была хорошая черта! Белынский был не слишком высокого мнения о самом себе и о своих способностях. Скромность его была непритворна и чистосердечна; слово «скромность», впрочем, тут не годится: ему вовсе не было приятно, что он, по его повзанию, такой некрутый человек; но ведь «из своей кожи не выпрыгнешь». Зато ничего не было для него важнее и выше дела, за которое он стоял, мысль, которую он замышлял и проводил: тут он на стену готов был лезть – и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем – отвага отчаянная, назло его физике и нервам; тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности – такая слабая личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после.

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу. Я прожил с ним несколько недель в Зальцбрунне, небольшом австрийском городке, славившемся своими водами, будто бы излечивавшими чахотку... Ему они принесли мало пользы. В Зальцбрунне он, под влиянием негодования, возбужденного в нем известной «Перепишкой с друзьями» Гоголя, написал ему письмо... Потом я встретился с ним в Париже. Там он поступил в лечебницу к некоему доктору, специалисту против чахотки, по имени Тирé де Малмору. Многие считали его за шарлатана, но он совсем было поставил Белинского на ноги. Кашель прекратился, с лица сошла тень... Сильным скорое возвращение в Петербург все уничтожило¹⁸. Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уже очень он был русский человек и вне России замирая, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидал площадь Согласия и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?» И на мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну и отлично; так уж я и буду знать, – и в сторону, и basta!» – и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубил голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: «А!» – и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе». Исторические сведения Белинского были самым слабым; он не мог особенно интересоваться местами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, *gadanderie*, было не в его характере. Музыка и живопись его, как уже сказано, трогала мало; а то, чем так сильно действует Париж на многих наших соотечественников, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и наконец, ему всего оставалось жить несколько месяцев... Он уже устал и охладел... «...»

Не раз приходится слышать слова: такой-то вовремя, кстати умер... Но ни к кому они так несомненно не применяются, как к Белянскому. Да! Он умер кстати и вовремя! Перед смертью (Белянский скончался в мае месяце 1848 года) он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии. От тяжелых испытаний избавила его смерть. При этом же и физика его уже отказывалась действовать... К чему же было тянуть, медлить?

*A struggle more - and I am free!*⁹

Все так; но живой живое думает, и не зная подвинуть в себе чувства сожаления о том из нас, кого уносит смерть в неведомый край, откуда «не возвратился еще ни один путешественник». Я никогда невольно задаю себе вопрос, невольно представляю себе: что бы сказал, что бы почувствовал Белянский при виде великих реформ, совершившихся нынчешним царствованием - освобождения крестьян, водворения гласного суда и т.д.? Какой бы восторг возбуждал в нем эти плодотворные начинания! Но он не дождал до них... Не дождал он также до того, что так же напоминало бы сладостью его сердце: не увидал он много хорошего, что совершалось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару А.Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых многие были посажены его рукою?... Но видно - не следовало... <...>

9 [21] мая я свиделся с Белянским в Штеттине, куда я вышла к нему навстречу. Мне писала из Петербурга, что смерть трехмесячного сына поразила его несказанно. Году не прошло, и он последовал за ним в могилу.

И вот уже двадцать лет с лишком прошло с тех пор – и я вызвал его дорогую тень... Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа; но и уже доволен тем, что он побыва со мной, в моем воспоминании...

Человек он был!

«...»

1868

¹ парижский вид (там).

² Стих Некрасова. (Примеч. Н.С. Туренева.)

³ Многие хлопот тогда надлежало в Москве известное наречение Готель: «Что разумно – то действительно, что действительно – то разумно». С первой иллюминативной наречением вот означивать, но как было сказать разумно? Неужели же нужно было признать всё, что тогда существовало в России, на разумное? Тыловым, тыловым и переломом: которую по-настоящему наречением не доверчивым. Если б кто-нибудь сказал тогда молодым философам, что Готель не всё сущестующее признавал не действительное, – много бы устных работы и томительных прений было (березняк) они увидели бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и в сущности означает только то, что «rien n'est durable, rien est in eo vitium durable», то есть острому составляет есть не той причине, что и там есть тавтология сама (Миллер). (Примеч. Н.С. Туренева.)

⁴ Добрый человек и в новом своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути. (Примеч. Н.С. Туренева.)

⁵ См. статьи его о Маранском, Баратынском, Загоскине и т.д. (Примеч. Н.С. Туренева.)

⁶ Писавший эти строки стоял рядом славя, как один молодой почитатель Добрынина, на картонном столе, желая утешить своего партнера и сдвинувшей на грубой ошметок, поскольку: «Ну, брат, какой же ты Кайур!», Признаться, мне стало противно не на Кайура, разумеется! (Примеч. Н.С. Туренева.)

⁷ См. второе прибавление к книге «Славя». (Примеч. Н.С. Туренева.)

⁸ Эта книга, которую и тогда не решился назвать, вероятно, придет теперь на уста каждому читателю – имена Маранского, Кукушкина, Загоскина, Бездомного, Баратына, Баратынина и др. (Примеч. Н.С. Туренева.)

⁹ Прому замечательная привнесла сама одной тогдашней интеллектуальной барыня, встретившей меня сдруженным восклицанием: «Avez-vous lu le "Deuxième"? Qui pourrait s'attacher à cela de la part de Lermontov? Lui qui tenait de dire: "Я, Матвей Бажин, поэт с молотком!" C'est affreux! «Четвертый на "Душ"? Кто мог ожидать этого со стороны Лермонтова? Он, который до этого говорил... Это ужасно!» (франц.). (Примеч. Н.С. Туренева.)

¹⁰ Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда и читал эти лекции. (Примеч. И.С. Тургенева.)

¹¹ Тогда только что вышли первые томы полного издания его сочинений. (Примеч. И.С. Тургенева.)

¹² Белинский часто читал между друзьями статистические Ламы Пуанкаре, Брете посто: «Петр Вольский», и с особенным чувством проносился стихи, в которых преобразователя представлял был вытеснен —

Ряд шумливых павлиньих
Рукой искусней за собой.

(Примеч. И.С. Тургенева.)

¹³ государственного перепрода (франц.).

¹⁴ См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Крылове — и особенно его статьи о народных песнях и былинах. При слабости и суровости тогдашних филологических и археологических данных они порождают читателям пародию и живым пониманием народного духа и народного творчества. (Примеч. И.С. Тургенева.)

¹⁵ «серьезно» (франц.).

¹⁶ См. переписку прибавление в конце отрывка. (Примеч. И.С. Тургенева.)

¹⁷ Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могла дойти тогдашнее филологическая, отыскать в «Смеси» одной из изданий «Отчужденных» записку за 40-й или 41-й год статьику, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем — в защиту выражения, употребленного Иованнатором, будто бы «Николаев» — впрочем некое поставленный Карл Вольский, выражения, поданного на имя другим журналом. Конечно тут тем более добавлен, что весь приношу утробной важности и даже не подорожеств, до какой степени он простителен! (Примеч. И.С. Тургенева.)

¹⁸ Особенно выморок отсылается при подобных сведениях поэт Ф., тот самый, который говаривал: «Помогите — и все буквы останутся только для похвалы». Он мне сказал однажды, с чувством тогда мне и писал: «Вы хотите, чтоб я не выморок. Но поспешите сами: я не выморок — и могу заплатить три тысяч рублей в год, а выморок — кому от этого какая польза? Благословен, нет словечек — ну, а дальше? Как же мне не верить? Бог с вами!» (Примеч. И.С. Тургенева.)

¹⁹ Вот еще пример того, как Белинский вымороктически относился к самому себе. При отъезде из Парижа ему дали провожатого, который должен был сопровождать его до Берлина; но в самую последнюю минуту вышло какое-то недоразумение, и Белинский отправился один. «Представьте мои товарищи, — писал он одному приятелю в Париж, — на бейлейской границе меня о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю и только глазами хлопочу. К счастью, начальники таможен догадались, должно быть, что я еду до самости, — и пропустили меня». (Примеч. И.С. Тургенева.)

²⁰ Как одно усмехи — и я свободен! (Байрон.)

И.А. ГОНЧАРОВ

Заметки о личности Белинского¹

На мой взгляд, это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам.

Такие натуры встречаются нередко – я их наблюдала везде, где они попадались: и в своих товарищах по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдала и в самом себе – и во множестве экземпляров – и во всех находила неизбежные родовые сходственные черты, часто рядом с поразительными несходствами, составлявшими особенности видов или индивидуумов. Все эти наблюдения привели меня к фигуре Райского в романе «Обрыв», этой жертве своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цель фантазии. Последняя была в нем праздною, бесполезною силой и, без строгой его подготовки к какому бы то ни было делу, разрешалась у него только в бесплодных порывах к деятельности и уродовала самую его жизнь.

Но другие, богато одаренные натуры, став твердой ногой на почве своего призвания, подчиняют фантазию сознательной силе ума и создают целую сферу производительной деятельности. Так было и с Белинским.

Но напрасно приписывать избыток фантазии и восприимчивость только художническим натурам. Не одним художникам нужно творчество: это я говорю вопреки мнению Белинского нам, по крайней мере, вопреки его словам, не раз слышанным мною от него, что «Бог дал человеку быть творцом только в искусстве».

Тут есть нечто недосказанное. Совершенно справедливо, что в искусстве художник создает или изобретает сходства и подобия, то есть образы существующего или возможного в природе, а в сфере знания ученый

только угадывает или открывает скрытые законы или готовые истины. Но, сколько мне кажется, в процессах самого этого угадывания или этих открытий действуют также изобретательные или творческие силы и приемы. Не один Ньютон наблюдал падающие с дерева яблоки и не один Фултон видел, как присаскивается крышка на чайнике от пара, – однако не угадывала же другие законы тяготения или парового движения, – следовательно, и тот и другой были как бы творцы этих законов.

Таким образом, нервозность, то есть тонкие и чуткие нервы, а вследствие этого впечатлительность и помощь фантазии присущи, как необходимый элемент, всякой работе, требующей оригинальных мыслей и изобретательной производительности, не говоря уже о науке, искусстве, но даже в ремеслах, чему мы видим немало примеров. Талантливый ремесленник, с помощью этой же фантазии, делает новые, сильные шаги в ремесле и иногда возводит его на степень искусства.

Чуткость нерв и фантазия в художниках (живописцах, поэтах, актерах) только разнообразнее и капризнее проявляется, но самому свойству и натуре их дела, по образу жизни и прочим условиям.

И Беллинский в сфере своей деятельности также творил по-своему, то есть угадывал смысл явления, чувствовал в нем правду или ложь, определял характер его, и если явление представляло пищу умственному, он доверчиво увлекся им сам и увлекал других. Пережив впечатления в самом себе, истратив на него потоки более или менее горячих печатных или истинных импровизаций, он потом оставался ему верен уже в той мере правды, не какую он видел в потоке увлечения, а какая действительно была в нем, – и относился к нему умереннее.

Наконец, у него была постоянное увлечение или влечение, плоды не одной только фантазии или напряженной работы непрерывного умственного развития: они составляли основу его честной и прямой натуры: это влечение к идеалам свободы, правды, добра, человечности, причем он нередко осыпался на Евангелие – и не помню где – даже печатно. Этими идеалам он не

изменял, конечно, никогда и на всякого, сколько-нибудь близкого ему человека, смотрел не иначе, как на своего единомышленника, иногда не давая себе труда всмотреться, действительно ли это было так. Никаких уклонений от этих путеводных своих начал он ни в ком не допускал и не простил бы никому иного исповедания в нравственных, политических или социальных взглядах, кроме тех, какие принимал и проповедовал сам, разумеется в теории, ибо на практике это было неприменимо в то время нигде, кроме робкого проговаривания или намсков в статьях да толков в тесном кругу друзей.

В стремлении или в порывах, порою, бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим последним идеалам особенно высказывалось его горячее нетерпение, иногда до ребячества. В тумане новой какой-нибудь идеи, даже вроде идей Фурье, например (о чем могут больше меня сказать знавшие его смолоду), если в ней только искривлся намек на истину, на прогресс, на что-нибудь, что казалось ему разумным или честным, перед ним возникал уже определенный образ ее; нарождавшаяся гипотеза становилась его религией; он веровал в идеал в идеалах, не думая подозревать тут какого-нибудь обольщения, заблуждения или замаскированной лжи. Он видел только одну светлую сторону. Так, всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и новый у нас слух и говор о коммунизме, он наконец, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: «Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, – но будь у меня миллионы, я отдал бы их!» Кому, куда отдал бы? В коммуны, для коммуны, на коммуны? Любопытно было бы спросить, в какую кружку положил бы он эти миллионы, когда одно какое-то смутное понятие носилось в воздухе, кое-как перескочившее к нам через границу, и когда самое название «коммуны» было еще для многих ново. А он готов был класть в кружку миллионы – и положила бы, если б они были у него и если б была кружка! Он только слышал о коммунизме: книг негде было взять – но, конечно, он

скорее других почерпнул из рассказов одну мечту, манившую к соблазнительным благам.

Он мечтал вперед и никогда не оглядывался. Прошлого для него отживало почти без следа, лишь только оно кончалось. По свойственному его натуре чувству справедливости он, конечно, сумел бы найти и полюбить, например, в славянофильстве, что было в нем искреннего и правдивого, но довольно того, что славянофилы хотели создавать новый строй русской жизни на старом, хотя и хорошем фундаменте, чтобы уж безусловно разойтись с ними, смотреть на них если не враждебно, то недоверчиво. Он иногда не только терпел около себя людей довольно ограниченных, но любил с ними беседовать, когда между ними ничего не было общего, кроме веры в одну какую-нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую вдаль, к отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чем они могли говорить с Беллинским поодому — понять было трудно. Это объяснялось, между прочим, трогательной, почти детскою снисходительностью Беллинского к своим приятелям и ко всему, что их составляло, что им принадлежало. Возбудить его против себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться с ним, как сказано выше, в коренных убеждениях и то, если б это обнаружилось как-нибудь на практике, в жизни — а затем, будь приятель его чем хочешь, но он не терял права на его дружелюбие, однажды приобретенное, особенно если еще это выкупалось чем-нибудь, например талантом или просто даже безмысленным сочувствием его идеям и идеалам.

Ни в ком никогда не замечал я, чтобы самолюбие проявлялось так тонко, скромно и умно, как в Беллинском. Он не мог не замечать действия своей силы в обществе — и, конечно, дорожил этим; но надо было пристрастно вглядываться в него, чтобы ловить и угадывать в нем слабые признаки сознания своей силы: так он чужд был всякого внешнего проявления этого сознания. Сам он никогда не упоминал о своем значении.

Когда я узнал Белинского в 1846 году, здоровье его было подорвано, хотя болезнь еще не развивалась до той степени, как в последний год его жизни. Он был еще довольно бодр, посещал, однако, немногих, и его посещали тоже немногие и не часто. Он начал, по-видимому, утомляться и своею любимого деятельностью, мечтал иногда вслух, впрочем редко, о беззастенчивом положении от подневольного срочного труда. Но этой мечте сбыться было не суждено. Он, с кружком близких приятелей, перешел от одного журнала к другому, но это не принесло ему отдыха. Напротив, надо было употребить все силы, чтобы воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь. Он, так сказать, умирая, диктовал последние свои статьи. Поездка на лето в Крым с Шепкиным не помогла ему, и он вернулся в Петербург едва ли не слабее, чем был до этого.

Известно, как произошла все эти перемены: основанье «Современника», переход всего кружка из «Отечественных записок» в новый журнал. Затем, вскоре развивалась быстро болезнь — и Белинского не стало.

К вышеиз сказанному о способности его уметь прибавлю, что та же сила фантазия, которая помогала Белинскому тугло проникать в истинный смысл явлений, нередко вводила его и в горькие заблуждения, отрезвление от которых обходилось ему дорого, на счет здоровья. Он точно горел в постоянном раздражении нерв: всякие пустяки, мелочь, всё это с одинаковою силой, наравне с крупными явлениями, отражалось у него на печени, на легких. Часто, в спорах, от пустого противоречия, от вздорного фельетона Булгарина или его сотрудников у него раздражалась вся нервная система, так что иногда жалко, а иногда и страшно было смотреть на него, как он разрешался грозой, злостью в какой-нибудь всегда блестящей, но много стоявшей ему импровизации. И это за то, например, если кто-нибудь отзывется сухо, с пренебрежением о тех или других сочувственных ему авторитетах в сфере мысли науки или искусства, не говоря уже о более серьезных поводах. Он загорался как-то вдруг (особенно если был подходящий

слушатель – а не из близких, с которыми всё перетоворилось и нечего было ни давать, ни самому взять) – и в течение часа, двух являлась импровизация, вроде тех статей, какие появлялись в «Отечественных записках».

И вот эта нервная, впечатлительная и раздражительная натура при слабости агатов, и вообще хрупкости организма, – убила, сожгла этого человека. Я застал его, когда он, очевидно, догорал в борьбе со всем враждебным, чем обставлена была его жизнь, как и жизнь почти всех более или менее в то время и в том кругу. Но он не совпал с латентным состоянием собственных сил, в которых никогда не было равновесия, не только на какой-нибудь более или менее продолжительный период, на год, на полгода, например, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдавалась ли и такая неделя когда-нибудь, чтобы он не истерзался чем-нибудь до истощения и упадка сил!

Если ничего не приходило извне, он хватался за свои постоянные и любимые, большую частью недостижимые идеалы, общие и вечные вопросы о той или другой свободе, о извращении тех или других старых кумиров, и никогда ни от чего не отдыхал, потому что покой вообще не свойствен натуре нервным, даже и не в его роли и не при его значении. Надо еще удивляться, как, при этой непрерывной напряженной работе умственных и душевных сил в таком скудном сосуде, жизнь могла прогореть почти до сорока лет!

Поэтому сваливать преждевременный конец его на что-нибудь другое, кроме этих разрушительных и жгучих свойств его натуры, непрерывного брожения и горения, которых не выдержал бы и другой, не такой хрупкий сосуд – и несправедливо, и неверно! Как тогда старался, так и теперь всё еще стараются сваливать вину то на одного, то на другого из журналистов, современников непосильною работой Беллинского. И сам он хотя жаловался иногда на утомление и мечтал, как я сказал выше, о независимом положении, о покое, но эти редкие мечты были, так сказать, общими местами жлоба, какие приходят на ум и на язык каждому из нас среди спешных или утомительных занятий.

Да и возможен ли отдыхающий Белинский? Без непрерывной работы, без этого кипения и брожения вопросов и мнений, вне литературной алхорадки, – я не умею представить себе его. Когда его повезли за границу – он был сам не свой. «Хорошо ли вам было там?» – спросила я его по возвращении. «Плениение павловское!» Вот как выразился он про свое лечение и отдых.

Нет, ему необходима была его спешная, алхорадочная работа, – нужен и дорог был и свой маленький кружок, в своей семье, у очага, среди пяти-шести близких лиц, где он бился и трепетал природною своей жизнью, изливала потоки силы, служил своему призванию – и этим удовлетворял себя, и сам чувствовал эту свою силу, и давал чувствовать ее другим – этим наслаждались, этим только и жила, то есть горячим алхорадочным писанием статей и еще более горячими, алхорадочными, иногда почти горючечными импровизациями в кругу близких лиц.

Это был не критик, не публицист, не литератор только – а трибун. Публицическая его трибуна – в журнале; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, где он был нараспашку, – это домашняя трибуна, где он не только знал, но, так сказать, видел свою силу, поверил, измерил ее, любовался ею сам, глядя, как наслаждаются ею другие. От этого и были к нему ближе всех те, кто любил в нем больше всего его талант, даже больше, нежели его самого! Не допускать этого – значит не понимать хорошо натур этого рода. Самолюбие – иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многих и единственный двигатель деятельности, а часто и всей жизни. Я сказала уже выше, как умно и тонко высказывалось оно у Белинского – именно в благодарной симпатии к почитателям его силы.

Многолюдства, новых людей он не любил и избегал. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не выдерживала в количестве лиц и впечатлений. Свой внутренний мир и западающие туда редкие явления давали громадную пищу его неутомляющему и беспощадному анализу, и он едва справлялся с тем материалом, который попадался ему, так сказать, – на лету, случайно нам

на который наводили его заметки по журналу. Он мало даже читал газеты, как-то одним ухом слушал внешние известия, которым заносит, бывало, то тот, то другой приятель, но во всем находилось всегда довольно материала на промежуточный какой-нибудь день или вечер между писанием статей. Всё почти служило ему темой для более или менее тонкого, иногда бурного или злого, или, наоборот, восторженного словослагания. Он маялся и скучал, ходя из угла в угол, когда не было подходящего собеседника: ему приводила новое лицо, то есть недавнего, еще не привыкшего к нему знакомого, и когда, наконец, никого не было, кроме своих, устраивали партню в преферанс.

Если же было очередного, насыщенного материала, он из себя добудет пищу: придеши, бывало, а он вдруг заговорит, по-видимому, ни с того ни с сего (а, конечно, вследствие кипевшей в нем внутренней работы) о каком-нибудь, как помню однажды, например, «Прометее» Гёте: и в эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдруг нападет на какой-нибудь авторитет, которому все привыкая само поклоняться, — и низвергнет его. Не то так возьмет текущую новость, крутую административную меру, — и пойдут потоки речей, полные тонкого анализа, метких определений, горячих осуждений. Особенно цензура подавала пищу его словесной критике. Чего тут не было! И в то же время он боялся шпионов, и сколько был доверчив к приятелям, даже ко всем входящим к нему лицам, к которым привык, столько же боялся новых людей, коснулся на них, подозревая предательство. Между тем не могло быть лучшего доказателю на него, как он сам. Он на ухо каждому приятелю доверял все, что было у него на душе, и ребячески думал, что это тут и умрет. Ему даже в голову не приходило, что те в свою очередь передавали это, также на ухо, своим друзьям и что сказанное им, почти всегда веское и ценное, непременно дойдет и до других, уже не дружеских ушей.

Что же бы делал такой человек в покое, то есть в праздности, без своей трибуны в журнале и без этой ма-

ленькой аудитории около себя из десятка лиц, заменивших ему весь мир, признававших его и любивших, как человека и как сына? Всё равно, где бы ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, – он всегда горел и старел бы: прежде всего в борьбе с ложью и грубостью около, вблизи, и потом в погоне за далекими, уходящими из всякого реального достижения идеалами. Вот его натура – вся!

Я не говорю, чтобы неприятности, потом нужды, теснота жизни, наконец, страх, под которым жила и ходила все тогда, не имели своей доли разрушительного влияния на здоровье и жизнь его; но я положительно убежден, что без нравственной, вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организм, он перенес бы всё остальное, внешнее. Он был обычной жертвой в борьбе крайнего своего развития с целым океаном всякой сплошной, господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, несмотря на его ум, многие опыты, лета и особенно беспощадно верный анализ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно он был одарен фантазией. Я не говорю уже о том, как юношески восторженно увлекался он красоте известных капитальных, любимых им произведений, но он с любовью анализировал каждую мелочь в них, иногда впадая в ребячество до комизма! Стоит развернуть некоторые статьи о Гоголе, где он говорит, или, лучше сказать, трепещет под его живым влиянием. Например, в статье о «Горе от ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоедову, что он говорит о гусаке Ивана Никифоровича: без смеха нельзя читать! «Великая, бесконечно великая черта художнического гения этот гусак!» – восклицает он с пафосом и пишет целую страницу о гусаке².

Белинскому нередко приходилось стыдиться своих увлечений и краснеть за прежних идолов. Тогда он от хвастливых гимнов переходил в другой, противоположный тон – и не скучился на сарказмы, забыв прежнюю нежность к своим любимцам. Когда он в первые мои свидания с ним осыпал меня добрыми, ласковыми сло-

вами, «рисуя» свой критический взгляд на меня мне самому и заглядывая в мое будущее, я остановила его однажды. «Я был бы очень рад, – сказал я, – если б вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге («Обыкновенная история») теперь». – «Отчего?» – спросил он с удивлением.

«А оттого, – продолжал я, – что я помню, что вы прежде писали о С., как местно отзывались о его таланте, – а как вы теперь цените его?» (А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появлялось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем неоспоримой, славы, как будто его и не было вовсе в литературе.)

Мое справедливое замечание, сделанное мною, впрочем вскользь, шутливым, притворным тоном, неожиданно тронуло и задело его за живое. Он задумчиво стал ходить по комнате. Потом прошло с полчаса. Я уже забыл и говорил с кем-то другим, а он подошел ко мне и посмотрел на меня с унылым упреком. «Какое же? – сказал он наконец, указывая кому-то на меня, – он считает меня флюгером! Я меняю убеждения, это правда, но меняю их, как меняют конейку на рубль!» – И потом опять стал ходить задумчиво.

Он, конечно, верен в то, что говорил, потому что он никогда не агад, – но это его объяснение было неверно. Он менял не убеждения, а у него менялись впечатления, и пока впечатление переживало в нем свой срок, оно поглощало его всего, он детски отдавался ему, употреблял на выражение его пером или словами всю свою силу, без пощады, до тех пор пока не наступит в душе его реакция, работа анализа и не охладит впечатление или пока – как я выше сказала – само впечатление своею ложью или грубостью внезапно не отрезнит его. Он спешит высказывать процесс действия самого впечатления в нем, не ожидая конца, – и от этого впадает в ошибку, разочарования и неизбежные противоречия. Собственно критический, более или менее стройный и проверенный взгляд явился у него гораздо позже.

Он как Дон Жуан к своим красавицам – относился к своему идеалу: обольщался, клался, потом стыдился

многих из них и как будто мстил за прежние свое поклонение. Идолы следовали почти непрестанно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он еще не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сейчас же легко перешел к Достоевскому, потом пришел и – он завелся мною, тут же явился Григорич, попохоже Колюцов, наконец Дружинин. Ко мне он отнесся сравнительно покойнее и трезвее, потому что я подвернулся с своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он показывал даже где-то печатно – я стал немного осторожнее. Но и тут, в первые недели знакомства, послушавши его горячих и лестных отзывов о себе, я испугался, был в недоумении и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скоростелому суду. На меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. «Вам всё равно, попадетесь мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, – всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!» И это сказует (я не раз говорил) с какою-то доброею злостью, а однажды положила ласково после этого мне руки на плечи и прибавила почти шепотом: «А это хорошо, это и нужно, это признак художника!» – как будто боялась, что его услышат и обвинят за сочувствие к бесцензурному писателю. Она, конечно, отдавалась бы современному, реальному и утилитарному направлению, но отнюдь не весь и не во всем. Искусство, во всей его широте и силе, не потеряло бы своей власти над ним, – и он отстоял бы его от тех чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнители утилитаризма.

Про Колюцова я сам не слышал ничего от Белянского, но это было не нужно благодаря словосохотливости Панаева, который слышал отзывы Белянского и по несколько дней развешивал их с стенографическою верно-стью по домам, пока вслед за Белянским опять не увлеклся чем-нибудь другим. Но боже мой! что это была за отзывы! Кроме Колюцова и вне Колюцова уже не было и

не бывало в мире поэтов! Этот образ заслонял у него на время и Пушкина и Лермонтова – словом, ни о ком не было и речи больше. Завякнись кто-нибудь, не то чтобы усомниться, а просто прибегнуть, например, к сравнению Коальцова с кем-нибудь или даже к простому и спокойному определению рода поэзии и таланта Коальцова – Белинский, а вслед за ним и Панаев разгромил бы того вконец! И это на неделю, на две, а потом анализ, охлаждение, осадок, а в осадке – истинная доля правды.

Я не ошибочно сравнил эти увлечения Белинского с дожилиевскими увлечениями женщинами: и у Белинского, как у поклонников жемчужной красоты, все прежние идеалы бледнеют перед последним, иногда не-возвратным, но имеющим более всего прелести новизны. Истина же оценки высказывалась в большей или меньшей продолжительности восторженности, – и если последнее переживало последующих идеалов, то значит – критика его была непогрешима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

К идеалам же, обманувшим его ожидания или которыми он унывался прежде, в молодости, ошибочная больше, нежели следовало, он был беспощаден впоследствии. Кажется, он восхищался еще в студенчестве Каратыгиным, когда тот приезжал из Петербурга в Москву, а Мочалов оттуда сюда, и когда происходила между обоими артистами сценический, а по поводу их, в журналах, и литературный турнир. Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозреваю, что Белинский в количестве пятина, кажется, обним артистам более дано удивления, нежели потом они (или собственно Каратыгин) в его глазах стояли, когда Белинский развился и согрев. О Мочалове он и после всегда отзывался сочувственно, ценя в нем верное и чуткое выражение тонких, нежных или высоких сторон шекспировских и пинамеровских ролей, особенно Гамлета, к чему совершенно призывал неспособным Каратыгина. Любимцу своему за некоторые истинно высокие минуты в тех или других ролях он прощал вялость, монотонность и небрежность исполнения, когда этот актер был

не в ударе, а это случалось очень часто. В Каратыгине же он как-то нехотя признавал талант, хотя талант был большой и при том старательно выработанный трудом в школе оценоческих и литературных условий и преданий. Беллинский говорил о нем как о неуловимой, ходоуловимой фигуре, сыгравшей над его манерой и грубостью понимания тонких ролей.

Здесь он выпадал в тот недостаток, который мешал ему быть вполне беспристрастным критиком. Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах – было не в горячей натуре Беллинского.

Между тем эта же самая горячность, то есть способность увлекаться, и поставила его во главе критики художественных произведений и создала даже школу этой критики, первым удачным последователем которой был Добролюбов и менее удачным Алмазов Григорьев. Ни до Беллинского, ни после него не было у наших критиков в такой степени чуткой способности сознавать в самом себе впечатления от того или другого произведения, обобщать и слышать его с впечатлениями других, обобщать их и на этом основывать свой суд.

В этом, собственно, и состоял творческий прием его оценки. Ему помогало еще то, чего не доставало другим критикам: это страстное сочувствие к художественным произведениям. Чем ярче и сильнее талант, тем страстнее было и впечатление. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазию и порождало эти горячие критические извращения, которые бросали столько света и огня на всё, что производила литература замечательного. Эта самая страстность увлечений повергла его, как я заметил, и в те преувеличения, натяжки и ошибки, которые становились ему, бывало, его противниками в вину, как улово и обман. Точно так же производило в нем нервное раздражение и всякое бездарное, антихудожественное явление в литературе и вело к горячим словоблудиям в обратном смысле – и всё с тем же блеском, остроумием, но с беспощадной проникой.

В области критики художественных произведений выдалось и является немало более или менее замечатель-

ных умов и перьев, но очень немногие из них подходят к произведению по прямому и кратчайшему пути, то есть от непосредственного впечатления произведения на них самих: они обходят со стороны, от кощадного умственного воззрения пускаются в критические дебри и рассуждают там, где надо прежде чувствовать и описывать чувства, освещать путь уму – к верному определению достоинств или недостатков произведения.

Но чуткость нерв, сила фантазии и впечатлительность, до степени страстности, даются природою, по-видимому, не очень часто. Если сами художники встречаются не на каждом шагу, то и критики с такою сильною впечатлительностью, как у Беллинского, при силе его ума и дарования, встречаются еще реже. Может быть, этим можно отчасти объяснить недостаток критики в нашей литературе, на который нередко раздаются жалобы в публике.

Недалеко то время, когда наступит черед самого Беллинского предстать перед беспристрастным судом критики. Этот суд, неподкупанный привязанностью к его личности живых друзей – современников и его почитателей, настает, когда охладится теперь пока еще горячее о нем воспоминание и предание: он отделит его общественно-литературную деятельность от всяких дружеских симпатий, откинет все преувеличения и строго определит и оценит истинное его значение и заслугу перед обществом.

Даже и теперь еще люди второго поколения, не связанные никакими личными отношениями к Беллинскому, просто по краткости периода, на который отодвинулись от него, затруднятся произнести строгий критический приговор его недостаткам.

Эти недостатки были, может быть, неизбежны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, как какому-то апостолу отрицания, пришлось разыгрывать в сфере критики и публицистики то же самое, что, другими способами и приемами, разыграл в искусстве Гоголь и что, иначе уже, конечно, продолжало потом и продолжается разыгрываться или доигрываться почти всеми литературными деятелями до сих пор.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, как его, и такие способы и приемы, какие с успехом были употреблены им: другие, более мягкие, покойные, строго обдуманные, не дали бы ему сделать и половины того, что сделал он, образуя тогда собой, вместе с Гоголем, почти всю литературу: надо было разрабатывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось всё так прибрано, казисто; общество выделяло из себя замечательных, даже блестящих единиц в разных сферах деятельности, на вершинах его лежал очень тонкий слой общеваропейской культуры. Но масса общества покоелась в дремоте, жила рутинной и предвзятой и не готовилась еще идти навстречу тем реформам, мысль о которых уже зрела в высших просвещенных сферах и приближение которых чуяли и предсказывали некоторые умы, в том числе и Белинского. Он стал – наш талант и вся его натура поставили его – во главе нового литературного движения. Белинтристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей – и словесной и печатной проповеди.

Понятно, что, соединяя в себе роли публициста, эстетического критика и трибуны, провозвестника новых грядущих начал общественной жизни, он неизбежно должен был упасть в резкости, иногда крайности, в аккордах торопливости, умышленной, разочарований, раздражений, эфемерных симпатий, несправедливых антипатий и недоумов – словом, непрерывной борьбы, без ослады назад и без остановок!

Кто не оправдает его, вспомни, с какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, в каком застое покоелась масса, перед которой он проповедовал? Крепостное право лежало не на одних крестьянах – и ему приходилось еще оспаривать право начальников – распоряжаться по своему произволу участью своих подчиненных, родителей – считать детей своей вещной собственностью и т.д. – и тут же рядом объяс-

нить тонкость и прелесть пушкинской и лермонтовской поэзии. Без него, смело можно сказать, и Гоголь не был бы в глазах большинства той коммодальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Беллинского, сразу стал перед публикой.

Обращаясь к его умелости и разочарованиям, припомню, между прочим, о его беспощадных отзывах о Кукольник и особенно о Бенедиктове.

Поражая направо и налево всякую рутинность, ложность, ложь как в жизни, так и в искусстве, он и в том и в другом требовал простоты, естественности, и кто не удовлетворял этим условиям – тому пощады не было.

Кукольник и Бенедиктов, оба с замечательными талантами, являлись, на свою беду, последними могущественными старой, «риторической», как прозвал ее Беллинский, школы. Он и печатно, и в разговорах не мог о них отзываться равнодушно. В Кукольнике он еще соглашался признать некоторые достоинства, именно в повестях из эпохи Петра Великого, и, ставя их в пример, тем тяжелее обрушивался на «Тасса», «Джулио Мости» и др. Но о Бенедиктове он и слышать не мог. Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Беллинского. Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Беллинским, объясняя обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях – указывая, наконец, на мастерство стиха и проч. Беллинский махал рукой и не хотел признавать ничего, ничего. Не помню, что он говорил печатно о его сочинениях, но в разговоре он постоянно раздражался против него, даже нападал (где-то в статье) на наружность Бенедиктова, в самом деле некрасивую. И Кукольник, и Бенедиктов, оба, были его *bêtes noires*². Первого он, кажется, знал лично, а второго нет, разве видел где-нибудь. Но антипатия к их сочинениям вполне перешла на авторов.

В Кукольнике лично он мог еще пресмыдывать и ту кичливость, которую носил с собой многие из

знаменитостей. Тогда был триумфировал из Кукольника, Брюллона и Галиски (говорят, неразлучных между собой), который примиряла в обществе. Может быть, и это генеральство, высказывавшееся особенно резко в Кукольнике (которого я сам видел только мальком), в его фигуре, речи и манерах, – много прибавляло уксусу к желчи Велинского.

Развешивание от театрального, мишурного величия и самовенчания разных знаменитостей и сведение их на степень обыкновенных смертных было тоже в числе его задач. Он не только отрешался от чрезмерного самолюбия живых, но, как известно, снимал венки и с усопших, возмужавшие на них слепым и преувеличенным поклонением их современников, заходя иногда при этом далеко, впадая в вышеупомянутые ошибки, резкости, порицания и отрицания, не стеснялся исторической перспективой. Он как будто не замечал (и действительно в то время не замечал), что при этом страдала законы строгого беспристрастия. Вся сила ударов его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранять, а разрушить, чтоб добыть какую-нибудь новую или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требует прибавить, что он был пристрастен не в отрицательном только, но и в положительном смысле. Но последнее делалось у него не умышленно, а само собой. Его подкупали симпатии к близким или хорошим людям, к своему кружку – и он грешил не совестью, а мягкостью сердца. <...>

Меня с начала знакомства с ним, как нового для него человека, часто звали к нему и туда, где он бывал, потому что он оживал с новым, не неприятным ему лицом, высказывался охотнее, был весел, доволен – словом, жил по-своему. <...>

Я не раз спорил с ним, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорее равнодушно, чтоб только вызвать его высказаться, – и равнодушно же уступал. Без этого спор бы никогда не кончился или перешел бы в задор, на который, конечно, никто из знавших его никогда

умышленно бы не вызывал. Я только, так сказать, застригивала его, нан он, вернее, сам задирает меня вопросом, ожидая возражения, и тогда разрешался любым тезисом, кипятился и выкладывал всё, что у него наготовилось за известный период о том или другом предмете и что потом улаживалось нан в статье, если к тому времени подбирывалась статья, нан в словесную импровизацию, в спор. Как безмолвных, так и саншжом горячих собеседников, какими он была сам, он, кажется, не любил, что и понятно. <...>

¹ Эти заметки извлечены из письма, писанного в 1874 году в А.Н. Пыцку, по случаю собрания им сведений от знакомых людей Белянского, для биографии последнего. (Прим. Н.А. Гомарова.)

² Том III, стр. 376 (изд. 1863). (Прим. Н.А. Гомарова.)

³ Был ему до крайности противен (фр.).

А.В. ДРУЖИНИН

**Сочинения Белинского,
Томы 1, 2 и 3. Москва, 1859**

I

Вечно памятные и надолго благотворные для русской литературы сочинения Белинского наконец появляются в полном собрании, в самом лучшем, самом удобном время для их оценки. Крайности взглядов на деятельность Белинского почти сгладились, ожесточенное порицание на дела благородного критика уже кажется голосом с того света или постыдным глумством, преувеличенное поклонение всякому его слову сделалось несвоевременным. «...» Пржекий фанатизм, против которого мы ополчались, не существует более, он сменился спокойным уважением, более или менее глумливою, но уже не порывистою симпатиею к памяти лучшего русского критика. Уже никому не навязывается обожание каждой мысли Белинского, уже честных литераторов не зовут ренегатами за малейшее уклонение от прежних его приговоров, уже всякий может во многом расходиться с идеями последних годов Белинского и все-таки горячо сочувствовать всей его деятельности. Фетишизм, нами указанный в свое время, имел причину чисто временную и понятийную, точно так же, как понятно было наше противодействие временному увлечению всеми идеями Белинского. Была пора, когда имя этого писателя, имя столько честное, считалось в нашем обществе именем почти что заонамеренного человека. О Белинском нельзя было сказать доброго слова, не раздражая его ненавистников, не подвергаясь подозрениям в злонамеренности. Почти то же было когда-то и с Гоголем. И вот, когда только что исчезнул гнет над

памятью Беллинского, только что в литературе добыта была возможность искренно говорить о его творческих, вся масса горячих симпатий, сыгравших воспоминаний, благородных порывов, копившаяся так долго, высказалась в печати, высказалась порывисто и торопливо, без оладки и стройности. Долгое молчание привело к минутному фетишному, фетишизм, в свою очередь, породил опровержения, и только по прошествии некоторого времени отныне успокоились, и двойная реакция, достаточно охладивши, дала возможность вполне беспристрастного взгляда.

Деятельность Беллинского, обнимающая собою с лишком четырнадцать лет, по нашему мнению, делится на два совершенно особенные, по свойству своему, отдела¹, из которых каждый требует отдельного и подробного изучения. Оба отдела не разграничены с особенной отчетливостью, они сливаются один с другим, но тем не менее их легко определить и подметить. К первому отделу мы отнесем все произведения, напечатанные в московских журналах и за несколько первых годов «Отечественных записок», эти последние уже отчасти подходят ко второму отделу по многим частностям. Второй отдел обнимает собою остальную деятельность Беллинского в «Отечественных записках» и «Современнике». В первом отделе Беллинский является нам как историк литературы и ценитель исключительно изящных произведений, во втором роль его делается сложнее, глубже, обильнее шумом и обильнее ошибками, но во всяком случае исполненной величайших заслуг и высочайшим значением. Все последнее шестилетие своей жизни Беллинский был писателем, не подходящим под обычные определения, писателем, который только мог создаться при тогдашнем положении русского общества. В эти десять лет с небольшим он был критиком-публицистом, то есть деятелем, который, по поводу эстетических (иногда важных, иногда неважных) произведений, находил возможность касаться важнейших вопросов современного общества, не разрабатывая их, но именно по-требуемого на то престола, но поддерживая в массе мыс-

милых людей мысль об этих вопросах и благотворное к ним стремление. В эту важную, но многотрудную пору всей своей жизни Белянский был единственным публицистом в России, и вследствие этого условия, а еще более вследствие своего могущественного таланта, из статей своих он сделал, так сказать, трибуну, с которой держал речь ко всему, что было свежего, молодого, просвещенного и прогрессивного в нашем обществе. Погрешая, и довольно часто погрешая, в частности своей речи, он никогда не погрешал в целом ее направлении. Ничего сухого, мелкого, не говоря уже неблагородного, не было и даже тени не могло быть в его поучениях. Для всей разбросанной, неопытной, не сознавшей еще своих сил русской просвещенной молодежи Белянский в это время был тем же, чем, например, Грановский был для Московского университета или доктор Арнольд для итоских юношей. Далеко уступая Арнольду и Грановскому в учности, знании языков, знакомстве со многими сторонами науки и жизни, он превyšшал их силой своего ослепленного таланта и горячностью натуры, которая одна была в силах расшевелить наше детски восторженное и довольно распущенное в моральном отношении общество. Он был рожден публицистом, несмотря на то что был в то же время великим знатоком поэзии, пламеннейшим дилетантом, способным рыдать над двумя строками идеального поэта и прочей чепухой, едва понятной для практических бойцов современности. Впрочем, Белянский, как публицист, несколько не мог назваться практическим бойцом, да таких людей в то время обществу и не требовалось, да и меньшего простора таким людям не предоставлялось в его время. Он был рожден не для стиния и жатвы, но для разработки почвы к будущим посевам, не для возведения здания, а для приискания рабочих и закладки фундамента. Как публицист-практик Белянский был таким же благородным ребенком, как и в своей частной жизни, обильной такими печальными событиями, но не надо забывать, что у нас слово «практик» понимается в узком смысле, а что на самом деле человек, живущий в отвлечен-

ном мире добрых и светлых помыслов, часто бывает и счастливей, и практически полезнее всякого положительного человека.

Беланский жил именно в такую пору, когда деятели восторженные были нужнее деятелей положительных; живя на его месте в литературе человек с светлейшими практическими познаниями, мудрейший экономист, эмансипатор, глубокий знаток администрации, изобретатель педагогических, хозяйственных и служебных деловых реформ, кто бы в то время стал слушать советы русского публициста, писателя с маленьким чином; да и стала бы печататься такая совета. Прежде чем проносить мудрое, практическое слово, надобно было, во-первых, приготовить в самом обществе потребность к такому слову, а во-вторых, подготовить круг людей, которые бы могли его воспринимать как снадобье. Оба эти дела Беланский совершил честно, и хотя, измучившись от своего труда, сошел в могилу посреди тревожной и не всегда ровной деятельности, но труд его может называться вполне плодотворным. <...>

Всякому читателю, сколько-нибудь знакомому с историей новой нашей литературы, слишком хорошо известно, какое огромное впечатление произведено было в литературном мире появлением первых критических статей, рецензий и историко-литературных импровизаций Беланского. Для быстрого ценителя это впечатление (произошедшее по большей части в ярком и сожесточенном отборе) может быть объяснено смелостью приговоров, оживленностью изложения, горечью нового критика и особенно его независимостью от многих, в то время уважаемых авторитетов. Но все эти неоспоримые качества в Беланском принадлежат к качествам второстепенным, или, вернее, они не что иное, как проявление другого, более высокого качества, результаты иного, несравненно более глубокого, несравненно более редкого достоинства.

Одной живостью слога и горячностью приговоров Беланский не завоевал бы себе так скоро звание блестящего и полезнейшего из русских критиков,

как ни уважительны эти достоинства, но они почти уравновешивались некоторыми несомненными погрешностями в статьях начинающего критика. «...»

В чем же заключалась не внешняя, не поверхностная, но внутренняя и неотразимая сила первых трудов Белинского? Почему ошибки «...» не вредят им и легко отстает от них, как отстает пыльное пятнышко от картины великого мастера? Почему статьи Белинского, при всем ожесточении противников, при всей ветреничности читателей, не пропали без следа, но оставили по себе stále огня и до сих пор горят ярким светом в нашей литературе? Разгадка легко дается внимательному читателю. Сила Белинского – в его беспредельной любви к русскому искусству. Он не простой ценитель литературных явлений своего времени – он вдохновенный жрец русского слова, страстный толкователь всего, что было создано, утрачено и возмощено, и даже едва только намечено русским словом.

Да, любовь Белинского к русскому искусству была священным огнем, на котором сгорел он сам, но сгорел не напрасно. Такой любви ни в ком не было после него, а до него и самого подобия ее нигде и никогда не бывало. Чем было русское искусство, не говорим уже для всей русской публики, но для первейших русских художников – до Белинского? Приятным развлечением, отдыхом в час досуга, приятной темой для разговора, средством прославиться в свете, предметом очень почетным и, по временам, милом для души, напоминающим о светлых и странных минутах творчества, о которых, впрочем, много рассуждать было нелепо. Кто до Белинского читал русское искусство, видел в нем нечто целое и органическое, способное жить своею жизнью и соприкасаться всем сторонам нашего быта? Кто из наших писателей, до Белинского, верил и знал, что человек с художественным призванием не только имеет право, но и имеет обязанность посвятить всю свою жизнь родному искусству? Немногие литераторы, как, например, Карамзин, сознавали, что русское искусство, как великое орудие просвещения, должно играть важную роль

в нашем развитии. Сам Пушкин, творивший с наслаждением, сделавший более, чем кто-либо из русских людей, для просветления «духовных очей наших», только временно, в горькие минуты, сожалеал, что совершает нечто необыкновенное, возвышенное и оказывает отечеству своему заслуги, за которые современники ему не совсем хорошо платят. Если невозможный люд его времени навечно ему неотразимые обиды, Пушкин видел в том злобу дурных людей, а никак не горькую неблагодарность лиц, за что-то ему очень обязанных. Когда деятели первоклассные так смотрели на дело, которому служили вследствие непреложного своего призвания, то как же должны были гадать на искусство наше другие, не столь сильные личности? Напрасно будем мы читать наших писателей, перелистывать журналы старого времени, везде найдем мы более или менее сильные таланты, здравые взгляды, временами честное и даже почтительное обращение с искусством, но пламенной, беспредельной и широко созданной любви к нему мы нигде не встретим до Белинского. Тысячу раз придется нам сказать спасибо за то, что Белинский возрос на русской литературе, с огненным восторгом юности читал русские книги (хоть иногда пахли и старье), от чистого сердца считал Милытона дрянным писателем и пытал презрение к французским энциклопедистам. Если б он воспитался на чужеземных, хотя крайне замечательных и даже высших писателях и если б он стал заниматься русской литературой лишь после прочного курса наук на хороший иностранный манер, мы, может быть, дивились бы его эрудиции – но любовь к своему родному искусству уцелела ли бы в нем с ее настоящей силой? На этот вопрос мы можем отвечать смелым отрицанием. Не одна врожденная, горячая преданность ко всему родному, но самые обстоятельства многотрудной и часто горькой жизни развили в Белинском ту любовь, о которой мы теперь пишем. Эти обстоятельства направили горячие инстинкты будущего критика в данную сторону, сосредоточивая их и не дали им разбросаться в многостороннем энциклопедизме, <...>

Большая и пламенная любовь к родному искусству, озарившая собою детскую пору Белинского и пролившая свой отрадный свет даже на бедные стены бедного уездного училища, не покинула юношу и при вступлении в настоящую жизнь. Она осталась при нем, смягчая горе и нужду жизненных начинаний, постепенно очищаясь в своих проявлениях, но не ослабляясь ни-сколько. Мало того, все события жизни Белинского только развивали в нем страсть его детских годов. Он лишен был возможности кончить курс в университете и начать гражданскую службу по общепринятым примерам. Облизавшись с просвещенными молодыми людьми, занимающимися наукой и литературой, он, с одной стороны, получал возможность трудиться для периодических изданий, не подвергаясь тяжелой обязанности запискивать в журналистах, с другой – сделался другом и собеседником лиц, которых многостороннее образование во многом было ему полезно. Первые статьи начинающего критика были тотчас же замечены читателями, и это обстоятельство упрочило карьеру Белинского. Ему немного было надобно – он мог доказывать скудным вознаграждением и трудиться над предметом, которого бы, без сомнения, не променял ни на какие почести и обширную практическую деятельность. Когда слава Белинского наконец загорелась ярким светом, когда тысячи молодых людей приучались видеть в нем дорогого наставника, когда его бедное жилище сделалось местом собрания для всех даровитых и благородных представителей русской литературы, Белинский мог только еще с большей страстью предаться главному делу всей его жизни. Мы помним Белинского в самую последнюю пору его деятельности, больного и знающего о своей близкой смерти, занитого громадными политическими событиями, которые совершались и готовились во всей Европе, – мало того, – временно увлеченного теориями немецких и французских мыслителей того времени о сухом и социальном значении литературы в нашу пору, – и что же? Этот самый умирающий Белинский, больной и, по-видимому, поддан-

шней антипоэтический стремлением, не мог без смеха говорить о седьмой главе Евгения Онегина и о последних, коротеньких стихотворенных Лермонтова! Прочтение какой-нибудь журнальной, немного талантливой повести причиняло ему радостную бессонницу, каждое удачное стихотворение врезывалось ему в память, всякая бранная статейка самой мелкой газеты, статейка, направленная против которого-нибудь из любимых им писателей, ошелолила его беспредельно. Все мы, в то время только что выступавшие на литературную дорогу, любившие ее со всем энтузиазмом юности, по нашей любви к искусству не могли даже хоть сколько-нибудь сравниться с большим и кончившим свою деятельность Белинским. Мучимый постоянно измучительною ангорскою, не имея возможности дышать свежим воздухом, Белинский во все длинные вечера зимы (1848 г.) не сказал при нас ни одного слова о своей болезни, ни разу не пожаловался на скуку и на сиденье в четырех стенах. Он любил говорить о политических событиях, расспрашивал про городские новости, но главный и любимейший разговор его был о русской литературе, старой и новой, со всеми ее светлыми и мрачными, забавными, утешительными и безобразными сторонами. Он знал тысячи литературных преданий, анекдотов и странностей, множество эпиграмм и стихотворений, нигде не напечатанных или затонувших без следа в каком-нибудь забытом издании. Он был друг и добродетельщик всякому, кто любил дело русского слова; нам, по временам, казалось, что даже к гнусным и отвратительным литературным личностям Белинский испытывал то чувство, с которым страстный натуралист смотрит на скверных, но любопытных гадюк или насекомых. Ни о каком Ферсите не говорил он *guarda e ravaia*²; если Ферсит писал глупые стихи, он знал из них самые вопиющие отрывки, если Ферсит был пода и злонамерен, Белинский наизусть помнил все лучшие эпиграммы, на него сочиненные, мог рассказать все шутки, когда-либо с ним сыгранные. Если б все Ферситы провалились сквозь землю, он показал бы даже о Ферситах: и они

имели свою роль в общем целом. Белинский, несмотря на свою горячность, уважал чужие мнения, с сознанием своего человека выслушивал все доводы, часто противные его собственным убеждениям, но одного он не мог пережить в беседе – а именно сколько-нибудь презрительного отыва о русском искусстве. При нем можно было горячо оспаривать достоинства «Мертвых душ», с азартом не находить красот хоть в «Руслане» Пушкина, но небрежно-холодный отыв (а небрежные взгляды на литературу тогда были в ходу гораздо более, чем теперь) о чем-нибудь честном и замечательном, хотя бы и не очень талантливым произведении был смертельным приговором для самонадеянного гостя. С человеком, его себе дозволявшим, Белинский уже не мог никогда ладить даже наружно.

Таким был Белинский за несколько месяцев до смерти, таким был он и при начале своей деятельности. В первом из своих обширных произведений, напечатанном в Москве 1834 года под заглавием «Литературные мечтания», он, без всяких приготовлений и маневров окольными путями, прямо вышел перед читателями все сокровища той любви к искусству, о которой сейчас мы говорим с такой подробностью. Статья была замечена всеми мыслящими людьми, хотя главнейшие достоинства ее не вдруг дались всякому, да, может быть, еще не совсем ясны были и самому ее автору. «Литературные мечтания» возбуждали целый хор бранных протестов и много хвалебных толков – о брани мы теперь говорить не намерены, о похвалах скажем только то, что они касались подробностей труда, не относясь к величию идеи, его проникавшей. Иным из сочувствовавших лиц пришлось по сердцу пламенная оригинальность изложения, другие пленялись чистосердечным обращением юного критика со многими, всем надоевшими авторитетами, третьи, наконец, читали и перечитывали «Мечтания» из-за множества литературных шпильки, в них рассыпанных. Так сочувствовали Белинскому знатоки и ценители, именитые голоса на литературных беседах, но иначе смотрело на нового критика молодое поколение умных

людей, не знакомых с литературной рутинною. Для этого поколения, еще безгласного, неопытного, раскиданного повсюду, но воспримчивого сердцем, «Литературные мечтания» казались откровением своего рода и истинно новым словом. Оно еще не выяснило перед собою, за что именно любит Белинского, за что ценит его первый труд, а уже любовью его родилась, разрослась и окрепла. Да и могло ли быть иначе? В первый раз перед ним раздался голос человека, выкопченного в искусство. В первый раз перед ним заговорили о будущих великих судьбах русской литературы. В первый раз этому воспримчивому поколению было сказано с вдохновенной горячностью: не стой на коленях перед азбукой искусства, но иди далее; в первый раз ему было передано огненным словом, что литература не роскошь жизни, а сама жизнь, что она есть плод свободного вдохновения и усердий людей, созданных для искусства, дышащих для него одного и воспроизводящих в своих низших созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат – людей, выражающих в своем творчестве внутреннюю жизнь этого народа до сокровеннейших глубин и бдений. В истории такой литературы, говорил юный критик, нет и не может быть скачков; напротив, в ней всё последовательно, всё естественно; в ней нет насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния!

К такому голосу и такой речи не были привычны молодые люди 1834 года. В них сказывалась мысль человека, каких еще не видела Россия, то есть человека, беспрельдно любящего русское искусство и действительно дышащего только для него одного. Перед тоном «Мечтаний» исчезало даже достоинство подробностей статьи, весьма замечательных, но нам известных извне, или уже не совсем новых в критике. Взгляды на народность в искусстве и на нравственное значение поэзии, при всей их здравости, не были особенной новизной после дилемматических статей Полюевого, литературные шпильки и толчки, расточаемые разным авторите-

там и авторитетикам, была только продолжением той смелости, за которую сам Белинский называл покойного Никодима Аристарховича Нащокина² своим учителем и предшественником. Но в главной мысли своих «Размышлений» и в тоне статьи, прямо зарождающей этой мыслью, Белинский не имел ни учителей, ни предшественников. Никто до его времени не относился к русской литературе с такой страстной любовью, и никто до него не мог и не имел права говорить таких, навевших беспредельной любовью, слов: «Истинная эпоха русского искусства наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо сперва, чтоб у нас образовалось общество, в котором бы выразилась могучая физиономия русского народа, надобно, чтобы у него было просвещение, созданное нашими трудами, возросшее на родной почве. У нас нет литературы, повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. Век ребячества проходит видимо. И дай Бог, чтоб он прошел скорее. Но еще более дай Бог, чтоб поскорее все разувенилось в нашем литературном богатстве. Благородная нищета лучше мечтательного богатства. Придет время, просвещение разольется по России широким потоком, умственная физиономия народа вывяснится; и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученые, ученые, ученые!.. Сам Гомер, если верить преданиям, ревностно изучал науку и жизнь, обошел почти весь известный тогда свет и сосредоточил в лице своем всю современную мудрость. Гёте – вот Гомер, вот прототип поэта нынешнего времени! Итак: нам нужна не литература, которая, без всяких с нашей стороны усилий, явится в свое время, – а просвещение!...»³

Ты проснись, во мраке спящий брат! Этот стих невозможно пропустить нам в голову после прочтения строк, сейчас приведенных. Сколько любви, сколько страсти было нужно для того, чтоб написать их, сколько любви и страсти потребовалось для того, чтоб всю жизнь проводить эти мысли и сделать их не одной вымышленной

в горячую минуту, а целым принципом деятельности! Тут заслуга заслуг и ключ к разумению лучших страниц Белинского. Одним ласковым призывом вполне можно было разбудить крепко спящих, одними легкими заметками честного дворянства не пересоздать забавы кружка дворянства в могучую силу целого молодого народа! Один горячий призыв, на, вернее, целая жизнь, им наполненная, могла пробудить в русском обществе сознание важности родного искусства в деле нашего просвещения. Любовь к искусству и просвещению дали Белинскому силы на подобную жизнь, и страсть, жившая в его душе, сообщила его призывам магическую силу. Со дня появления в печати «Литературных мечтаний» всё призывание критика определялось с легкостью. Насмерть бороться со всем, что вредит родному искусству, всюду открывать то, что может его обогатить и возвысить, – эта двойная задача вполне обнимала и обнимала ныне собой всю деятельность начинавшего критика. <...>

Итак, пройдя без особенного сочувствия многие из мелких статей Белинского за первое время его деятельности, мы остановимся лишь на трудах пространных и написанных с несомненным одушевлением. Первая из них, напечатанная в «Телескопе» за 1838 год, называется: «О русской повести и о повестях Гоголя», по поводу «Арабесков» и «Миргорода». Эта статья чрезвычайно важна по многим причинам. Во-первых, она отличается глубоким и блистательным взглядом на талант Гоголя, в то время еще не отделенного критиком от массы второстепенных талантов, во-вторых, в ней есть верные взгляды на многих писателей, contemporaries Гоголю, в-третьих, наконец она служила необходимым в то время дополнением к идеям и положениям в статье «Литературные мечтания». <...>

Если «Литературные мечтания» отчасти заставляли собою предполагать в их авторе слишком большую склонность к отрицанию хороших сторон в современной ему литературе, статьи о повестях Гоголя⁶ быстро рассеивая все сомнения, раскрыла всю поэтическую вос-

торженности, с которою молодой критик был способен глядеть на всё действительно даровитое в родном искусстве. Статьи, про которую говорим мы, начинается несколько сходно с «Мечтаниями» – автор ее применяет к русской повести всё высказанное им обо всей современной литературе, перебирает русских повествователей своего времени, отдавая каждому свою долю похвалы, высказывает причины их общей неудовлетворительности. После глубоких и до сих пор остающихся верными взглядов на значение повести и важность непринужденного, действительного творчества он переходит к Гоголю очень спокойно. Спокойно, даже слишком спокойно, он говорит, что видит в молодом писателе несомненный талант, уступающий таланту первых, чужеземных мастеров дела, но талант самообытный и несомненно поэтический. Тут Белинский видимо сдерживает себя, как бы боясь упреков в преувеличении и противоречии всего им сказанного с его же выводами о бедности современной русской литературы, но эта минутная сдержанность только придает особенный жар и неподдаемую силу страсти приговора, которые следуют. Действительно, чуть начинается разбор произведения Гоголя, критик весь вспыхивает, и могущественнейшее вдохновение зоркого поэта бурным водопадом рвется во все стороны. К отрывкам и истолкованиям, высказанным в эти вдохновенные минуты, самый тонкий ценитель нашего времени, по истечении двадцати пяти лет, после целых томов, написанных о Гоголе, не в состоянии прибавить одного слова.

«Скажите, – говорит Белинский, – какое впечатление производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не застывает ли она вас говорить: “Как всё это просто, обыкновенно, естественно и верно, – а вместе как оригинально и ново?” Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, и окружить их теми же самыми обстоятельствами, так повседневными, так общи-

ми, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы давно его знали, долго жили с ним вместе?.. Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что всё рассказанное автором есть самая правда, без всякой частицы вымысла? Какая этому причина? Та, что эти созданные означены печатью истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий – суть верные, неопровержимые признаки творчества, это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни коротко нам знакомой... Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, наговорить громких монологов, обмануть читателей блестящею отделкою, красивыми формами, сильным содержанием... Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической, – и намерное, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, козодное и бездушное сочинение утомит вас безотцов. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, нелепостями и кощунством этих живых насмешек на человечество, – это удивительно, но заставить нас потом пожалеть об этих изытках, пожалеть от всей души, заставить нас расставаться с ними с каким-то глубоко дружеским чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: "Скучно на этом свете, господа!" – вот, вот она, то величайшее искусство, которое называется творчеством, вот он, тот художественный вылаз, для которого где жажда, там и утоль! И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и нежности! Возьмите его старосветских помещиков – что в них? Две пародии на человечество в про-

долгие несколько десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится истари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, – а между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, а потом рыдаете с Паласмоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой неземной горести и сердитесь на его племянника, промотавшего достойные двух простаков. И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видая таких картин и не слышав о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно, – оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев. Это чувство привычки... Можете ли вы предположить возможность мужа, рыдающего над гробом жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакой? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет и с которой у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге, и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения, – которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо нее проходили? О! привычка великая психологическая задача, великое таинство души человеческой... Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы? И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым людям и горько страдает, лишась их! И что же еще? Г. Гоголь сравнивает нашу глубокое человеческое чувство, нашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее нашей страсти, и вы стоите перед ним потупив глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем...»

Эти страницы удивительны – и подобное истолкование творений гениального писателя достойно того, чтоб составить эпоху в истории литературы и более зрелой, чем наша. Окончание статьи, теперь нами разбираемой, несколько не ниже, и мы должны бы были выписать целиком более двадцати страниц, если б желали познакомить читателя со всеми ее красотами. Но сочинения Белинского теперь в руках у каждого образованного человека, и наши выписки не нужны. Пусть читатель сам обратит внимание на разбор «Невского проспекта», на характеристику Хомы Врута, на краткий, но изумительно поэтический отчет о значении «Тараса Бульбы» как истинной эпопеи, в которой выражается вся Малороссия XVI века. Счастливы писатель, которого так истолковывают и оценивают, – счастлива и литература, которой юные прозаики вызывают такую силу любви и страстного понимания!

Великая любовь к родному искусству составляла корень всех лучших достоинств критика Белинского – эта же самая любовь с самого начала обусловила собою успех его пламенной деятельности. То же поэтическое чутье, та же критическая зоркость, та же правда и притворных, – не будь они согреты страстью, про которую говорится, – прощан бы без резкого сада, прощан бы, может быть, несколько не затронул читателя. В публике, мало развитой, ублаживаемой легким дидактизмом, прозаической глупости на русское искусство как на изделие утонченной роскоши, с холодным и сдержанным словом не уйдешь далеко. Такое слово, может быть, будет оценено немногими избранныками, но вся масса народа к нему не идет. Но эта масса, до того равнодушная к делу, тот час же знакомилась и раскрыла глаза, когда громкий и страстный голос закричал ей: «Да здравствует и процветает могучее русское искусство, если не в настоящем, то в будущем! Глядите, вот оно – это искусство, со всеми его начинаниями, неудачами и залогами славы! Смотрите сюда, вот люди, его понимающие и отдающиеся ему всем сердцем своим и всей мыслью своей. Склонитесь перед этими людьми и уразумейте их высокое значение!»

Невозможно не радоваться тому, что Белинский, с первых же годов своей критической деятельности, очутился лицом к лицу с деятелями хотя немногочисленными, но истинно сильными, истинно глубокими и, что всего важнее, еще не оцененными русской публикою. Новые таланты выступали на сцену, самая низина талантов этих возбуждала колебания ценителей, и только страстное, сильно проработанное слово страстного критика могло покончить означенные колебания. Гоголю, в периферии его начинаний, одобрение Белинского оказалось бесценным, не только потому, что сосредоточные взгляды мыслящих людей на таланте Гоголя, но потому, что еще перед самым потоком разъяснено всю сущность его призывания. Ни при каких размысликах, ни при самых заблуждениях творца «Мертвых душ» он не забывал услуги, ему оказанной, и когда впоследствии Белинский не одобрял нового направления, принятого Гоголем, это неодобрение до глубины души поразило великого писателя. Перед всяким сильным, неподдельным дарованием критик Белинский вел себя так же, как это мы сейчас видели по поводу новостнователя Гоголя; он с жаром говорил читателю: «Дорогу новому деятелю русского искусства!» – и ни одного раза слово его не проходило мимо. Как лучшее подтверждение слов наших можем привести статью «Телескопа» о Комацове и большой этюд по поводу «Героя нашего времени», помещенный в «Отечественных записках». Итак, в первые семь лет своей карьеры критик встретил на пути своем Гоголя, Комацова и Лермонтова и встретил их не слабыми, не увенчанными общей хвалой, но темными, неясными для массы и для самих себя, встретил их на самом пороге художественной деятельности. Нерушимая сила этих трех имен всего лучше скажет о том, чем был для них Белинский. «...»

II

«...» Известность Белинского как критика росла с каждым годом, и самая ярость его противников сви-

детельствовала о том, что голос, так им ненавидимый, не понапрасну гремит в русской литературе. Борьба за любимое дело улыбалась нашему критику, который сам говорил в одной из своих рецензий: ужасно стоит оскорбляться тем, что люди посредственные, холодные к делу истины, лишенные огня Прометеева, провокагисят нас крикуном или ругателем? Понятна ли нам западничость, справедливая в самой несправедливости? Понимаете ли вы блаженство избесить жалкую посредственность, расшевелить мелочное самолюбие, возбудить к себе ненависть ненавистного, злобу злого?! С своей горячностью и готовностью на всякую борьбу во имя искусства Веллинский был страшным противником для многих, и самое обилие его антагонистов показывает, что ему было с чем бороться. <...> С зоркостью гениального ценителя Веллинский разделяла все дурное и вредное в русской литературе того времени на два отдела: к одному относит он все устарелое и отживающее и, следовательно, не требующее особенно энергического противодействия со стороны свежей силы; во втором считает он только то, что может ослепить и увлечь, по своей коварности, довольно разумную и еще развивающуюся массу публики. Через это мы замечаем в статьях Веллинского одну странность, которая только с виду кажется странною. Лица, оскорблявшие Веллинского всеми мерами, вредившие ему всеми дозволенными и недозволенными способами, корифей старой «Северной пчелы», псевдоклассики, отжившие Аристархи, почти не возбуждают гнева Веллинского, – говоря о них, он никогда не возвышается до филиппик; шутка, ирония, эпитграмма, восстановление фактов, ими искаженных, – другого оружия он против них не употребляет. Наоборот: лица, одаренные талантом, чистые от журнальных интриг, уважаемые в своей частной жизни и не праждовавшие лично с Веллинским, подвергаются всей страшной силе его полемик. О г. Вульгарине наш критик говорит шутливо, на людей, подобных Мараннскому, Бенедиктову и Загоскину, он ополчается как на истинных противников,

притягивая за каждым из них несоизмеримую долю дарования, но не давая пощады малейшему недостатку, кидаясь в бой *à la pique, à la charge, à la trêve*⁷. Нужно ли истолковывать значение этой тактики? Г. Буагарин и его единомышленники борьбы настоящей не стояли. Они как будто пользовались авторитетом, они имели своих читателей, но прощительный глаз человека, преданного родному искусству, хорошо видел, что они стоят, как гнилое дерево, до первого ветра, стоят и не дают никаких отпрысков; г. Бенедиктов в поэзии и Маранеский в прозе были новым делом, и проза, воздвигнутая на них Белынским, только делает честь их личности и их временному значению. Труды их читались с жадностью и питали собой молодежь, личности их не отталкивали от себя, а возбуждали симпатию, деятельность их стояла внимания, но в то же время эта деятельность, по искреннейшему убеждению Белынского, была вредна для литературы. В этой деятельности видел он, во-первых, сбавление с извращенными теориями нестойкой французской словесности, во-вторых, пагубный пример для начинающих деятелей, в-третьих, помеху пониманию публикою писателей более даровитых. Мы далеки от того времени, когда страницы из «Фрегата Надежды»⁸ звучивались наизусть восторженными юношами, а повести Гоголя считались чем-то испорченным, потому-то нам и не всегда легко понимать гневное отношение Белынского, например, к повести «Фрегат Надежда». Зоркий на подробности, еще более зоркий в деле общих выводов, наш критик мог назваться единственным критиком того времени, разумевшим во всем громадное значение простоты в искусстве. С идеей об этой простоте для него сливались все залоги будущности драгоценной ему русской литературы, то есть ее самобытность, ее национальность, ее сбавление с жизнью, ее разрыв с чужестранной рутинной. К этой простоте он рвался всей душою из душевного склепа, в котором лежала литература, стремился вынести ее на чистый воздух, к солнцу и свету. «...»

Всё риторическое, яркое, эффектно рассчитанное и поэзия казалось Беллинскому не простым литературным грехом, а преступлением перед развивавшеюся публикою, вредом для кода истинных поэтов, поруганием тому алтарю искусства, перед которым он служил так благородно. Тут загадка его запальчивости, его раздражения при борьбе, его неукротимости в нападениях и отпоре.

Но — скажут нам, быть может, — была ли так необходима эта запальчивость и неукротимость, это неуклонное гонимое на некоторое число честных мыслей, гонимое, кончившееся лишь со смертью Беллинского? Не было ли достаточным со стороны критика одно твердое указание на вред ненавистной ему школы? Неужели ее корифей не был в состоянии с годами уразуметь свои собственные недостатки? Неужели для поэмы искусства Беллинскому было необходимо, во время долгих годов своей деятельности, постоянно оскорблять писателей симпатических и, при всех погрешностях, чистых от всякой литературной грязи? Признаемся откровенно, мы и сами одно время так думали и, по обыкновению, высказывали нашу мысль без утайки⁶. Но с годами и наша точка зрения изменялась. Три тома, лежащие перед нами, во многом этому содействовали. В этих трех томах мы нашли ясное доказательство той мысли, что при шатком и испролом состоянии нашего искусства критику необходимо уперство и неуклонное, долгое проведение всякой новой мысли, как бы эта мысль ни была общедоступна. Мы еще не должны до той поры, когда одно слово мудрого ценителя может искпровергать заблуждения и выводить заблуждающуюся массу на ровную дорожку к истине. Рутинизм именно силен там, где она бессознательна. Перед этой бессознательной рутинной погибало не одно благое начинание самого Беллинского. Если хотите видеть постибель одного из таких начинаний, пересмотрите статьи Беллинского о театре, разбросанные по всем трем томам. Тут найдете вы загадку на вопрос, издавно приведенный нами, тут, по аналогии, вы отыщете причину, по которой неотступ-

ная и неуклонная борьба с риторической школой русской литературы была истинно необходима и действительно неизбежна.

Белинский начал писать о театре около 1835 года в московских журналах и прекратил эту деятельность около 1840 года, когда с поступлением его в число главных сотрудников «Отечественных записок» поприще нашего критика значительно расширилось. «...» По здравости и новизне высказанных идей театральные разборы Белинского – совершенство своего рода, и во всяком другом обществе могли бы совершить целый драматический переворот, подобный перевороту, совершенному «Драматургиею» Лессинга¹⁰. В этих кратких рецензиях указаны были все извы и пороки русской сцены – ее рутинность, ее зависимость от прихоти масс, ее подражательность, ее стремление к аффектации и противоположенности. И обличение в этом деле не было обличением бесплодным: рядом с безнадежными сторонами русского театра Белинский указывала на средства его обновления, приветствовала постановку шекспировских драм, разъяснял талант Мочалова, требовал от артистов любви к делу, высказывала великое значение простоты в искусстве, так им чтимой. Но что же вышло из всех этих начинаний? Чуть обстоятельства удалив Белинского от театра, сила правды, им высказанной, стала слабее заметно. Критик не мог в одно и то же время протянуть свою руку и литературе и театру, последствия того до сих пор нам видны в той бездне, которая в наше время лежит между русским театром и русской словесностью. Все, что в словесности нашей давно уже вымерло и отброшено навеки, еще со всей силой живет на театре. Все положения, все уроки Белинского верны до сей поры. На наших афишах до сих пор безобразные изделия французского вкуса стоят рядом с созданиями Шекспира и презреннейшие водевили, драмы «Картуз» и «Идиот», даются попеременно с последним поэтическим произведением Островского! Продумавши обо всем этом, можно, и не учившись в семинарии, разрешать все со-

мнения о том, прав ли был Беллинский, так неуклонно и так долго проводивший свою мысль о гибельном влиянии риторической школы в литературе. Отправившись от печального зрелища, представляемого нам современною русской сценой, мы можем представить себе с должной ясностью тот вред, который был бы нанесен всей литературе в том случае, если бы риторическая школа при всякой своей попытке на действительность не встречала неумолимого отпора в Беллинском. Пример театра у нас перед глазами, и мы хорошо знаем, чем именно грешит русская сцена. Все указания были ей сделаны, все новые пути были ей открыты, но отпор заблужденным не мог совершаться постоянно – и русская сцена получала все благотворные уроки, ей преподанные.

Заговоривши о статьях Беллинского, относящихся до театра, мы не можем не сказать нескольких слов об общей физиономии этих статей, в высшей степени деланных и в высшей степени логических. Судьбы драматического дела как отрасли родного искусства, так драгоценного нашему критику, не могли не занимать собою мыслей Беллинского. Но этого мало, наш автор любил театр еще своей собственною, особенною любовью. Быть в театре, спорить о театре, писать о театре – считал он за наслаждение, за светлый отдых от бурного труда и насущных тревог жизни. Беллинский до конца своего принадлежал к разряду тех счастливых юношей, которые по выходе из театра «к Шнамеру заказывают в гости», унося в своем воображении испанскую улану с мавританскими строениями и кудрявую голышку, выглядывающую из полуоткрытого готического окна, и звуки гитары, и тихий плеск фонтанов по мрамору, одним словом, все то, чего не существует на нашей бедной сцене. «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр?» – говорит наш критик в одной из своих первых рецензий. «Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, запясневшую от сухой и скучной прозы жизни, затем, что он возмужает нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает

нам новый, преображенный и длинный мир страданий и жизни! В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений илищного, если не разделяет их с другою душой. А где же этот раздел является так торжественным, так удивительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердца бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи отдельных лиц сливаются в одно общее целое в гармоническом сознании беспредельного блаженства?...»¹⁰ «...»

Очень часто один том критической статьи бывает важнее всего ее содержания – то же самое мы видим во многих статьях нашего автора о театре. Перед глазами их тона и подробностей меркнет многое, невзирая на то, что предметы разборов иногда очень важны и касаются (как мы видели) самой сущности дела русского театра. Но ни оценка мочаловского Гамлета, ни мастерской разбор значения Каратыгина, как трагика, не в состоянии вполне завладеть нашим сиюминутным. Оно уже отдано самому Белинскому, а там, где Белинский поштен, актеру остается отойти на задний план, хотя бы этот актер звался Мочаловым. В театральных статьях нашего критика разбросано несколько эпизодов и отступлений, несущих на себе светлую печать личности самого критика, многие из означенных отступлений драгоценны для лиц, его знавших. «...»

Половина силы Белинского, как ценителя, заключалась в его способности на восторженность. Кому неизвестно, что одаренный от Бога человек в минуты душевного восторга видит и дальше и глубже остальных людей, с тем и толковать нечего. Белинский бывал счастлив, уже подходи к театру, колышавшейся занавес и одно ожидание хорошей пьесы повергали его в горячее настроение духа, и все его статьи о театре показывают, к какой зоркости и к каким выводам вело его сказанное настроение. Перечитайте то, что он пишет о постройке «Гамлета», что говорит он об «Отелло» Шекспира, и припомните то, что Белинскому, и прежде

всех Беллинскому, Мочалов одолен восторженным признанием великих сторон своего таланта. С переездом нашего критика в Петербург пылкие отношения его к судьбам русской сцены охладели, что и заметно в его статьях, писанных из Петербурга. Каратыгинская пьеса артистов не пришлась Беллинскому по сердцу, точно так же, как не пришлась по нем трескучие драмы Полевого и Кукольника¹². Отдавая отчет о «Велизарии» и разных водевнях Александринского театра, рецензент дамок от того восторга, с каким ходил он по Петровскому парку, дожидаясь часа представления, зато и статьи его о петербургском театре деланы и основательны, но не могут равняться со статьями, на которые мы недавно указывали.

В одной из статей первого тома своих сочинений (стр. 93) Беллинский говорит, что он любит драму предпочтительно перед эпикой, лиризмом и так далее. «Между искусствами, — продолжает он, — драма есть то же, что история между науками»¹³. Драматическая поэзия кажется ему если не лучшим, то во всяком случае ближайшим к нам родом поэзии. В трех томах, находящихся перед нами, мы постоянно встречаем след этого убеждения. Переставши писать статьи о театре, редко посещая залу, где раздавались крики Каратыгина и водевильные куплеты актрис в мужском платье, Беллинский, однако, не позабыл стремлений своей юности. Замечательное драматическое произведение, появившись в печати, воодушавало его почти так же, как будто бы он его сейчас только видел на театральных подмостках. Эпюд по поводу «Горя от ума»¹⁴ в новом издании [том 3-й] содержит в себе не только превосходную характеристику Грибоедова-драматурга, но множество замечаний о сущности комедии и, сверх того, подробный разбор Гоголева «Февисера», разбор, до сих пор остающийся свежим и верным во всяком слове. К этому эпюду и до сих пор должно обращаться не одним литераторам или историкам литературы, но и всякому добросовестному актеру, желающему извлечь из своего таланта всё, что следует. Другим сле-

дом любви Белинского к драматическому искусству осталась нам его рецензия на «Гамлета» в переводе Полевого¹⁵ – с одной стороны, кладающий яркий свет на отношение русских переводчиков к Шекспиру, а с другой – полная горячими приветами смелой попытке к популяризированию у нас Шекспирово гения. Рецензия, нами названная, стоит внимания еще в другом отношении, как опровержение довольно распространенного мнения о крайней нетерпимости Белинского, о его суровой вражде ко всем людям, не принадлежавшим к его собственному лагерю. К этому лагерю Полевой не принадлежал, и мнения и труды Полевого много раз враждебно встречались с убежденными Белинского, но достаточно было Полевому взяться за Шекспира, и память несогласий пропала, и честному труду первая завидная дань была отдана пером первого нашего критика.

Как другой пример терпимости и беспристрастия к трудам писателей самого несимпатического Белинскому кругу мы можем привести рецензию на сочинения г. Греча¹⁶, напечатанную во втором томе разбираемого нами издания. Самому поверхностному из читателей хорошо известно отношение г. Греча к всех его изданиях к Белинскому, связь названного нами писателя с Федосеем Булгариним и оскорбительные нападения «Северной пчелы» не только на литературную деятельность, но на частную жизнь и не подлежащие литературному суду мнения Белинского. При таких обстоятельствах и жвачь и нетерпимость почти что извинительны, но, к удивлению нашему, в рецензии на сочинения г. Греча мы встречаем тон истинно беспристрастный и почти симпатический. Оставая в стороне полемическую деятельность разбираемого автора, справедливо снисывая с г. Греча всякую ответственность в деле художества, Белинский тем не менее отдает ему полную справедливость как образованному литератору, умному туристу и занимательному рассказчику. В начале статьи Белинский нападает на обычные пристрастие журнальных отзывов и шутит над читателем, который, по всегдашней рутине,

узнавши, что Беллинский пишет о Греке, готов воскликнуть: посмотрим-ка, как его тут отделали! Вся рецензия, о которой мы не имеем возможности говорить подробно, с известью говорит о том, насколько наш критик был тверже, независимее и просвещеннее просвещеннейших из своих товарищей по журналистике.

Откуда же, наконец, спросят нас сызнова, возмелось общее убеждение о пламенном задоре и нетерпимости статей Беллинского? Убеждение это, само по себе преувеличенное и распространенное противниками нашего критика, покоится на двух основаниях. Первое из них – отношения Беллинского к риторической школе, которой, как мы видели выше, он не давал пощады ни отдыха, а второе – деятельность его немногих последних годов, омраченных недугом, гонениями и нуждою. В эти годы нашему автору случалось быть несправедливым к лицам, одаренным от Бога, случалось грешить перед целыми кругами мыслителей, имевших всё право на сочувствие (назовем партию писателей, звавших себя славянофилами), случалось, из принципа, воскипаться посредственными литераторами, которых вся заслуга заключалась в добрых намерениях и тенденциях, ему симпатичных. Но и тут, скажем торжественно, – он часто бывал неправ, – никогда не бывал зло и мелок. Это мнение мы хранили всегда и никогда его не изменяли. Ошибки его были ошибками порывистой натуры, благородной во всем, начиная от убеждений до последних мелочей спора. Он бился горячо и честно, и этот бой всегда имел вид поэтического поединка пред лицом света, не мелкой драки, о которой говорить люди совестятся. Нападая на человека, Беллинский шел на то, чтоб сломить своего противника, подвергаясь всем случайностям равного или неравного боя. Никогда не кидался он на своего недруга затем, чтобы с бешенством показать ему язык и, свершив это дело, укрыться в какую-нибудь трущобу. Оттого-то мы теперь и видим такую страшную разницу между Беллинским и мальчишками, которые, заимствуя от него одну горячность и резкость манеры, думают, что познали дух мудрого кри-

тика. Там, где Белинский болся истинным рыцарем, — они только могут с бешенством показывать свой язык всякому проходящему.

III

«...» Статьи наша выпала так объемиста, что нам не остается места для пересмотра главных эстетических положений нашего критика в их общем очертании. До сих пор мы говорили о взглядах Белинского в их применении к важнейшим явлениям современной ему русской литературы и русской сцены — для того, чтоб передать теоретические основы этих взглядов, потребна работа весьма многосложная и довольно бесплодная. Читатель неспешательный соскучится сухим обзором, читатель, глубоко любящий Белинского, сам сумеет отыскать те статьи, в которых проглядывает философская сторона главных его положений. Мы, с своей стороны, можем лишь руководить читателя, назвав ему этюды и рецензии, стоящие особенного внимания в означенном отношении. Таковы, например, в первом томе: «Литературные мечтания», статьи о русской повести, начале рецензии стихотворений Баратынского, разбор стихотворений Кольцова и Бенедиктова. Во втором же томе назовем: «Отчет г. издателю "Телескопа" за последнее полугодие русской литературы» и статью, за ней следующую, две статьи по поводу «Гамлета», в третьем особенно замечательны: «Месяц», критик Гёте, рецензия на «Горе от ума» и повести Марининского, наконец, разбор «Героя нашего времени» и, особенно, начало этого разбора. «...»

¹ Первые статьи Белинского печатались в 1834–1835 гг. («Москва», «Телескоп»), последние — в 1848 г. Две «столбы» в творчестве критика, о которых говорит Дружинин, соответствуют двум этапам развития взглядов Белинского. Первый этап, когда Белинский рвался по преимуществу к эстетическим проблемам литературного развития, завершался приходом так называемого «призрачного» с действительностью (1837–

[1840 гг.]. Сидящей этап был сознанием надвигающейся социальной проблематики и пониманием литературы как средства просвещения и борьбы со «благотворными идеями».

¹ «Копали и проходили (мн.) Слыша Вергилия, обращенные к Данте («Божественная комедия», «Ад», III, 51).

² Николай Аристархович Надеждин – последний русский критик и журналист Н.И. Надеждина. Надеждин выступил против авторитарных себе форм «ископальмистических» и «ископальмистических», ратуя за новое «эстетическое» искусство. Критика Надеждина, особенно на первом этапе, отличалась неумеренностью и дерзостью тона. В изданиях Надеждина «Моя» и «Полная» сотрудничал Белинский.

³ Неточная и с пропусками цитата из статьи Белинского «Литературные митинги» (1834).

⁴ «Ты просишь, но враже нашей брат» – строка из стихотворения А.С. Пушкина «Ночь».

⁵ То есть статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя».

⁶ без выноски, не имя ни повести, ни передышки (фр.).

⁷ «Фрегат «Надежда»» – повесть А. Бестужев-Марлинского (1833).

⁸ В первой половине 1850-х годов Дружинин издавал еженедельный и еженедельный некоторые литературно-критические суждения Белинского, подчеркивая авторитетность по мнению критика – вот это оправдалось в статье «Критика романтического периода русской литературы...». В настоящей статье Дружинин не только пересматривает свое отношение к Белинскому.

⁹ Г.-Э. Лессинг был крупнейшим реформатором театра в Германии. Теория и практика его преобразований, наметивших главные пути развития сценического искусства, отражены в периодическом издании «Гамбургская драматургия».

¹⁰ Неточная цитата из заметки Белинского «Н мое мнение об игре г. Каратыгина» (1835).

¹¹ Иные в виду драмы Н.А. Погодина «Дедушка русского флота», «Парус-сибирячка» и др., вышедшие для Александровского театра, а также неопубликованные пьесы Н.В. Кукушкина «Рука истинного отечества» и др.

¹² Дружинин приводит суждения и выдержки из статьи «Литературные митинги».

¹³ Статья Белинского «Торе от ума». Комедия в 4-х действиях, в стихах...» (1840).

¹⁴ Рецензия Белинского «Гамлет, принц датский. Сочинение Вильяма Шекспира. Перевод с итальянского Николая Погодина» (1838).

¹⁵ Рецензия Белинского «Сочинения Николая Греча» (1838).

Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Завет Белинского.

Религиозность и общественность русской интеллигенции (публичная лекция)

Есть ли русская интеллигенция подлинное воплощение русского народного сознания и русской народной совести – об этом можно спорить. Но что другого воплощения нет сейчас, – кажется, бесспорно. Бесспорно и то, что в судьбах России, которые на наших глазах совершаются, русская интеллигенция, рано или поздно, примет участие.

Кто не желает, чтобы судьбы эти совершались помимо народного сознания и вопреки народной совести, не может не чувствовать, какая грозная ответственность падает на русскую интеллигенцию. Выдержит ли она эту ответственность?

Прежде чем решить этот вопрос, надо поставить другой вопрос, еще более грозный: существует ли русская интеллигенция, как связанная с народом, руководящая сила, умственная, нравственная и общественная?

В последние десятилетия, с 1905 года, немало попыток сделано для того, чтобы доказать, что такой силы нет, что произошло банкротство не какой-либо частной интеллигентской идеологии, а самой интеллигенции, – именно здесь, в ее живом сердце, в ее связи с народом. Вы, конечно, помните «кающихся интеллигентов», «хвощей» – Булгаковых, Эринов, Струве, Гершензонов, Евг. Трубецких, Флоренских и проч., и проч., которые уверяли нас, что в освободительном движении интеллигенция обнаружила, перед лицом народа, свое ничтожество, что интеллигенция разгромлена окончательно.

«Кающиеся интеллигенты» – ученики Достоевского. Ведь главное дело всей жизни его, завет его – показание во грехах интеллигенции, борьба с интеллигенцией. И

вот, в наши дни, эта борьба готова или как будто готова увенчаться победою, – в наши дни – дни Достоевского по преимуществу. На его улице праздник сейчас. Все его пророчества исполняются или опять-таки как будто исполняются: идея «востоканства», мечта о Царьграде как о твердыне будущей русско-византийской теократии, отречение от «гнилого Запада» и, наконец, разгром русской интеллигенции.

«Безбожие» сознание, «безбожная» совесть не могут быть сознанием и совестью русского «народа-богослова» – таково главное обвинение, которое на тысячи ладов повторялось и должно повторяться.

Об этом действительно или мнимом «безбожии» я и хочу говорить по поводу Беллинского, первого русского интеллигента. И, надеюсь, вы почувствуете весь реализм поставленного мною вопроса.

Ведь, если прав Достоевский и правы ученики его, что русская интеллигенция – ложное сознание, преступная совесть России, то положение наше, в самом деле, отчаянное. В любую минуту Россия может оказаться без всякого сознания, без всякой совести, ибо, повторяю, хороша или плоха русская интеллигенция, она все-таки единственная, – сейчас нигде нет другой.

Может быть, историческая справка моя о Беллинском послужит к решению этого вопроса.

Что Беллинский – прообраз всей русской интеллигенции, сознает и Достоевский. Вот почему он обрушивается на него с такою яростью в известном письме к Страхову (от 1871 года).

I

«Этот человек ругал мне Христа». Он «бил по щекам свою мать – Россию». «Это было самое смирное, тупое и покорное явление русской жизни». Таков приговор Достоевского над Беллинским.

Суд над Беллинским, первым русским интеллигентом, – суд над всею русскою интеллигенциею, потому что она вся в него, как дети в отца или внуки в деда.

Приговор Достоевского и наши дни скреплены окончательно, и в задроту Белинского не поднялось ни одного голоса.

Но вот вышел в свет письма его (I – III т. 1829–1848. Редакция и примечания Е.А. Ляцкого. СПб, 1914).

«Вся жизнь моя в письмах», – говорит сам Белинский.

Существует предание, что на Страшном суде перед каждым из нас развешется свиток, на котором написана вся наша жизнь, и что по этому свитку нас будут судить. Такой свиток – «Письма Белинского».

За него говорить уже нечего, – пусть он сам за себя говорит. Но прежде чем вслушаться в голос его, вглядимся в лицо: чтобы услышать говорящего как следует, надо сначала увидеть, кто говорит.

«Была, как только я приду к нему, он, исхудавший, большой (с ним сделалась тогда воспаление легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышимым голосом, беспрестанно кашая, с пульсом, бывшим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерывающую накануне беседу. Искренность его действовала на меня, огонь его передавался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два-три, я ослабевала, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде... Но с Белинским сладить было нелегко.

– Мы не решали еще вопроса о существовании Бога, – сказал он мне однажды с горьким упреком, – а вы хотите есть!» («Воспоминания» Н.С. Тургенева).

Тут что-то смешное, но над чем смеяться нельзя. «Не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова», – добавляет Тургенев. Смешное и грустное, жалкое вместе, трагикомическое, «карикатурное». «Я – Прометей в карикатуре! – восклицает Белинский, чувствуя в себе это смешное, неладное, нелюбое, несоответственное между внешним и внутренним, формой и содержанием, плотью и духом. – У меня дух не в пору тело».

Красота – в мере, в соответствии, в ладе души с телом. Этого ладу нет у него, и отсюда – «безобразие». «Природа

заклеймная лицо мое проклятием безобразия». Но если вглядеться пристальнее, то это не «безобразно», а только отсутствие ная недоконченность образа.

Человек небольшого роста, сутулый, нескладный, худощавый, с впалой грудью и погурой головой; одна лопитка выше другой. Все признаки чахотки. Постоянно кашляет. Лицо бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, отчетливо выдающиеся скулы, белокурые, плоские волосы. Вообще всё незначительно, «мизерабельно», как любит выражаться Достоевский о своих героях. Вот, кроме глаз. «Я не видел глаз более прелестных, чем у Беллинского», – вспоминает Тургенев. В этих глазах – страшно обнаженная душа – душа почти без тела.

Одеваться не умеет и не любит: плохо сшитый, поношенный, длинный свюртук всегда застегнут накриво.

Говорит слабым, хриповатым голосом, «как-то криво приподымая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом» («Воспоминания» Тургенева), «уперстает», волнуясь и спеша», но общими местами, так же, как пишет.

Неумолим, робок, застенчив до дикости. На улице терзается, путанно пробираясь вдоль стен.

«Я только в лесу таких волков видывал, и то травяных!» – воскликнула один провинциал, которому указан на Беллинского.

Не умеет в обществе ни стать, ни сесть. Однажды, на званом вечере у кн. Одоевского, облокотился на шиткий столик с бутылками; столик опрокинулся, бутылки полетели, разбился, вино пролилось к ногам гостей, а Беллинский, потеряв равновесие, упал на пол.

«Вот видите, я предупреждал вас, что наделяю каких-нибудь неправых!» – проговорила он, опомнившись, когда его подняли и вывели в другую комнату.

Физическая беспомощность, неспособенность к миру – таково свойство первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции.

Неискаянная отчаянность, нереальность, «недействительность»: «Чувствую свою недействительность»;

«Идеальность есть моя хроническая болезнь, которая глубже засела во мне, чем геморрой».

Это в самом малом и в самом большом. Однажды вымыл голову морскою водою, «четыре раза мыла, а грязи все-таки не смыл, потому что соленая вода уничтожает мыло... Моя голова до сих пор словно смолою намазана». Можно сказать, что всю жизнь не только в делах житейских «мыл голову морскою водою».

«Я – человек не от мира сего», – кается он, но не может исправиться. «Не от мира сего» – это метафизическая сущность христианства вообще и восточного, поднижнего, православного в частности.

Недаром род Белинских – старинный «духовный» род. Дед Виссариона Григорьевича, о. Никифор, был священником в селе Белини Пензенской губернии; вырастив детей, он удалился от своих и провел остаток жизни в посте и молитве полузатворником; в семье его считали «святим».

Внук вышел в деда. «Белинский вел жизнь чуть не монашескую», – вспоминает Тургенев. «Наша участь – схимничество»; «Как поглубже всмотришься в жизнь, то поймешь и монашество, и схиму», – говорит сам Белинский, не подозревая, из какой глубины это сказано.

Монашество – чистейшая закваска христианской духовности, бесплотности – не в уме, не в сознании, даже не в чувстве и воле, а в крови или где-то еще глубже крови, – в первоизданном существе этого первого русского интеллигента-«безбожника».

«Монашество» для Белинского – не подвиг, не призвание, а, как он сам говорит, «участь», предопределение, судьба, злая или добрая, но неодолимая.

«Монах» – от чрева матернего. «Родился я больным при смерти, груди не брал и не знал ее, сосал рожек, и то, если молоко было прожженное и гнилое, свежего не мог брать». Вот когда начал «поститься», «подвизнигчаться».

«Мать была охотница рыскать по кумушкам; я, грудной ребенок, оставался с нянькою, мамзетою девкою: чтобы я не беспокоил ее, она меня душила и била... Потом отец меня терпеть не мог – ругал, унижал, приди-

рался, был нещадно – вечная ему память! Вспоминает об отце и матери только для того, чтобы отречься от них: у монаха ни отца, ни матери.

После горячего детства – юность еще горячая: пища, голод и холод. «Хлеба нет... Пища эти строки, я беспрестанно бросаю перо, чтобы у печки отогреть мои окончившие руки, потому что в комнате хоть зимой морозы... Я весь обносился, шинелька развалилась, и мне нечем защищаться от холода».

Уже знаменитым писателем (в середине 30-х годов) живет в Москве, в каком-то закоулке между Трубой и Петровкой: внизу работают кузнецы; пробираться к нему надо по грязнейшей лестнице; рядом с его камеркою – прочная, из которой исходят испарения мокрого белья и вонючего мыла; комната не заперта, потому что в ней «страсть нечего».

Обета нищеты не давал – напротив, ненавидит и проклинает ее; но не умеет жить иначе: деньги, как вода, проходят у него сквозь пальцы. Нищета явная, тайная – «бессребренность», – тоже добродетель монашеская.

«Великий не был никогда любим женщиной... Сердце его безвольно и тихо встает» (Тургенев).

«Меня преследовала мысль, что природа заклеймила лицо мое проклятием безобразия и что потому меня не может любить ни одна женщина».

Никто так не чувствует соблазна женского, как великие девственники.

«Мне кажется, я влюблен страстно во всё, что посетит юбку. При виде женщины или промелькнувшего женского плеча я уже не краснею, но бледнею, дрожу и чувствую головокружение».

Влюблен во всех, не любит ни одной. Кажется, что любит, а как доходит до дела, все «кончается ничем». Что-то мешает ему, отталкивает от женщин. Не чувство ли пола и вообще плоти как неразложимое чувство греха – физиологический корень монашества?

Для монаха нет любви, есть похоть; нет брака, есть блуд.

«Я бросился в разгар и исхал в нем забвения, как пчелница идет в вине». Холоден и ужасен был мой разгар».

«Не проходит почти вечера у меня без приключения, то на Невском, то на улице, то на канале, то черт знает где; я уже не разбираю лица... Это разврат отчаяния».

«Внутри что-то ревет зверем и хочет оргий, оргий и оргий, самых буйных, самых бесчинных, самых гнусных... Но вот беда: другие хоть ужинать могут, а я отказываюсь от хорошего ужина, чтобы от него три дня не страдать жаждою». «Я не способен возмещаться даже и до оргий, – судьба и в этом отказала мне. Разве это оргия – преблагоразумно рассуждать о том, как предательски обманчива чувствительность: сумит много, а даст – ничего?»

И блуд, как любовь, кончается ничем. Все эти мимолетные женские образы, у которых даже лица нельзя разобрать, – бесплотные видения, «искушения св. Антония»: когда он хочет обнять их, то обнимает ничто. Пол – ничто, плоть – ничто, «обман дьявола» – это уже метафизический корень монашества.

«Я не могу видеть в одной женщине условие жизни». «Лучше сгнить в разврате, чем издохнуть о жестокой доле». «Брак – что это такое? Установление людоедов, оправданное религиею...»

Тут утверждение безбрачия как «жизни равноангельского», не по св. Антонию или Пахомию, а по Сен-Симону и Жеро́м Замк; но сущность та же: брак хуже блуда – ожесточенная мысль ожесточенного монашества-скопчества.

Жизнётся так же, как бросается в разврат, от отчаяния. Брачная жизнь его – сплошное самонистезание, умерщвление духа и плоти.

Явный брак, явный блуд – тайная «девственность» или «скопчество».

II

По природе – «мояка», а по условиям русской жизни – «мученик».

Недоучившийся студент, исключивший из университета, будто бы по «ограниченности способностей», а на

самом деле за «предный образ мыслей», он испытал, как никто, участь русского писателя – неслыханного каторжника, непойманного беглого – «Я все равно что беглый...».

Один полицейский чиновник, «покровитель талантов», заявил, что имя Беллинского равно имени «государственного преступника».

«Когда же к нам? У меня совсем готовый тепленький каземат, так дай вам и берегу!» – шутил с ним, встречаясь на Невском, генерал Скобелев, комендант Петропавловской крепости.

Умирающего, приглашают его в III отделение. За ходом его агонии следит полиция. Только внезапная смерть избавила его от физического мученичества.

«Я привык под обухом писать» – под обухом николаевской цензуры и «подъемца» Краевского. «Занятие пошлостью и мерзостью, известною под именем русской литературы», мучит его; но он все-таки любит ее и за это мучение: «Умру на журнале, и в гроб ведро поможить книжку "Отечественных записок"... Литературе расейской – моя жизнь и моя кровь; «Если бы чернила вос вышала, я отворил бы жилы и писал бы кровью».

Писатель, впрочем, не столько по призванию, сколько по необходимости: ему в России больше делать нечего. Литература для него – не созерцание, а действие, не отражение, а подлинник жизни.

В художественных оценках Беллинского – невероятные промахи.

«Данте совсем не поэт, а его "Divina Commedia" просто символика». Вторая часть «Фауста» – «галimatия». «Мне кажется, у вас чисто творческого таланта или нет вовсе, или очень мало», – говорит Беллинский Тургеневу. «Достоевский – ерунда страшная».

Однажды с яростью напал на Пушкина:

«Печкой горюх тебе дороже...

* «Божественная комедия» (латин.).

И, конечно, конечно, дороже. Прежде чем *любоваться* красотой истукана, мое право, моя обязанность накормить своих и себя! («Воспоминания» Тургенева).

Этот «печной горшок» – будущее писаревское «разрушение эстетики» – не то же ли христианское «умерщвление плоти», монашество?

Монашество – чистейшее православие, наследие о. Никифора, и есть «русская суть» Белинского.

«Он был именно русский человек... Он чувствовал русскую суть, как никто» (Тургенев).

«Чем больше живу и думаю, тем больше, сильнее люблю Русь». «Любовь моя к родному, русскому – страдальческое чувство». «Дураки – славянофилы, думающие, что европеизм нас вырождает и что между русским мужиком и русским профессором легла бездна».

Русская действительность приводит его в отчаяние: «грозно, мерно, возмутительно, нечеловечески». Но он все-таки не может жить вне этой действительности. «Страшное дело: он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию: уж очень он был русский человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе» (Тургенев). Едва ли даже не одна из слабостей Белинского именно то, что был слишком русский, только русский человек. «У нас две родины – наша Русь и Европа», – не мог бы он сказать, подобно Достоевскому.

«Я видел чудную природу... Но это скоро надоело мне». «Гулять не хочется, да и негде: теснота страшная, всюду люди. Приехав в Зальцбрунн, я начал выкладывать чемодан, и мне сделалось так грустно, что хоть и плакать».

Когда Бакунин предложил ему покинуть навсегда Россию, Белинский пришел в ужас:

«Бакунин – космополит в душе... А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы?... Ведь это было бы то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу».

«Он был по цикам свою мать – Россию», – говорит Достоевский. Не познав «русской сути» Белинского, первого русского интеллигента и всей русской интеллигенции, Достоевский не понял в России чего-то самого главного, самого русского.

«В жилах Беллинского текла беспримесная кровь нашего духовенства, столько веков недоступная влиянию иностранной породы» (Тургенев). В Достоевском больше, чем в Беллинском, чувствуется «влияние иностранной породы».

В своем империализме и национализме, в идее русского «народа-богослова», отыскивавший чуждым привкусом мессыанизма польского или даже немецкого (влияние Гегеля на всех вообще славянофилов), в своем смещении старца Зосимы полуафонского, полуитальянского (Франциск Ассизский) с Великим Инквизитором совершенно католическим, Достоевский, как это странно, – менее русский человек и даже менее «православный», чем «безбожный интеллигент» Беллинский в своем христианстве бессознательном.

III

«Подвизник», «схимник», «мученик», но без веры, без Бога, без Христа. Может ли это быть? А если не может, то в чем вера его? Лучший ответ на этот вопрос – «Письма Беллинского».

«Нет несчастнее людей, подобных мне, пока они не найдут в религиозных убеждениях прочной точки опоры для своей жизни... Такие люди – вечные мучители самих себя». – «Знаете ли вы, что такое *реинство* о Господе, *сведущая* человека?.. Что человек без Бога? Труп холодный».

Вот удивительное признание в устах «безбожника». Если так, то безбожие Беллинского (этот человек ругал мне Христа), безбожие первого русского интеллигента, а может быть, и всей русской интеллигенции – вовсе не конец, а начало пути, не то, к чему мы пришли, а то, от чего мы идем и, может быть, убегаем, спасаемся?

«В душе моей есть то, без чего я не могу жить, есть вера, дающая мне ответы на все вопросы. Но это уже не вера и не знание, а религиозное знание или *сономатальная религия*. Он ошибается именно религиозного

знания, сознания нет у него, а есть только религиозная стихия – религиозная вообще и христианская, православная, «монашеская» в частности.

Почему же не принимает он сознания, которое этой стихии соответствует, – сознания православно-церковного? Потому что религиозная стихия – «монашество» – только одна половина существа его, а другая половина противоположная – стихия революционная – «ненство»: Виссарион Ненстовый, по кличке друзей.

«Ненство», так же как монашество, – не в уме, не в сознании, даже не в чувствах и воле, а в крови ная глубже крови, в каком-то первоизданном существе Белянского.

«Я одарен движимостью вперед». «Ненство» и есть эта вечная «движимость», митежность, революционность. Но православные и, как ему казалось, христианство, религия вообще есть вечная недвижность ная движение назад – в глубоком, метафизическом смысле «сакция».

Нельзя человеку жить без Бога; «человек без Бога – труп холодный». Но «в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Вот противоречие, как будто бессмысловое, главная трагедия Белянского, первого русского интеллигента и всей русской интеллигенции: религия без догмата, вера без Бога; христианство без Христа.

Жажда веры неутолимая, «снедающая человека ревность о Господе» – и отсюда вечная «движимость», «стремительное домогательство истины», как определяет Тургенев Белянского. «Лучше хочу, чтобы сердце мое разорвалось на куски от истины, нежели блаженствовывать ложью», – как он сам себя определяет.

«В бешенстве я никому на свете не уступлю». «Я освирепел, опьянел от этих идей... сорвался с цепи... возрел...» «Возмуществовался»... Все ранно, от каких идей. От всяких. Отмеченнейшие идеи для него предмет не мысли, а чувства, «ненстовой» любви и ненависти.

«Да если бы вы обнаружали покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возмущался вас!» – пишет он обращенному в православие Гоголю. И в самом деле, покушение на мысль – покушение на жизнь Белянского, потому что никто так не живет мысляю, как он.

Мысль – жизнь, мысль – страсть и страдание – в этом главный дар его, «талант», не столько, впрочем, писательский, сколько человеческий.

«Сила моя не в таланте, а в страсти». В страсти и в страдании: «Для меня думать и чувствовать, понимать и страдать – одно и то же»; «Идею нельзя назвать – она сама вырывается». Идеи вырываются не только в ум, но и в сердце Беленького.

Вот почему кажущаяся жизнь ума его – действительная жизнь сердца.

«Я ная весь трепетная, страстная, томительная любовь, ная просто ничто, дрянь такая, что только поплевать да бросить». «Процессы моего духа всегда осуществляются в обстоятельствах потрясающих и ужасных... Я хватался за голову, боясь, уж не сошел ли я с ума, и подхожу беспрестанно к зеркалу, чтобы посмотреть, не поседели ли мои волосы».

В одном он ошибается, и от этой ошибки – вся его религиозная беспомощность: думает, что чувство и воля, «вера» его идут от мысли, от сознания, а на самом деле наоборот: мысли его идут от чувства и воли, от веры бессознательной.

Что мысль, как мысль, как отвлеченная диалектика, ему ни на что не нужна – он это и сам сознает: «Я ненавижу мысль...» «Отвлеченная мысль ниже, бесполезнее, древнее опыта»; «Моя природа враждебна мышлению»; «Так уж я создан, такая моя натура: рассуждение никогда и ничего мне не доказывает».

Ему важно не то, что соединяет, связывает мысли, выводит их одну из другой, а то, что разделяет их, противопоставляет. И даже не сами мысли, а то, что между ними или за ними – вечная «движимость» воли и чувства, т.е., в последнем счете, опыт – так «вера».

Вот почему вся умственная жизнь его – сплошная цепь не только антиномий метафизических, но и противоречий логических. Вот почему он мыслит тоже «нистово», скачками, падениями и взлетами – «эпизодами».

«Какими зигзагами совершалось мое развитие!» «Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда

не попадает в центр идеи». «У меня, что ни день, то новое убеждение». «Год назад я думал диаметрально противоположное тому, как думаю теперь... Я теперьшний болезненно ненавижу себя прошедшего». «Переходить от одной детскости к другой... право, стыдно писать, — ведь завтра же покажется глупо». Вчера — «абсолютная истина», завтра — «дичь»: «дичь, которую я изрыгал в неистовстве с пеною у рта».

«Необычайная стремительность к восприятию новых идей с необычайным желанием каждый раз растоптать все старое с ненавистью, с опасением, с позором. Как бы жажда отмыщения старому».

Это верно замечает Достоевский, но опять-таки не понимает главного: что всё сознательное мышление Белинского — бессознательные поиски веры; что его безбожие явное — тайная жажда Бога; что вечная «движимость» его, «нигилизм» не что иное, как «недавющая человека ревность о Господе».

А не поняв этого, Достоевский ничего не понял нам, хуже того, понял все наизувет в первом русском интеллигенте и во всей русской интеллигенции.

IV

«Бог был моей первой мыслью, человечество — второю, человек — третьей и последней».

Таковы три мысли, три веры Белинского.

В своем сознании, чтобы перейти к мысли о человеке и о человеке, он отказывается от мысли о Боге, делается «безбожником». Но что-то сильнее сознания мешает ему, возвращает последнюю мысль о человеке к первой мысли о Боге.

Белинский так и не сумел замкнуть круг своего сознания, свести концы с концами, соединить три мысли, три веры в одну. Но недаром выходит одна из другой, одна продолжает другую. И недаром все три вспоминаются вместе, в каком-то единстве несознанном. Замкнуть круг сознания, соединить первую мысль о Боге с

последнюю – о человеке – нельзя иначе, как в мыслях о Богочеловеке, о Христе.

«Этот человек ругал мне Христа». Но только о Христе и думал, только Христом и жил, потому что эти три мысля – вся жизнь Беллинского, а они все три об одном – о Христе, хотя и бессознательно или полусознательно.

Полусознание, раздвоенное сознание – от раздвоения чувства и воли, бессознательных. Как бы два Беллинских: внук о. Никифора, «монах» от чрева матерного, тот, который говорит: «я человек не от мира сего» – Виссарион Смирновский; и «белбожия», митескинг, человек, одаренный вечною «движимостью», тот, который говорит: «Я в мире боец», – Виссарион Невостновский. Один – в религии, другой – в революции. От одного к другому, от «монашества» к «невостновству», от религии к революции – таков путь Беллинского, первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции.

Мысль о Боге совпадает с его увлечением умозрительной философией Гегеля.

«Вне мысль во – призрак; одна мысль существенна... Что такое ты сам? Мысль, облеченная телом... Философия есть наука идеи чистой, отрешенной». «Конкретная жизнь – только в блаженстве абсолютного знания». «Истинная свобода человека основана на царстве чистого разума».

И отсюда вывод: «Политика у нас, в России, не имеет смысла... Самодержавная власть дает нам полную свободу мыслить»; «Не суйся в дела, которые тебя не касаются... К черту политику!»

Самодержавие с православием, – вечная недвижность или движение назад – к о. Никифору, к дедам и прадедам, ко всему духовному роду Беллинских. Тут философская отрешенность – монашеская отрешенность от мира: «наша участь – скитничество». Тут Виссарион Смирновский – одна половина Беллинского. А вот и другая.

«Боже мой, страшно подумать, что со мною было – горячка или помешательство ума, – я словно выходящий из себя». «К черту все мечты! Хорошо только то, что можно рукой достать. Самая пошлая действительность

лучше жизни и мечтах». «Действительность! – твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью». «Что моя абсолютность? Я отдал бы ее, еще с приданым последнего свертка, за полноту, с какой иной офицер спешит на бал, где много барышень и скачет штандарт». «Лучше хочу быть пошляком, нежели чем-нибудь примечательным». «Идеальность – моя хроническая болезнь». «У меня бывали минуты простоты, но я упрекала себя за них, как за падение, – начинала мыслить и делалась ослом». «Отшельническая мысль ниже, беспомешное, дряннее опыта». «Ненавижу мысль». «Я хвлялся за ум, и теперь за поцелуй, за улыбку схожу плечу на философию, на науку, на мысль, на всё». «Авторитеты шампулись. Теперь дышу свободнее».

Таков первый бунт Виссариона Ненстового, начало вечной «движимости»: выход из монастыря в мир, из отшельничества в действительность.

Но вот беда: сделаться действительным не так-то легко. «Чувствую свою недействительность». «Мы бываем призраками и умрем призраками, но не мы виноваты в этом. Действительность возникает на почве, почва всякой действительности – общество. А мы на общество смотрим, как на кучу смрадного помета...» «С действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас». «Какая нам жизнь? В чем она? Где она? Мы люди вне общества, потому что Россия – не общество».

Так возникает мысль о человечестве – обществе:

«Я теперь в новой крайности, это – идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Всё из нее, для нее и к ней». – «Социальность, социальность или смерть!»

Эта мысль о человечестве-обществе – революционная. Тут впервые Виссарион Ненстовый сознает свою сущность, свое ненстовство.

«Люди так глупы, что их надо насильно вести к счастью. Да и что кровь тысячей, в сравнении с унижением и страданием миллионов?» «Я начинаю любить

человечество миратовски: чтобы сделать счастливым малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребляю бы остальную». «Начинаю понимать революцию: лучшего люди ничего не сделают». «Всех стариков перевешала бы!.. Хотелось бы быть их палачом... потонуть в их крови!»

Революция отрицает религию, мысль о человечестве отрицает мысль о Боге.

«В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». «К дьяволу все предания... формы и обряды! Да здравствует один разум и отрицание. Отрицание – мой Бог!»

Здесь крайняя точка Виссарионова, неистовства. Дальше идти некуда. Неистовый уничтожил Смиренного. Тут уже не только атеизм, безбожие, но и противобожие, «антиатеизм» друга Беллинского, анархиста Бакунина.

Казалось бы так. Но вот из мысли о человечестве-обществе возникает мысль о человеке-личности.

Как совершился в Беллинском этот последний переворот, не только умственный, но и жизненный, мы совершенно не знаем. Кажется, большое влияние имели на него тяжелая болезнь, предчувствие своей собственной смерти и смерть друга – Николая Владимировича Станкевича.

«Ты говоришь, что при известии о смерти Станкевича тебя адрут схватила вопрос: что же стало с ним, – пишет Беллинский В.П.Боткину (1840). – А разве это пустой вопрос? Разве без его решения возможно промолчание? Если так, то ты не любишь Станкевича и еще ни разу не терял любимого человека. Нет, я так не отстану от этого Моисея, которого философия назвала Общим, и буду спрашивать у него: куда дел ты его и что с ним стало?»

Вопрос о бессмертии есть не что иное, как религиозный вопрос о личности.

Не потому ли Беллинский разочаровался в социализме, во крайней мере, в социализме как религии, что Моисей общности, «социальности», точно так же как Моисей Общего, не ответил ему на религиозный вопрос о личности?

«Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества». «Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума». «Судьба личности важнее судеб всего мира». «Мне говорят, лезь на вершину ступень лестницы развития, а споткнешься – падай, черт с тобой!». Благодарю покорно... но если бы мне удалось влезть – и в том попросил бы отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории... иначе я бросаюсь вниз головой...»

Это уже бунт Ивана Карамазова: «почтительнейше билет мой возвращаю Богу». Здесь еще нет религиозного утверждения, но есть отрицание отрицания – единственно возможное в религии «доказательство от противного».

Если нет бессмертия, нет Бога, то «всё глупо, ничтожно и всякий нуль равен нулю». «Мысль о тщете жизни убивала во мне даже самое страдание». «Я не понимаю, к чему всё это и зачем: ведь всё равно умрем и стнем... Таков вечный закон Радума. Ай да разум!» «Скучно на этом свете, а другого нет!» «Внутри ношу смерть и пустоту». «В душе холод, сырость и сырэд могилы». «Я держался глупостью, подпора упала, и я падаю с нею». «Умираю всеми смертями».

Это и значит: «недала человеку жить без Бога». Так последняя мысль о человеке-личности, хотя и отрицательно, «от противного», соприкасается с первою мыслью о Боге.

Крут сознания не замкнут, но когда замкнется, то, может быть, и революционная мысль о человечестве-обществе соединится с религиозною мыслью о человеке-личности. Как соединится, Великий сам еще не знает, но что не помешало Христу – уже предчувствует.

В том же письме к Гоголю, где утверждается вечная связь человеческого рабства с Богом, Великий восклицает неожиданно: «Христа-то зачем вы примешиваете тут? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел истину своего учения».

Свобода, равенство, братство – революционная истина о человечестве-обществе. И она – во Христе, хотя бы только в Сыне Человеческом, – утверждает Белынский. Но в Нем же, во Христе, и религиозная истина о человеке-личности. «Цель христианской религии – возведение личности до субстанции», т.е. до Бога, говорит Белынский так ясно и отчетливо, как только можно сказать. «Сам Спаситель сходил на землю и страдал за личного человека». «Евангелие для меня абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень».

Если замкнуть круг сознания, свести концы с концами, то ведь это и значит: в истине о Богочеловеке соединяются обе истины: религиозная – о человеке-личности – и революционная – о человечестве-обществе.

Религиозное сознание Белынского мерцает, колеблется, как потухающее пламя без воздуха; но и потухая, озаряет последнюю вспышкой такие глубины религиозной жизни бесконечностью, что тут рядом с ним можно поставить одного только человека в России – зашедшего вraga его, Достоевского.

«Отвержение земной жизни есть отвержение всякого бытия. Без глубокой страдальческой любви к земной жизни мне непонятна жизнь по ту сторону гроба».

Эта страдальческая любовь к земле, соединяющая землю с небом, не то же ли, что «целование земли», которым Алена преодолевает бунт Ивана Карамзина, – не глубочайшая ли религиозная мысль Достоевского?

V

Белынский – человек не слова, а дела, он это и сам сознает. А сознавать это в России – значит сознать себя «живо закрытым в гробу, да еще со связанными позади руками». Его писания – гроб живой: судить по ним о Белынском можно не более, чем о живом лице по мертвому. Это он тоже сознает.

«Умирать с мыслью, что ничего не сделаю, хуже всего», – сказал он однажды, незадолго до смерти (П.В. Анненкову).

«Энергия и невозможность дела сломали его, возможность внутреннего и невозможность внешнего превращают силы в ид», – говорит о нем Герцен.

Погиб, несчастная и великая, –

говорит о нем Некрасов.

Погиб в пустоте, в отвлеченности, в «недействительности», в «идеальности». Ничего не сделал, но все-таки был, и от его бытия – наше, бытие всей русской интеллигенции. Если всю ее соединить в одно лицо, то будет он; если раздробить его лицо на множество, то будет она. От «мизерабельной» внешности до глубочайшей метафизической сущности, Белинский, первый русский интеллигент, и вся русская интеллигенция схожи – «го-лос в голове, воле в воле», как говорится о балинецах сказочных.

«В последний раз я была у Белинского за неделю до его смерти, – рассказывает одна современница. – Застали мы его полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза – огромные блестящие; всякое дыхание его было стон. Перед самой смертью он говорил два часа, не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращаясь к жене, просил ее всё хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует; но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать».

Вся русская интеллигенция – истолкование этой неуслышанной речи, этого предсмертного завета Белинского.

До 1905 года возрастал дух русской интеллигенции, дух Белинского; потом начал умиаться и в наши дни уминаясь, как еще никогда. С 1905 года начал возрастать дух Достоевского и в наши дни возрос, как еще никогда.

Великая правда Достоевского – в личности; великая ложь его – в общественности. Ныне грозящий нам национализм «энергичного образа», утверждение народности безбожное и бесчеловечное есть в значительной мере дело Достоевского. Преодолеть ложь Достоевского

можно только правдой Велинского. «Да будет проклята всякая народность, исключаящая из себя человечность!» – эта правда Велинского нам сейчас нужнее всего. Да, как это ни странно, нам сейчас религиозно нужнее Достоевского, «пророка Божьего», – «безбожник» Велинский.

Велинский «ругал Христа» на словах, а на деле шел ко Христу единому, хотя и с закрытыми глазами, ощупью. Достоевский Христа исповедовал, а на деле вечно колебался между Христом и Антихристом, между старцем Зосимой и Великим Инквизитором.

«Этот человек ругал мне Христа, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения», – говорит Достоевский. Вот это-то сопоставление со Христом «двигателей мира», т.е. революционного человечества, кажется Достоевскому худой на Духа испрощаемой, потому что дух свободы человеческой для него – «дух антихристов».

Религия уничтожает революцию, Достоевский уничтожает Велинского. Уничтожает ли? В этом весь вопрос. Нет ли такого понимания религии, такого утверждения Бога, которое включает в себя утверждение свободы человеческой?

Велинский не сумел бы ответить, ни даже поставить этот вопрос в своем сознании, но только и мучился им бессознательно. Свобода без Бога или Бог без свободы? Ни то, ни другое, а свобода с Богом. Не об этом ли неуслышанная речь его, предсмертный завет русскому народу?

Спор Достоевского с Велинским – спор в самом Велинском двух начал – религиозного и общественного, – Виссариона Смирненного и Виссариона Ненстового. У одного Бог без свободы, у другого свобода без Бога.

Как соединить свободу с Богом? Велинский искал соединения, но не нашел. Найти его и значит исполнить завет Велинского.

VI

Я кончу тем же, чем начал.

Сейчас больше, чем когда-либо, русская интеллигенция должна сознавать себя реальной силой, – народным сознанием, народной совестью. Но вот на обвинение русской интеллигенции в безбожии, как в ненародности, до сих пор не отвечено, как следует.

Пусть Достоевский ошибается: пусть русский народ не «богочеловек» в смысле особого, исключительного призвания мессианского; но он все-таки народ не без Бога, христианский, христианский народ, – недаром «христианство» и значит «христианство». У такого народа не может быть безбожное сознание, безбожная совесть – в этом Достоевский прав.

Но на примере Белинского мы видели, в каком противоречии находится живое безбожие интеллигентского сознания с тайною религиозностью интеллигентской совести. От этого противоречия – вся наша слабость, безответность перед теми, кто обвиняет нас в ненародности. Надо уничтожить это противоречие, чтобы сделаться сильными.

Религиозная совесть русской интеллигенции глубже, чем ее безбожное сознание. Мы верим в то же, во что верит народ, – только еще сами не знаем, что верим. А надо знать, потому что, рано или поздно, народ спросит нас, во что мы верим, и от нашего ответа будет зависеть, с нами или не с нами народ.

Сейчас, на полях сражений, русская интеллигенция умирает мучительно с народом, потому что любит с ним одно. Любит одно, а верит или думает, что верит в разное. Пусть не думает, пусть не боится, что признание веры народной есть отречение от того, от чего мы не можем и не должны отрекаться, – от сознания, от совести. Ведь опять-таки на примере Белинского мы видели, что наша совесть вся насквозь религиозная, христианская. Нам нужно изменить наше сознание, не изменяя нашей совести. Но изменить сознание не значит отречься от себя, от своей интеллигентской сущно-

сти: ведь если мы будем верить с народом в то же, но что и раньше верная, но уже не та же, — то и народ с нами будет верить в то же, но уже не так, как раньше верна. Мы многое возьмем от народа, но и народ должен взять от нас многое. Наше спасение в народе, но и его спасение в нас.

Когда мы это поймем, то перед лицом общего врага сможем сказать вместе с народом: да здравствует великая армия русского духа, да здравствует великая русская интеллигенция!

В.Г. КОРОЛЕНКО

Памяти Белинского

В нынешнем месяце истекает ровно пятьдесят лет со дня смерти Виссариона Григорьевича Белинского. Прошло полвека с тех пор, как перестало биться одно из самых чутких сердец и угас самый подлинный, беспокойный, пламенный ум, страстно, мучительно и искренно искавший истины, никогда не боявшийся расстаться с тем, что он признавал заблуждением, и пуститься в новый путь для новых исканий. Полвека! Это, как известно, более, чем средняя продолжительность жизни. Как мало осталось людей, которые жила и думала одновременно с Белинским! Как много родившихся в год его смерти тоже сошли уже со сцены! Целая человеческая жизнь, целое поколение, масса жизней, своего рода биологический пласт лежит между последним вздохом Белинского и настоящей минутой, когда, благодаря этому юбилею, его образ оживает в нашем воспоминании. И, однако, оживает светлый и ясный, как будто нечто не отдавало нас от него, как будто он жил с нами всё время, не переставая стремиться и пламенеть, спорить и отрекаться, как во время своей недолгой жизни.

Да, пятьдесят лет много времени. Мы давно уже не читаем большинства из тех книг, которые разбирал Белинский, о многих только и знаем потому, что их Белинский разбирал. Нужно сказать правду: часть его собственных писаний отошла уже в область истории литературы, многие страницы его сочинений читаются все реже той массой публики, для которой главным образом и назначены книги, и тревожатся чаще рукой специалистов-историков. Но эти же пятьдесят лет показали ясно, что для сочинений Белинского в целом уже не будет смерти в обычном значении этого слова. Некоторые

из них останутся всегда живыми, как и те творения, которым они были посвящены, которые они объясняли и осветили раз навсегда. «Нет, весь я не умру», – мог бы сказать Беллинский вместе с великим поэтом, и пока будет звучать русская речь, до тех пор, наряду с именами Пушкина, Лермонтова и Гоголя, каждое новое поколение будет вновь и вновь слышать имя Виссариона Беллинского и перечитывать его пророческие страницы.

Но и помимо этой формы посмертной жизни писателя в умах последующих поколений, помимо существования его книг, возобновляемого в целом или частью на печатном станке, – есть еще другие формы этой жизни. Мы не говорим уже о том, что в каждом новом творении литературы, в каждой живой статье, стихотворении, рассказе и философском трактате, во всем этом многоголосом хоре, который мы называем своей литературой, – возобновляются и звучат давно смолкшие голоса и оживают давно угасшие мысли людей, думавших и писавших ранее, – их же имена Ты, Господи, весть!.. Это все-таки мы называем смертью. Ведь и над каждой могилой зарождается новая жизнь – в аромате цветка, в колышании травы, в шопоте буйной листвы намоиставленного дерева мы слышим веющие жизни, истлевшей под могиальным дерном, растворившейся безлично, но не бесследно в общем, никогда не останавливающемся жизненном потоке.

Беллинский живет для нас, будет жить всегда не только этой безличной жизнью. Кроме той массы идей, которые он в течение своей недолгой карьеры пустил в обращение, которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться, не всегда даже связывая их с первоисточником, – кроме столько-то печатных томов и страниц, Беллинский оставил нам еще целый, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов.

Этот образ – он сам, с его страстной жаждой истины, с его исканиями и искренностью.

Искренность была главная черта Беллинского, и притом искренность в лучшем, самом глубоком значении

этого слова. Знаете ли вы, что такое искренность, – спрашивал, помнится, Помыловский. Это то свойство человека, когда он не способен к тени обмана, не только перед другими, но и перед самим собою. Мы так склонны держать истину, всю истину, в собственном обладании, мы так рады этому обладанию, что готовы пожертвовать многим для того, чтобы не расстаться со своей уверенностью, порой даже с ее вымозжечью. Как часто случается, что человек уверяет себя и других, что он обладает истиной, когда она давно уже подточена в его душе темными сомнениями, как часто мы продолжаем курить фимиамы перед алтарями, которые давно уже покинуты божеством, или начинаем курить их перед такими, где божества никогда не было. Нет, – чутко прислушиваться к голосу, хотя бы самому тихому, самому робкому голосу сомнения, не заглушать его в темных углах души, а вызывать из этой глубины на свет сознания, прислушаться к нему, как к тихому лепету ребенка, устами которого, быть может, скоро заговорит твердый голос новой истины, – и не успокоиться, не примириться с собой до тех пор, пока в уме останется хоть тень неуверенности, пока она не смолкнет, побежденная, или не даст новой истины на место старой, – вот что такое искренность мыслителей и писателей.

«Неустойчивый Виссарнон», как его называли друзья, останется для нас навсегда лучшим воплощением такой искренности. Всю жизнь он горел этой жаждой, вся его жизнь – это неустанное стремление к такой чистой истине, не омраченное ни тенью сделки с собой, ни тенью компромисса с ложью. Он пылал восторгами уверенности более, чем кто-либо другой, когда считал, что нашел ее, он страдал, когда являлось сомнение, глубже всех своих сверстников, и, однако, он скорее всех готов был отречься от того, что перестало быть истиной в его глазах. Кто знает, быть может, он именно оттого сгорел так быстро. К нему более, чем к кому бы то ни было, применимо скорбное восклицание поэта:

Братья писатели, в вашей судьбе
Что-то может равное...

Жизнь Пушкина и Лермонтова прекращена случайностью выстрела, Писарев утонул, Помяловский, Левитов и многое множество других писателей сами сокращали свою жизнь недугом, который еще Гоголь назвал «недугом талантливых людей»... Целая масса причин усложняла явление, в среднем выводе называемое «роковой судьбой» русского писателя. Только в жизни Беллинского оно является в чистом виде, в виде ничем не затемненной и не усложненной борьбы духа, того пламенного сгорания нервов среди окружающей тьмы, которого и одного достаточно для объяснения, «почему он так скоро сгорел». Это был истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляды, как на своего подвижника и святого!

И это – быть может, самая бессмертная доля того, что нам осталось от Беллинского. Поэзия дала нам идеальные образы, – но мы не можем забыть, что настоящий Дон-Кихот был только хилый и слабый волею отпрыск вырождающегося дома, что маркиз Пеза жил только в воображении Шаллера, что действительная Мария Стюарт и жила, и умерла совсем не так, как в бессмертной драме. Между тем, кристально-чистый образ Беллинского не разрушит уже никакая самая придирчивая историческая критика. Он был именно таков, и его жизнь, скристализовавшаяся в его творениях, письмах, поступках, выдерживает сравнение с самыми идеальными творческими фантазиями, с несомненным преимуществом полной реальности.

Около четверти века назад Некрасов издыхал о том времени, когда народ

Не генерала строится
И не мильарда купцов, –
Беллинского и Гоголя
С базара понесет.

С тех пор прошло почти три десятилетия, в которые российский прогресс двигался своим неторопливым и неровным ходом, а мы всё ещё далеки от этого времени. Правда, газеты приносят то и дело известия, что в том или другом городе думы или просветительные общества собираются чествовать память великого русского критика. В Саратове инициатива принадлежит литературно-художественному обществу, в Самаре вопрос внесен в думу; в то время, когда читатель будет пробегать эти строки, родина Белинского, Пенза, соберет у себя много интеллигентных людей в память Белинского. Но народ ещё не знает его имени, к нему оно достигает разве отдалёнными, смутными отголосками. Вскоре после смерти Белинского многомиллионная масса русского народа познала свободу и (теоретическое, правда) равенство перед законом. Предстоит ещё длинный путь до того исторического пункта, в котором исчезнет всякое неравенство перед образованием. Белинский верил, что оно наконец исчезнет; для нас это уже не только вера, а убеждение, оправдавшееся хотя бы и тихим, но несомненным направлением общественного движения.

А если так, то несомненно, что и мечта Некрасова сбудется, потому что, сколько бы ни понадобилось для этого времени, — образ Белинского уже не померкнет. Он пережил свой период испытания и остался нетленным, в ожидании, когда к нему продолжится и уже

...до зарастет народная тропа.

ЧАСТЬ II

Ю.В. Манин

Литература в движении эпох¹

I

Белинскому всегда было свойственно стремление к универсализации, то есть объединению русского и зарубежного материала под единым углом зрения, но про-
живалось оно по-разному. Первоначальная историко-ли-
тературная концепция критика (ее отчетливый и яркий
набросок содержался уже в «Литературных мечтаниях»,
1834) развивалась в русле того общеевропейского дви-
жения, которое было стимулировано Гердером и ран-
ними немецкими романистами. Ведущая категория
этого движения – категория национально-характерно-
го, своего, особенного, возникшая на отталкивании от
винкельмановской идеи единого образца (античного).
Мыслить правильно, то есть исторически, – значит при-
знавать за каждой эпохой и народом свою собствен-
ную меру совершенства. «Гердер противопоставлял
идее повсеместно действительного искусства требование
характерного искусства, чья ценность основана не на
соответствии абсолютному идеалу, но на том, что оно
является символическим выражением национального
характера, голосом народа»². Как приобрести достоин-
ство национально-характерного? Путем обращения к
древним истокам своей поэзии (Urldichtung), к народ-
ной поэзии (Volksdichtung) и путем интенсификации
деятельности гениальных художников (Geniedichtung),
чье самонаблюдение равносильно раскрытию нацио-
нальной стихии.

Категория национально-характерного, включая и
гердеровские представления об ее обусловленности об-
стоятельствами климата и географии, является веду-

щей и для автора «Литературных мечтаний». «Каждый народ, сообразно со своим характером, происходящим от местности, от единства или разнообразия элементов, из коих образовалась его жизнь, и исторических обстоятельств, при коих она развилась, играет в великом семействе человеческого рода свою особенную, назначенную ему провидением роль и вносит в общую сокровищницу его успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества»². Так, немцы представляют отвлеченное начало «умозрения и анализа», англичане – промышленное и торговое направление деятельности, французы – жизнь общественную и т.д. Русскому народу также предназначено сказать свое оригинальное слово, хотя какое именно, Белинский еще не определяет. Во всяком случае, любая литература «неприменно должна быть выражением – символом внутренней жизни народа» (1, 29). Понятие единого образца и его главного, единого носителя уступает место идее хора с потенциально растущим числом участников.

Параллельно к определению литературы, вытекающему из категории национально-характерного, Белинский дает другое определение, обусловленное философским аспектом его первой статьи. Этот аспект вводится широко известным натурфилософским пассажем о «вечной идее»: «Весь беспредельный, прекрасный Вожный мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи...» и т.д.) и завершается выводами морального, даже просветительского толка: «нравственная жизнь вечной идеи» есть «борьба между добром и злом, любовью и эгоизмом». Какова же в этом контексте «цель искусства»? «Изобразить, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни природы...» (1, 32) Поэтому чем искуснее полнее и многостороннее, тем ближе к своему назначению: Байрон и Шеллер отразили лишь одну, каждый свою, сторону бытия; «но Шекспир, божественный, великий, недостижимый Шекспир, постиг и ад, и землю, и небо; сло-

вом, воплотил высшие возможности искусства. Однако одностороннее в искусстве не есть ущербное. Философский пантеизм Белинского (вечная идея выражается буквально во всем сущем – «и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь... и в рыкании льва, и в смехе младенца...») ведет его к широте «неприсмысленности внешнего». В историко-эстетических построениях критика в этот период находится место и для Шюллера, и для Виктора Гюго, и для многих других явлений европейского искусства.

Таким образом, поэзия (искусство) как выражение народности соотносится с поэзией как выражением идеи всеобщей жизни человечества. Хорошо просматривается и логика этого соотношения: полное воплощение «вечной идеи» достигается в том случае, если максимально полно выражены идеи национальной жизни. Но поскольку последние заведомо односторонни (каждому – свое), возникает вопрос, каким образом они могут подвести к многосторонности? Ответа на этот вопрос Белинский не дает, и подспудное противоречие станет затем одним из стимулов движения всей его историко-литературной системы...

Идея национально-характерного пока является ведущей у Белинского; с нею связан и злободневный, острый вопрос о классицизме и романтизме.

Правда, Белинский считает, что проблема эта уже устарела, что ее пора свести с повестки дня. Критик хочет «сойтись без таких наименований как, по крайней мере, оговорить их условность. Ибо по мере достижения искомого идеала – полного выражения национального духа – поэзия перерастает рамки классического или романтического искусства; она вообще не может быть только той или другой; она является самой в себе единственной, истинной поэзией.

Такой ход рассуждений весьма показателен для литераторов, выступавших под флагом национальной самобытности. В России он отразился, например, в заметке К.Ф. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии» (1825): «...На самом деле нет ни классической, ни романтической по-

зия, а была, есть и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же»⁴.

Если автор «Литературных мечтаний» и употребляет понятие «классицизм», то не в терминологическом, а в эмоционально-оценочном смысле. «...Оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же)» (1, 69). Классицизм – сдерживающее, тормозящее и даже оглушающее начало, искусственная преграда на пути поэзии. Таким предстаёт классицизм во Франции, главном очаге того «недуга». Ударная сила классицизма – критика и литературная теория (Буало, Батте и Лагарп «с братскою» суть «великие инквизиторы»); но и писателей Буалинский не жаждет. Расин, например, фигурирует с уничижительным эпитетом – «накрахмаленный». Токи классицизма и, соответственно, токи антипатии Буалинского распространяются на французский XVIII век – век Просвещения, и к прежним именам присоединяется новое – Вольтера: «Давно ли Корнель, Расин, Мольер, Буало, Лафонтен, Вольтер, давно ли эта чета талантов почиталась лучезарным созвездием поэтической славы... А что теперь?» («Стихотворения Владимира Бенедиктова» – 1, 355).

Понятие романтизма выступает у молодого Буалинского в несколько более сложном свете, чем классицизм. С одной стороны, это тоже слово оценочное, но только с переменной знакой – с минуса на плюс. Романтизм – начало освобождающее, раскрепощающее, то есть противоположное классицизму. Но освобождение ради чего? Ради возврата «к естественности, а следовательно, самобытности и народности в искусстве», ради преодоления «чуждых и тесных форм древности» (то есть античного искусства). Здесь слово «романтизм» приобретает оттенок историко-литературного термина, обозначая – в духе распространенных эстетических построений того времени – период послеклассического искусства. Исконно романтической была поэзия в Германии и в других западноевропейских странах, имевших более или менее развитую литературу. Романтиком был Шекспир, а в XIX в. романтики – Вальтер Скотт, Байрон, Вик-

тор Гого, Мицкевич, Манцони, Эмишлагер, Тегнер – словом, все значительные писатели. Понимается у Белинского и понятие «юного романтизма» – это именно те, кто выступил передовой силой освобождения от оков классицизма: «...Шатобриан был крестьянским отцом, а г-жа Сталь пошлявальною бабкою юного романтизма во Франции» [1, 68].

Но поскольку романтизм – такое искусство, которое, собственно, одно только и может быть у новых европейских народов, то это понятие как историко-литературный термин приобретает некоторую условность. Отсюда оговорочный характер его употребления у Белинского: «...так называемый романтизм». Романтизм – синоним истинно-народного, национально-характерного и вполне взаимозаменим с этими понятиями. В указанном смысле и Пушкин – романтик, и Державин – «почти такой же романтик, как Пушкин», благодаря своему «невежеству». «Невежество» спасло Державина от влияния ложных классицистических правил и позволило быть верным своему гению и, следовательно, стихии народности.

Возникает вопрос, в какой мере способен русский писатель быть «выражением духа народного». Ответ коренится в особенностях отечественной истории. В результате петровских реформ народ и общество разошлись: народ сохранил национально-характерное, но остался неразвит и необразован; общество усовершенствовалось и развилось, но ценою утраты народного элемента. Поэтому чем ближе материал нам, как говорит Белинский, «предмет» изображения к «древне-русской жизни (до Петра Великого)» или простонародной жизни – двум сферам, где сохраняется национально-характерное, – тем произведение народное.

Однако это – народность низшего порядка. Она «состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания оных» [1, 93]. Как же добиться народности высшего порядка? Путем

интенсивного образования общества в народном духе, «на родной почве». Ответ выдержан в духе концепции национально-характерного, однако в свете свойственного Белинскому взгляда на отечественную историю он порождает новые вопросы: как совместить возвращение к истокам с их исторической ограниченностью и столь свойственную критику просветительскую тенденцию к европеизации совместить с отталкиванием от европейского в пользу самобытного и народного? Эти противоречия будут способствовать дальнейшему развитию историко-литературной теории Белинского.

II

Через несколько месяцев после «Литературных мечтаний» в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский предпринимает попытку построить историко-литературную концепцию на другой основе. Я имею в виду известные суждения об идеальной и реальной поэзии. «Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его восприятия на вещи... Наш воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела – на идеальную и реальную» (1, 262).

Это деление заметно отличается от альтернативы: классицизм – романтизм, ибо оно уже не совпадает с противопоставлением истинной поэзии не истинной, народной – не народной. Истинной и народной может быть как идеальная, так и реальная поэзия. Обе разновидности имеют более или менее определенное, специфическое содержание.

Неоднократно отмечалось, что эта классификация была подсказана шиллеровским разделением поэзии на два вида, сформулированным в статье «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795)². Предположение вполне обоснованное, хотя, как это часто бывало с Белинским,

фрагменты чужих теорий служат ему отправными пунктами для собственного развития мысли. В результате наблюдения и совпадения, и несовпадения с оригиналом.

У Шамлера классификация закреплена другими терминами: *сентиментальная* – *наивная*, хотя на заднем плане заметно и противопоставление *реального* *идеальному*. Сентиментального поэта Шамлер называет «идеалистом», наивного – «реалистом»; первый стремится к изображению идеалов, второй – «к возможно полному воспроизведению действительности»⁶. Беллинский же превратил эти «вторичные» наименования в главные и опорные для своей теории.

У Шамлера исходный момент – человеческая душа, «основные этические, а не эстетические типы человеческого характера», хотя последние «становятся основой для различия соответствующих этим этическим характерам видов или типов искусства»⁷. Беллинский начинает прямо с «типов искусства», обращается к ним непосредственно и всецело, хотя и наличие соответствующих этим типам художнических характеров и психологий им не исключается.

Принципиальное сходство наблюдается в самом соотношении видов искусства. Шамлер строит свою классификацию прежде всего как типологическую. Наивный и сентиментальный обозначают два вида искусства, возможные в различных условиях и во все времена. Но, поскольку все же оказывается, что последний (сентиментальный) более присущ современности, а первый (наивный) – древности, возникает «оскоро намеченная и обстащенная существенными оговорками схема исторического развития поэзии»⁸. Направление развития – от наивной поэзии к сентиментальной. В типологическом плане Шамлером допускаются и смешанные формы: «оба рода соединяются иногда не только в одном поэте, но даже в одном произведении»⁹. Пример – «Страдания молодого Вертера» Гёте.

Аналогичная картина у Беллинского. И у него противоположность идеальной и реальной поэзии прежде всего типологическая; это два «способа», два «отдела»,

возможные и разные времена. Но на типологическую классификацию накладывается историческая: поэзия любого народа (в том числе и древних греков) начинается с идеальной формы, затем следует период реальной поэзии, наступившей в Европе с падением древнего мира и простиравшейся по настоящее время. Реальная поэзия, «родившаяся вследствие духа нашего положительного времени, более удовлетворяет его господствующей потребности» (1, 270). Здесь категория реальной поэзии совпадает с понятием романтизма, каким оно было представлено в «Литературных мечтаниях», поскольку романтизм также фигурировал там как искусство послеромантической эпохи. Однако совпадение неполное: романтическая поэзия современна, поскольку она современная поэзия, реальная – поскольку она более соответствует духу времени. Перед нами первый у Белинского опыт исторической периодизации искусства.

Что касается ее конкретного наполнения, то критик относит к реальной поэзии Сервантеса, Шекспира, Гёте, Шиллера, Вальтера Скотта, а из русских писателей – Гоголя («это поэзия реальная, поэзия жизни действительной...» – 1, 289). Но и возможность современной идеальной поэзии не исключается: «Фауст» и «Ифигения» Гёте, «Манфред» Байрона, «Дядя» Мицкевича, «Алла-Рук» Томаса Мура, «Мессинская невеста» Шиллера и т.д. Допускает Белинский (как и Шиллер) и существование смешанных форм: «поэмы Байрона, Пушкина, Мицкевича», большинство пьес Шиллера, включая «Разбойников». Предмет этих произведений – «жизнь действительная», она нам «представляется в самые торжественнейшие свои проявления, в самые лирические свои минуты» нам же «пересоздается и преобразуется» вследствие разных причин (приверженности к одной задуманной мысли, «избытка пылкости» и т.д.). Так, по Белинскому, совершается синтез реального и идеального начала.

В чем Белинский кардинально расходился с автором трактата «О наивной и сентиментальной поэзии», так это в понимании античного искусства. У Шиллера античное искусство «наивно», так как стремится к пре-

дельной объективности и лишено рефлексии; у Белинского оно «идеально», так как «враждует с действительностью», подчинит ее своей априорной мысли. Критик вообще разошелся здесь и с западноевропейской, и намечавшейся русской традицией, и не случайно содержащаяся в статье «О русской повести...» интерпретация античной формы осталась эпизодом и была затем Белинским решительно пересмотрена.

Но, несмотря на это, его опыт деления художественных форм весьма типичен для европейской эстетики, поскольку обнаруживает свойственную ей (а для Белинского – новую) тенденцию универсализации широкого и разнообразного материала. Тенденцию, состоящую в отходе от категории национально-характерного в сторону более подвижной эстетической динамики. Не случайно в упомянутой статье категория народности лишается своей ключевой позиции, становится одним из качеств, присущих Гоголю, наряду с другими качествами («простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность... комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния»). Чуть позже (в статье «Ничто о ничем...», 1836) Белинский вообще заявит, что писатель не должен специально хлопотать о народности: это достоинство само придет к нему, при условии соблюдения других требований, прежде всего верности самой жизни.

В той же статье Белинский открыто, демонстративно пересмотрит свой взгляд на «невежество» Державина: «Отрекаюсь от этой мысли как совершенно ложной...». «Отречение» критика обусловлено тем, что спонтанное, ничем не сдерживаемое и не ограничиваемое самообнаружение национальной стихии не признается им более как безусловное, вневременное достоинство искусства. Национальное начало может быть или широким, или узким (у Державина – последнее); оно может или способствовать прогрессу, или сдерживать его. Такая постановка вопроса уже предвосхищает более поздние представления Белинского относительно исторической динамики художественных форм.

III

К концу 30-х годов в теоретических позициях Белинского отчетливо намечается углубление философской тенденции. Как известно, это был период «примирения с действительностью», односторонней триктомики формулы Гегеля из его «Философии права» – «все разумное действительно, все действительно разумно» – и связанного с этим оправдания княжеской политической структуры в России, включая самодержавие. Но, как показал еще Г.В. Плеханов, неоднородность примирительного периода состояла в том, что именно в это время оттачивалась диалектическая мысль критика. И первое свое применение она нашла в его историко-литературной системе.

В статье «Горе от ума...» (1840) сказано: «Всемирную историю искусства, т. е. искусства не какого-нибудь народа, а целого человечества, разделяют на два великие периода, обозначая их именами классического и романтического» (3, 423). Классическое искусство – античность, «древний мир», особенно греки. Романтическое искусство – послемантичное, христианская эпоха, прежде всего период Средних веков. Затем следует период нового искусства, простирающийся по настоящее время. Классическому искусству предшествовало искусство, именуемое Гегелем символическим. Белинский такого термина не употребляет, хотя подразумевает именно это качество («на Востоке» истина в искусстве открывалась «в образе... как в условном символе»); впрочем, этот период затронут им весьма бегло, вскользь.

Что нового содержала эта точка зрения Белинского по сравнению с его предшествующими концепциями? Вся классификация строится теперь строго исторически. Нет двойственности, свойственной концепции идеальной и реальной форм, которые выступали то как вневременные «способы», то как исторические периоды. Теперь Белинский настаивает: «Собственно классическое искусство существовало только у греков...» и т.д.; иначе говоря, каждому периоду – своя художественная форма.

Для их обозначения Белинский вновь возвращается к понятиям «классическое» и «романтическое», однако в измененном (по сравнению с «литературными мечтаниями») виде. Эти понятия полностью лишаются оценочно-эмоционального и нормативного оттенка. Достоинство каждой формы вытекает не из ее абсолютного преимущества над другою, но из соответствия своему времени.

Остановившись на содержании каждой из форм, Классическое искусство объективно, пластично, запечатлено примирением «духа с природою» и «идеи с формою». На языке прежних понятий Белинского (которыми он, впрочем, уже не пользуется) оно скорее реально, чем идеально – трактовка, более согласная с западноевропейской и русской эстетической традицией. Характерно и то, что Белинский теперь отделяет античное искусство, скажем, от древней поэзии Востока, как выражение иной, новой стадии (ср. суммарный подход в статье «О русской повести...»: «Поэзия всякого народа, в начале своем, бывает согласна с жизнью...» и т.д.).

Романтическое же искусство субъективно, обращено к внутреннему человеку, к его современной психической жизни и в этом смысле означает перевес духа над природою и идеи над формою.

Дисгармоничность романтической формы – источник дальнейшего движения, залог примирения противоположных элементов, и оно действительно совершается в искусстве «новейшем». «Происходя исторически, непосредственно от второго (романтического искусства. – Ю.М.), наследовал всю глубину и обширность его бесконечного содержания и обогатил его дальнейшим развитием христианской жизни и приобретением нового знания, свое примырно богатство своего романтического содержания с пластичизмом классической формы» (3, 428).

Хронологическая граница новейшего искусства приходится на эпоху Возрождения (понятие, отсутствующее у Белинского). Ее первые представители – Сервантес и Шекспир. Затем следует время законного и почти полного владычества новейшего искусства; все

(или почти все) значительные художники – ее законные представители: не только Вольтер, Кутюр, Гёте, Пушкин, но и... Байрон. При наложении на критику Белинского современных представлений (согласно которым Байрон – типичный романтик) этот факт кажется непонятным и обычно обходится. Между тем он воссоздаётся из его историко-литературной концепции. Белинский обычно не останавливался перед крайними выводами из теоретических посылок. Если время законного господства романтической формы закончилось, то и Байрон – вовсе не романтик, а представитель новой поэзии.

Другой парадокс, вытекающий из той же концепции, – ниспровержение классицизма (в первую очередь французского), который Белинский не отграничивает от литературы Просвещения. Критик, мы знаем, и раньше не жаловал ни того, ни другого, причем мотивы чисто эстетические – отвержение классицистической поэтики – переплетались у него с политическими антипатиями к радикальному периоду Великой Французской буржуазной революции. Теперь негативная позиция критика получила теоретическое обоснование: для классицизма (особенно французского) просто не находится места в его системе. Корнель, Расин, Бульо, Мольер, Крепильон, Вольтер, Дюсс, Аддисон, Поп, Алафьери – ни более ни менее, как «поэтические уроды», не имеющие права на существование. Раньше (в период «Литературных мечтаний») Белинский осуждал классицизм как явление сдерживающее, консервативное, ретроградное; теперь – как явление несвоевременное, неуместное. Поэтому критик даже отказывает ему в определении «классицизм» (ведь классическое искусство могло быть только в древности), оставляя наименование «псевдоклассицизм».

Точно так же новые романтики – конца XVIII – начала XIX в. – это «так называемые романтики»: ведь подлинный романтизм с истечением Средних веков завершился. Однако отношение Белинского к запоздалому романтизму значительно лучше, чем к запоздалому классицизму. Ведь у «так называемого романтизма» есть

свое оправдание: он явился реакцией на «псевдоклассицизм», нейтрализуя его влияние и как бы восстанавливая историческую справедливость. Односторонняя и ущербная тот и другой, но псевдоклассицизм – это ад, псевдоромантизм – противоядие: «...романтическое не-
щество было нужно, как отрицание ложного классицизма: сделав свое дело, оно, в свою очередь, стало так же смешно, как и классическая чопорность» (3, 429). В статье «Очерки русской литературы...», написанной вслед за статьей «Горе от ума», Белинский относит к романтически односторонним писателям Шиллера, Жан Поля и Байрона, который таким образом вернул себе законное место в романтизме¹⁸.

Упомянутая статья об «Очерках русской литературы» Н. Полевого интересна тем, что Белинский применяет здесь свою систему к истории русской литературы. В России не было собственно классического (Античности) и собственно романтического (Средние века) периодов; но закон поступательного развития поэзии требует своего, поэтому и в отечественной словесности выявляются писатели с чертами каждой из этих форм. Таковы Жуковский и Державин: «Жуковский по преимуществу романтик... Державин по преимуществу классик, во внутреннем значении этих слов» (3, 507).

Особенно охотно и подробно пишет критик о Жуковском. Хронологически романтизм Жуковского еще более несвоевременен, чем творчество большинства его западноевропейских собратьев, скажем романтиков женского круга, ибо русский поэт выступил вслед за ними, в резко меняющейся литературной ситуации. Однако Белинский относится к нему, мало сказать, положительно – нежно и проникновенно. Объясняется это не только обстоятельствами литературного развития критика, душевным расположением и созвучием («...как не любить этого поэта, которого каждый из нас с благодарностью признает своим воспитателем...» – 3, 505), но и теоретическими посылами. Жуковский был «призван на великое» – «осуществить, через поэзию, в своем отечестве, необходимый момент в развитии духа,

момент, выраженный в жизни Европы средними веками, одухотворить отечественную поэзию и литературу романтическими элементами» (З, 507). Историческое оправдание нового западноевропейского романтизма (так называемого романтизма) в том, что он сглаживал и нейтрализовал влияние «железнодорожников». Оправдание поэзии Жуковского в чем-то более важном – в том, что она компенсировала отсутствовавшую в России целую художественную эпоху.

Поэтому понятие «романтизм средних веков» применительно к Жуковскому и России наполняется у Беллинского глубоким позитивным смыслом. Вместе с тем переоценивается и само понятие подражательности. Критики декабристского поколения упрекали Жуковского в невнимании к своему, в переимчивости (отголосок этого взгляда у Н. Погодина: «он не может простить Жуковскому отсутствие народности»). Беллинский же обращает этот недостаток в достоинство: именно благодаря «подражанию», ориентации на западноевропейский романтизм смог Жуковский выполнить свою миссию. На этом примере, кстати, хорошо видно, что критерий «национально-характерного» перестал быть ключевым, подчинившись общей историко-эстетической системе Беллинского.

Что же касается Пушкина, то он объединял в себе сильные качества и Державина, и Жуковского («...весь Жуковский, как и весь Державин, в Пушкине...»), подобно тому как новейшее искусство на Западе объединяет в себе элементы классической и романтической форм. Пушкин и есть русское проявление новейшего искусства, вступающее в ряд таких мировых явлений, как Шекспир, Гёте, Вальтер Скотт и т.д.

IV

Ось, вокруг которой сложилась система Беллинского, – «великая антипатия»¹¹ античного и вантичного, прокладывавшая себе путь в европейском эстетическом

сознания с конца XVII в. и теоретически закреплённая немецкой эстетикой XVIII – начала XIX в. Антитеза развивалась – вначале в сторону преодоления категории образа и призвания за каждым периодом своей собственной меры достоинства и совершенства, а затем – и в сторону более динамичного внутреннего соотношения периодов. Их обогащение, творческое самоуглубление открывало перспективу грядущего синтеза путем отыскания смысловых сторон каждой из форм. Уже в шлегелевской классификации сентиментальная поэзия скрывала в себе стимулы выхода к новому периоду, восстанавливавшемуся на новом уровне «знания и ощущения». Ф. Шлегель в статье «Об изучении греческой поэзии» (записана в год публикации шлегелевского трактата – в 1795 г., но увидел свет в 1797 г.) мыслит современность под знаком романтического искусства (его вершина – Шекспир), которое, однако, должно уступить место новой поэзии. Уже сейчас ее черты – «объективность», «очаровательная полнота и пленительная грация»¹⁰ – явлены творчеством Гёте, выступающим посланцем литературы будущего в современности.

В 10-е годы XIX в., когда сам Ф. Шлегель отказывается от антитезы классической и романтической поэзии, теория, сложению которой он столь деятельно содействовал, широко захватывала другие страны, в том числе и Россию¹¹.

Собственно русская традиция разработки этой теории состояла в том, что искомая будущая форма всемерно приближалась к современности. Объявлялось, что наступившая эпоха есть уже время нового искусства. В этом направлении развивалась мысль Д.В. Веневитинова, И.В. Киреевского, В.Ф. Одоевского и особенно Н.И. Надеждина, чей опыт оказывал на Белзнского самое непосредственное влияние. Тезисы диссертации Надеждина «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической», защищённой в Московском университете в 1830 г., в частности, гласили: «Романтическая поэзия окончила свое существование и сейчас не существует»; «период романтической

поэзии ограничен временем, носящим название средних веков»; «мир, в котором мы живем, коренным образом отличается от средних веков»; «восстановление романтической поэзии в наше время невозможно»²⁴.

Белинский в своей сугубой оценке деятельности Надеждина почти буквально повторял эти мысли: «Г-н Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки и не римляне), ни романтическою (ибо мы не палладины средних веков), но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию» (5, 213). Высказывание, не оставляющее никаких сомнений в том, что традицию историко-литературной систематизации Белинский воспринял главным образом от Надеждина.

Это предопределяло характер усвоения Белинским гегелевской исторической системы (нам важна сейчас только данная сторона проблемы). У Гегеля, как хорошо известно, искусство проходит через три формы, или ступени, – символическую, классическую и романтическую. Белинский весьма бегло говорит о первой форме, символической, но самое главное – достраивает систему четвертой формой – новейшей. У Гегеля современность мыслится под знаком романтического искусства; у Белинского – под знаком искусства новейшего, начавшегося с эпохой Возрождения и простирающегося через современность и будущее. У Гегеля трехступенчатая эволюция завершается на остром диссонансе: романтическая форма повторяет глубинную конфликтность символической формы, усложняет эту конфликтность (в символическом искусстве она прорывается из «неудовлетворительности идеи»²⁵, в романтическом – из неудовлетворительности оформления, которое остается позади идеи, не в состоянии ее воплотить) – и в конце концов открывает перспективу вытеснения художественного образа философией, которая является более высокой формой постижения духовно-конкретного. У Белинского последняя форма объединяет сильные стороны предыдущих, прежняя конфликтность погашена,

а новая еще не обозначена; движение буквально завершается последним примирительным аккордом. Система русского критика складывалась в период примирения, что прозрачно-отчетливо отразилось в ее фактуре, в особенности в облике последней стадии. Вызывала и упоминаемая отечественная традиция, которая тоже (если вспомнить о Надеждине) развивалась в «примирительном» духе или, по крайней мере, не была свободна от тенденции примирения. Причем сферой преломления этой тенденции оказывалась не только художественная переводческая, но и общественная, социальная, политическая. И тут мы сталкиваемся с принципиально новой гранью системы Белинского.

Она состоит в том, что «учение Гегеля о триадическом ходе развития искусства перестраивается Белинским в учение о триадическом духовном развитии человечества»¹⁶. Изначально художественная и духовная история связаны в добром философском учении того времени, в том числе, конечно, и у Гегеля, поскольку «искусство берет свой источник из самой абсолютной идеи»¹⁷. Однако Белинский делает эту связь более конкретной и жесткой. У него сами возрасты развития человечества, сами периоды его духовной истории совпадают с указанными художественными формами. Был классический период (Античности), был период романтический (Средние века); теперь наступил новый период – действительности. «Действительность – вот пароль и лозунг нашего века, действительность во всем – и в верованиях, и в науке, и в искусстве, и в жизни» (3, 432). Именно «во всем» – в том числе «и в жизни»!

Тут, правда, возникает противоречие чисто хронологическое: Белинский говорит о «нашем веке», то есть XIX в., в то время как новый период, по логике его системы, начался уже после Средневековья. Однако противоречие снимается тем, что критик мыслит новое время как процесс многообразный: «апостасисизмы» силится повернуть развитие вспять, «так называемый романтизм» выправил положение, и вот теперь возобновилось движение в сторону «действительности»¹⁸.

Таким образом, современная эпоха человечества в целом, а не только его искусство, понимается Беллинским как эпоха примирения. «Наш век есть век примирения...» (3, 433). Примирение существует не как достигнутый результат, а как тенденция; поэтому осложнения, диссонансы на пути к нему допустимы, даже необходимы, но лишь в порядке переходящих моментов генерального движения. В таком духе Беллинский интерпретирует Гамлета, Фауста и – уже на исходе примирительного периода²⁹ – Печорина.

У каждого из упомянутых персонажей была эпоха младенчески-бессознательной, гармонической общности с природой и окружающим миром – так сказать классическая эпоха. Потом наступил момент дисгармония, отпадения, своего рода романтический этап развития духа – гарантия выхода в новое состояние, состояние примирения, но еще не само это состояние, а его мучительное, тягостное ожидание. Таков переходный момент и Гамлета, и Фауста, и Печорина. «Дух его (Печорина. – Ю.М.) созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: действительность – вот сущность и характер всего этого нового... Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет...» (4, 253)

Кто успешно перешел рубеж, вышел из «переходного состояния», так это Пушкин в последних произведениях. «...Чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин... должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выйти из борьбы прекраснотуша в гармонично просветленного и примиренного с действительностью духа» (2, 348–349). Значение Пушкина, в сознании критика, в это время чрезвычайно повышается; притом важно, что поэт оказывается равным великим писателям мировой литературы не только по художественной силе своего таланта (что Беллинский признавал всегда), но и по содержательной глубине и значительности. Ведь Пушкин выражает момент примирения с действительностью, а это есть выс-

ний и притом общий момент развития современного человечества.

Обычные параллели, которые проводит теперь Белинский к Пушкину, – это Гомер (как выразитель объективности на стадии классического искусства), Шекспир и Гёте (как выразители сложных тенденций в искусстве современном). Характерно место из письма Белинского к К.Аксакову от 10 января 1840 г.: «Радуюсь твоей новой классификации – Гомер, Шекспир и Гоголь, но и дивлюсь ей. Куда же девался Гёте?» И еще одна поправка: «У меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который всего поглотил меня...» (11, 435). Итак, тот же ряд: Гомер, Шекспир, Гёте, Пушкин; Гоголь же оказывается ниже. И конечно, ниже Пушкина оказываются Шнеллер («далеко кулику до Петрова дня» – 11, 380), а у нас, скажем, Жуковский, ибо они являются представителями романтической (постромантической) поэзии.

Непринятие Белинского к Шнеллеру в этот период хорошо известна и логически объяснима именно примирительными тенденциями русского критика. Но не все еще разъяснено, и это можно передать с помощью следующего вопроса: почему так разнятся отношения Белинского к Шнеллеру и Байрону?²⁰ Богоборчество, бунтарство – неотъемлемые черты облика английского поэта, а между тем они, кажется, ничуть не шокировали Белинского и в апогее его примирительной настроенности. Истоки этого парадокса – в характере восприятия Шнеллера и Байрона, заложенных еще на начальном этапе деятельности критика.

В «Литературных мечтаниях» отмечено: «...если Байрон *жизнью ужас и страданье*²¹, если он постиг и выразил только муки сердца, ад души», то «Шнеллер передал нам тайны неба, показал одно прекрасное жилище... пропел нам только свои заветные думы и мечтания...» (1, 32) Байрон и Шнеллер в своей односторонности – антиподы; один – выразитель злого начала («ад»), другой – возвышенного («небо»). На этой антистезе сформировалось восприятие Шнеллера в примирительный период критика, только, разумеется, с другой, негативной,

даже гневной окраской по отношению к немецкому поэту. «За что эта ненависть? – спрашивал Беллинский и объяснял: – За субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекраснодушную войну с действительностью – за все за это, от чего я страдал во имя сто» (11, 385).

Беллинский разглядел критику однородную в своей негативности, безыдеальную, и критику, осложненную просветительскими и революционными установками, а также иллюзиями, априорно предписываемой обязательностью женского поведения. Первое воплотилось Байроном; второе – Шамлером, причем парадоксально то, что для Беллинского, склонившегося к примирению, Шамлер был вместе с тем неприемлем и своей «Resignation», то есть подчинением индивидуального Моему общего принципу. Тут «обиснение фантазий», вразда к абстрактному и априорному свалилась в сознании Беллинского с борьбой во имя индивидуального человеческого чувства, и союзником его оказывался Гейне.

К этому контексту принадлежит выпад Беллинского против женских персонажей Шамлера: «Женщин его очень не жалую» (11, 351). Почему «не жалует», видно из противоположного примера – характеристики шекспировской Джульетты (Юли): «Юлия... обладает всеми романтическими элементами; любовь была религиею и мистикою ее девственного сердца... а между тем это существо не облачное, не туманное, все земное – да земное, но насколько проникнутое небесным» (3, 433). Образ являет собою синтез противоположных элементов – «романтического» и «земного» (классического); поэтому-то Шекспир – представитель новейшей поэзии.

Что же касается Шамлера, то он неприемлем критику не тем, что выражает романтическое (псоромантическое) начало, а тем, что последнее окрашено в идеальные тона. Иное дело – Байрон. «Это был поэт гордого самым собою отчаяния. Сын XVIII в., он с презрением оттолкнул от себя его бедные радости, его нищенские

нислаждения...» (2, 468). Словом, лучше бездонное отчаяние, «железный стоицизм», чем прекраснотушное. В такой интерпретации Байрон полностью совпадает с разобранными Белинским литературными персонажами – Гамлетом, Фаустом и особенно Печорным (текстовые переклички здесь налицо), ибо выражает второй, романтический момент развития человечества, момент дисгармонии, являющийся залогом перехода к гармонии и примирению. Парадокс Белинского в том, что он выступал во имя примирения с действительностью, проповедовал гармонию, «индийский покой созерцания» (Герцель), но при этом с повышенной остротой чувствовал и эстетически интерпретировал дисгармоничное, отчаянное, отнюдь не гармоническое состояние²¹.

V

В начале 40-х годов Белинский выходит из периода примирения, а вместе с тем перестраивается весь комплекс его литературно-эстетических взглядов. Мы вновь наблюдаем действие уже отмечавшейся закономерности: Белинский не изобретает новых положений, он движется в пределах наличного «мыслительного материала», перетолковывая и преобразуя его изнутри.

Иначе говоря, сохраняется уже выработанная периодизация духовной и художественной жизни человечества. Но она теперь насыщается обостренно социальным, критическим смыслом.

Древний, классический мир – не только мир пластической красоты, объективности, цельности. Это мир гражданской губальности, личной свободы, республиканских традиций. Вся современная история с ее катаклизмами, переворотами, революциями, включая Великую Французскую революцию, осуществляет заветы, сформулированные Античностью.

Средневековый, романтический мир выступает теперь в двойственном свете. Это не только пробуждение

и уточнение субъективного начала, сокращение жизни сердца, но и умерщвление естественных человеческих потребностей, подчинение их общему и надличному началу (этот момент намечался уже в критике Белинским Шиллера в примирительный период), феодальной иерархии и деспотизму монархов. Отсюда двойственная роль Средних веков в истории – и прогрессивная, и реакционная: «Знаю, что средние века – великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков, но мне приятнее XVIII век – эпоха падения религии» (12, 70).

Новая эпоха – это не только примирение античной объективности и внутренней, субъективной сферы духа, открытой романтизмом; и не только выход к действительности в общем философском смысле. Это преодоление отжившего в политике, в религии, быту, общественной жизни, то есть полное отвержение феодальных пут, деспотизма, религиозного диктата, гнета семейных и бытовых предрассудков. Это великая освободительная, революционная стихия. И литература нового периода оказывается причастной к ней, проникается ее дыханием.

Соответственно пополняется круг представителей новой формы искусства. Восходя к Сервантесу и Шекспиру, продолженная в новое время Гёте, В.Скоттом, Кутером, Байроном, она вместе с тем представляла и таких писателей, как Гейне, Шиллер, Беранже, Жорж Санд.

Характерен контекст упоминания имени Байрона: «Отрицание – мой Бог. В история мои герои – разрушители старого – Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Кайн») и т.д.» (12, 70). Байрон фигурирует в одном ряду с Вольтером и энциклопедистами, прежде отвергаемыми Белинским. Но не только Бог отрицания определяет литературные суждения критика. Жорж Санд близка ему в этот период идеями социалистического переустройства общества, что резко контрастирует с прежним негативным отношением критика к утопическому социализму.

Меняется и представление об исторической динамике в целом. Беллинский, мы говорили, еще в конце 30-х годов связал художественную периодизацию с общественной, превратив триаду развития искусства в триаду развития человечества. Но при этом подразумевалось человечество вообще, развитие человеческого духа в целом. Теперь он конкретизирует идею применительно к отдельным народам, регионам и странам. В самой динамике движения (но не в ее конкретном содержательном наполнении) Беллинский следует за Гегелем, у которого определенную стадию «развития всеобщего духа» воплощает определенный народ и после выполнения своей миссии этим всеобщим духом оказывается на произвол судьбы, уступая место другим, избранным народам. Гегелевская формула всемирной истории есть формула своеобразной мировой эстафеты или же поднимавшейся вверх лестницы²⁷.

Беллинский дает теперь свою, другую формулу: «Нет на земле племени, которое бы не принадлежало к семейству человеческого рода; но дело в том, что одно племя меньше, а другое больше принадлежит человечеству и что в этом отношении все племена и народы представляют собой цепь, звенья которой с обоих концов постепенно увеличиваются к центру» (5, 306). Место эстафеты (или лестницы) занимает «цепь»; но оба образа имеют принципиальное сходство. И тот и другой передают тесную связь всех «племен» в историческом процессе, но в то же время их разнотное отношение к его магистральной, или центральной, идее. Одни народы воплощают эту идею больше, другие меньше; именно через ведущие народы и их последовательную смену у кормила истории осуществляется поступательное движение человечества. Напомню, как решался вопрос в «Литературных мечтаниях»: «Да – только идя по равным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели» (1, 35). Теперь соотношение «дорог» выражается иначе: на иных цели не достигнешь, а угодишь в тупики как закоулки истории.

Все это имеет прямое отношение и к иерархии национальных литератур и их представителей. Ведь магистральный путь человеческой истории известен: Древний Восток, Античность, Западная Европа. Россия лишь со времени петровских реформ приближалась к этому развитию. Потенциальные возможности ее безграничны, будущее – многообещающее; но как оно реально сложится, какую фазу мировой истории вникн миру, Белинский не знает и упреждать ход времени не собирается.

Отсюда – решение им вопроса о мировом значении великих русских писателей – Гоголя и Пушкина. «Где, укажите нам, где веет в созданных Гоголем этот всемирно-исторический дух, это равно общее для всех народов и веков содержание?.. Гоголь великий русский поэт, не более... Такова пока судьба всех русских поэтов; такова судьба и Пушкина. Никто не может быть выше века и страны; никакой поэт не усвоит себе содержания, не приготовленного и не выработанного историею» («Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души», 1842 – 6, 258–259).

Напомним, что еще два года назад Белинский считал Пушкина всемирно значительным писателем, равным Гомеру, Шекспиру или Гёте. Тогда критерием отбора служила мера воплощения художнической объективности и гармонии, как их понимал Белинский в примитивный период; теперь – соответствие магистральному движению человечества, тому материалу, который не привносится извне, но вырабатывается одновременным историческим опытом. И соответственно тому, как определенные регионы и страны являлись носителями эстафеты исторического прогресса, так и выросшие на их почве писатели: Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте, Шамлер, Байрон, Вальтер Скотт, Купер, Жорж Санд и т.д. – оказались обладателями ранга всемирно-исторических гениев.

За первым рядом художников Белинский различает писателей другого ряда; и все равно последние имеют всемирное значение, так как сформировались на той

же почве: «...не только Сервантес, Вальтер Скотт, Купер как художники по преимуществу, но и Сифте, Стерн, Вольтер [философские романы и повести], Руссо («Новая Элоиза») имеют несравненно и неизмеримо высшее значение по всемирно-исторической литературе, чем Готаль, ибо в них совершилось развитие эпоса и со стороны содержания, и со стороны искусства, и со стороны содержания и искусства вместе» (6, 421).

Из упомянутых имен некоторую сложность для критика являет собою Купер. Молодость представляемой им страны, с только что пробуждающимися огромными силами и еще не определенным историческим жребием, пробуждает аналогии с Россией и русской литературой и, следовательно, заставляет ожидать сдержанного отношения к американскому писателю. Между тем Белинский чрезвычайно высоко оценивает Купера именно как романиста всемирного ранга, постоянно сопоставляет его с Вальтером Скоттом и даже ставит выше последнего.

Дело в том, что аналогия с русской литературой у Белинского неполная. Очень важно как будто бы забытое его замечание из характеристики романа Купера на фоне творчества шотландского романиста: если у Вальтера Скотта – «пестрота и многосложность дентальной, кипучей европейской жизни», то у Купера – тесное пространство палубы, локальная драма, – но, прибавляет критик, – драма, «корни которой иногда скрываются в почве материка, а величавые ветви осенют девственную землю Америки» (4, 458). Для Белинского европейский строй жизни – не только общественный, социальный уклад, но и выросший на его почве строй человеческих отношений и интимных чувств, достигших высокой степени развитости и предоставивших поэтому Куперу (как и Вальтеру Скотту) возможности для романного воплощения, для развития жанра романа. Словом, творчество Купера – это как бы североамериканский извод европейской традиции.

VI

Остановимся кратко на развитии историко-литературной концепции Белинского в последние годы его жизни.

Во второй статье пушкинского цикла (1843) критик с новых позиций подходит к романтизму, дополнив историческую периодизацию другой – типологической. Видимо, требование «дополнительности» – в природе романтизма, заставляющее постоянно менять точку наблюдения и удвоять критерии. У Ф. Шлегеля, например, это не только «исторический термин, означающий новую европейскую поэзию в отличие от античной», но и «вечный элемент всякой подыженной поэзии, всего лучшего в прошлой культуре, в том числе античной»²⁴. В немецком эстетическом сознании понятие романтизма в целом то локализуется до определенной школы – нинской или гейдельбергской, то расширяется до весьма больших пределов²⁵. Да и в современном литературоведении нетрудно увидеть нечто похожее хотя бы на примере различения «романтизма» как направления (или «метода») и романтизма как постоянного элемента искусства.

Белинский склонялся к некоторой двойственности термина еще в «Литературных мечтаниях», понимая под романтизмом и послесантичную поэзию и истинное, творческое, самобытное начало поэзии вообще. Затем такая двойственность была вытеснена исторической периодизацией. Но, видимо, последняя не до конца устраивала критика, так как не полностью охватывала все многообразие романтизма.

По-прежнему связывая романтизм со Средними веками («Средние века – действительно романтические по превосходству»), Белинский теперь признает вечное существование романтизма, определяемого «как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца» (Т, 145). Существовал восточный романтизм, потом греческий, наконец, возник романтизм Средних веков. За ним следует новый романтизм. Центральный пункт

концепция Белинского – переход от средневекового романтизма к новому, сама конфликтность, мучительный драматизм перехода.

Ибо этот переход одновременно означает переход к новому общественному и политическому устройству, разрушение средневековых норм и ограничений. «Давно уже условия жизни и основы общества были другие, не похожие на те, которыми крепки были средние века; но романтизм средних веков все еще держал Верстау в своих душных оковах, и – Боже мой! – как еще для многих гибельны клещи этого искаженного и вырождающегося призрака!.. XVIII век нанес ему удар страшный и решительный; но дело тем не кончилось... Высокое сильное историческое движение necessarily порождает реакцию своей крайности: вот причина внезапного появления романтизма средних веков в литературе XIX века» (7, 164).

Раньше романтизм начала нового столетия рассматривался Белинским как явление несвоевременное (хотя и появившееся в качестве противодействия другому несвоевременному явлению – «ахлакласцизму»); теперь – как явление еще и реакционное, нелепое, архаичное (оставшийся «покойник»), во всех смыслах этого понятия, в том числе и в политическом. Критик даже отказывается именовать его «так называемым романтизмом», но более определенно: романтизм Средних веков в современности.

Представителя этого романтизма – братья Шлегели, Тик, Новалис; во Франции – Ламартин и Гюго («оба они истощали воскресший романтизм средних веков...» – 7, 166). Сам Гёте залылал ему дань в «Страданиях юного Вертера», а еще больше Шлегер, который, с одной стороны, был «поэтом гуманности» и свободомыслия, а с другой – «романтиком в смысле средних веков». Но Байрон решительно выводится Белинским из этого ряда: «он был предвозвестником нового романтизма, а старому нанес страшный удар» (7, 165).

Интересно, однако, что Жуковский, будучи романтиком «в смысле средних веков», ничего не утратил, в

глазах Белинского, в своем значении. Причина – в особенностях русского исторического процесса, точнее – в отступлении его в прошлом от магистрального направления. «В России не было своих средних веков, и в литературе не могло быть самообитного романтизма, а без романтизма поэзия то же, что тело без души». И «в Жуковском русская литература нашла своего почитателя в таинстве романтизма средних веков» (7, 166). Словом, засада Жуковского мыслится Белинским, как и раньше, в том, что поэт компенсировал отсутствовавшую в духовной жизни России стадию.

Каков же облик нового романтизма? «Романтизм нашего времени есть сын романтизма средних веков, но он же очень сродни и романтизму греческому... Общество все еще держится принципами старого, средневекового романтизма, обратившегося уже в пустые формы за отсутствием умершего содержания; но люди, имеющие право называться только земля, уже стремятся осуществить идеал нового романтизма» (7, 158). С одной стороны, облик нового романтизма формируется по привычной схеме слияния античного и средневекового элементов, и здесь он совпадает с обликом нового искусства, новой его формы вообще. Но, с другой стороны, это именно идеал (идеал нового романтизма), причем не только художественный. В нем примиряются различные стороны человеческого существования: внутренняя и внешняя, происходит «гармоническое уравнивание всех сторон человеческого духа»; словом, это идеал разумного жизнеустройства, и, видимо, совсем не случайно в контексте рассуждений о романтизме возникло упоминание о людях, именуемых «только земля», – возможно, о теоретиках и практиках утопического социализма. Впрочем, от какой-либо конкретной привязки этих поисков к утопическому социализму Белинский вскоре откажется именно в силу его мечтательности, утопизма. «Посмотрите на Ж. Санд, – пишет Белинский Кавелину 7 декабря 1847 г., – в тех ее романах, где рисует она свой идеал общества: читал их, думаешь читать переписку Гоголя»

(то есть «Выбранные места из переписки с друзьями». – Ю.М.) (12, 462).

Новое понимание романтизма до некоторой степени подменяет триадическую периодизацию форм искусства. В дальнейшем Белинский еще дальше отходит от нее – по мере того, как он удаляется от философии немецкого классического идеализма, от традиций русской философской эстетики, по мере того, как весь строй его мироощущения приобретает новый, так сказать, реалистический характер.

С этой точки зрения особенно интересна одна из последних работ Белинского – «Тереза Дюнойе» (1847). Посвященная одноименному роману Евгения Сю, статья содержит очень широкий обзор истории мирового романа в целом, выдержанный под довольно определенным углом зрения. Каким? Это становится ясным из подклада критика к конкретным именам и произведениям.

Роман, считает Белинский, «порожден рыцарскими временами»; это давало критику очередной повод поговорить о романтизме Средних веков. Но даже помня такого автор не упоминает. Средневековый роман осужден по одному признаку – отступлении от действительности («между действительным и мечтательным миром не проводилась никакой черты» – 10, 103) – и осужден однозначно. Зато произведения, порожденные противоположной тенденцией – к действительности, в частности, те, которые отмечены печатью «сатиры», вызывают сочувственное отношение критика: «гениальный Рыба», «Вольтер XVI века» и особенно «великий Сервантес», у которого «сатира жила в форме высокохудожественного романа».

Роман XVIII в. – Август Лафонтен, Жанлис, Шпис, Радклиф, Дюкре-Дюмениль, даже Ричардсон и Фальдинг – оценивается весьма сдержанно – за всевозможные ограничения художественной перспективы – или «моральными правилами» и сентиментальными наставлениями, или «мистическо-фантастическо-аллегорическим» элементом. «...Все они изобража-

ли действительность, жизнь и людей в искаженном виде...» (10, 104)

К «привычным искажениям из общности этого извещения» Белинский относит романы Лесжа («он изображал жизнь и людей такими, каковы они есть на самом деле...»), Пиго-Асбрена, Крамера, и особенно Снелфта и Стерна. Но наивысшую похвалу вызывает у критика «История кавалера де Гриса и Манон Леско» аббата Прево: произведению этому, «по его поэтической и психологической верности, суждено бессмертие».

Стремление романа (и литературы в целом) «быть верною картиною общества» натолкнулось на противоположную тенденцию – здесь Белинский переходит к явлению, которое он именоваз прежде «так называемым романтизмом» или воскрешением романтизма средневекового и современности, в конце XVIII – в начале XIX в. Это Мэтьюрн, который «изумил всех в своем "Мельмоте Скитальце" необузданностью дикой фантазии»; это «гениальный Гофман», который, с одной стороны, обладал «удивительным юмором, при огромном таланте изображать действительность во всей ее истинности и казнить идеальным сарказмом филистерство и гофратство», а с другой стороны, впадал в «фантастические неаппости», которым принес в жертву «бессмертие имени своего в потомстве». Это Жан Поль, который «с замечательным талантом выражал свои раздутые идеальные, натянуто превысшенные идеи о значении человека и жизни его» (10, 106). Это Тик – «романтик по убеждению и довольно посредственный писатель». Выявление указанного направления критик видит у Гёте (и «Вертере»), Шатобриана («Рене»), Сенанкура («Оберман») и, наконец, Дараскура, который «довел до карикатуры это романтическое-штитическое направление». Вот в каком словосочетании выступает теперь у Белинского понятие романтизм.

К «ненстоявой школе», к которой Белинский относит Вальбаха, Гюго, Жакена, Сю, Дюма «и перигую эпоху их деятельности», отношение его двойственное, что вытекает из применяемого им к литературе главного кри-

терия. Представители «нигилистской школы» уведены от действительности, но при этом «не брались ни за отвлеченные, ни за фантастические идеи (как немецкие романтики. – Ю.М.), но всегда имели в виду общество»; они «страшно агали» на жизнь, но при этом «никогда и говорили правду, а главное – поднимали важные общественные вопросы – больше всех вопрос о нигилизме». Обратим внимание, что Гюго теперь выводится Белинским за пределы неоромантического направления.

Истинное назначение современного романа открыл Вальтер Скотт. «Во всех лучших романах прежнего времени видно стремление быть картиною общества... Но это было только стремлением...». Вальтер Скотт его осуществлял. За ним последовали Жорж Санд, Диккенс и Гоголь. У последних трех роман приобрел новое качество – стал «социальным». Суть такого романа – «художественный анализ современного общества, раскрытие тех невидимых основ его, которые от него же самого скрыты привычкою и бессознательностию» (10, 106).

Картина развития мировой литературы (в аспекте романа) дополняется схемой истории новой русской литературы, набросанной в одной из последних работ Белинского – во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» (1847–1848).

Литература в России «начала натурализмом», стремлением к действительности (Кавтемир как сатирик). Правда, «в лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеалу», и это направление продолжилось и в дальнейшем. Можно подумать, что Белинский возвращается к концепции реальной и идеальной поэзии; но это не так. Реальная и идеальная формы интерпретировались Белинским как вечные и в смысле соответственности природе искусства равноправные. Направлению же, заданному Ломоносовым, предстояло приблизиться к действительности. Например, Озеров, Жуковский и Батюшков: «...они были верны идеалу, но этот идеал у них становился все менее и менее отвлеченным и риторическим, все больше и больше сближающимся с дей-

ствительности...» и т.д. [10, 290]. Еще больше сблизились оба элемента у Пушкина. Стремление к действительности, к «натуральности» – магистральное направление русской литературы, увенчанное Гоголем и новейшей «натуральной школой».

Так выглядит теперь историко-литературная концепция Белинского

Спиралевидное, триадагическое движение уступает место движению по одной, преимущественно восходящей линии, обусловленной последовательным накоплением некоего качества – «натуральности». Приближением к действительности (или временным, частичным удалением от нее) определяется мера художественного прогресса. Характерно, что даже романтическое творчество Жуковского (впрочем, без употребления этого понятия) оценивается теперь постольку, поскольку оно изымает, делает более естественными «идеальные элементы»²⁸, то есть рассматривается как бы в русле натурального направления.

По сравнению с прежними концепциями Белинского новая обнаруживает утрату определенной доли диалектичности. Но не будем преувеличивать это явление. То, что лежало на магистральной линии «сближения с действительностью», оценивается критиком неизменно глубоко и тонко (отзывы о Скарроне, аббате Прево, не говоря уже о разборах произведений отечественных писателей – «Обыкновенной истории» Гончарова, «Кто виноват?» Герцена и т.д.). Далее, и по отношению к писателям, более не отвечающим его сегодняшнему мироощущению, Белинский отдает должное их таланту, гению и нередко рассматривает их творчество в весьма драматическом и сложном свете – как борьбу противоположных тенденций и направлений (Гофман, Жан Поль), а кроме того – и это очень важно – новая концепция Белинского еще далеко не сложилась, не оформилась, не выдалась в окончательные и более или менее твердые положения.

И наконец, самое главное: в Белинском жило неестественное ощущение поэзии, поэтичности – некая первич-

ная основа, на которую насаживались его упоминающиеся и подлинные критерии. Это то, что Гоголь называл «поэзией поэзии», ставя ее выше даже «поэзии мыслей»: «Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии»²⁷. Эту же идею Белинский выразил по-своему: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, – в нем нет и не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов» [10, 303].

Исходя из этого ощущения, Белинский проводил сопоставление Гоголя и «натуральной школы». Последнюю в силу своего стремления к действительности, «натуральности», подчас даже математически точному воспроизведению среды, обстановки, персонажей и т.д. должна была, казалось, рассматриваться как прямое наследование Гоголя и высшее достижение реализма. «Наследование», конечно, было, но была и колоссальная разница, обусловленная безмерной глубиной и многозначностью гоголевского художественного мира. И эту разницу Белинский почувствовал, как никто. «Между Гоголем и натуральною школою – пропасть бездна», хотя «она идет от него» и «он не только дал ей форму, но и указал на содержание. Последним она воспользовалась не лучше его (куда ей в этом бороться с ним?), а только сознательнее». Но, заключает Белинский, «все гении так действуют», то есть «бессознательно» (из письма к К.Д. Кавелину от 7 декабря 1847г. – 12, 461). Вместе с ощущением гоголевской глубины повышается и роль интуитивного, бессознательного элемента, который радикальная критика, как известно, не очень жаловала.

Цель настоящего очерка – нащупать некую внутреннюю логику историко-литературной концепции Белинского и ее движения.

Белинский писал в 1842 г. в полемике с К. Аксаковым: «Как, кроме частных историй отдельных наро-

дов, есть еще история человечества, – точно так, кроме частных историй отдельных литератур... есть еще история всемирной литературы, предмет которой – развитие человечества в сфере искусства и литературы» (6, 421).

Эти слова довольно четко характеризуют главные особенности того типа мышления, который «отличал Белинского. Одну особенность мы, собственно, уже упоминали – стремление к универсализации, к максимально полному объединению отечественного и зарубежного материала. Гегелевское «Истина – это целое» (*Das Wahre ist das Ganze*) вполне может быть отнесено к Белинскому. Но целое в аспекте литературы – это именно мировая литература (в свою очередь, входящее в другое целое – мировую культуру, в развитие «всемирного духа» и т.д.). И отсюда – другая особенность эстетического мышления Белинского.

Собственно, история мировой литературы как таковой не была предметом специального внимания критика (а лишь статья «Тереза Диниё» может служить беглым подступом к этой теме). Но многие, если не большинство, его оценок внутренне тяготеют именно ко всеобщему, то есть всемирному, аспекту художественной эволюции. Тяготение создается не единством точек зрения (ибо каждый предмет, обладая своей логикой, требует своего подхода), но их соотносительностью, упорядоченностью и иерархичностью, так что в своей совокупности они представляют возможность потенциального восхождения к вершинам, откуда должен открыться взгляд на всеобщее «развитие человечества в сфере искусства и литературы».

1990

¹ Вариант этой статьи (под названием «Об историко-литературной концепции Белинского») опубликован в кн.: *Март Ю.В. Тургенев и другие*. М., 2008.

² Koff M.A. *Geist der Goethezeit*. Leipzig, 1953. IV Teil. S. 101.

³ *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., А., 1963. Т. 1. С. 28. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте.

⁴ *Литературно-критические работы декабристов*. М., 1978. С. 218.

¹ См., например, в специальной работе: Edward K. Kostka. *Shiller in European Literature*. Philadelphia, 1965. P. 86-87.

² Шлегель Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 4. С. 409.

³ Асмус В.В. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968. С. 182.

⁴ Там же. С. 183.

⁵ Шлегель Ф. Указ. соч. Т. 4. С. 183.

⁶ Но незначительно: Вяземский все еще колебался, стремится быть первым своей системой. В статье «Семь русских литераторов» (1841) утверждалось: «Шекспир, Байрон, Гёте, Шлегель, Пушкин – система не романтика, но представителя новейшей поэмы» (Б., 214). За предков романтизма здесь выдвигаются не только Байрон, но и Шлегель.

⁷ Гегель. Соч. М., 1938. Т. 12. С. 86.

⁸ Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1963. Т. 1. С. 121, 122.

⁹ См.: Лопов Ю.И. Философско-эстетические воззрения Фридриха Шлегеля // Шлегель Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 21.

¹⁰ Мейсбах Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 250-253.

¹¹ Гегель. Соч. М., 1938. Т. 12. С. 86.

¹² Fieding S.V.G. *Belinskij // Die Entwicklung seiner Literaturtheorie*. Bergen; Oslo; Tromsø, 1972. 1. 8. 287.

¹³ Гегель. Указ. соч. С. 74.

¹⁴ С. Фастинг считает, что предвещанная формула развития человечества сложилась у Вяземского под влиянием М.Васютина – это предвещание в Гимнастическом речье Гегеля (Fieding S. Указ. соч. 8. 287). Однако приходится считать, что эта формула выработалась зад влиянием русской традиции интерпретации эстетической системы Вяземского, о чем говорится выше.

¹⁵ О прожектерском характере статьи Вяземского, посвященной «Герою нашего времени», см.: Боров В.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г. Вяземского. М., 1982. С. 70-71.

¹⁶ И.С. Айхен, автор статьи «Вяземский о Шлегеле», проводит разницу в подходе критики к Байрону и Шлегелю, но уже на предельном примерительном уровне: Вяземский «таинным, бесстрастным и системным откликом Шлегеля от гордой байронической сюрбы...» (Шлегель Ф. Статьи и интервью. М., 1966. С. 52).

¹⁷ Вяземский цитирует слова В.К. Косовых-Байра из стихотворения «Смерть Байрона».

¹⁸ Сдается добавить, что и в примерительный период откликом Вяземского к Шлегелю не следовало к отчаянию. Вообще брошено в сына, что в своих нежных оценках немца-немецким он был значительно сдержаннее, чем в письмах и устных высказываниях. Даже в том, что с Шлегелем Вяземский воюет и трудное, чтоб не сказать циклопическое, сражение. Критик знал (и так называемым католическим тетрадом), что Гегель в своих лекциях по эстетике высоко ценил Шлегеля-романтика, видел в нем одного из своих предвещавших (этот факт Вяземский, кстати, упоминал и в одной из своих рецензий). Таким образом, Шлегель выступил предвещавшим той самой философией, опираясь на которую Вяземский строил свою систему примерения и отсечения Шлегеля-художника.

¹⁶ См.: Гусель. Указ. соч. Т. 3. С. 333.

¹⁷ Лопов Ю. Указ. соч. С. 33.

¹⁸ См. об этом: Михайлова А.В. Приготовительная школа эстетики Жан Пиажа – теория и роман // Жан Пиаж. Приготовительная школа эстетики. М., 1983. С. 16.

¹⁹ Это наблюдение сделано Р.П. Шагиняном в статье «Проблема романтизма у Вейнгартнера» (Труды Самарканд. гос. ун-та, 1964. Вып. 153. С. 109).

²⁰ Лопов Ю.В. Поэтич. собр. соч.: В 1-6 т. М., 1937–1952. Т. 6. С. 95.

В.А. НЕДЗВЕЦКИЙ

В.Г. Белинский о литературе риторической и художественной

С момента публикации знаменитых «Литературных мечтаний» (1834) и по обзор «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (1847–1848) через критику Белинского проходит, придавая ей, несмотря на противоречивые одновременные оценки отдельных произведений и писателей («Горе от ума» А. Грибоедова, творчества Жюль Санд, А. Мицкевича, В. Гюго и др.), замечательную целостность, ряд устойчивых вопросов к обозреваемой им отечественной литературе. Важнейшие из них следующие: существует ли русская литература как «отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни»¹; есть ли в ней, кроме немногочисленных гениальных творений, и массовая беллетристика; какая из литератур – «идеальная» или «реальная» (II, с. 262) – наиболее отвечает современности и интересам российского общества; может ли русская литература претендовать на общечеловеческое значение своих созданий; присутствует ли в ее движении внутренняя закономерность и возможна ли ее научная история?

Вопросы эти для Белинского не были ни праздными, ни противоположными. По существу, они отражали и формулировали те крупнейшие теоретические задачи, которые объективно встали перед всей российской словесностью именно с середины 1830-х годов, ознаменованных литературными шедеврами А. Пушкина («Евгением Онегиным», «Медным Всадником», «Маленькими трагедиями» и «Капитанской дочкой»), «Арабесками» и «Миргородом» Н. Гоголя и первыми публикациями (поэма «Хаджи Абрек», «Песня про царя Ивана Васильевича...») М. Лермонтова.

Белинскому же принадлежат и развернутые ответы на поставленные им вопросы. В начале его литературно-критического восприица в целом отрицательные («...у нас нет литературы, а следовательно, нет и истории литературы...»; «В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов – вот все ее представители... Но могут ли составить литературу четыре человека, жившие не в одно время?») (I, с. 87, 101). И лишь в отношении перспектив «реальной» литературы ответ предположительный («Но кажется, что последняя, родившаяся вследствие духа нашего положительного времени, более удовлетворяет его господствующей потребности») (X, с. 270. Курсив наш. – В.Н.). И напротив – в конце деятельности критика – уверенно позитивные: «Она (русская литература. – В.Н.) уже вышла свою настоящую дорогу и больше не ищет ее, но с каждым годом более и более твердым шагом продолжает идти по ней»; «...мы видим в натуральной школе довольно талантов, от весьма замечательных до весьма обыкновенных» (X, с. 314, 16); «несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое развитие, следовательно, у нас есть история» (VII, с. 133). Тогда же, ссылаясь на большое впечатление, произведенное на французских читателей переводом нескольких повестей Гоголя, Белинский предсказывает родной литературе и всемирное признание.

Фиксируя в 1845–1848 годах качественный прогресс, произошедший в отечественной словесности всего за одиннадцать-четырнадцать лет, сам автор «Литературных мечтаний» обуславливает его причинами как *общего* и *долговременного*, так и *конкретно-исторического* рода. «Литература наша была плодом сознательной мысли, являлась как нововведение, началась подражательностью. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самостоятельности, народности...» (X, с. 294. Курсив наш. – В.Н.). Действительно, со времени од М. Ломоносова и Г. Державина, басен И. Крылова, комедий Д. Фонвизина, романов А. Измайлова и В. Нарекного, «Бедной Анны» Н. Карамзина стремление

это выразилось во все большем обращении русских авторов к отечественным лицам и событиям, историческим и частным, и опытам изображения российских быта, нравов, даже «простонародной» и «поселянской». Однако само по себе оно было бессильно изменить те, освоенные «старинными пытками и риториками» (X, с. 243), представления о литературе, которые, господствуя и в восемнадцатом, и в первых десятилетиях девятнадцатого века, преимущественно делала ее, по глубокому замечанию А. Пушкина из его статьи «Споры и суждения на критики» (1830), не эстетическим, а «педагогическим занятием»².

Между тем принципиальный позитивный сдвиг, свершившийся в ряде и относительно скромных явлений русской литературы 1830–1840-х годов, состоял в обретении ими собственно эстетической сущности, цели и значения. Что произошло уже по конкретной причине, которую Белинский обозначал так: отечественная литература в этот ее период в лице довольно многих даровитых деятелей «из риторической» окончательно сделалась «естественною, натуральною» (X, с. 294) в смысле своего обращения не только к реальной российской жизни с ее «жизными национальными интересами» (IX, с. 270), но и к собственной природе.

Иначе говоря, из произведений украшенного или изящного слова преобразовалась в создания словесного искусства. При этом автор выдающихся аналитических статей о Пушкине, Лермонтове и Гоголе имел все основания добавить, что быстротой этого процесса она не меньше, чем названным творцам, обязана и его литературной критике. Ведь именно ею, а не предшествующей ей критикой декабристов, Н.А. Полевого или Н.И. Надеждина русской литературе и была поставлена та творческая сверхзадача, успешному и ускоренному решению которой она вот уже свыше полутора столетий обязана своей уникальной востребованностью всем культурным человечеством.

Белинским же была определена и основная эстетическая категория литературы как искусства слова. Это

художественности. «Понятие о художественности, – вспоминал П.В. Анненков, – является у нас в половине тридцатых годов и вытесняет сперва прежние эстетические учения о добром, прекрасном, возвышенном и проч., а наконец, и понятие о романтизме»¹.

Замечание Анненкова весьма точное: термин «художественности» мы не встречаем ни в литературе и критике русского классицизма, где определяющим является по преимуществу этическое понятие «доброто» (или государственно-«важного» и «должного»), ни в сентиментализме с главенствующим в нем эмоционально-художественным понятием «трогательного» (или «чувствительного»), ни в разных течениях отечественного романтизма с важнейшей для него категорией «высокого» (у В.А. Жуковского идеально-неземного, у поэтов-декабристов – в смысле гражданственного служения «общественному благу», у М. Лермонтова – героико-тригического, и т.д.). Его нет в словаре В.И. Даля: в отличие от слов «художник» и «художественный» (*un artiste, artistique*), он не имеет идентичного аналога в языке французском и лишь в виде лексемы «художество» предвосхищен в пушкинской статье 1836 года «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (7, с. 404). Есть основания полагать, что образованный (как некогда карамзинская «промышленность» от «промысла») от сущительного «художник», термин этот был либо неологизмом Белинского, либо же той литературно-эстетической дефиницией, которая автору «Литературных мечтаний» стала совершенно необходима и которой именно он придал особо емкий теоретический смысл.

Дело в том, что художественность становится у Белинского не только основным критерием эстетической состоятельности того или иного литературного произведения (всего творчества писателя, даже целого литературного направления или течения, школы), но и главным залогом его исторической и антропологической сущности. Литературная художественность у Белинского – одновременно и главное противоядие, и положи-

тельная альтернатива риторической (или, как предпочитал писать критик, – реторической) литературе.

Последнее определение имеет, однако, у Белинского в свой черед как общий и вневременный, так и методологически и исторически конкретный смыслы. В первом случае к литературной риторике критик относит сочинения, авторы которых исполняют отсутствие ная недостаток таланта (творящего воображения, глубоких эмоций и богатых «эстетических идей») разного рода «преувеличениями, мелодрамой, трескучими эффе́ктами» (X, с. 313) и всего более «риторическими возгласами» (I, с. 83). В глазах Белинского, их образцы в русской прозе XIX века – отдельные, особенно «натянутые» (I, с. 85) повести А. Бестужева-Марлинского, а в поэзии – стихотворения «Владимира Бенедиктова» («...он то же самое <...>, что Марлинский в прозе») (VI, с. 493), в равной мере негативно оцененные критиком в 1835 и 1842 годах.

В рамках данной литературы Белинский, пренебрегая в эти моменты историзмом, включает и те, по его мнению, явные, не отвечающие месту и времени своего появления литературные явления прошлого, основание которых – «отклонение от жизни, отпадение от действительности; характер – ложь и общие места» (VII, с. 109). Причисляя к этим «подделкам под чужую форму и тем более под чужую жизнь» вместе с «Россиадою» и «Владимиром...» М. Хераскова и такие шедевры французского классицизма, как трагедии Корнели и Расина, он в 1843 году заявляет: «Вот происхождение реторической поэзии» (Там же). Наконец, к последней Белинский 1840-х годов относит и «вольное и невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни» (X, с. 15).

В случае втором критик имеет в виду литературу, созданную по нормам риторики в ее первоначальном и точном значении, то есть как древней традиционной науки об ораторском искусстве. Ее начало и господство в светской русской культуре он связывает с одами и одической школой М. Ломоносова, в котором «бо-

романсь два призвания – поэта и ученого, и последнее было «слабее первого», и который был «скорее оратор, чем поэт», потому что «элементов поэзии как искусства» «решительно не заметно ни в одном его стихотворении» (VII, с. 117).

Из произведений русской прозы девятнадцатого века Белинский мог бы включить в ее границы такие отечественные романы 1810–1820-х годов, как «Российский Жюльяс, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Частякова» (1814) В. Нарезного и «Иван Выжигин» (1829) Ф. Булгарина. Базирующиеся также на собственно «риторическом типе творчества»⁴, они в своем становлении подобны основным частям ораторской речи: «обобретению (выявлению) материала, его расположению и словесному украшению как главному средству убедить, усладить и возмужать»⁵ читателя всего лишь эмпирическим правописанием действительности и тем авторским правоучением, которое и подменяет здесь еще отсутствующее художественное содержание. Как и неразделанную с ним художественную форму, место которой тут занимают разные стили (высокий, средний и простой), многочисленные тропы, возвышающая и снижающая патетика и риторические фигуры (мысли, слова), восходящие к арсеналу античного красноречия и с опорой на него исчерпывающе разработанные в «Риторике» (1748) М. Ломоносова.

Надо сказать, что об опасности для русской литературы «искусства дидактического, поучительного <...>, мертвого, которого произведения не что иное, как риторические упражнения на заданные темы» (X, с. 303), Белинский отнюдь не забывает и в 1840-е годы. Однако теперь главенствующей его целью становится разъяснение эстетической природы и огромной, ничем не заменимой общественной ценности литературы как искусства слова – литературы художественной. Той, создателем которой в России явился, по его убеждению, Пушкин, единственный из писателей-современников Белинского, чьему творчеству он посвятил целую книгу в виде одиннадцати обстоятельнейших статей. Ведь

«до него (Пушкина. – В.Н.), – утверждал критик, – у нас не было даже предчувствия того, что такое <...> художество, которое составляет собою одну из абсолютных сторон духа человеческого. До него поэзия была только красноречивым изложением прекрасных чувств и высоких мыслей, которые не составляли ее души, но в которых она относилась как удобное средство для доброй цели...» [VII, с. 319. Курсив наш. – В.Н.).

Эту апологию творца «Евгения Онегина» нетрудно скорректировать собственно пушкинскими высокими оценками не только В. Жуковского («Его стихов пленительная сладость / Пойдет вехов завыстланную даль...»), К. Батюшкова, И. Крылова, но и «некоторых од» Г. Державина, исполненных «порывами истинного гения», и доминиканских «преможенных псалмов» и «подражаний высокой поэзии священных книг» [7, с. 19, 20]. Но критик и поэт уже вполне солидарны в суждениях о допушкинской русской прозе. Даже в 1831 году Пушкин ограничивает ее лишь «историей Карамзина» да «двумя тремя романами», появившимися «только в последнее время» [7, с. 325]. А называя прозу карамзинскую «лучшей» в России, поэт тут же добавляла: для русской литературы «это еще похвала небольшая» [7, с. 16], – уточнение, с коим, вне сомнения, согласился бы и Белянский.

Сколько-нибудь обширное сопоставление литературно-критических мнений и чаяний Пушкина, с одной стороны, и Белянского, с другой, будь оно предельно, вообще способно поразить нас их редкостной близостью. Вот один-два примера ее, непосредственно относящихся к теме данной статьи. «Мы (то есть русские писатели и читатели. – В.Н.), – пишет Пушкин в 1830 г., – не имеем еще нужды ни в Шателаях, ни даже в Агаарпах» [7, с. 167]. «В то время, – говорит Белянский в первой статье пушкинского цикла о культурной России 1820-х годов, – <...> у нас глухо отдавалось эхо умственного переломата, совершившегося в Европе; тогда еще робко и неопределенно начали поговаривать <...>, что Шатель будто бы знает об искусстве побольше Агаарпа <...>; что почтенные гг. Буало, Батте, Агаарп и Мар-

монтель безбожно ослепительное искусство, ибо сами мало смыслили в нем толку» (I, с. 66. Курсив наш. – В.Н.). «Мы не принадлежим, – замечает Пушкин в 1836 году, – к числу подобострастных поклонников нашего века; но должны признаться, что наука сделала шаг вперед. «...» Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорилась она языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказалась более стремления к единству» (7, с. 407). Это мнение поэта можно отнести не только к И. Киреевскому и С. Шевыреву, но и к Белинскому, уже в кружке Н. Станкевича погруженному в немецкую философию и ее новую эстетику, а с 1834 года строящему на ее фундаменте и свою новаторскую критику, подтверждение главных тезисов которой он находит в творческих созданиях Пушкина.

Можно утверждать и большее: именно произведения Пушкина, раньше знакомства Белинского с соответствующими идеями Шлегеля и Гегеля, подготовили его к формулированию теоретико-критической категории художественности, а спустя несколько лет и созданию цельного учения о ней. Пусть, по существу подтверждает этот факт Белинский, в 1817–1824 годы «Пушкин не говорил, что поэзия есть то или то, а наука есть это или это; нет: он своими созданиями дал мерное для первой и до некоторой степени показал современное значение другой» (I, с. 66).

В самом деле: еще 14 марта 1825 года находящийся в Михайловском Пушкин, имея в виду своих петербургских собратьев по перу, замечает в письме к брату Лану: «У вас ересь. Говорят, что в стихах – стихи не главное» (10, с. 128). А в ответ на заданный в том же году вопрос В. Жуковского «какая цель у “Цыганов”» цитирует (со слов А. Дельвига) Ф. Шлегеля: «Цель поэзии – поэзия»... Думы Рышкова и цвет, а всё невыход» (X, с. 141). Увидев в статье П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях

В.А. Озерова» традиционное определение общественно-го назначения литературы «Обязанность его [трагика. – В.Н.] и всякого писателя есть согреть любовью к добродетели и воспламенить ненавистью к пороку...» (курсив наш. – В.Н.), Пушкин (это высказывание датируется также 1820-ми годами) решительно возражает: «Ничуть. Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело» (VII, с. 550).

На рубеже 1820–1830-х годов Пушкин создаст знаменитый стихотворный цикл «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Поэт и толпа», «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовью народной»), одушевленный протестом против традиции «видеть в литературе одно педагогическое задание» (VII, с. 189) и требований как «непосвященного народа», «черни тупой», «на вес» оценивающей «кумир <...> Бельведерский», так и «строгих Аристархов», чтобы художник «приводил уроки нравственности» (VII, с. 493). Наконец, в 1836 году, как бы вторя аналогичному пафосу статей Белинского «Литературные мечтания», «О русской повести и повестях г. Гоголя», «И мое мнение об игре г. Каратыгина», Пушкин скажет: «Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изыщной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовав, что цель художества есть идеал, а не *правильность*» (VII, с. 404).

Это было признание огромного шага вперед от утилитарно-рационалистической трактовки литературы (Буало, Баттё, Лагарп, Готшед, Эшенбург, А.П. Сумароков) к осознанию ее эстетической специфики и такого же назначения в обществе. Шага, в Западной Европе совершенного Кантом, Августом и Фридрихом Шлегелями, Шлегелем и Гегелем. А в русской литературной критике XIX века прежде всего – Виссарионом Белинским.

Если в первой четверти девятнадцатого века русская литература, согласно верному наблюдению Белинского, за исключением Пушкина, в известной степени

и В. Жуковского, К. Батюшкова, значительно отставала от современной теории искусства, то в конце 1840-х годов, когда «старые теории потеряли свой кредит», она, по его мнению, по меньшей мере в лице Н. Гоголя («Гоголь принадлежит к числу немногих совершенно избежавших всякого влияния какой бы то ни было теории») стала обгонять ее (X, с. 295).

Добавим – конечно же, благодаря и критике самого Белинского, включая и его статью 1835 года о «миргородских» и «петербургских» повестях Гоголя, которой тот, по позднейшему свидетельству П.В. Анисимова, был не просто доволен – «осчастливлен»⁷.

И разумеется, не случайно. Дело в том, что уже с этой поры Белинский уверенно идет к свершению, на наш взгляд, главного дела своей жизни – созданию учения о художественности, или – своеобразного кодекса художественности.

Справедливо полагая, что «законы внешнего» можно вывести прежде всего из самых «низших созданий» (I, 285), критик волею за классическим созданием славянского искусства – трагедией В. Шекспира («Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета; 1838) – «текстуально» прорабатывает, в сооставлении с комедией А. Грибоедова, гоголевский «Ревизор» («Горе от ума. Соч. А.С. Грибоедова»; 1840), затем в том же году роман М. Лермонтова «Герой нашего времени», через год в одноименной статье и его стихотворения. А через два года в течение трех лет монографически анализирует всего Пушкина.

Тому причина особая. Ибо Пушкин, по убеждению Белинского, не только первый русский «поэт жизни действительной», поэзия которого к тому же «удивительно верна» ее российскому своеобразию, «изображает ли она русскую природу или русские характеры» (VII, с. 332). Он «был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию как искусство, как художество, а не только как прекрасный язык чувства»; он явился «первым русским поэтом-художником» (VII, с. 316, 319. Курсив наш. – В.Н.).

Именно на примере пушкинских шедевров Белинский впервые разъясняет своим соотечественникам особенность художественной («поэтической») «идеи» («содержания») как сущности не отвлеченно-умозрительной, а живой и органичной, продуцируемой и восприимчивой (в отличие от отвлеченно-логических идей сочинений риторических) не «рассудком, не чувством и не какою-либо одною способностью» человека, а всей «полнотою и целостью» его духовно-нравственных и интеллектуальных сил в их нерасторжимости (VII, 312).

Равно замечательным и точным уподоблением «процесса творчества» «процессу деторождения» (художник «носит и вынашивает в себе зерно поэтической мысли, как носит и вынашивает мать в утробе своей») Белинский проясняет и для далеких от искусства читателей положение о взаимосвязанном единстве «идеи» художественного произведения с его, в свою очередь, «целой и <...> органической» формой (Там же).

Из приведенных тезисов естественно вытекала трактовка художественного произведения как «особого, замкнутого в самом себе мира» (III, с. 437), все содержательно-формальные и формально-содержательные компоненты которого по закону поэтической необходимости одновременно верны и себе и целому. Интересами «полноты и цельности» (Там же, с. 414) создаваемой картины действительности критик мотивировал требование о необходимости для художника «объективности, побуждающей его «быть органом не той или другой партии или секты, осужденной, быть может, на эфемерное существование, обреченной исчезнуть без следа, но сокроенной думой всего общества...» (X, с. 306).

В отличие от ораторских речей всех родов и генетически связанных с ними произведений литературной риторики, произведение словесного искусства не может состояться в прозе без высококоралитого литературного языка (как «первоначальной <...> формы поэтической мысли», – VII, с. 317), а в «художественной, артистической» (X, с. 318) поэзии – еще и стиха. Но в России такой язык, опирающийся на весь лексический

и фонетический потенциал русской речи с ее акустическим, мелодическим богатством и гибкой просодией (X, с. 317, 318), не образовала языковых реформы ни М. Ломоносова, ни Карамзина. В поэзии он была окончательно (то есть с учетом большого вклада в это дело В. Жуковского и К. Батюшкова) создан лишь Пушкиным, а в прозе повсюду не ранее пушкинских «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», повестей Гоголя и лермонтовского «Героя нашего времени» (воспомним восхищение А. Чехова языком «Тамара»).

Факт этот Белинский поясняет сопоставлением стиха Г. Дерожавина с пушкинским. Если первый, «часто столь неуклюжий и прозаический», «в отношении к просодии, грамматике, синтаксису и особенно акустическим требованиям языка <...> ниже стиха не только Дмитриева, но и Карамзина», то второй – «нижен, сладостен, мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благоухает, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря» (X, с. 317, 318). А говоря о совершенных художественных произведениях отечественной прозы, критик особо отмечает отсутствие в их языке «семинаризма, литературщины и антераторства, от которых не умаян и не умеют освободиться даже гениальные русские писатели» (XII, с. 352). Один из первых по времени образцов ее критик справедливо уицел в «Обыкновенной истории» (1847) И. Гончарова с ее «чистым, правдымым, легким, свободным, льющымся» языком (X, с. 344).

В ряду не менее важных форм учения Белинского о художественности, органично вошедших в эстетику И.С. Тургенева, И. Гончарова, А. Островского, Достоевского и А. Толстого, А. Фета, Н. Некрасова и их творческих преемников вплоть до наших дней, были «творческая фантазия», типизация и символизм, а также поэзия – в значении общечеловеческого элемента произведений, возникающего в них благодаря умению писателя улавливать в настоящем – непреходящее, в текущем – вечное. Считаая, что «безнаказанно нарушать законы искусства» «невозможно», Белинский в последнем го-

довом обзоре предупреждал начинающих литераторов: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, – в нем нет и не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и всё, что можно заметить в нем, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное» (X, с. 303). Словом, – всего лишь литературную риторику.



В качестве последователя классической немецкой эстетики и критика, сформированного литературой не классицизма и сентиментализма, где, по словам Пушкина, «выгода добродетели и наказание порока были неприменимым условием всякого вымысла» (VI, с. 404), и не словесности романтической, неизбежно, являлась ли она, согласно декабристскому «Уставу благоденствия» (1818), воплощением «чувств «высоких и к добру утешающих» или байронической «словесностью отчаяния», (VII, с. 405), а – «позней жизни действительной» (I, с. 289) Белинский безоговорочно поддерживал бы уже процитированную нами мысль Пушкина (высказанную в 1836 г.) «...идея художества есть идеал, а не нравственное». Все сомнения, разделял бы он и позднейшее положение А. Толстого, непосредственно развивающее пушкинскую мысль: «Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это»⁴.

Эстетический идеал, а названное немалое русское художники слова говорят здесь именно о нем, как и образ, – это те фундаментальные эстетические категории, вне которых, конечно, бессмысленно и учение Белинского о художественности. Между тем употребляем Белинский понятие идеал, как правильно, лишь в его традиционном значении чего-то «высшего» (или крайне одностороннего), в равной мере относя к нему и устремления классицистов к «царству разума», и «чуждость этому миру» (I, с. 270) романтиков. Все это поглощается для него общими рамками литературной риторики. И толь-

ко при анализе пушкинского «Онегина» взгляд критика на эстетический идеал приобретает конкретно-исторический характер. «Поэзия его (Пушкина. – В.Н.), – писал он еще в 1844 году, – чужда всего <...> призрачно-идеального; она вся проникнута насковью действительностью <...>; в поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля» (VII, с. 339. Курсив наш. – В.Н.). Однако в году 1847-м Белинский скажет: «...В "Евгении Онегине" идеалы еще более уступили место действительности нам, по крайней мере, то и другое <...> слылось во что-то новое, среднее между тем и другим...» (X, с. 291. Курсив наш. – В.Н.)

Специально и развернуто не рассматривает Белинский и специфическую природу художественного образа. Вместе с тем, превосходно ощущая его принципиальное отличие от языковых тропов, а также риторических фигур мысли и слова, наконец, – от понятия, он главное в нем объясняет посредством определений образности, образным и лафос.

Риторик, оратор или антератор, оснащая свою речь высказываниями, подбором и тем или иным сочетанием слов с целью сделать ее более, чем обычная разговорная речь, доходчивой и впечатляющей слушателя или читателя, несколько при этом не изменяет ее понятийно-логической природы. Выразительность сказанного и его смысла связаны между собой, как человек и его одежда, то есть – механистически, так что при замене одних риторических приемов на другие смысла высказанного может впечатлять больше или меньше, но сам остается прежним. По существу, риторическое сочинение представляет собой вместо нераздельного единства формы и содержания ту «пополненную пилюлю, подслащенное лекарство», с которыми Белинский сравнивал «русскую поэзию до Пушкина» (VII, с. 319).

Напротив, в произведении словесного искусства его «содержание» рождается и воздействует на читателя (слушателя, зрителя) как итоговое восприятие им (переживание-осознание) его совокупных и всегда неповторимых творческих форм: сюжета, конфликта, ком-

позиции, системы персонажей, ритма и интонации, стихотворного размера, рифмовки и строфики и т.п. Ведь эта совокупность и превращает такое произведение в подобие живого организма, сущность которого выступает как содержательность его целостной формы.

А поэтому, говорит критик, и обозначать его правильно всего не словами «мысль», «содержание» и т.п., а лексемой пафос (по-греч. – *страсть, возбуждение, воодушевление*). «Искусство, – поясняет он, – не допускает к себе отвлеченных философских, а тем менее расчужденных идей: оно допускает только идеи поэтические; а поэтическая идея – это не силогизм, не догмат, не правдо, это живая страсть, это – пафос...» (VII, с. 312).

Привнесением в современные ему литературно-эстетические понятия категорий пафоса, органичности и организма как синонима художественного образа Белинский не только дал отечественной критике эффективный инструментарий для отделения явлений искусства от их риторических суррогатов, но и теоретически обосновал огромной важности положение Пушкина, развитое им в уже упомянутых стихотворениях о назначении поэта и поэзии. Это положение об искусстве как единственной деятельности, позволяющей человеку выжить совершенно свободно и во всей своей целостно-цельной духовно-творческой полноте. Иначе говоря – обрести и пережить ту гармонию (внутреннюю и в связях с окружающим миром), которая, согласно А. Толстому, и чувствуется «одним искусством» и составляет его конечную цель.

«Поэт! Не дорожи любовью народной», – обращается к своему собрату Пушкин в сонете 1830 года, поясняя: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Идти, куда влечет тебя свободный ум...» (Курсив наш. – В.Н.). А вот развитие той же идеи в «Осени» (1833): «И забываю мир – и в сладкой тишине / Я сладко усыплен моим воображеньем, / И пробуждается воля во мне: / Душа стесняется лирическим волненьем. / Трепетает и звучит, и ищет, как во сне, / Излиться наконец свободным проявленьем...» (курсив наш. – В.Н.). Как человек абсолют-

но раскованный предстает в момент творчества («Поэт по мере вдохновенной / Рукой рассеянной бряцал. / Он пел...») лирический герой стихотворения «Поэт и толпа», с такими словами отказывающийся превращать свое искусство в нравственные уроки для «черни тупой»: «Подите прочь – какое дело / Поэту мирному до нас! / «...» Не для житейского волнения, Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновения, Для звуков сладких и молитв» (курсив наш. – В.Н.).

Как бы ни толковались и перетолковывались в те или иные идеологические периоды России эти строки, их объективная правда не поддается сомнению: подлинное искусство, бесполезное в отношении материально-утилитарном, в значении деятельности эстетической человека духовно «оцеляет» (М. Бахтин) и гармонизирует как ничто другое.

На наш взгляд, последний факт подтверждает уже сам русский язык. Давайте посмотрим, как на фоне эстетически идеального человека выглядит в русском языке иной его совершенства, духовные и физические.

Вот, представляя кому-то высокоразвитого и замечательного человека, мы говорим, что он неизменно *добр, участлив, справедлив*. Но, и являясь таковым от рождения или приобретя эти качества самовоспитанием, такой человек при этом не обязательно будет умным, даровитым, физически привлекательным.

В свою очередь, человек *высокоморальный и нравственный*, которого мы уважаем за искренность, безукорызненную честность, чистоту в намерениях и поступках, не обязательно активно *добр, спускающийся к слабостям других людей, умен и красив*.

С точки зрения совершенства интеллектуального человеку предписывается быть *умным, способным к учебе и науке, рассудительным и осмотрительным*. Но со всеми этими и близкими к ним свойствами он не обязательно *честен, справедлив, добр, душевно и физически красив*.

А вот человек, близкий к идеалу *homo faber* (человека действующего, трудящегося). Он не боится никакой

работы, охотно берется и за самые тяжёлые дела и всегда исполняет их на «отлично». Но и он совсем не обязательно увлечён к окружающим, чист в помыслах и кристально честен, а также красив.

Казалось бы, человек глубоко религиозный заведомо превосходит многих атеистов или людей, к религии равнодушных, уже самой усердностью к всеведущему и милосердному Творцу и исполнением Его заповедей. Однако и такой человек не обязательно силен умом и всегда справедлив (особенно в отношении к инверсам и атеистам), а также физически привлекателен и трудолюбив.

Итак, ни одного из людей, отвечающих либо какому-то одному из перечисленных идеалов человеческого совершенства – этическому, нравственному, интеллектуальному, религиозно-моральному, – либо даже всем им вместе, русский язык не назовет совершенным «топосом» и в целом.

Но вот мы о каком-то взрослом мужчине, женщине или девушке, юноше слышим: «Этот человек прекрасен!» И что же – требуем ли мы в этом случае прибавить, что он (она) также человек высоко этический и моральный, нравственный и интеллектуально развитый, трудолюбивый и глубоко верующий?!

Нет, любые дополнения в данном случае явно излишни, так как эстетическое совершенство человека (по-русски – человека прекрасного) само по себе предполагает наличие в нем и всех иных превосходных качеств. Ведь стать человеком прекрасным – значит достигнуть совершенства во всех своих свойствах и качествах – внутренних и внешних. Иначе говоря, превратиться в человека гармонического, о котором вечно мечтает и подобия которого издавна создает именно искусство.

Вернемся к Белинскому.

Пушкинскую идею гармонизирующей сущности и функции художественного произведения (вспомним: «Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь...» из «Элегий» 1830 года. Или – банальнее по смыслу строки из «Поэзии» Ф. Тютчева: «Она с

небес светает к нам – / Небесная к земным сынам, /
С лазурной ясностью во взоре – / И на буйнущее море /
Льет примирительный смей!» Беллинский разна в убеждение: если произведение художественно, то тем самым и морально, нравственно и гуманно. Отсюда же и другое принципиальное положение критика: «Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную минуту» (X, с. 303).

Это означало, что вместе с самыми красноречивыми заповедями морали, этики и нравственности пафос художественного произведения отнюдь не тождествен и любой мировоззренческой или общественно-политической позиции (учению, теории, идеологии) его автора самой по себе.

Одно исключение здесь Беллинский, однако, допускал. Так, справедливо разделяя науку и искусство (которые «не одно и то же»), он в последнем годовом обзоре тем не менее пишет: «Философ говорит символизмами, поэт – образами и картинками, а говорит оба они одно и то же. <...> Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают. Только один логическими доводами, другой – картинками» (X, с. 311).

Выходит, что различие между наукой (понятием) и искусством (образом) «не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание» (Там же). Тут выдающийся русский эстетик, каким, несомненно, был Беллинский, повторил весьма распространенное и, увы, по сей день далеко не изжитое в литературоведении (искусствознании) суеверие.

Ибо оно – плод очевидной логической ошибки: если понятие и образ – вещи существенно разные, то как же они создадут одинаковое содержание? Ведь для этого надо было бы сперва уравнять образ с понятием, превратив тем самым и художественный пафос... в совокупность логически выведенных умозрительных идей. А само произведение искусства – в род научной, в лучшем случае беллетризированной диссертации, монографии и т.п.

Но, как справедливо отмечал П.В. Палмевский, «язык понятий, хотя и является могучим средством познания, отражения, тернет в сравнении с образом догмат абсолютного совершенства»². Ибо образ – это «микрокосм, маленький организм, который опирается на всеобщую связь и зависимость явлений»³. И, продолжим мы мысль даровитого исследователя, в то время как понятие интегрирует лишь отдельные схожие явления, состояния и предметы реального мира, чем дробит и мерквит его, – образ в самых отдельных анрических переживаниях, драматургических или энических картинах художника его фантазий и эстетическим идеалом преобразжает раздробленную на разные части (сферы) реальность в мир одумкеленный, целостно-целый и единый.

* * *

В своем утверждении литературы как искусства Болыгинский не обошла вопроса об ее отлучении от такой равнозначности литературной риторики, как духовно-пасторское красноречие и шире – литература (живопись, музыка) религиозная. В России последних тринадцати-пятнадцати лет эта проблема обрела значительный интерес в связи с возникновением в отечественной филологии особого течения – православно-религиозного литературоведения⁴. Событие отродное уже как свидетельство возможного и в нашей стране после семидесятилетнего методологического единомыслия исследовательского панорализма, оно работами своих адептов, во-первых, значительно расширило самые границы изучаемой русской литературы за счет таких ее явлений, как духовная поэзия и проза российских авторов (Г. Державина, Н. Гоголя, Андрея Белого), во-вторых, проецировало те семантические уровни многих классических произведений, которые восходили к мотивам и ситуациям Библии и святоотческих книг, в-третьих, актуализировало тезис об определенном единстве нашей национальной культуры. Вместе с тем в предложенной его сторонниками трактовке отношений искусства и религии, эстетического и сакрального, литературы художественной и ре-

литературно-правовучительной вместо научного занесения обозначалась серьезная научная утрата.

Ее первопричиной стало толкование искусства в художественной литературе как якобы «лишь с р е д с т в а, а не цели», «лишь п у т и», «проводника и посредника» «дороги истины»¹², то есть – к истинам и ценностям, открываемым религией. В своем практическом аспекте этот постулат фактически превращался в призыв к писателям и литературоведам поскорее вернуть литературу и искусство в их первоначальное религиозное лоно со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Считая эту попытку «отменить» исторически неизбежные результаты секуляризации литературы и искусства по меньшей мере на многие столетия западной, а по сути реакционной, мы в своем возражении ее прозеитам ссылались на неопровержимые аргументы протонерса С.Н. Вулгачова из его книги «Свет всевечерний»: «восстановление прежнего положения для искусства» уже «потому не может явиться желанным для современности, что отношения между религией и искусством, потребностями культа и внутренними стремлениями творчества тогда имели «...» несвободный характер, хотя это и не создавалось. Искусство, воспринимая себя религией, сделавшись ее апсифа (служанкой, рабыней. – В.Н.), а отношение к нему было утилитарное, хотя и в самом высшем смысле»¹³. И только «освободившись от культа», искусство «пошло своим путем, получило возможность и осознавать свои границы, и осудить свою глубину...»¹⁴.

Свыше полутора веков назад в принципе также решал этот вопрос и Белянский. Ссылаясь в последнем годовом *обзоре*, в частности, на «произведения живописи итальянских школ в XVI столетии», он говорит: «Их содержание, по-видимому, преимущественно религиозное; но это большею частью мираж, а на самом деле предмет этой живописи – красота как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова» (X, с. 307–308). И обосновывает свой вполне верный вывод личным впечатлением от «Сикстинской мадонны» Рафаэля, увиденной им в

Дрезденской галереи: «Лицо ее (Богородицы. – В.Н.) выражает ту красоту, которая существует самостоятельно, не замкнувшись своего очарования от какого-нибудь нравственного выражения в лице. <...> Это дочь цари, проникнутая сознанием и своего высокого сана и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благодати и милости, но нет и гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение. Это – как бы сказать – *ideal sublime du comble il faut* [высший идеал приличия (франц.)] (X, с. 308).

Утверждая право искусства и впредь «быть свободным» «от этики» и «от религии», С. Булгаков одновременно замечал: «конечно, это не значит» – и «от Добра», и «от Бога»²⁴. Аналогично проблема отношения в художественном создании эстетического с иными духовными началами человека была поставлена и Булгаевским. «Искусство, – читаем мы во «Восходе на русскую литературу 1847 года», – есть <...> как бы вновь созданный мир: может ли оно быть какою-то одинокою, изолированою от всех чуждых ему влияний деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своем произведении <...> как личность! <...> Поэт прежде всего – человек, потом гражданин своей страны, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других» (X, с. 306).

Свою мысль критик поясняет творчеством Шекспира как «поэта старой, веселой Англии» и особенно Д. Милтона, который в «в лице своего гордого и мрачного сатаны» из «Потерянного рая» (1667) «написал апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать совершенно другое» (Там же). Однако в присущем ей диалектическом потенциале эта мысль на много шире этих примеров и вполне распространяема на отношения эстетики и религии.

Религия отнюдь не чужда эстетическому, так же как и эстетическому (и нравственному), однако лишь при условии его подчинения сакральному. Таково эстетическое в архитектурных формах и интерьерах храмов (пагод,

святот, моральных домов), в оформлении церковно-служебных книг, в разных облачениях священников, в порядках религиозных празднеств, шествий (крестных ходов и т.п.), таинств и ритуалов. Создания искусства и самих художников церкви воспринимает и одобряет по мере действительной или кажущейся близости их смысла и устремлений к моральным заповедям основателей основных мировых религий (Будды, Моисея, Христа, пророка Магомета). Отсюда весьма разное отношение, например, нынешней Русской православной церкви и ее священнослужителей, с одной стороны, к Н. Гоголю, а с другой – к А. Толстому или автору «Двенадцати» А. Блоку.

Произведение художественное со своей стороны сплошь и рядом предомыленно собирает в себя как нравственное, этическое, философско-интеллектуальное, даже собственно политическое, порой и бюрократическое (рассказным «Во весь голос» и «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского), так и сакральное, генетически уходящее в Священную историю, сочинения Отцов Церкви и ее великих подлинников. Однако непременно при условии, бессознательном или осознанном, эстетизации каждого из этих его начал, мотивов или компонентов.

Говоря коротко, если в религии всё сакрализуется, то в творчестве художественном – эстетизируется.

* * *

Вопрос об отлании литературы художественной от литературы риторической, прошедший через всю критику Валинского, не утратил своей актуальности и в более поздние эпохи XIX столетия. Далеко не сдан он в архив и в наши дни.

В 1860-е годы его вновь оживил роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», в литературе советской России он неотделим от так называемого «социалистического реализма», ныне – в пользу литературной риторики он трактуется отдельными литературоведами.

Сам автор «Что делать?», признавая изъяны своего повествовательного стиля («Язык мой <...> несколько неуклюж...»), тем не менее считал, что «все остальное,

что нужно для хорошего сказочника – вроде Диккенса или Филдингса», «Пушкина или Лермонтова (в их прозе) – он имеет «в достаточно хорошем качестве и изобилии»¹⁶. Между тем Н.С. Лесков, первым откликнувшийся на указанный роман Чернышевского, писал: «Тяжело мне было читать этот роман не вследствие какого-нибудь предубеждения <...>, а просто потому, что <...> в нем совершенно пренебрежено тем, что называется художественностью. <...> Роман г. Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон»¹⁷. Не признавали за «Что делать?» художественного значения И. Тургенев, И. Гончаров, спародировавший его в комедии «Зараженное семейство» (1864) А. Толстой, Ф. Достоевский, позднее и Е. Замытин¹⁸.

Это и понятно. Как подчеркивал соавдавший с идеями «Что делать?» Д.И. Писарев, «он создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли. <...> Его (автора произведения. – В.Н.) неотразимая логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к теоретическим комбинациям...»¹⁹.

Действительно, будучи от природы не художником, а ученым («Я, – характеризовал он себя, – один из тех мыслителей, которые неуловимо держатся научной точки зрения»), Чернышевский основал свой роман на идеях не поэтических (пафосе), а отвлеченно-умозрительных, почерпнутых из атроповалогического материализма А. Фейербаха, утилитаристской этики Герберта Спенсера и Джона Стюарта Милля и теорий французского утопического социализма (Ш. Фурье, В. Кюссидеран и др.). Все это и стало «содержанием» «Что делать?».

Место же художественной формы заняли чаще всего заимствованные (у А. Пастернака, Жорж Санд, иногда – И. Тургенева) сюжетные ходы и ситуации, весьма схематические персонажи и более всего риторическое авторское красноречие. Например, в пассажах о «новом» человеческом типе, представленном Дмитрием Лопуховым, Александром Кирсановым и Верой Павловной Розальской («Недавно родился этот тип. Он рожден временем, он знаменье времени, и, сказать ли? – он исчезнет

вместе со временем). Или в призывах к соотечественникам романиста «поработать над своим развитием» («Поднимаемся из вашей трущобы, друзья мои, поднимаемся, это не так трудно, выходите на солнечный свет...») и возлюбить иное в сравнении с настоящим будущее («Говори же всем: вот что в будущем. Оно светло и прекрасно. Любите же его, стремитесь к нему, работайте на него, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести...»)²⁰.

Остается добавить, что в отношении к умозрительному «содержанию» «Что делать?» эти «формы» являются не единственно возможной его плотью, а всего лишь служебным средством его популяризации.

Роман Чернышевского «о новых людях» в советской России обстоятельно изучался в средней школе и всячески рекомендовался школьникам в качестве «учебника жизни», как понимал «передовую» литературу и его создатель. Это неудивительно: ведь именно данное понимание литературного творчества легло в основу и «эстетика» социалистического реализма, в первую очередь читателей настоящего и обучающего (конечно, в духе «кодекса строителя коммунизма»). Отсюда и те ее бессмысленные в 1930–1950-е годы, ныне совершенно забытые риторические романы (пьесы, кинофильмы и т.д.), и «суть» и «форму» которых А.Т. Твардовский извлекал всего тремя четверостишиями:

Глядишь – роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки,
Опытный кам, растущий пред
И в каменном излучий дед.

Она и он – передовые.
Мотор, запущенный впервые,
Партнер, бурен, чужой, старый,
Министер в цехах и общий бой.

И все похоже, все подобно
Тому, что есть над может быть,
А в целом – вот как несъедобно,
Что в голос хочется запеть.

(Курсив наш. – В.Н.).

Проникнутый утверждением литературы как искусства прежде всего в современной ему России и в ее будущем, БЕЛАНСКИЙ специально почти не касался литературы древнерусской. Вместе с тем уже в «Литературных метанализах» присутствует мысль, имеющая для нас принципиальное методологическое значение. «Нужно ли, – говорит критик, – доказывать, что “Слово о полку Игореве”, “Сказание о дольском побойище”, красноречивое “Послание Вассиана к Иоанну” и другие исторические памятники <...> и схоластическое духовное красноречие имеют точно такое же отношение к нашей словесности (то есть к слову, начавшийся в веке XVIII. – В.Н.), как и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, к санскритской, греческой или латинской литературе? Такие истины надобно доказывать только гг. Гречу и Плавскому, с коими я не намерен вступать в ученые состязания» (I, 65. Курсив наш. – В.Н.).

Смысл приведенного высказывания ясен: критик проводит супротивную границу между по преимуществу религиозной (служебной) литературой Руси средневековой и обмирщенной (самоценной) литературой нового времени. Если вторая в лице по крайней мере Державина, Фонвизина, Карамзина, И. Крылова предвосхищает творчество Жуковского, Батюшкова и Пушкина, словом, литературу художественную, то первая, за исключением «Слова о полку Игореве» («Повести о взятии Рязани...» и т.п.), была и осталась явлением только литературной риторики.

За время, прошедшее российской средневековикой с 1834 года, она накопила, конечно, немало фактов, способных серьезно скорректировать это положение Беланского. Но, думается, осталась непоколебимой его основа. Что такое, в самом деле, те древнерусские сочинения XI – конца XIV столетия, что собраны в относительно недавнем сборнике «Красноречие Древней Руси» (М., 1987. Составитель – Т.В. Черторицкая)? Что такое все эти «Слово о чтении книг», «Насмешленное богатство», «Поучение к братиям» и поучения Феодосия Печерского

(«Слово о вере христианской и латинской» и др.) или торжественные слова («Слово об апостоле», «Слово о князях» и др.) Кирилла Туровского, а также многочисленные слова «похвальные» и «осуждающие», наконец, «послания» и «моления» и т.д. и т.п., как не письменные варианты ораторского красноречия с кровоучительной целью, – фиксируемого в этом качестве уже самими их жанрами? Очевидно, эту особенность средневековой русской литературы и следует в первую очередь раскрывать и объяснять всем, кого она интересует и еще больше тем, кто ее призван изучать.

Но вот два года назад в издательстве «Языки славянской культуры» вышло учебное пособие «История древнерусской литературы», где некоторые авторы, рассуждая даже о сочинениях богословско-символического характера, без всяких оговорок оперируют понятиями «художественные идеи», «художественная структура», «эстетика». Не возврат ли это к понятиям В.В. Пяслкина и Н.И. Греча, полемизировать с которыми Белинский не считал возможным даже в начале своего литературно-критического пути?..

Закончить настоящую статью нам хочется указанием на то, что при всей своей нетерпимости к риторическим и иным внелитературным элементам в произведениях современной ему русской литературы В. Белинский, как и во всем прочем, не был в этом вопросе узким педагогом.

Вот он обсуждает с В.Л. Боткиным только что вышедшую в «Современнике» повесть Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» (1847). Увидев в ней «мысли грустные и важные», он считает ее «...больше, чем повестью: это роман, в котором все верно основано идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно исходит из самой сущности дела» (X, с. 347). Боткина «Антон-Горемыка», однако, не восхитил; он отмечает в повести длинноты, вялые описания природы и тому подобные эстетические погрешности. Отвечая на это, Белинский пишет Боткину: «Стало быть, мы с тобою сидим на концах. Ты, Васенька, сибарит, сластена – тебе, вишь, да-

вай поэзии да художества – тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настоялко, чтобы повесть была истинна, т.е. не впадала в аллегорично нам не отыскалась диссертационно» (XII, с. 445).

Как видим, не так уж мистический «всплеск» и в деле, которому он отдал столько таланта и сил и на которое благодарна ему русская литература отчасти необычайно быстрым и результативным формированием в качестве одной из мировых вершин высокохудожественного творчества.

2011

¹ Болванский В.Г. Поэм. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 1. С. 92. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте, с указанием тома (русск.) и страниц (арабск.).

² Давыдов А.С. Поэм. собр. соч.: В 10 т. Изд. 3-е. М., 1962–1966. Т. 7. С. 149. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте, с указанием тома (арабск.) и страницы (арабск.).

³ Алымов П.В. Вспомысливания и критические очерки 1848–1868 годов. Отдел второй. СПб., 1879. С. 3–4. Курсив наш.

⁴ Самарина Ю.А. Поэтика приключательных романов Ф.И. Булгарина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. // Пензенский гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. Пенза, 2006. С. 11.

⁵ Гаспаров М.А. Риторика // КЛД. М., 1971. Т. 6. С. 303.

⁶ Шамин Ф. Критические фрагменты // Литературные манифесты западнорусской романтики. М., 1971. С. 36. Курсив наш.

⁷ Алымов П.В. Вспомысливания и критические очерки 1848–1868 годов. Отдел второй. С. 33.

⁸ Толстой А.Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1965. Т. 21. С. 249.

⁹ Болванский П.В. Внутренняя структура образа // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. М., 1962. С. 93.

¹⁰ Там же. С. 80.

¹¹ Об этом направлении в литературоведении см.: Нейландский В.А. Романовское литературоведение: обретения и утраты // Вестник Московского университета. Серия «Филология». 2006. № 3. С. 91–103.

¹² См.: Касаткина Т.А. О литературоведении, науконости и религиозном мышлении // Новый мир. 1999. № 3. С. 186–193.

¹³ Булгаров С.Н. Свет неслучайный. М.: Республика, 1994. С. 327.

¹⁴ Там же. С. 328.

¹⁵ Там же. С. 327.

¹⁶ Чернышевский И.Г. Поэм. собр. соч.: В 16 т. М., 1936–1953. Т. 15. С. 360.

¹¹ Ахматов Н.С. Поэм. собр. соч.: В 30 т. Т. 3. М., 1966. С. 176–177.

¹² Подробные обзоры см.: Недзведский В.А. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и его оппоненты. М., 2003. С. 86–166.

¹³ Пастернак Д.Н. Сочинения: В 4 т. М., 1955–1956. Т. 4. С. 9. Курсив наш.

¹⁴ Чернышевский Н.Г. Что делать?: Из рассказов о новых людях. М., 1958. С. 236.

А.С. КУРНАЛОВ

Уроки Белинского

Помните, каким энциклопедом открываются «Литературные мечтания»: «Есть ли у вас хорошие книги? – Нет, но у нас есть великие писатели. – Так, по крайней мере, у вас есть словесность? – Напротив, у нас есть только книжная торговля».

А какое направление в литературе тогда было ведущим? – Торговое. Тон задавал издатель. Он, заметив Белинский, «одобряет и ободряет юные и драгые таланты очаровательным звоном ходячей монеты, он даёт направление и указывает путь этим гениям и полутениям, не даёт им заснуть, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность»¹.

Что мы видим сейчас? То время вернулось. Каждый второй в нашей литературе если не «великий писатель», то уж определённо «классик». А «торговой» литературой забиты все киоски...

Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. «...Будем радоваться и тому, – пишет Белинский, – что теперь талант и трудолюбие дают (хотя и не всем) честный кусок хлеба!... истинный талант не убивается бедностью... Поверьте, что если бы теперь нельзя было ни копейки добиться литературными трудами, наша литература от этого не была бы ни на волос лучше». С другой стороны, «верная плата от литературных трудов умножает число непризванных литераторов, навязывает литературу потоком дурных сочинений; но это зло необходимое. Литература, как и общество, имеет своих паломов, свою чернь, а чернь везде бывает и неизбежна, и нагла, и бесстыдна» (II, 128, 129).

Что же в этих условиях должен делать критик? – «...Преследовать литературным судом литературные

штукам всякого рода, облачать шарлатанство и бездарность», не говоря уже о книгах, которые критика «должна преследовать огнём и мечом, как преступление против здравого смысла, языка, литературы и искусства» (I, 310 – 311; VI, 125. Курсив мой. – А.К.).

Как и каким образом литературный критик вершит свой суд? Точно так же, как и любой судья, поверяя поступки «подсудимого» (а литературно-художественные произведения ещё какой поступок!) статьями и положениями соответствующих кодексов, законов, уставов. В делах писательских таким кодексом, таким сводом законов и уставом является теория литературы.

И литературный, и гражданский, и прочие суды процедурно, по механизму своей работы ничем не отличаются друг от друга: и там и тут решения и приговоры выносятся на основе существующих в каждой области законов, т.е. применяя теорию к практике. Для Белинского это было очевидным и естественным. «Критика, – пишет он, – есть приложение теории к практике» (II, 123, 124, 139). В этом не сомневается и его главный оппонент-современник Валериан Майков, во многом другом не соглашавшийся с Белинским. «Что такое литературная критика?» – вопрошает он и сам же отвечает: «Приложение теории литературы к произведению литературному»².

Но чтобы «применять теорию литературы к произведению литературному», её нужно иметь. Не ведая о сущности предмета, невозможно сколько-нибудь квалифицированно судить о самом предмете. Литературный суд не исключение. Без чётких представлений о сущности, природе и назначении художественной литературы, что является исходным понятием, основанием её теории, любое суждение о произведении литературном будет любительским. «...Критику, – писал Белинский, – должны быть известны современные понятия о творчестве; иначе он не может и не имеет права ни о чём судить» (I, 356).

Истинный критик, как отметил ещё В.А. Жуковский, «знает все правила искусства, знаком с превосходней-

шими образцами изящного; но в суждениях своих не подчиняется рабски ни образцам, ни правилам; в душе его существует собственный идеал совершенства, так сказать, составленный из всех красот, замеченных им в произведениях изящного, идеал, с которым он сравнивает всякое новое произведение художника, идеал возможного, служащий ему верным указателем для определения степеней превосходства»⁴.

Белинский соглашается с Жуковским, но не останавливается на этом и идёт дальше. Он понимает, что теория литературы («правила искусства») не застывшая, неизменяемая, вечная система законов творчества. «Как с постепенным ходом жизни народа, — пишет он, — изменяется его законодательство чрез отмену старых законов и введение новых, сообразно с требованиями общества, так изменяются и законы изящного с получением новых фактов, на которых они основываются» (§. 356).

Что же способно изменить существующие «правила искусства», «законы изящного», теорию литературы, какие «новые факты»? — Появление произведений с неизвестными до того красотами. А создать такие произведения, замечит Белинский, под силу только «новому гению», который «открывает миру новую сферу в искусстве и оставляет на собою господствующую критику, нанося ей тем смертельный удар...» (VI, 287). Смертельный тем, что творит «оригинально, самобытно», воспроизводит «целые жизни в образах новых, никому не доступных и никем не подозреваемых...» (§. 105, 156), достоинство которых невозможно оценить в понятиях существующей — «господствующей» — теории литературы.

Открытие «новой сферы в искусстве», а только это даёт право критике называть писателя гением, расширяет границы и возможности самого искусства, неизбежно обогащая или даже изменяя его «правила» и «законы изящного», что автоматически и неоспорительно сказывается на теории искусства (литературы), напоминая основные её понятия новым содержанием. При этом соответствующим образом изменяется и критика, вынужденная,

даже обязавшая прилагать к литературным произведениям теорию, основанную уже на изменившихся «правилах искусства» и «законах творчества», чтобы не отставать от литературы и художественного развития.

С другой стороны, «в свою очередь», как замечает Белинский, если «нового гения» всё нет и нет, то «движущие мыслы, совершаемое в критике, приготовляет новое искусство, опережая и убивая старое» (VI, 287). В этом случае теоретическая мысль критиков работает на опережение, и критика становится «движущейся эстетикой», измещающая «правила искусства» и «законы изящного», обозначая контуры нового искусства и литературы.

Для Белинского критика была и «литературным судом» («приложением теории к практике»), и «движущейся эстетикой» («...шагом вперед, открытием нового, расширением пределов знания или даже совершенным его изменением...» – II, 123).

С чего начал Белинский? С решения главного теоретического вопроса: «Что такое литература?», – т.е. с формирования собственной, качественно новой теории литературы и ответа на вопрос: «Какой была до того наша литература и какой она должна быть, чтобы называться действительно литературой и не вообще, а в полном смысле русской?»

В его утверждении «У нас нет литературы» – не было для литературной общественности тех лет ничего нового, оригинального, тем более вызывающего, шокирующего современников, как это считалось до недавнего времени и продолжает встречаться в ряде работ, прежде всего в учебной литературе. В 20-х – начале 30-х годов XIX века подобное заявление звучало постоянно. Последний раз – буквально накануне выхода Белинского на свой поприще. «У нас нет литературы – говорят многие, – и кто не согласится, что это правда? – писал Кс. Полевой в статье «О новом направлении в русской словесности», опубликованной в мартовском номере «Московского телеграфа» за 1834 год. – У нас нет литературы потому, что книги русские не выражают вкуса России. Они пишутся и издаются большей частью по разным относительноым

причинам... Наконец, подражательность... давняя губительница наших писателей – не позволяет русскому уму явить себя во всей красе и силе»⁴.

От досужих, многим уже достаточно поднадоевших разговоров, что «у нас нет литературы», Белинский переходит к делу, желая добиться того, чтобы литература у нас появилась, чтобы «книжки русские выражали вполне Россию».

Отвечая на упреки в якобы неуважительном отношении к отечественной словесности и даже чуть ли не в отсутствии патриотизма, он писал: «...я отвергаю существование русской литературы только под тем значением литературы, какое ей даю, а под другими значениями вполне убежден в её существовании» (I, 379). И первой задачей писателей, нацеленных на создание литературы не подражательной, а оригинальной, «выражающей вполне Россию», он считает «верное изображение картин русской жизни» (I, 93).

Только решив для себя с учётом «современных понятий о творчестве» теоретический вопрос: что такое литература и какой должна быть наша литература, – Белинский почувствовал, что сможет судить о достоинствах произведений отечественных писателей, что имеет на это право, так как именно ему открылась истина о сущности и назначении литературы. «Итак, – заключает он, – я решаюсь быть органом нового общественного мнения... Конечно, – замечает он при этом, – страшно выходить на бой с общественным мнением и восставать даже против его идолов, но я решаюсь на это не столько по сноровке, сколько по бескорыстной любви к истине... а истина дороже всех на свете авторитетов» (I, 83). И, не теряя времени, начинает борьбу за русскую литературу в том значении, какое ей дал, применяя положения формирующейся у него теории литературы к произведениям отечественных писателей.

«Литературные мечтания» явились «приговором» всей русской литературе XVIII – первой трети XIX века, вынесенным Белинским на основе понятия о литературе как «выражении – символе внутренней жизни народа»,

теоретическим обоснованием которого открывалась его статья. Это понятие выступает главным критерием оценки творчества наших писателей, проверку которым выдерживают произведения лишь четырёх из них: Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, И.А. Крылова и А.С. Грибоедова, – подтверждая «закононость» и, следовательно, справедливость исходного утверждения, что «у нас нет литературы», потому что «не могут... составить целую литературу четыре человека, явившиеся не в одно время...» (I, 101). И в дальнейшем каждую свою статью и развёрнутую рецензию Белинский начинает с обозначения теоретических позиций и понятий, на основе которых будет вершить свой «литературный суд» и выносить соответствующий «приговор», чтобы не было недоразумений относительно «закононости» его суда, который у других судей при других понятиях – «правилах творчества» и «законах изящного», может завершаться иным «приговором».

Кроме «литературного суда», что тогда же отметил Белинский, существуют и «литературные мнения», которые выдаются за литературную критику, но которые к ней, к «литературному суду», не имеют никакого отношения. Об этом Белинский скажет в статье, посвящённой журнальным выступлениям С.П. Шевырева, которую так и назовёт: «О критике и литературных мнениях "Московского наблюдателя"».

К литературным мнениям Белинский относит суждения «о литературных произведениях по личным впечатлениям», основанным исключительно на «вкусе» судящего, который отвергает «возможность положительных законов искусства» (то есть теорию литературы), в отличие от литературной критики, основанной именно на «положительных законах искусства». Что Белинский ставит «на вид» Шевыреву? То, что «основание изящного, которыми руководствуется сам г. Шевырев, остаются для нас доселе тайною». И хотя мы, пишет Белинский, «уверены в его вкусе, но нам бы хотелось знать и его литературное учение в применении к разбираемым книгам» (II, 140). Знать, чтобы иметь некое

представление о нем как литературном критике, а не просто человеке со вкусом, который делится с другими «личными впечатлениями» от прочитанных книг...

Вместе с тем, Белинский полагает, что и критик не лишен права высказывать свое мнение о той или иной книге, не подвергая ее «суду», если поверять ее достоинства теорией литературы, «законами изящного», не имеет смысла. Так он сам и поступает по отношению к стихотворениям В.Г. Бенедиктова, которые «описательны», «вычурны», «сделаны». У Бенедиктова, пишет Белинский, «нельзя отнять таланта стихотворческого, но он не поэт, к тому же в нем заметно «решительное отсутствие всякого вкуса». Здесь, считает Белинский, нет предмета для «литературного суда» и потому его отказ на стихотворение Бенедиктова «будет, – заявляет он, – не критика, а отчая, простое мнение... потому что тут критике делать нечего» (I, 360).

Свой «литературное учение», теорию литературы молодой Белинский строит, опираясь на систему существовавших тогда понятий, по-своему истолковывая их содержание, определяя, в каком значении он будет ими пользоваться, прилагать к литературным произведениям. Он полностью разделяет основные положения популярной на то время литературной теории романтиков, их воззрения на специфику, назначение и цели искусства. *«Изобразить, воспроизводить в слове, в мук, в чертах и красках идею свободной жизни природы: вот единая и вечная тема искусства!.. Да, – повторяет он, – искусство есть выражение великой идеи вселенной в её бесконечно разнообразных явлениях»* (I, 32) Литературной теории романтиков отвечало и его понятие о литературе как «выражения-символа внутренней жизни народа». С этих позиций Белинский и подходит тогда к оценке произведений наших писателей, вершиной свой «литературный суд».

Но вот он знакомится с творчеством поэта, который «наносит смертельный удар» его романтическим представлениям о цели и назначении искусства, спустив его с заоблачных высот «великой идеи вселенной» и неуло-

нимой «идеи русской жизни» как проявления этой «великой идеи», на грешную землю. Это был А.В. Кольцов – «гениальный талант», как скажут о нём Белинский.

Кольцов «открыл миру новую сферу в искусстве» – поэзию жизни русских крестьян, воспроизведя явления нашей жизни в образах новых, никому до него не доступных и никем даже не подозреваемых, сделав то, что в глазах Белинского было удавом гения⁷. В «Пирושке русских поселян», «Размышлении поселянина», «Песне пахаря» Кольцов художественно воплотил «поэзию жизни наших простолюдинов» (I, 389), поэзию крестьянского труда, открыв всему миру, что и в жизни наших самых простых людей есть своя поэзия.

Мысль о том, что, только будучи художественным выражением поэзии русской жизни, показав тем самым свою самобытность и оригинальность, наша литература сможет войти на равных в семью мировых литератур, овладевает сознанием Белинского. Он замечает, что не только Кольцову, но и другим нашим писателям удалось её выразить. В «Симеоне Кирдяпе» Н.А. Полевого «этой живой картине прошедшего...» – пишет Белинский, – поэзия русской древней жизни ещё в первый раз была постигнута во всей её истине», а в романе «Клятва при гробе Господнем» Полевому удалось «вернее всех наших романистов понять поэзию русской жизни». Он отмечает стремление Н.Ф. Павлова в его повестях «Ятаган» и «Аукцион» найти поэзию в жизни высшего общества (I, 155, 278, 283).

И тут в памяти Белинского всплывают «Вечера на хуторе близ Диканьки» – «поэтические очерки Малороссии», где сразу выделялась «Ночь перед Рождеством», которая «есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни...» (I, 301). Появление «Миргорода» и «Арабески» Н.В. Гоголя окончательно убеждает Белинского в том, что «поэзия жизни» является главным предметом искусства, а степень её художественного отражения – центральным критерием достоинств литературных произведений.

Гоголем оказалась доступной и поэзия исторической жизни Украины, получившая отражение в «Тарасе Бульбе». Но самым неожиданным для Белинского стало то, что Гоголь нашел поэзию в драме жизни – в «пошлой и нелепой» жизни старосветских помещиков, в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем и, что больше всего поразило Белинского, в «правах среднего сословия России», в петербургской жизни. «И боже мой, – не может критик удержаться от восклицания, – какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут!» (I, 301) Это была поэзия прозы русской жизни, жизни самой обыкновенной, привычной, «пошлой», как тогда говорили, «жизни действительной, жизни, коротко знакомой» нам, но до того неизвестной остальному миру. Она представляла собою «новую сферу в искусстве», открыть которую мог только гений. И таким гением в главах Белинского предстал Гоголь.

Это открытие сказалось и на теоретических воззрениях Белинского, изменив его представление о сущности и назначении литературы. Высшей он начинает считать «реальную поэзию», задача (назначение) которой «измыскать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни» (I, 291). Выступая поэтом современной им русской жизни, сумевшим «извлечь» из нее поэзию, Гоголь становится для Белинского свидетельством торжества художественных принципов «реальной поэзии», что и дало основание критику, приложившему к литературным произведениям измененные «правила творчества», провозгласить писателя «главою литературы, главою поэтов», который заметно выделялся «в кругу своих собратьев», заняв «место, оставленное Пушкиным» (I, 306).

Затем Белинский замечает появление ещё одной сферы в нашем искусстве – поэзии «тоски по жизни» (IV, 503), но не вообще, а именно русской тоски по жизни. И открыл её миру М.Ю. Лермонтов. Эта «поэзия» просматривалась практически во всех произведениях поэта. Правда, Белинский почувствовал её не сразу. Поначалу он не заметил её ни в «Песне про царя Ива-

на Васильевitchа, молодого опричника и удалого купца Калашникова», ни в «Думе» («Печально я гляжу на наше поколенье...»), ни в «Поэте» («...Проси́шься ли опитъ, ослепленный пророк...»), увидев в том и другом стихотворении лишь одно «прекраснодушное», ни в «Бородино», и ощутив только по выходе сборника стихотворений поэта в 1840 году.

Собранные вместе стихотворения Лермонтова показали Белинскому, что он «является русским и современным поэтом», стихи которого «поражают душу читателя безотрадною, безверием в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни и избытке чувства... Нигде нет пушкинского расгула на пиру жизни; везде вопросы, которые мрачат душу, леденят сердце...». И приходит к выводу: «Да, очевидно, что Лермонтов поэт совсем другой эпохи и что его поэзия – совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества» (IV, 503).

Сфера, открытая Лермонтовым в искусстве, отделилась от той, что была открыта Комацовым и Гоголем, а потому и произведения, где выражалась русская тоска по жизни – поэзия «нового звена в развитии нашего общества», требовали для своей оценки и иного критерия. Белинский нашёл его в понятии об общественных интересах, увидев в поэзии Лермонтова прямое отражение того, что тревожило русское общество. «Чем выше поэт, – отметит он, – тем больше принадлежит он обществу, среди которого родился, тем теснее связывало развитие, направление и даже характер его таланта с историческим развитием общества» (IV, 502).

Так в систему теоретико-литературных воззрений Белинского входит понятие об общественном назначении искусства и ответственности писателя за всё им сказанное. С этого момента ведущим критерием оценки достоинств литературных произведений становится для Белинского характер и степень выражения в них общественных интересов. «Отнимать у искусства право сужить общественным интересам, – скажет он, – значит не возмывать, а унижать его, потому что это зна-

чит – лишать его самой живой силы, т.е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев. Это значит даже убивать его...» (X, 311) Теория литературы обогащается ещё одним понятием о назначении искусства, а критика получает ещё один критерий для оценки достоинств художественных произведений.

От внимания Белинского не ускользнуло и открытие той новой сферы в искусстве, которую обозначило появление «Бедных людей» Ф.М. Достоевского, показавших, что и в жизни маленького человека, «забитых существований», тоже есть своя поэзия. И хотя её коснулся ещё Пушкин в «Повестях Белкина», а непосредственно она получала отражение уже в «Шинели» Гоголя, но именно «Бедные люди» во весь голос, прямо, предметно заявили о её существовании, что мгновенно зафиксировал Белинский. В повести Достоевского художественное выражение получала ещё одна составляющая поэзии русской жизни – поэзия жизни «маленьких людей».

Среди последующих открытий, расширявших представление о поэзии русской жизни, на что также сразу же указал Белинский, стала поэзия крестьянского быта, получившая художественное выражение уже в первом очерке «Записок охотника» И.С. Тургенева. Это была «Хорь и Кабылыч», в котором, по словам Белинского, писатель «зашёл к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто ещё не заходил» (X, 346). Последнее сам факт открытия этой сферы в искусстве найдет подтверждение у М.Е. Салтыкова-Шchedрина, подчеркнувшего, что своими «Записками охотника» Тургенев положил «начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды»².

В своё время Н.А. Помялов замечал, что журналист-критик «в своём кругу должен быть колонновожатым: куда же заведёт он свой корпус, не зная дороги, ибо дорогу знают тогда только, когда известна цель пути»³. Белинский был не только строгим и справедливым «литературным судьёй», теоретиком литературы, обогатившим «правила творчества», «законы изыскания»,

«движущуюся эстетику», но и прекрасным колониально-жатым «корпусом писателей». Он сделал всё, чтобы в нашей литературе преобладающим стало «деловое», а не «справдное», «развлекательное», «торговое» направление, чтобы служила она «общественным интересам», содействуя развитию и обществу национального сознания. Это – главная цель и современной нашей литературы. И главный урок деятельности Белинского-критика.

2008

¹ Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. М., 1983. С. 98. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страниц.

² Мейсоев В. Литературная критика. А., 1985. С. 331.

³ В.А. Жуковский-критик. М., 1985. С. 71.

⁴ Полоний Н.А., Полоний Кс.А. Литературная критика. А., 1990. С. 494.

⁵ А.В. Казанов и русская литература. М., 1988. С. 77–93.

⁶ Салтыков-Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 15. М., 1980. С. 613.

⁷ Полоний Н.А., Полоний Кс.А. Литературная критика. С. 87.

В.Н. АНОШКИНА-КАСАТКИНА

В.Г. Белинский о лирической поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова

В.Г. Белинский входил в литературную жизнь как критик-лирик. Он назвал свой первый критический труд «Литературные мечтания. Заметки в прозе» (1834). Действительно, темперамент поэта, его личность, страстная, увлеченная, вдохновляющаяся прекрасными произведениями искусства, прежде всего изысканной самовоспитанностью («изысканство» как эстетическая категория именно его увлекало), побуждали постоянно обращаться к лирике. Собственная стилистика его статей включала созданные им самим экспрессивные фрагменты – «стихотворения в прозе», лирические всплески были у него постоянны. Он жил и трудился в переломный момент истории литературы: на смену «золотому веку» русской поэзии приходил расцвет прозы – повестей и романов. Будучи не только критиком, Белинский очень рано осознал необходимость как теоретического, так и исторического осмысления русской литературы.

А.С. Пушкин с самого начала литературно-критической деятельности Белинского был его властителем дум, и в «Литературных мечтаниях» критик его именем называл целый период русской литературы. Пушкинским измерял уровень литературного развития и задавал: «Пушкинский период был самым цветущим временем нашей словесности»¹. Никогда не уходя от размышлений о Пушкине, который постоянно присутствовал в его статьях, тем не менее обширное исследование всего наследия любимого писателя Белинский осуществлял лишь в 1840-х годах. Не юный, а зрелый Белинский отважился на всеобъемлющее историко- и теоретико-

литературное рассмотрение всего наследия русского гения. Его пушкиниоведческие статьи выходили в свет в 1843–1846 годах.

Обширные статьи 1840-го года о М.Ю. Лермонтове опережали пушкинский цикл.

В начале 40-х годов, когда Белинский начал углублённое изучение двух великих поэтов той поры, им была уже написана и опубликована статья «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835); критик уже тогда заявлял об ускоренном развитии прозы в русской литературе. Тем не менее он был всё ещё проникнут духом «золотого века» поэзии, и в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1840) он, изучая своеобразие искусства слова, сопоставляя его с другими искусствами – архитектурой, живописью, музыкой, – имел в виду именно поэзию и даже скорее – лирическую. «Поэзия есть высший род искусства» (III, 294), он уравнивал её с другими искусствами, видел её превосходство и сближал с музыкой, напоминая о ритмической организации поэтического текста, его музыкальности. Белинский по существу говорил о лирике. Его исходный изучаемый материал – это и поэзия Д.В. Веневитинова:

Теперь гоним за жизнью дивной
И каждый шаг в ней воскресаю,
На каждый звук её прелестью
Отзывкой песною отвечаю!

(III, 216).

Четверостишие любомудра использовано в качестве эпиграфа к лермонтовской статье; критик цитировал Е.А. Боратынского, А.С. Пушкина, вспоминал «Поэта» Н.М. Языкова, сказал о «могучей красоте самородного таланта» А.В. Кольцова, о стихах любомудров В.И. Крессова, И.П. Кюшнинкова и, конечно, обязательно цитировал М.Ю. Лермонтова. Белинский был знатоком лирической поэзии своего времени. Русская литература в его статье о Лермонтове, имеющей во многом теоретический характер, выступала в лирическом варианте.

Теоретик, размышляющий об изначальной словесности, говорил исключительно о поэзии, о её духовном содержании. Лишь индивидуальность, «ставши в человеке личностью...» (III, 222), вызывает жизнь духа в его единении с природой, – критик использовал понятие «внутреннего человека». Его мысль на рубеже десятилетий двигалась в русле христианской традиции. Он писал о единении духовно-душевной жизни человека со всеобщим бытием. Душа человеческой индивидуальности – это «отдельный и особенный мир страстей, чувств, желаний, сознания...» (III, 222–223), и он выделял состояние страдания: «Способность страдания уславливает в нас способность блаженства, и не знающие страданий не знают и блаженства, и не познавшие не возрадуются» (III, 224), – почти процитировал критик Священное писание. С этой точки зрения Белянский рассматривал и лермонтовское «Завещание». В поэзии, как и в лирике, указывалось прежде всего на субъективное начало – духовность. «Постиженные поэзии есть откровение духа...» (III, 218); «кто по натуре своей есть дух от духа, – тот по призыву рождения причащен всем даров духа, недоступных плоти и её душе – рассудку» (III, 218), и теоретик различал «рассудок» (основывающий лишь «настущее» и «полезное», «постигаемое опытным путём») и «разум» (он «объемлет бесконечную сферу сверхопытного и сверхчувственного...» (III, 218).

Исследователь мировоззрения Белянского, начиная с акад. А.Н. Пыпина, определял генезис философских рассуждений Белянского. Известно, что конец 1830-х годов ознаменовался его увлечением философией Гегеля, размышлением над выводом немецкого мыслителя о том, что всё действительное разумно и всё разумное действительно. Белянский и в статье о Лермонтове много рассуждает о соотношении разумного и действительного. Но его «примирительные» отношения к действительности несякают – об этом свидетельствует и лермонтоведческая статья 1840 года. Не ставя задачи уяснения генезиса мнений Белянского, хочется выявить сущность и своеобразие его

теоретико-литературных суждений, касающихся лиризма. «Лирическая поэзия есть, напротив (по отношению к эпической, «объективной», – В.А.-К.), по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение самого поэта» (III, 297).

Вместе с тем Белинский усматривал истоки поэзии в самой жизни: «Поэзия есть выражение жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: в поэзии жизнь более является жизнью, нежели в самой действительности» (III, 225). Размывая свою мысль, теоретик говорит об обобщающем значении поэтических образов, создавая которые поэт отбрасывает все «частности», «случайности», всё «вторичное» и выделяет главное – сущность, идею явления: «Для поэта не существуют дробные и случайные явления, но только одни идеалы, или типические образы» (III, 228). На этом этапе теоретико-литературных обобщений Белинский не разделяет понятий «идеализации» и «типизации». Впоследствии он будет говорить о двух направлениях в русской литературе – «идеальном» и «реальном», связывая с первым романтизм. В 1840 году он пишет об «идеале», готовясь к изучению поэзии Аермонтова, усматривая в способности поэтов обобщать явления действительности, возводя их к «идеалу» – «разумной мысли». Он приводит пример, основываясь на образ розы в поэзии: поэт не описывает реальной розы, которая цветёт в саду, он отбрасывает «грубое вещество, из которого она составлена», он создаёт «свою розу, которая ещё лучше и пышнее» (III, 229), потому что он выразил её сущность, «идею» розы как прекрасного цветка. Впоследствии эту мысль о превосходстве поэзии над реальностью жизни и на том же примере выскажет А.А. Фет: поэт дарит розе, как всему смертному и таинственному, бессмертие: «Но в стихе умнѣнным найдѣшь / Эту вечно душистую розу...» («Если радует утро тебя...»), а И.А. Бунин в стихе увековечивает цветущие в своём саду розы: «Две розы под одним раскрыли / Две чаши, полные огня...» – это отнюдь не те мимолётно цветущие, однодневные, быстро увядающие, бледнувшие цветы, а вечные, бессмертные образы, за-

печатавшиеся истинную красоту земных творений. Роза так и существует символом чистой красоты и лиризма. Белинский утверждает: «...художественное произведение, основанное на вымысле, выше всякой быти...» (III, 228) – он говорил даже об исторических романах. Однако совершать подобное чудо искусства, поэзии, способны только особая личность и в особом душевном состоянии – творческого вдохновения: «Поэт – благороднейший сосуд духа, избранный любимец небес, таинник природы, жемчуга арфа чувств и ощущений, орган мировой жизни» (III, 230). От таких определений не отказался бы и романтик В.А. Жуковский. Пока еще литературная теория Белинского была связана с романтизмом, и творчество Лермонтова отнюдь не опровергло этих связей.

Но в отличие от традиционных романтических теорий Белинский-теоретик отнюдь не считает, что область сверхчувственного, сверхопытного постигается человеком бессознательно. В статье о Лермонтове он много страниц посвящает значению разума, участию сознания в творческом процессе. Даже приходил к выводу, что «...мысль, в высшем ее значении, то есть философия и поэзия, – восторгом – тождественны: та и другая равно далеки от того, что имеет хотя вид "точности"» (III, 217), во всяком случае, искусство доступно только разуму и связанным с ним впечатлением, переживанием сердца, последнему даже принадлежит первопричина всех душевных состояний человека. Вместе с тем Белинский последовательно возражал против холодной рассудочности в искусстве.

Теоретическая мысль Белинского, готовящегося к анализу стихотворений Лермонтова, обогащается все новыми тезисами. Наиболее важным для него оказывается высказывание: «Наш век – век по преимуществу исторический» (III, 232); содержание ума и чувств современного человека «вырастает» из исторической поэмы, критик называет главный первоисточник духовной жизни: «...наш век есть век сознания, философствующего духа, размышления, "рефлексии". Вопрос – вот

альфа и омега нашего времени» (III, 252). Неоднократно провозглашается, что Лермонтов – поэт глубоко чувствующий и мыслящий.

Однако лирика вообще, и лермонтовский в особенности, не совместим с абстрактным умозрением, в этом отношении поэзия не тождественна философии; критик не столько противоречит себе, сколько уточняет высказанную ранее в статье мысль о соотношении философии и поэзии. Примечателен его эпиграф из стихов Веневитинова, любовиудра, отстаивающего единство философии, поэзии и литературной критики. Белинский близок этой теоретической позиции. Но он однако же темпераментно и не менее последовательно говорит о значении глубокой содержательности мыслей поэта и об эмоциональной жизни его сердца. Мир лермонтовских чувств определяет своеобразие лирики поэта.

В субъективной «стихии поэзии», в её лиризме есть, согласно Белинскому, и социальная обусловленность: «Чем выше поэт, тем больше принадлежит он обществу, среди которого родился, тем теснее связано развитие, направление и даже характер его таланта с историческим развитием общества» (III, 237). Критик усматривает обобщающий смысл в лирических творениях, посвящённых личным переживаниям автора, ведь «великий поэт, говоря о себе самом, о своём я, говорит об общем – о человечестве, ибо в его натуре лежит всё, чем живёт человечество» (III, 254). В результате читатель узнаёт в поэтическом произведении, в субъективных излияниях лирика «брата своего по человечеству», видит «своё родство» с этим «высшим» существом, Поэтом.

Аналитическая мысль Белинского направляется на обозначение главных примет общественного сознания и эмоциональной сферы. В них его прежде всего занимает нравственное состояние социума. Белинский думает о причинах непонимания Лермонтова критиками и частью публики, которые оказались его ожесточёнными и непримиримыми врагами. В чём причина? От-

вет связан с общественной моралью: грубостью, примитивностью нравов, эгоистическим потребительством, самолюбивыми страстями, с «пустыми и водорезными мыслями», «больше занимаются барышничеством, чем изяществом», «торгуют литературою» (Белинский и раньше критиковал «торговое направление», «торгашеский дух» в словесном искусстве нового времени). Подобным жедам общества противостоит возвышенная, бластательная, как звездный небосклон, как «огнистый Сириус», поэзия Лермонтова.

Лирический настрой Лермонтова стал противостоять общественным порокам, утверждая высокие идеалы не только своего времени, но и вышедшие из исторического прошлого России. Белинский полагает, что начало поэтического творчества Лермонтова связано с его обращением к русской истории, как к более далекому, так и к близкому прошлому. Он имеет в виду стихотворение «Бородино» и «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Прежде всего эти произведения показывали, что Лермонтов «является русским и современным поэтом; также виден избыток несокрушимой силы духа и богатырской силы в выражении» (III, 238), но отсутствует пушкинская вера в жизнь, у Лермонтова «ведь вопросы, которые мучат душу, леденят сердце» (Там же). В цитировании названных произведений, в аналитических комментариях к ним критик сделал очевидными те достоинства русской души, которые воспеал Лермонтов в стихах, отличающихся простотой, безыскусственностью, в солдатских словах грубо-простодушных, но и по-лермонтовски благородных, сильных, полных поэзии. А в исторической «Песни...» поэт-лирик обращался к историческому прошлому, «подслушала биеение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднилась и слалась с ним всем существом своим, обвлася его звуками, усвоила себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размах его чувства...» (III, 239).

Белинский понял лиризм Лермонтова как глубоко национальный, русский, народный, родственный (во не «тождественный») старинному фольклору, затейливым песням гусляров, то веселящих своим остроумием, то осердчае «сжимающих болезненной тоскою», предчувствием горя. Лермонтов «показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества; показал, что и прошедшее его родины так же присуще его натуре, как и её настоящее» (III, 250–254). Белинский, вопреки критикам, упрекавшим Лермонтова в подражательности, неоднократно заявлял, что в нем узнаёт «русского, народного, в высшем и благороднейшем значении того слова, – поэта, в котором выразился исторический момент русского общества» (III, 254).

Выделив в стихотворениях Лермонтова две разновидности – «субъективные» и «чисто художественные», при этом первые преобладают, – критик порадовался, увидев глубокое созвучие лермонтовского лиризма, самой поэтической натуры своему веку. «Благородная человеческая личность» (III, 254) проявляет себя в субъективной лирической поэзии. Таков Лермонтов.

Рассмотрение его конкретных стихотворений представляет собой суждения о нравственно-эстетическом своеобразии лермонтовского произведения. «Дума» изумила всех «важностью крепостию стиха, громовую силою бурного одушевления, исполненной энергиею благородного негодования и глубокой грусти» (III, 254). Обличая, негодуя, поэт грустит, когда нравственные пороки своего поколения. Подобное сочетание негодования в обличениях и грусти-печали сочувствия людям – своеобразие лермонтовского лиризма. Критик присоединял к рассмотренному ещё два: «Поэт» и «Не верь себе...», цитируя первое:

«...»

В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт,
Свой утрата назначеше,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговении?

Бывало, горный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толе, как чаю для моря,
Как фимиам в часы молитвы!
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой,
И отлив мысли благодарной
Звучал, как колокол на башне вечной
Во дни торжества и бед народных

(III, 256).

Выделенные строки запечатлели социально-правственную позицию Белинского, отчётливо понимающего и страстно провозглашающего необходимость гражданственно-религиозного назначения поэзии. Названные три стихотворения Белинский назвал «триумфатором», в котором выявляется «тайна истинного вдохновения, открывая источник ложного» (III, 256). Определяя жанр «Думы», назвав её сатирой, критик указал на двойное назначение жанра – не невинное зубоскальство остроумцев в критике, а «огненные слова» великого звучания в лирике.

В таком контексте Белинский заговорил о Демоне Пушкина и Лермонтова. Он связал этот образ у поэтов с человеческими сомнениями, настроенными разочарования, с размышлениями и рефлексией, разрушающими мироприятие, «отравляющими великую радость», погружающими человека в нравственно губительный скепсис. Однако Белинский, говоря про лермонтовского демона, заметил, что он ещё более страшный, более неразгаданный, чем у Пушкина. Непечатанная при жизни поэта поэма «Демон» не была подвергнута критиком специальному анализу.

«И скучно и грустно...» – стихотворение той же тональности, что и предшествоующие в статье стихотворения. И снова автор статьи, говоря о силе отрицательных эмоций (стихи – «потрясающий душу реализм всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний жизни!» (III, 258)), увидел в стихотворении «духовную дисгармонию», «бездонные пропасти человеческого духа» (III, 258), и обширное рассуждение посвятил именно этому стихотворению, как бы оправдывая поэта, который пёлся в позо-

ливо не «примирительные» с действительностью чувства, а критические, отрицающие жизнь. Но суровая истина – всё Истина, поэзия должна быть «крикою истины», об этом напоминает теоретик изящной словесности.

Сразу же после рассмотрения трагического содержания «И скучно и грустно...» он заговорил о контрастном по смыслу стихотворении, которое вышло из глубин того же поэтического сердца, – «В минуту жизни трудную...». Критик указал на молитвенное переживание; здесь «слабкая мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни жизни» (III, 260), и полностью в текст статьи включено лермонтовское стихотворение о молитвенной благодати для человеческого сердца, о святости его облегчающих чувств.

И в стихотворном посвящении «Памяти А.И. Одоевского» критик усмотрел выражение положительных эмоций, здесь «что-то восторженное, задумчивое, отрадно успокаивающее душу...» (III, 260); воссозданная в стихотворении грандиозная картина гармонического бытия и есть эстетика «высокого», по справедливому заключению автора статьи.

В сферу рассмотрения лермонтовских стихотворений, получивших восторженную оценку Белинского, входит также «Молитва», «1-е января», в котором особенно понравились стихи-воспоминания, «старинные мечты, святые звуки погибших лет...» (III, 262), «Ребёнку», «Соседке», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Отчего», «Благодарность», «Завещание» – большой объём субъективных стихотворений. Изучая мир души поэта, Белинский отметил характерные переживания «рассерженного и смиренного бурною судьбой сердца» (III, 264), мотив «горечи само», вообще человеческого плача, ведь «кто не печалится и не плакал, тот и не возрадуется, кто не болен, тот и не выздоровеет, кто не умирает заживо, тот и не воскреснет...» (III, 265) – говорил критик по поводу лермонтовского «Завещания». Эстетическую категорию высокого он связывал, по существу, с христианской этикой.

В поэтике субъективных стихотворений он отметил их музыкальность: «поэзия становится музыкаю» (III, 264), оказывается в сфере «тайнственного», «невыговариваемого», нематериального, льются «мелодические звуки», «как слеза за слезою», слышатся «вдох музыки», «мелодия грусти». Белинский превосходно прочувствовал единение поэзии и музыки, особенно духовного искусства, в лермонтовском лиризме.

Анализ второй группы стихотворений осуществляется путём рассмотрения шедевров лермонтовского творчества: «Ветня Палестины», «Тучи», «Русалка», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Воздушный корабль», поэма «Мцыри». Критик отметил выход поэта из мира своей души к созерцанию «полного славы творения». Теперь личность поэта «исчезает» за великолепными картинами действительности. Поэт умел воссоздать роскошь природы знойного Востока, Кавказа, особенности казачьего быта. Критик сблизил стихотворения Лермонтова не только с пушкинскими, но и с созданными Байроном, Гёте в сфере художественной выразительности, он рассмотрел самобытность переведённого из Зейдаца стихотворения «Воздушный корабль». Отметив «незрелость» идеи и некоторую натянутость содержания «Мцыри», Белинский изумился необычайной художественностью поэмы, выписав из неё обширные фрагменты, включая завершающие стихи о примирении умирающего Мцыри с окружающими его людьми. Но особенно превосходны лермонтовские пейзажи: «Картины природы обличают кисть великого мастера» (III, 274). Белинский сформулировал некоторые выводы, которые стали повторять и другие критики и исследователи русской поэзии более позднего времени: «Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и пестуном их мумы, поэтическию их родиною!» (III, 274)

Заключившаяся обширная статья Белинского стихотворением в прозе, но теперь уже не «запиской», как в «литературных мечтаниях», а подлинным дифирамбом, пропетым в честь лирики Лермонтова и свидетельству-

юным о способностях знаменитого критика как к синтезу аналитических суждений, так и к страстным лирическим излияниям, получившим пристанище в его сердце: «Бросал общий взгляд на стихотворения Лермонтова, мы видим в них все силы, все элементы, из которых складывается жизнь и поэзия. В этой глубокой натуре, в этом мощном духе всё живёт; им всё доступно, всё понятно; они на всё откликаются. Он всевластный обладатель царства явлений жизни, он воспроизводит их как истинный художник; он поэт русский в душе – в нём живёт прошедшее и настоящее русской жизни; он глубоко знаком и с внутренним миром души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиренная жалоба, елеянок благоухание молитвы, пламенное, бурное одушевление, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопль гордого страдальца, стоны отчаяния, таинственная нежность чувства, неукротимые порывы дерзких желаний, целомудренная чистота, недуги современного общества, картины мировой жизни, хмельные обаяния жизни, укоры совести, умолятельное раскаяние, рыдания страсти и тиски слёзы, как звук за звуком, льющиеся в полноте умиротворённого бурною жизнью сердца, упоения любви, трепет разлуки, радость свидания, чувство матери, презрение к прозе жизни, безумная жажда восторгов, полнота упивающегося роскошью бытия духа, пламенная вера, скука душевной пустоты, стон отирающегося самого себя чувства замершей жизни, яд отрицания, холод сомнения, борьба полноты чувства с разрушающею силой рефлексии, падший дух неба, гордый демон и невинный младенец, буйная вакханка и чистая дева – всё, всё в поэзии Лермонтова: и небо и земля, и рай и ад... По глубине мыслей, роскоши поэтических образов, уласкательной, неосторженной силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку сил будущей огненной фонтаном, его создания напоминают собою создания великих поэтов. Его поприще ещё только начато, и уже так много им сделано, какое неистощимое богатство элементов обнаружено им: чего же должно ожидать от него в будущем?...» (III, 275–276)

Пафос Белинского в финале статьи обозначил его понимание Лермонтова как лирика, вместившего в своего «внутреннего человека» универсум чувств, обнажающих русскую душу поэта. Он понят критиком как сложная личность (Белинский не говорил о противоречиях) поэта сильной мысли, способного разрешать диссонансы жизни и выходить из «тёмных пропастей человеческого духа». Белинский предрекает великому поэту великое призвание народа.

Обширный труд, посвящённый А.С. Пушкину, создавался и публиковался Белинским в середине 40-х годов. Известен путь активного, даже бурного интеллектуального развития знаменитого критика, исследователя и надежного ценителя русской литературы. Обе работы о поэтах, Лермонтове и Пушкине, по-разному соотносятся с личностью самого Белинского. В 1840 году и ранее, когда задумывался и создавался труд о Лермонтове, критик выступал современником поэта, и, как свидетельствует статья, она оказывалась единомышленниками. Рассуждая об отношениях читателя с автором читаемого поэтического текста, Белинский говорил о том, что читатель чувствует своё духовное «родство» с гениальным поэтом. Это суждение следует адресовать и самому Белинскому, видимо, узнававшему себя, когда он знакомился с сердечно-духовной, интеллектуальной жизнью поэта по его стихам. Лермонтов влиял на Белинского, подтверждая его выводы, не только касавшиеся отказа от примирения с действительностью, но влиял и на утверждение патристическо-народолюбивых позиций критика, его уважительного отношения к истории России, в том числе и к допетровскому времени; также и христианская этика Лермонтова была замечена Белинским, писавшим о «кротости», «нежности» поэта, о его понимании необходимости страдания для спасения человека, о нравственном значении себя.

М.М. Уманская, сопоставляя письма Белинского и его друзей той поры, убеждает в их удивительной близости, которую подтверждают даже прямые совпаде-

ния в стихах и письмах, умонастроениях, эмоциях, моральных заявлениях критика и его единомышленников с высказываниями лермонтовского Печорина². Лермонтов был ещё жив, когда Белинский писал о нём и верил в его будущую славу.

Отношения исследователя русской литературы с Пушкиным строились на другой личностной основе. К середине 1840-х годов Пушкин уже стал превращаться в явление истории русской литературы. Жизненный и творческий путь русского гения был трагически завершён... Перед Белинским стояла задача определить его место в русской литературе, сущность и самобытность этого необыкновенного явления духовной жизни России. Что есть Пушкин? Белинский, размышляя о нём, неоднократно говорит о «тайне»: «Присутствуя к изучению поэта, прежде всего должно уловить, в многообразии и разнообразии его произведений, тайну его личности, то есть те особенности его духа, которые принадлежат только ему одному» (VI, 254). Автор примечаний к 6-му тому собрания сочинений В.Г. Белинского К.Н. Тоньязи обратил внимание на это важное для критика слово – «тайна», исследователь пришёл к выводу о том, что «Белинский открывает "тайну" его (Пушкина. – В.А.-К.) поэтической личности в лафесе художественности»³. Соглашась, следует уточнить логику мыслей критика, а также «историю» применения самого понятия «тайны» в русской литературе. Особенно знаменательно заявление Ф.М. Достоевского о том, что он как писатель ставит перед собой задачу изучения «тайны человека», выступая в качестве психолога. До Достоевского ещё Ф.И. Тютчев в знаменитом стихотворении «Silentium!» провозглашал:

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум –
Их озвучит наружный шум,
Длинные разгонит тучи –
Внимай их певью – и молчи!..⁴

Тютчев писал о таинственно-волшебных думках в 1830 году, А.Н. Толстой, увлекаясь этим стихотворением, значительно позже будет говорить о моантинном смысле тютчевских слов.

Представления о глубинах человеческой души, о её таинственном мире для религиозного человека приобретали христианское содержание. Белынский эту проблему решал с философской точки зрения: «...каждый человек, в большей или меньшей мере, рождается для того, чтоб своею личностью осуществить одну из бесконечно разнообразных сторон необъяснимого, как мир и вечность, духа человеческого» (VI, 254). И снова: «Итак, источник творческой деятельности поэта есть его дух, выражающийся в его личности, и первого объяснения духа и характера его произведений должно искать в его личности» (VI, 254); «...нужно проникнуть в сокровенный дух его поэзии, уловить тайну его личности...» (VI, 255). Тем более подобные высказывания относятся к субъективной, по определению не только нашего критика, лирической поэзии. Белынский выдвигает проблему духовности литературного творчества именно в пятой статье пушкинского цикла, посвящённой лирике зрелого Пушкина. Понятие «духовности» для Белынского обладает широким содержанием. Он прежде всего думает о духовности поэзии – лирической духовности. В связи с этим он пишет о содержательности личности, о выражении в ней значительнейших душевных состояний, «принадлежащих всему человечеству» (VI, 257), – в них предстаёт «душевная общность» людей. Вместе с тем, «чем выше поэт, тем оригинальнее мир его творчества <...> поэтическая деятельность ознаменована печатью самобытного и оригинального характера» (VI, 257). Согласно Белынскому, исходя из этих теоретических постулатов, следует искать ключ к тайне личности поэта в его лирике. Критик размышляет о единении идеи, овладевшей поэтом, с формой её воплощения в произведении искусства. Теперь он пишет о поэтических идеях и отделяет поэзию от философии, от идей отвлечённых, рассудочных, лишённых эмоционального

содержания. Критик формирует своё понимание роли страстей в художественном творчестве. Не отрицая их выдающейся роли, он тем не менее отторгает страсти чувственные, «физические акты» от страстей, отражающих «нравственное бытие» человека. Последние он называет «нафосом» произведения искусства. Белинский отстаивает это понятие, позволяющее, с одной стороны, отделить отвлечённую идею от поэтической, с другой – размежевать чувственные страсти и нравственные переживания; он говорит об особых идеях по содержанию и по форме: «живая красота формы свидетельствует о пребывании в ней божественной идеи...» (VI, 258); имеется в виду страсть «чисто духовная, нравственная, небесная» (VI, 259), в основе которой лежит любовь. Белинский завывает о пушкинской любви к человеку, но вместе – и о его миропринимавшем мирозерцании. Источники и горя и утешения Пушкин ищет в реальностях бытия: «в такой способности поэта... в этой силе, отражающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в Промысла и оправдания путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма» (VI, 274).

Статья Белинского о Пушкине противостояла эстетике романтизма, к которому критик подходил, учитывая конкретно-исторические условия развития литературы. Отнюдь не отрицая выдающихся достижений Державина, Карамзина, Жуковского и Батюшкова, зная, что оба последних были учителями Пушкина в поэзии, и не отрицая ни классицизма, ни романтизма как исторически обусловленных этапов развития и литературы [поэзии], и литературной критики, Белинский видел наступление нового этапа в литературной жизни и связывал его с появлением поэзии действительной жизни, а романтические каноны считал устаревшими. Он дал свой ответ на вопрос о «тайне» Пушкина: «Тайна пушкинского стиха была заключена не в искусство "сливать посушенные слова в стройные размеры и замыкать их звонкою рифмой", но в тайне поэзии. Душе Пушкина присуща была прежде всего та поэзия, которая не в

книгах, а в природе, в жизни, – присущие художеству, печать которого лежит на “полном творении слывы”. Разум – это дух жизни, душа её; поэзия – это умышля жизни, её светлый взгляд, играющий всеми переливающимися быстро сменяющимися ощущениями» (VI, 266). Такой светлый взгляд Пушкина, его духовно-душевное просветлённое состояние критик обнаруживал в лирических стихотворениях. Микропринимавший взгляд пушкинского внутреннего человека обуславливал обаяние его лирической поэзии: «Если б мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом, мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистический слух, – и этим разгадали бы тайну пафоса всей поэзии Пушкина» (VI, 264). Белинский употреблял понятие «искусство для искусства», говоря о Пушкине и имея в виду натуру поэта, «исполненного любви, интереса ко всему эстетически прекрасному, любящего всё и потому терпящего ко всему» (VI, 264). Белинский говорил, видимо, об эстетической симпатии, а не об этическом безразличии по отношению к человеческим порокам. Критик был склонен объединять Истину, Добродетель и Красоту, одно другого стоит и заменить не может и составляет потребность человеческого духа, утверждал он. Собственно, здесь – исходный тезис его размышлений об искусстве в целом.

Изучая высшие потребности духовно-душевной жизни человека, Белинский выделял категорию народности и национально-самобытности. И в статье о Лермонтове, также – и о Пушкине он много размышляет о русской душе каждого из поэтов. Очевидность в этом отношении лермонтовской поэзии критик подтверждал ссылаясь на «Бородино» и на «Песнь про царя Ивана Васильевича...», но к Пушкину осуществлялся другой подход. Мысль об артистизме Пушкина, его художественной натуре привела критика к воспоминаниям об эстетике античного мира, и он обратился к пушкинским стихотворениям с подобными мотивами – антологической лирике, выполненной совсем не в романтической манере; то поэт изображал плачущую ревнивую деву, то

юношу, играющего в бабки, то сделала перевод из Космофана Колофонского («Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают...»), здесь и «Труд», стихи из Анакреона, другие стихотворения, написанные гекзаметром. Не эстетика «невыразимого», как в романтизме, а поэзия самой простой жизни, её внешние выразительные формы привлекала отшельническую натуру Пушкина, и «ны видите перед собою превосходную античную статую» (VI, 269). Жизнь во всех проявлениях её красоты во всех концах света составляет обаяние маленьких лирических произведений русского поэта, сочиняющего стихи по мотивам поэзии разных народов и национальностей.

Но Пушкин всегда остаётся русским, национальным поэтом, даже тогда, когда переносится в другую национальную культуру. Он смотрит на неё глазами русского человека. «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры...» (VI, 276) Белинский различал понятия: «народный поэт» и «национальный поэт». Народ – люди, народившиеся на определённой земле, и критик имеет в виду их природные качества, взятые вне образования, вне просвещения. Народ поёт из века в век свои устно-поэтические произведения и не знает своих литераторов-поэтов, народ тёмный. Белинский недооценивал народную поэзию, былины, сказки, легенды, песни – глубинные истоки народно-национальной духовной культуры, самобытной и нравственной, обобщающей многовековой опыт духовной жизни народа. Сохраняющий традиции русской просветительской философии Белинский думал о необходимости социальной свободы и просвещения для народа. Носителями русского просвещения была образованная сословия, они и все остальные сословия – «нищие» – образуют «государственное тело». «Национальный поэт» выражает «субстанциальную стихию», объединяющую оба начала. Носительницей этой стихии и является поэзия Пушкина. Так рассуждал Белинский, который привёл обширнейшую выписку из статьи Н.В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине»; в ней высказаны мысли о Пушкине как

русском национальном поэте – мысли, совпадающие с мнениями Белянского. Гоголь пишет, что у поэта сама жизнь совершенно русская: его душа, его характер, его местопребывание, в самом языке его поэзии, будто «в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показала всё его пространство» (VI, 277). Белянский, цитируя Гоголя, привёл и его известное теперь всем предсказание, согласно которому Пушкин – явление чрезвычайное, возможно, единственное: «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» (VI, 277). Сделанные Гоголем предсказания, к которым, судя по цитированному, Белянский присоединился, станут характерной чертой русской культуры последующих времён: какая-то мечта о Пушкине живёт в последующих поколениях: «Тебя ж, как первую любовь, Россия сердце не забудет» (Ф.И. Тютчев). В.В. Розанов в самом начале нового века в статье «Возврат к Пушкину» восклицал: «К Пушкину, господа! – к Пушкину снова!...»⁴ Белла Ахмадулина уже в конце XX века произнесла: «Все мы спутники на путях к Пушкину». В дни 200-летнего юбилея нашего гения он был назван исследователями «самой Россией», а по убеждению Белянского, «Россия по преимуществу – страна будущего...» (VI, 280). Такова своеобразная черта русской футурологии – она оказывается связанной с Пушкиным и его лиризмом.

Белянский полагал, что «натуре» Пушкина «самое верное свидетельство есть его поэзия» (VI, 281), именно лирика выражает прежде всего суть его личности. Критик приходит к выводу о том, что у этого поэта содержание лирики почти всегда оказываются любовь и дружба, они больше всего охватывают его внутренний мир и приносят ему и счастье, и горести. В результате – «общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической, – внутренняя красота человека и влекущая душу гуманность» (VI, 282). К тому же лирическое чувство представлено и воспринято поэтом как изысканное, оно грациозное, благородное, кроткое, нежное, благо-

ушкинское, в его поэзии «есть небо, но им всегда проникнута земля» (VI, 283). И всё это виртуозно, артистически художественно выражено в пушкинских стихах, утверждает критик. Он полностью приводит образцы любовной лирики поэта: «Ты влюбишь и молчишь; печаль тебя снедаст...» (волевой перевод стихотворения А. Шенье); «Желание славы» («Когда любовью и негой упоенный...»). Белинский восхищается «памятной» грацией и гуманностью первого стихотворения, передающего невинную девичью первую влюблённость, а во втором – страстная любовь юноши; в третьем стихотворении – «Я вас любил: любовь ещё, быть может...» – уже чувство возмужалого любящего человека, сердце которого отмечено трогательной гуманностью. Ещё «благоуханно-святое» он находит в стихотворении – «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...». Особенно его восхищает «Для берегов отчизны дальной...»: «едва ли грациозно-гуманная муза Пушкина создала что-нибудь благоуханнее, святее и вместе с тем изящнее этого стихотворения, и по чувству и по форме» (VI, 285). Белинский, рассмотревший стихотворения Пушкина о любви, пришёл к выводу: «...мы не знаем на Руси более нравственного, при великости таланта, поэта, как Пушкин» (VI, 285).

Перед Белинским стояла проблема оценки социальных аспектов лирики Пушкина. Она была для него тем актуальнее к середине 1840-х годов, когда он боролся за натуральную школу в связи со спорами о «Мёртвых душах». Критик отстаивал социально острую, обличительную литературу, находя и в ней любовь к отечеству – «плодотворному зерну русской жизни». Однако истолкование творчества Пушкина нуждалось в ином подходе. Критик считал, что Пушкина интересовала современная история лишь в начале его творческого пути, а впоследствии он совершенно охладел к ней и изменился. Белинский оставлял совершенно без внимания такие стихотворения, как ода «Вольность», новаторская элегия поэта «Деревня», послание «К Чаадаеву» («Люби, надежды, тихой славы...»), его эпиграммы 1810-х годов, другие социально острые стихотворения, о которых

Ф.Н. Ганика сказал: «Тогда гремел сильнее, чем пушки,
/ Своим стихом андрийский Пушкин...» Впоследствии, в
XX веке, именно эти и подобные стихотворения стали
прочно связаны с именем нашего классика в поэзии,
они были непременны без них даже в школьном изучении.
Однако Белинский о них умалчал. Видимо, не только
цензурные условия мешали ему признавать выдающиеся
значения мудрых социальных умозаключений поэта,
говорившего, что народ сможет благоденствовать лишь
в том государстве, в котором осуществляется «с воле-
ностью святой закон» мощных сочетаний». О «святой
волености» критику трудно было говорить в своё время.

Белинский счёл нужным коснуться в статье отноше-
ния Пушкина к русской монархии. Он выделял стихо-
творения поэта, посвящённые Петру Великому, как на-
зывают его и Пушкин, и ценитель его поэзии. Последний
считает, что они по сравнению с другими стихотворени-
ями «отличаются присутствием глубокой и яркой мысли
и вместе национального чувства и истинным значением
этого слова...» (VI, 289). Белинский высказался о монар-
хе XVIII века, что было весьма показательно для 40-х го-
дов, времени споров славянофилов с западниками. Он
заслуживает «обожания всех русских: Пётр Великий – не
только творец бывшего и настоящего величия России, но
и навсегда останется путеводительною звездою русско-
го народа, благодаря которому Россия будет всегда идти
своею настоящею дорогою к высшей цели нравствен-
ного человеческого и политического совершенства» (VI,
289–290). Национальную, народную самобытность Пуш-
кина критик подчёркнуто выводит из стихотворных по-
священий этому выдающемуся монарху, говоря о нём
и цитируя «Стансы» («В надежде славы и добра...»), осо-
бенно выделяя пушкинские слова «плотник» и «работ-
ник», адресованные русскому царю. «Превосходным» он
считал и второе посвящение ему: «Пир Петра Великого»,
называя стихотворение «народной песней». Белинский со-
лидаризировался с Пушкиным в его надеждах на соци-
альную миссию монарха, способного (или должного), по
их мнению, сблизиться с народом. Всё это говорилось

в то время, когда двор Николая I принимал идеологию официальной народности – единства «самодержавия, православия и народности». Сам Белинский уже пережил период примирения с действительностью и понял противоречивость социального бытия, конкретно-исторического, с его торгашеским духом, барышничеством, самолюбивыми страстями критиков, низменной моралью; ему были близки также пушкинские стихотворения, раскующие отчуждение истинного поэта, надежного артистическим, художническим даром, от пошлой толпы. Гоголевское сатирическое порицание пошлости было уже знакомо Белинскому и одобрено им; сходное он увидел в стихотворениях Пушкина об отношениях поэта с толпой людской. «Поэт! Не дорожишь любовью народной. / Восторженных похвал пройдет минутный шум: / Услышишь суд глупца и смех толпы холодной; / Но ты останься тверд, спокоен и утрюм...» Подобное и в стихотворении «Поэт». Критику-другу было понятно обособление великого поэта, оскорбленного враждебным непониманием толпы: «Ты сам свой вышний суд». Белинский неоднократно повторил в статье своё мнение о легкости Пушкина – высокой и благородной, способной судить самого себя. Ему были свойственны духовно-душевные диссонансы, «муки сомнения», отражённые отчасти в стихотворении «Демон», а особенно в – «Дар напрасный, дар случайный...»; это были тяжёлые минуты «душевной апатии», считает критик, не характерной для поэта. В статье полностью процитировано стихотворение «В часы забав на праздной скуки...» – ответ поэта на стихотворение митрополита Филарета, настаивающего Пушкина в связи с его мрачными выводами о якобы «напрасном» и «случайном» даре – собственной жизни. Пушкин признал поученное, внял «арфе Серафима» и осудил самого себя за мрачные – безумные и страстные – шуки своей ады:

Тысяи огнём дуга пылаю,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В сызветном ужасе поэт.

Всё это Белинский процитировал. Он пришёл к окончательному выводу о том, что поэт достиг подлинной высоты внутреннего просветления и нравственно, и мудро возвысился над «трагическими законами судьбы», опираясь на силу своего собственного духа. Критик цитировал стихотворения «Застыв» («Безумных лет угасшее веселье...») и «Три ключа» («В степи мирской, печальной и безбрежной...») – философские произведения Пушкина о ценностях человеческой жизни.

Примечательно, что на протяжении пятой статьи о Пушкине Белинский дважды обращается к Гоголю, приводя обширнейшие выписки из его статьи о Пушкине, говоря, что делает это для более основательного исследования, что вообще о Пушкине Гоголем «сказано больше и лучше, нежели сколько и как сказав мы в целой статье нашей» (VI, 271, 297). Явно: и в середине 40-х годов Белинский с почетом относится к писателю, которым он восхищался и в 30-х годах, за которого боролся в связи с дискуссией о «Мёртвых душах». Видно, что Гоголь, сам лирик в прозе (это было уже раньше отмечено Белинским), влиял на критика, на его теорию лирической поэзии, и пушкинской в частности. Глубокое уважение и восхищенное признание творческого дарования Гоголя, согласие с ним были свойственны Белинскому и в 40-х годах, что ограничивает значение темпераментной критики любимого писателя в «Письме Белинского к Гоголю», которому нередко придаётся расширительное значение.

Подводя итоги рассмотрения Белинским лирики двух поэтов, следует отметить единство его исходных принципов, позволивших увидеть по существу сходство Пушкина и Лермонтова, великих выразителей русского духа, обладавших, по словам их ценителя, «богатырской» творческой силой, «могущей» выразительностью слов-стихов, нравственным благородством.

Вместе с тем литературный критик изучает различие их лирики, обнаружив у Лермонтова глубокое сочувствие

своему времени, периоду философских раздумий, рефлексии, социальной неудовлетворённости, а у Пушкина, ставшего новаторским явлением истории русской и, по-видимому, мировой духовной культуры (Белинский его сопоставляет то с античными классиками, то с Шекспиром, то с Гёте, Беранже), – мироприемлющее отношение к действительности и гуманное – к человеку; личность этого поэта пронизана красотой бытия и любовью к людям, сложным, нравственно неоднозначным и даже жестоким по отношению к своему поэту. Но забвение-прощение позволяет благородному лирику подняться над обыденщиной и увидеть величие и государственного деятеля, и гениального музыканта, и любящего сердца обыкновенного человека.

Белинский – философ, теоретик искусства, в данном случае лирической поэзии, – главным в ней считает состояние духа поэта, он изучает духовность лирики, вводит в теорию понятие «пифоса» художественного творения, а именно нравственной страсти, составляющей концепцию стихотворного произведения. Исходный принцип оценки лирики – этический: благородство, величие души самого поэта; определяются они не холодным разумом, не тем более рассудочностью, а горячим, эмоциональным, народно-национальным сопереживанием. По существу, в пушкинском и лермонтовском лиризме Белинский высоко оценил национально-христианскую духовность, с огромной художественной силой выраженную в поэзии классиков в литературе.

В новом тысячелетии, обрушившем на головы современников масштабные социально-экономические перемены, наследие В.Г. Белинского не утратило своей духовно-нравственной ценности, которую нужно беречь и сохранять.

2011

¹ Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1976. С. 100. В дальнейшем цитируются работы критика по это-

му изданию. Сразу после цитаты в скобках указаны римской цифрой – том, арабской – страницы.

¹ См.: Ульяновская М.М. Лермонтов и романтизм его времени. Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971.

² Тютчев К.Н. Примечания // Белянский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1981. Т. 6. С. 609.

³ Тютчев Ф.Н. Поэм. собр. соч.: В 6 т. М.: Классика, 2005. Т. 1. С. 123.

⁴ Белянский слоган предложил своим поэтам из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1826).

⁵ Рязанов В.В. Социология. М.: Сов. Россия, 1990. С. 374.

Г.Г. РАМАЗАНОВА

***Нравственно-религиозные взгляды
В.Г. Белинского в период сотрудничества
с журналом «Московский наблюдатель»***

Журнал «Московский наблюдатель» – периодическое издание второй половины тридцатых годов. В истории существования журнала традиционно выделяют два периода: первый, с 1835 по 1838 год, связанный с именем официального редактора В.П. Андросова и ведущего критика – С.П. Шевырева, и второй, с 1838 по 1839 год, когда он выпускался под неофициальным редактированием В.Г. Белинского.

В.П. Андросов (1803–1841) – экономист, коммерческий редактор «Московского наблюдателя» с должностью секретаря Общества улучшения овцеводства, одновременно он являлся редактором «Журнала для овцеводов». Фактическое руководство изданием осуществлялось ученым-филологом, профессором Московского университета С.П. Шевыревым (1806–1864), он же определял литературное направление журнала. «Московский наблюдатель», который просуществовал около пяти лет (с 1835 по 1839 год), был заметным явлением в культурном пространстве тридцатых годов девятнадцатого века. В период редактирования журнала Андросовым и Шевыревым в нем печатали свои произведения А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.Ф. Павлов, В.И. Даль, Е.А. Баратынский, Ф.Н. Глинка, Н.М. Языков, А.С. Хомяков и многие другие. Критические статьи, опубликованные в «Наблюдателе», вызвали полемические отказы В.Г. Белинского, Н.И. Надеждина, О.И. Сенковского. Особенно активно против «наблюдателей», а по сути дела, против Шевырева, выступал Белинский.

Можно констатировать, что между критиками сложились непростые отношения. Статья Белинского «Литературные мечтания» (1834), в которой давалась высокая оценка поэзии Шевырева и демонстрировалось весьма уважительное отношение к нему, положила начало долгой злочной поэмке. Объемный обзор В.Г. Белинского «О критике и литературных мнениях "Московского наблюдателя"»¹ (1836) был полностью посвящен журналу. В этом обзоре предметом пристального и пристрастного рассмотрения стала все «программные» статьи Шевырева. В 1842 году Белинский пишет резкую статью о Шевыреве, само название которой – «Педант» – достаточно определенно оценивало оппонента. Она получила известность, отчасти скандальную, и поставила точку в своеобразном «диалоге», длившемся около десятилетия.

С 1838 года Белинский сам стал неофициальным редактором «Московского наблюдателя», под его руководством вышло пять выпусков, а в 1839 году журнал фактически прекратил свое существование. Белинский, непримиримо критиковавший «Московский наблюдатель» все предыдущие годы, стремился к преобразованию, хотел придать четко выраженное «заправление» изданию. В период его редакторской деятельности радикально изменялась структура журнала, большую часть его стали занимать библиографические обзоры, носившие глубокий аналитический характер, которые по замыслу Белинского должны были стать отражением идейной концепции издания. Все литературные произведения, публикуемые в журнале, тщательно отбирались самим критиком. Круг авторов, привлеченных к сотрудничеству с журналом, сократился: из поэтов больше всего публиковались А.В. Кольцов, который напечатал в «Московском наблюдателе» за 1838 и 1839 годы одиннадцать стихотворений, В.И. Кротов (двенадцать), И.П. Казюшкин (восемь). На страницах журнала было помещено несколько стихотворений А.И. Писемского, из русской оригинальной прозы – две повести А.Н. Кудрявцева (Нестроева). В основном журнал наполнялся пере-

водными поэтическими произведениями Шекспира и стихотворениями и прозой всемирных писателей.

Можно констатировать, что деятельность Белинского-редактора довольно хорошо освещена в исследовательской литературе³. Не имеет смысла повторять справедливые суждения исследователей лишь для того, чтобы подтвердить их истинность и выразить почти полное с ними согласие. Все исследовательское творчество критика оценивали обновленный журнал положительно, в частности, А.Н. Пыпин писал: «Московский наблюдатель» времени Белинского был без сомнения одним из лучших журналов по целости его характера, по достоинству его литературного отдела и наконец по критике, которая положительно была выше всего того, что представляла тогда журналистика в этом отношении⁴. Пыпин акцентировал внимание на том, что новый «редактор» всеми силами боролся и добился того, что его детище приобрело четко выраженное направление.

Четыре главы фундаментальной монографии В.С. Нечасовой – «История издания Белинским "Московского наблюдателя"», «Философские, эстетические и литературно-критические позиции "Московского наблюдателя" в период его издания Белинским», «Театральные рецензии и драма "Пятидесятилетний дядюшка"», «Белинский – редактор "Московского наблюдателя"» освещают разностороннюю деятельность критика в качестве редактора и автора журнала. В.С. Нечасова анализирует причины того, что «Наблюдатель», несмотря на все предпринятые усилия, на титанический труд критика, который буквально тащил издание на себе, не приобрело настоящего успеха у публики, при этом она останавливается на взаимоотношениях издания с цензурой, которая «душным» «Московский наблюдатель». Нечасова подробно излагает нюансы взаимоотношений Белинского с его соратниками, попутно характеризуя их литературный вклад в журнал: «Друзья Белинского – поэты Красов, Кольцов и Клюшников – своими стихотворческими украшениями журнала, во не могли ни заполнить его содержания, ни определять его направление... Клюшников все вре-

мая находился в состоянии тяжелой депрессии. Горячо отнесшийся к изданию журнала Константин Аксаков не обладал дарованием журналиста и был более склонен к научно-философским рассуждениям и поэтическому творчеству. Его участие в журнале было эпизодическим. Энергичным и циничным сотрудником журнала зарекомендовал себя М.Н. Катков. Но он нуждался в опыте за свои литературные труды...»⁴.

Монография В.С. Нечаевой отличается разносторонностью и емкостью изложенной информации, ее научное значение трудно переоценить. И все же сам ракурс рассмотрения публикаций, принадлежавших перу Белинского, представляется несколько тенденциозным. Несомненно, что фундаментальный труд, написанный в шестидесятые годы двадцатого века, несет на себе печать своего времени. Вполне отчетливые идеологические установки предопределяют корректировку идейного обанка Белинского. Некоторые высказывания критика периода «примирения с действительностью» обходятся, даже замалчиваются, поскольку разрушают утвердившийся в советском литературоведении целостный образ последовательного «борца с самодержавием».

Значительный вклад в изучение журнала периода его редактирования Белинским внесла Е.Ю. Тихонова, написавшая ряд работ о Белинском, в частности исследование о «Московском наблюдателе»⁵. Автор пишет издание в контекст эпохи, определяя его нишу среди периодики того времени. Сложному периоду в духовной жизни Белинского, который хронологически совпал со временем работы в журнале «Московский наблюдатель», посвящена отдельная статья «Разумна ли действительность? (о духовных исканиях Белинского в 1837 году)». Справедливо суждение исследовательницы, которая пишет: «Немногие исследователи останавливались на 1837 году как особом этапе мирозерцания критика. Между тем, он заслуживает отдельного изучения, поскольку, не растворяясь ни в предыдущем "фихтеакте", ни в последующем "тегелминстве", несет отпечаток первого и подготавливает второе... Но сле-

дует сразу же оговорить условность данных терминов: при искреннем желании следовать за авторитетами Белинский весьма явно для себя "решировал" теорию учителя. Творчество Белинского 1837 года, представленное, прежде всего, письмами, характеризуется причудливым сочетанием мотивов, навеянных Фихте и Гегелем, накладывающихся на оригинальное восприятие действительности молодым мыслителем⁴.

Письма Белинского – своеобразный, уникальный в своем роде комментарий к его критическим статьям, библиографическим обзорам. Зачастую именно они разъясняют философские воззрения критика, приводят их в относительно цельную систему. Главной ценностью эпистолярного наследия этого периода в том, что адресаты – друзья, единомышленники Белинского, поэтому его письма предельно откровенны.

Библиографические обзоры Белинского, опубликованные в «Московском наблюдателе», в их нерасторжимой целостности советским литературоведением не изучались, но некоторые из них стали предметом рассмотрения С.А. Венгерова, одного из первых издателей полного собрания сочинений критика. Над исследователем не довлели идеологические догмы, его оригинальные, объективные и глубокие комментарии, восстанавливающие духовный облик Белинского периода «примирения» с действительностью (прошедшегося, как известно, совсем недавно), представляют огромный интерес. В аналитических библиографических комментариях, рецензиях этого периода Белинский высказал оригинальные суждения о роли литературы, выработал и сформулировал многие теоретические понятия, изложил свои литературные и личные пристрастия.

Первая книжка журнала под редакцией Белинского открывалась программной публикацией – обширным предисловием М.А. Бакунина к переводу «Гимназических речей» Гегеля, произнесенных в годы его директорства в Нюрнбереской гимназии (1808–1816). Белинский этой публикации придавал исключительное значение, поскольку в ней излагалось учение о «разумной дей-

ствительности». Особенное внимание критика привлекала формула Гегеля, впервые приведенная последним во «Введении» к «Философии права»: «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно». «Предисловие переводчика» не столько объясняло основные положения «Гимназических речей» Гегеля, сколько излагало философские воззрения Вакунина и Белинского, разделявшего их, представляя собой попытку связать воедино действительность, философию, литературу.

Г.В. Пыханов, размышляя о характере воззрений Белинского этого периода, отмечал радостное обаяние, с которым критик воспринял учение Гегеля, оно освобождало его от многих мучительных вопросов, на которые так долго он не находил ответа. Критик отмечает: «Теперь происходит настоящее примирение Белинского с действительностью... Он будет наслаждаться сознанием и созерцанием ее разумности, и чем больше он благоговеет перед разумом, тем больше будет возмущать его всякая критика действительности. Понятно, что страстная натура Белинского должна была завести его очень далеко в этом отношении. Трудно даже поверить теперь, что он наслаждался созерцанием окружающей его действительности, как художник наслаждается зрением великого произведения искусства... Этот "таинственный" восторг перед разумною действительностью напоминает тот восторг, который испытывают в общении с природой люди, умеющие одновременно наслаждаться и ее красотой и сознанием своего неразрывного единства с нею. Человек, любящий природу такою, в одно и то же время философической и поэтической любовью, с равным удовольствием следит за всеми проявлениями ее жизни. Точно так же и Белинский, с одинаковым любовным интересом вглядывается теперь во всё окружающее»⁷.

С.А. Венгеров, в редактируемом им собрании сочинений Белинского, в сопроводительной статье-комментарии «Вакунинско-гегельянский период жизни Белинского» писал: «Не знаменательна ли в самом деле та исключительность, с которою все силы ума и сердца Бе-

линского и его друзей обращался на толкование одного только из положений Гегеля – “все действительное – разумно”. Положения, в конце концов, второстепенного, мимоходом высказанного в предисловии к “Философии права”. Если вы возьмете какую-нибудь позднейшую историю философии и прочтете статью о Гегеле, вы там часто не встретите даже простого упоминания о формуле “все действительное – разумно”. ... Но в том-то и дело, что члены кружка Белинского не столько умом, сколько сердцем прикипая к гегелянству, они гегелянство не просто усвоили, они в него уверовали. Их в гегелянстве прельстило его притязание дать абсолютную истину. А раз абсолютная истина, какие же могут быть частные противоречия?»

В своей статье Бакунин выступал ярым врагом материализма, который, по его мнению, поработил французов, и это стало главной причиной их нравственной деградации. Бакунин считал, что Французская революция – следствие духовного развращения нации, которое было предопределено отсутствием подлинной веры: «Результатом французского философия был материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во французском народе исчезла последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непреходящее доказательство любви Творца к творению, сделалось предметом общих насмешек, общего презрения...»¹² Автор констатирует, что духовная болезнь не ограничилась одной Францией, а вышла далеко за ее пределы и составила общую болезнь XVIII века, укоренилась она и в России. В финале статьи Бакунин дает своеобразную психологическую установку потенциальным читателям: «Примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гёте – главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь... Будем надеяться, что новое поколение соединится наконец с нашею прекрасною русскою действительностью и что, оставив все пустые притязания на гениальность, оно ощутит наконец в себе законную потребность быть действительными русскими людьми»¹³. Очевидно,

что статья Бакунина была призвана стать программной, поскольку в ней были изложены основные концептуальные идеи обновленного «Московского наблюдателя», которые Белинский затем развернул, конкретизировал в своих библиографических обзорах.

С.А. Венгеров, рассматривая этот период духовной биографии Белинского, утверждал, что «примирение» с действительностью в его кружке вовсе не предполагало отказа от жестких нравственных принципов, а означало переосмысление роли образованных людей в России. В этой связи он отмечал: «Как, в самом деле, психологически примирить представленные о "неистовом Виссариионе" с тем смиренномудрием, которое лежит в основе всякого прославления действительности? В слове "примирение" есть всегда понятие о чем-то низменном или в лучшем случае о том, что всегда отзывается пошлостью и душевной дриблостью, низкою и компромиссом. Заключительные слова статьи Бакунина – победный, бодрый камч, тут истинное желание поскорее сослужить реальную службу родине, тут истинный, благородный экстаз... он не молчаливостью проведует, а "живой источник жизни"»¹².

Идеология и психология умозрительного, отстраненно-философского «примирения» стали для Белинского этого периода основополагающими и во многом корректировали как оценку художественных явлений, так и его бытовое поведение. Журнал стал зеркалом этих воззрений. Большую часть объема всех выпусков «Московского наблюдателя», вышедших под его редакцией, представляли развернутые библиографические обзоры. Это имело и положительные, и отрицательные последствия: с одной стороны, серьезная критика была необходима читателю, она воспитывала его эстетический вкус, с другой – содержание журнала стало несколько однообразным. Строгость отбора литературного материала, целиком продиктованного вкусом одного Белинского, приводила к тому, что из номера в номер печатались

произведения одних и тех же авторов. Из журнала была «изгнана» беллетристика, путевые очерки, «светские повести» (за «светскость» Беленский особенно критиковал журнал Шенюрева), то есть почти все, что привлекало внимание широкого круга читателей. Аналитические материалы отличались серьезностью, отстраненной философской направленностью, одним словом, журнал рассчитывал не просто на подготовленного, мыслящего, а на застарелого потенциального адресата, если подрагивать под этим попятнем всесторонне образованного, философски подкованного читателя. Неудивительно, что журнал получил самые благожелательные отклики интеллектуальной элиты – литераторов, нарождавшейся интеллигенции, но не имел успеха у широкой публики, читатель не был готов к восприятию такой концепции издания. Анализируя причины успеха журнала, А.Н. Пыпин отмечал: «Наблюдатель» не был достаточно занимателен для большинства публики, тогда особенно привыкшей к разнообразию и увеселятельному тону “Библиотеки”. Беленский сам думал, что его журнал должен назначаться для “аристократии читающей публики”; она оказалась слишком малочисленна... Беленский и его друзья хотели говорить только о том, что им нравилось и казалось важным: философия искусства, Шекспир, Гёте, Гофман почти исчерпывали их литературные интересы. В журнале почти не было русских повестей, – кроме Кудряшова»¹².

Беленский был убежден в своей правоте, уверен, что он задал правильное направление журналу, но оно-то и оказалось слишком узким, специфичным, непримлемым для публики. Эта явная неудача была для Беленского неожиданной и болезненной. Вскоре он разочаровался, оступил к своему детищу, затем вовсе оставил журнал. Уход Беленского был продиктован рядом, в том числе и материальных, причин, но не последнюю роль сыграло и то, что он понял, что ему не удалось решить главную задачу, которую он ставил перед собой – задачу интеллектуального просвещения, высшего нравственного воспитания читателей.

Хронологически деятельность Белинского в «Московском наблюдателе» в качестве редактора пришлась на тот период его духовной биографии, когда он утвердился в вере. Это и предопределяло то, что все художественные явления он рассматривал сквозь призму своих религиозных воззрений, в главной задаче литературы считал утверждение в душах людей идей православия. Критик не принимал те произведения, в которых он слышал бунт против существующей действительности, этим объясняется его резкая критика романтического направления, самого мироощущения романтиков. Белинский этого периода старается видеть во всем, что его окружает, воплощение гармонии мира, созданного Богом. Он готов примириться со всеми противоречиями, диссонансами действительности, поскольку они не мешают ему восторженно, с глубокой любовью и признательностью воспринимать жизнь. Библиографические обзоры, рецензии этого периода отличаются терпимостью, доброжелательностью, лишь иногда в них «слышен» ироничный голос прежнего Белинского. Суждения и оценки этого периода поражают мягкостью и терпимостью к оппонентам. Это была принципиальная позиция Белинского¹⁴, правда, ему не всегда удавалось до конца оставаться верным ей, иногда взрывной, импульсивный характер критика брал свое, и от смирения и кротости не оставалось и следа¹⁵.

* * *

Представляет большой интерес рецензия Белинского на книгу «Письма о богослужении восточной католической церкви». О значительности ее говорит и С.А. Венгеров: «Эта недоданная за 1838 год книжка (книжка журнала. – Г.Р.) чрезвычайно запоздала. В издании Солдатенкова не вошла, довольно-таки странно, что статья, столь интересная для характеристики Белинского в эпоху преклонения его перед действительностью, была причислена Кетчером к "незначительным". Единение с автором разбираемой книги принадлежит к числу очень ярких эпизодов "примирительного"

периода Белинского. Паломник и автор целого ряда книг духовного и церковно-исторического содержания А.Н. Муравьев (1806–1874) был человек и писатель не просто религиозный, это был тип клерикала, поражающий своей нетерпимостью и приверженностью к букве многих духовных заповедей¹⁶.

Белинский убежден, что подобная книга совершенно необходима читателю, поскольку трудов, посвященных этой теме, мало – «пространное, но устарелое по языку» «Изъяснение на Литургию» Димитревского и сочинение протоиерея Мансиетона. Он отмечает в этой связи: «Недостаток книги, в которой бы во всей полноте и ясности изложены были богослужебные обряды греко-русской церкви, давно был ощущаемым в нашей духовной литературе»¹⁷. Белинский утверждает, что «предмет имеет всеобщую занимательность», «перо автора красноречиво и увлекательно», что и предопределяло факт выхода второго издания книги.

Критику понравилась форма, которую избрал автор для своего сочинения: «Автор излагает предмет свой в виде писем к другу. Нельзя было избрать формы удачнее и завлекательнее этой: при всей простоте своей, она имеет ту неоспоримую выгоду в отношении к большинству читателей, что не навязывает им мыслей автора, как коммодное наиздание; но незаметно располагает их внимание его наставлениями, как дружеской беседе близкого и вполне расположенного к ним человека»¹⁸.

Белинский принимает каждое религиозное действие, оно вызывает отклик в его душе: «Первый предмет "Писем о Богослужении" составляет литургию, как одно из важнейших действий, совершаемых нашей церковью. Это целая религиозная поэма, в которой в кратких, но сильных очерках сообщены все важнейшие события земной жизни Иисуса Христа. Каждое песнопение имеет здесь свое важное значение, в каждом отдельном действии скрыт особый многозначительный смысл... Одна Херувимская песнь – творение императора Иустина – заключает в себе такую высокую и удивительную картину, что невольно восторгает ум над всеми ежедневными

помыслами»¹⁸. Критик принимает все постулаты автора, выписывает большие фрагменты из книги, высказывая свое полное согласие с ними. Говоря о богослужениях, совершаемых в дни Великого поста, Белинский выражает свое отношение к духовной литературе в целом: «Духовная поэзия, так часто оглашающая слух наш, по странному противоречию, до сих пор остается у нас почти в совершенном забвении. Между тем, это неоспоримо предмет высокой важности и стоит не мнимого только внимания. Нет нужды напоминать о Псалтыре – этом многострунном орудии молитвы, настроенном пророком на все разнообразные тоны человеческого сердца... То религиозно-сомерцательные, то чисто повествовательные, торжественные, радостные, иногда скорбные и сетующие, но всегда посвященные памяти событий, воспоминаемых церковью, – эти прекрасные песнопения служат ей самыми верными органами для выражения ее чувствований. Как дышащие истинным вдохновением, они возмывают душу и настраивают ее к принятию самых возвышенных впечатлений»¹⁹.

Из множества молитв, помещенных в книге, Белинский целиком приводит ту, которая «поется над мертвым», называя ее исключительно трогательной. Комментарий Белинского лаконичен: «Какая простота и вместе выразительность в этом надгробном песнопении!» Если резюмировать общее впечатление критика от книги – это полное, можно даже сказать, абсолютное принятие, и он не скупится на оценки: «Перед нами разоблачаются все таинственные, но многознаменательные обряды нашей церкви, и вы видите, какой глубокий смысл заключают все ее, по-видимому, незначительные действия. Автор почти всегда равен самому себе, потому что всегда одушевлен одним и тем же чувством благоговения к священным уставам церкви и любовью к ее попечительным внушениям; впрочем, некоторые страницы отличаются особенным одушевлением, силой и выразительностью. ...Вообще книга г. Муравьева представляет собой очень полезное и назидательное чтение для всех сословий»²⁰.

Особого внимания заслуживает рецензия Беллинского на книгу «Сердце человеческое есть наш храм Божий, наш жилище сатавы». Первые же строки статьи свидетельствуют о том, насколько близко и глубоко было воспринято Беллинским христианское учение, как тесно переплетаются в сознании критика религиозные и философские воззрения. Главная идея статьи сводится к тому, что человек не может обрести счастья, если у него нет прочной нравственной опоры – веры. Дисгармоничность, жестокость жизни непреодолимы, но в силах человека взглянуть на них другими глазами, глазами, одухотворенными любовью: «Основание христианского учения есть любовь, или то живое трепетное проникновение в вечные истины бытия, как явления духа Божия, которое наполняет душу человека непрерывным, бесконечным блаженством. Но до такого духовного погружения в таинственную сущность источника и виновника бытия – Бога, до такого живого и трепетного проникновения в вечные истины бытия невозможно дойти чрез посредство слабого, ограниченного и конечного рассудка человеческого, который, куда ни оглянется – везде видит одни противоречия и – бессильный примирить их – или отрицается познать истину, или принимает за истину свои призрачные, ложные заключения. Нет, не рассудком, холодным и ограниченным, дается познание евангельской истины, выше которой нет истины в мире, но благодатию, которою вдохновляет Дух Божий свое слабое создание, чтобы приблизить его к своей вечной жизни и сделать его органом и типиком своей славы...»²⁷

В этом вдохновенном лирическом монологе сложно взаимодействуют философские термины, которыми постоянно оперирует Беллинский, – «конечный рассудок», «противоречие», «призрачные, ложные заключения», «примирение» – и лексика глубоко уверовавшего человека: «дух Божий», «бесконечное блаженство», «вечная жизнь». Эти высказывания свидетельствуют о том, что учение Гегеля было воспринято Беллинским творчески, постулаты немецкого философа были им во многом

переосмыслены. Это отмечает М.М. Григорьян: «Очень важно отметить, что Абсолютный дух Гегеля Белинский истолковывал по-своему. Дух для него – не только абсолютное и бесконечное рациональное начало. Дух есть одновременно, согласно ему, и абсолютная любовь, и абсолютное добро. "...В общей жизни духа нет зла, но все добро... Я понял, что всякая ненависть, хотя бы то и ко злу, есть жизнь отрицательная, а все отрицательное есть призрак, небытие..." [ПСС, XI, 187]... Интерпретация духа Белинским оказалась суженной, поскольку он подчеркивал главным образом моральную сторону духа наряду с его разумной стороной, понимал его прежде всего как принцип добра и любви»²³. Исследователь отмечает, что новые философские воззрения давали критику отказ от любой борьбы, он призывал к нравственному совершенствованию человека, считая его единственно возможным основанием грядущей гармонии и благополучия: «Такое понимание духа имело для Белинского не чисто теоретическое значение. Он делал из него практические выводы. Если духу чужд момент отрицания, то отсюда, согласно Белинскому, вытекает недопустимость отрицательной деятельности, в частности борьбы в области политики»²⁴.

Белинский призывает отказаться от притязаний гордого рассудка, личных интересов, отречься, вплоть до полного уничтожения самого себя, своей личности во имя веры. Он провозглашает: «Только тот воскреснет в Боге, кто умер в нем... А благодать дается только тому, кто, смилив порывы буйного рассудка и с корнем вырвав из сердца своего семя гордости и самообольщения, был себя в грудь и повторял с мытарем: "Грешен, Господи, отпусти мне грехи мои!" Да, только тот прозреет и просветлеет и возблагодарит в трезвом сознании истину всех истин, кто, распростертый перед крестом, в таинственный час полуночи, молясь, плача и рыдая, вызвал к невидимому свидетелю наших тайных помышлений: "Верую, Господи, помоги моему неверию!"... И тогда кончится брань духа с плотью, кончится борьба истины со страстями, просветлеет

страдальческое лицо избранника кротким светом тихой и безмятежной радости...»²⁵.

Эти строки поражают заключенной в них силой убеждения, страстностью верующего человека, читатель поневоле разделяет почти экстазическое состояние автора, вознившего молитву. Трудно поверить, что все эти вдохновенные слова принадлежат перу «вещного» крестника, настолько гармонично и светло мировосприятие «примиренного» Белинского. Почти вся статья – восторженный гимн вере. В ней также видно стремление утвердить ее и в сердце читателя – вера должна умиротворить, успокоить, защитить от ужаса небытия: «И укрепит Бог слабое творение свое и не будет в нем больше страха: любовь победит и изгонит страх... И кончатся его ежедневные заботы и опасения за свой грядущий день, за свое настоящее и будущее счастье, за свои личные и конечные интересы: пусть будет мрачно небо над его головою, пусть бушуют ветры и раздаются громы – они не заглушат для него голоса Бога и не прервут его собеседования с Ним в молитве... Не устраснит его и мысль о смерти: не отвратительный скелет уничтожения, а светлого ангела успокоения увидит он в ней...»²⁶ Статья воспринимается как своеобразное стихотворение в прозе, пронизанное любовью к Богу, убежденностью в высшей гармонии всего сущего: «В колыбелях и могилах будут видаться ему волны великого океана бытия: волна гонит волну, волна сменяет волну – волны проходят и исчезают, а океан все так же глубок и таинственен, и так же живет и движется в своем бездонном необъятном ложе, – а в его кристалле все так же торжественно отражается лучезарное солнце, и все так же колышется и трепещет вечное небо, усыпанное мириадами звезд, – а те звезды своим таинственным блеском как будто говорят о новых мирах, где также проходит и преобит волны бытия, может быть, уже прошедшие здесь...»²⁷

Понятие безгранично внутреннее пространство и время этого «стихотворения». Величественные и сыкие образы «океана бытия», «приходящих и исчезающих волн, рисуют картину вечной, постоянно изменяющейся

и обнимающей жизни. Белинский убедительно доказывает, что истинно верующий человек счастлив, ибо он свободен от гнетущих его страхов: «Да, истинный христианин есть тот, для кого на земле нет уже страдания, нет греха, нет страха, нет смерти; он еще здесь, на земле, живет уже в небе, потому что в его духе живет любовь и блаженство, – ибо душа его есть хранилище Бога»²⁰.

Критик убежден, что мир непознаваем, его «устройство», сложные причинно-следственные связи не могут быть раскрыты людьми. Гордый рассудок, «конечный разум» не могут приблизить человека к постижению божественной истины, только вера в момент озарения может приблизить его к ней: «Истинно верующий есть в то же время и знающий... Но – повторю – это знание не принадлежит человеку, не есть плод его человеческой мудрости, но дается, испускается ему свыше, как откровение, как благодать, как любовь. От него зависит только неослабное стремление к этому знанию, а это стремление выражается в жертвах, в борьбе, в труде, в мольбах, в отречении от себя для Бога, от благ земных для небесных...»²¹

Трудно не согласиться с мнением С.А. Венгерова, который пишет в связи с этой статьей следующее: «Одно из важнейших проявлений религиозности первого периода. По высокому строю общего тона местами напоминает вдохновенную реакцию на книгу Дроздова»²². Как и там, статья то и дело превращается в духовный канон, в восторженное песнопение. Но статья о Дроздове все-таки гораздо выше в том отношении, что там Белинский отдавался только одному восторженному порыву своему, между тем как здесь высокое настроение нарушается полемическим. В выходных против «бурного рассудка» восторженная вера переходит в журнальный спор²³.

Переход Белинского к тону наставника, после столь вдохновенно-возвышенного выступления, действительно выглядит несколько резким. Критик ставит перед современной литературой задачу духовного воспитания личности: «Распространение евангельских истин есть

святая обязанность всякого христианина, возлагаемая на него убеждением в них и любовью к истине; но не всякий должен принимать ее на себя, потому что для этого требуется духовное посвящение, которое состоит в глубоком проникновении в евангельские истины путем любви, откровения и благодати и еще в способности передать свои мысли с жаром, убеждением и силой. Кто возьмется за эту высокую миссию без этого внутреннего посвящения, тот высокие религиозные истины обратит в сухое правоучение – плод человеческой мудрости, конечного человеческого рассудка»¹².

В финале статьи Беллинский говорит несколько слов о самой книге, давшей такой могучий импульс к откровенному и вдохновенному разговору о вере, ее силе и необходимости для каждого. Рецензируемая книга ни в коей мере не отвечает тем высоким требованиям, которые предъявляет критик к сочинениям подобного рода. Книга первоначально была написана на французском языке, с которого переведена на немецкий, а уже с немецкого на русский, что дало Беллинскому повод к следующему комментарию: «В ней (книге. – Г.Р.) предлагается сухое изложение христианских истин, рассудочно, а не сердцем понятых; для лучшего же уразумения приложено несколько рисунков, а на тех рисунках сердца человеческие, наполненные дьяволами и грехами, в виде козлов, змей и других животных. Не понимаем, к чему все это. Евангелие просто, доступно для всякого излагает свои святыя и высокие истины: к чему же эти мистические и аллегорические рисунки... Только любовь рождает любовь, и только любовь говорит сердцу языком живым и понятным. Хитросплетенная затемняют истину, сбивая с толку бедный рассудок и охлаждая сердце. Нет, не таким образом проповедовала всегда и проповедует теперь истины Евангелия наша Православная Церковь. Эта же книжка явно написана на французском языке...»¹³ Можно с уверенностью утверждать, что все эстетические выяснения, которые стали предметом анализа в статьях этого периода, Беллинский рассматривал и оценивал как глубоко религиозный че-

ловек, поскольку отныне и навсегда для него истинная духовность неразрывно связана с православием.

Белинский впоследствии отрекся от своих «примитивных» взглядов, считая их заблуждением. В горячем, эмоциональном, откровенном письме к В.П. Боткину, осуждая свои недавние воззрения, он писал о том, что в прошедшем его «мучит две мысли: первая, что ему «представлялась случай к наслаждению, и он упускал их», вторая – «примирение с действительностью». Об этом сказано буквально следующее: «А это насильственное примирение с гнусною расейскою действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чиновщины, крестовщины, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности, – где все человеческое, сколь-нибудь умное, благородное, талантливое, осуждено на угнетение, страдание...»²⁴. Необходимо отметить, что, с болью и гневом характеризуя «гнусную расейскую действительность», он, среди прочих негативных значений, отмечает «безрелигиозность», «разврат», «отсутствие всяких духовных интересов». Эти слова свидетельствуют о том, что, даже отрекшись от идей «примирения», он не отказывается от мыслей о необходимости нравственно совершенствовать русского человека, опираясь при этом на христианскую религию.

2011

²⁴ Белинский В.Г. О критике и литературных цензуре "Московского Наблюдателя" // Таласский. 1836. XXXI. № 5–8. С. 120–154, 217–287.

²⁵ Анализируя некоторые из исследований: Пыляк А.И. Белинский, его жизнь и творчество. СПб., 1876; Сильченко А.М. Сорос лет русской критики // Сочинения А.С.Хлебникова: Критическое издание, публикация, комментарии, литературные характеристики В 2 т. СПб., 1900. Т. 1; Нечкина В.С. В.Г.Белинский. Жизнь и творчество 1836–1841. М., 1961; Пыляк А.И. Миллионный аристократ [журнал «Московский наблюдатель» 1838–1839 годов как литературное явление и исторический источник] // Мирополитический молодой Белинский. М., 1968.

⁵ Дымак А.М. Беллинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876. С. 208.

⁶ Нечкина В.С. В.Г. Беллинский. Жизнь и творчество 1836–1841. М., 1961. С. 118.

⁷ Тихонова Е.Ю. «Маленький артистический журнал» («Московский наблюдатель» 1838–1839 годов как культурное явление и исторический источник).

⁸ Тихонова Е.Ю. Разреша ли действительность? (о духовных исканиях Беллинского в 1837 году) // Тихонова Е.Ю. Указ. соч. С. 78.

⁹ Плеханов Г.В. Беллинский и разумная действительность (1897) // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5 т. Т. IV. М., 1958. С. 439–440.

¹⁰ Венгеров С.А. Бакутинско-германовский период жизни Беллинского // Полное собрание сочинений В.Г. Беллинского: в 12 т. / Под ред. и примеч. С.А. Венгерова. Т. IV. СПб., 1901. С. 547–572.

¹¹ Там же. С. 555–559, 562.

¹² Бокунян М.А. Предисловие к «Германическим романам» Гоголя // Московский наблюдатель. 1838. Ч. XVI. С. 8.

¹³ Там же. С. 20.

¹⁴ Венгеров С.А. Бакутинско-германовский период жизни Беллинского. С. 562–563.

¹⁵ Дымак А.М. Беллинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876. С. 232.

¹⁶ В первом номере журнала, вышедшем под его редакцией, в разделе «Аннотированная хроника» Беллинский провозгласил свое кредо: «Нам часто случалось еще слышать и читать, что проблема требует от журнала не одной критики и библиографии, но и полемических браний и споров; но мы никогда этому не верили, сколько по уважению к публике, которую мы всегда отдавали от толпы, столько и потому, что мы никогда не хотели рассчитывать своих успехов на счет своих ублюдков, и потому удовольствия слышать с добросовестным укором» («Московский наблюдатель». 1838. Ч. XVI. С. 146).

¹⁷ Такая двойственность, по мнению Д.С. Мережковского, неизбежно была ему свойственна. Он пишет об этом: «Полуроманизм, раздвоенное сознание – от раздвоенности чувства и воли, бессознательных. Как бы два Беллинских: один «Никифора, монах», от чрева матерного, тот, который говорит: «я человек не от мира сего» – Виссарион Симонитский; и «Белбоксик», матовик, человек, одаренный отцом «движимостью», тот, который говорит «я в мире божь», – Виссарион Нестеровый. Один – в романе, другой – в революции. ... От романа к революции – такая путь Беллинского, первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции» (Мережковский Д.С. Замет Беллинского. Романность и общечеловечность русской интеллигенции. Публичная лекция. Пг., 1916. С. 29).

¹⁸ Венгеров С.А. Предисловие к IV тому // Полное собрание сочинений В.Г. Беллинского: В XII т. Т. IV. СПб., 1901. С. 523.

¹⁹ Московский наблюдатель. 1838. Ч. XVIII. С. 207.

²⁰ Там же. С. 308.

²¹ Там же. С. 309.

²² Там же. С. 311–312.

²³ Там же. С. 314–315.

²⁴ Московский наблюдатель. 1839. Ч. II. С. 80.

²¹ Грудзин М.М. В.Г.Белинский и проблема действительности в философии Гегеля // Гегель и философия в России в 30-е годы XIX – 20-е годы XX века. М., 1974. С. 70.

²² Там же.

²³ Московский наблюдатель. 1839. Ч. II. С. 80–81.

²⁴ Там же. С. 82.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же. С. 82–83.

²⁸ Известно в виду статьи В.Г. Белинского «Опыт системы нравственной философии. Сочинения магистра Адамана Дрездена».

²⁹ Венгеров С.А. Примечания к IV тому Уака. соч. С. 319.

³⁰ Московский наблюдатель. 1839. Ч. II. С. 83.

³¹ Там же. С. 84–85.

³² Белинский В.Г. Письма В.П. Боткину от 10–11 декабря 1840, Петербург. // Собрание сочинений: В 12 т. Т. IX. Письма. 1829–1848. М., 1963. С. 420–421.

В.И. СТРЕЛЬЦОВ

В.Г. Белинский – теоретик литературы

На протяжении XIX–XX веков имя В.Г. Белинского (1811–1848) было своеобразным барометром самосознания российского общества: интерес к его литературно-критическому наследию то возрастал, то падал соответственно колебаниям этого самосознания. Отмечая, что российскими учёными в изучение Белинского внесено много нового, обратим внимание на проблему, недостаточно разработанную в современном литературоведении и, в частности, в отечественном белинсковедении. Речь идёт о значении работ Белинского для развития компаративистики, то есть сравнительного метода изучения литератур разных стран. Его труды в определённой мере предвосхитили исследования западноевропейских и отечественных компаративистов.

Белинскому всегда было свойственно стремление к универсализации, то есть объединению русского и зарубежного материала под единым углом зрения. При этом категория национального своеобразия является для критика ведущей. Подтверждение этой проблемы поможет восстановить историческую справедливость относительно роли русской критики в развитии сравнительно-типологических связей национальных литератур, укрепит престиж Белинского как предшественника компаративистского движения в русской и европейской литературал. С этих научных позиций можно утверждать, что жизнь и творчество Белинского исследованы в русской и западноевропейской науке и критике достаточно полно, но не исчерпывающе. Есть лишь несколько работ, в которых косвенно обращалось внимание на решение этой проблемы¹.

Между тем, историзм самого Белинского представлялся в его критическом наследии как та «генеральная линия» русской науки о литературе, которая потом своеобразно отразится в культурно-историческом направлении Пыпина и Буславца, сравнительно-исторической методологии Александро и Алевксия Веселовских и, наконец, в работах русских и европейских компаративистов последующих поколений.

При решении проблемы сравнительно-типологических связей национальных литератур мы исходим из современного понимания термина «типологический» как относящегося к типу каких-либо предметов, явлений, основанного на установлении общности или различий каких-либо предметов, явлений, а термина «типология» – как научного метода, последующего взаимоотношения между различными типами предметов или явлений. Здесь же можно объяснить по поводу терминологических понятий «сравнение», «компаративистика» и «компаративизм». «Сравнение» как основная категория компаративизма было на вооружении исследователей с древних времён. Сравнение, по логике Белинского, означает выявление смысла и выразительности художественного текста через сопоставление и постижение сходств и различий между двумя похожими, или родственными, или типологически близкими текстами. В то же время сравнение – это выявление своеобразия художественного произведения или национальной литературы путём их сопоставления с типологически близким или похожим произведением или другой национальной литературой. Методология компаративизма в связи с этим основывается на способности литературоведения сопоставлять разные произведения или различные литературы. Задача сравнений, в понимании Белинского, состоит в том, чтобы установить шкалу художественного совершенства – показать, в какой мере произведения различных национальных литератур приближаются к высшему общечеловеческому идеалу. Сравнительно-типологический метод исследования русской и европейских литератур, рассматриваемый

нами в критике Белинского, позволяла ему проводить конкретно-исторический и эстетический анализ прозы, поэзии и драматургии российских и западноевропейских художников слова.

Мы пришли к выводу, что, если И.Г. Гердер (1744–1803) в Германии был родоначальником сравнительно-типологического анализа поэтических произведений («Гласы народов»), то Белинский в России одним из первых последовал ему в анализе проблемы сравнительно-типологических связей национальных литератур, став предшественником русских компаративистов второй половины XIX века². Именно Гердер является автором терминов «компаративизм» (от лат. *Comparare* – сравнивать) и «компаративистика» (от лат. *Comparativus* – сравнительный).

Обычно, кроме того, повышенный и целенаправленный интерес к межфольклорным и междокультурным отношениям после Гердера связывают с именами братьев Гримм, Бенфеи, Александра Веселовского и Алексея Веселовского, Тэйлора, Буслаяна, Надеждина, Пыпина, братьев Полевых. В связи с этим можно заметить, что произведение «Пангеатантра», являющееся «манифестом европейского компаративизма», появилось в печати в 1859 году, а Александр Веселовский свой исторический метод исследования литературных произведений назвал «сравнительным» лишь в 1871 году.

Актуально по этому поводу суждение Ю. Лотмана: «...существуют два типа учёных: те, кто ставят проблемы, и те, кто разрешает... найти правильный вопрос бывает труднее и ответственнее, чем дать на него правильный ответ»³. Вопрос, поставленный в нашем исследовании и требующий научного разрешения, касается восстановления исторической справедливости в определении роли Белинского в развитии сравнительно-типологических связей национальных литератур. Анализ логики суждений литературного критика по множеству комплексных вопросов этой проблемы приводит к выводу о его предшественствующей роли в развитии исторического компаративизма. Как следствие

положительного разрешения этой проблемы будет и второй вопрос, касающийся передвижения начала оформления русской компаративистики со второй половины XIX века на первую половину, а конкретнее, на 1830-е годы, когда появились первый цикл научных статей Белинского («Литературные мечтания», 1834), открывший начало литературной компаративистики в России.

Действительно, ещё в 1834 году, обосновывая свой сравнительно-типологический принцип изучения национальных литератур, Белинский писал: «Если два писателя пишут в одном роде и имеют между собою какое-нибудь сходство, то их не иначе можно оценить в отношении друг к другу, как выставив параллельные места: это самый лучший пробный камень»⁴. В своих статьях он постоянно обращал внимание на соотношения русской литературы с немецкой, английской и французской и указывал на англо-немецкие, англо-французские и франко-немецкие сравнительно-типологические связи.

В немецкой и русской литературах он видит магистральные линии, нашедшие своё отражение в творчестве Шамлера и Жуковского, Гофмана и Гоголя, Гёте и Пушкина, Гёте и Лермонтова, Одоевского и Гофмана, Тика и Достоевского, Достоевского и Гофмана.

В англо-русских литературных отношениях Белинским прослеживаются типологические связи между Пушкиным и Шекспиром, Достоевским и Диккенсом, Кошкиным и Байроном, а также между романами Вальтера Скотта и русскими историческими романами 30-х годов XIX века, романтической поэзией Байрона и Пушкина, Байрона и Лермонтова, творчеством Гоголя и Диккенса.

Во французской и русской литературах немало творческих типологических соотношений между Жорж Санд и Маринески, Поль де Коком и Гоголем, а также Беранже и Кошкиным, Аюфонтеном и Крыловым, Мольером и Гоголем, Мольером и Грибодовым, Жорж Санд и Зенекдой Р.-ной, Бальзаком и Гоголем.

В англо-немецких творческих взаимоотношениях Белинский определял следующие взаимосвязи: Байрон – Гейне, Гёте – Вальтер Скотт, Гёте – Фенимор Купер, Шамлер – Байрон, Шамлер – Шекспир, Гофман – Шекспир, Гофман – Вальтер Скотт, Гофман – Фенимор Купер.

В англо-французских творческих взаимосвязях Белинским определены следующие сравнительно-типологические параллели: Шекспир – Беранже, Шекспир – французская «женственная школа», В. Скотт – Ж. Санд, В. Скотт – Поль де Кок, Диккенс – Эжен Сю, Диккенс – Поль де Кок, Байрон – французская «женственная школа», Марриет – Поль де Кок, Ф. Купер – Ж. Санд.

И наконец, в немецко-французских типологических связях критик отмечает творческие параллели следующих «пар»: Шамлер – Беранже, Шамлер – Ж. Санд, Гёте – Руссо, Гёте – Шатобриан, Гофман – Бальзак, Жан Поль Рихтер – Ж. Санд, Жан Поль Рихтер – В. Гюго.

Кроме того, Белинский рассматривал связи не только между отдельными русскими и западноевропейскими писателями, но между целыми школами, представляющими творчество той или иной национальной литературы (Германия и Англия, Германия и Франция, Англия и Франция). Этим определяется правомерность и необходимость анализа сравнительно-типологических связей национальных литератур и их художественных методов «в греческом духе», «в духе средних веков», в духе «так называемого романтизма», «новейшей идеальной», «реальной» и «идеальной» поэзии (терминология Белинского).

Все эти вопросы не получили должного раскрытия в литературоведении, что и определяет целостную установку нашего исследования, повину его тематики. Наши работы по творчеству Белинского стоят в ряду первых попыток целостного рассмотренного суждений Белинского о сравнительно-типологических связях и взаимодействии национальных литератур как системы взглядов, имевшей свою внутреннюю логику и законченность, корректируемую, в свою очередь, логикой борьбы талантливой критики за образцовое искусство, за реализм и самобытность русской литературы.

В ходе решения проблемы «В.Г. Белинский о типологических связях русской и европейских литератур в контексте исторической компаративистики» мы выявили роль и значение западноевропейской философии и эстетики (Гердер, Гегель, Кант, Фихте, Шеллинг, Шлегель, Шлегель, Сент-Бёв, Кант, Тэн), а также отечественных исследователей (Надеждин, Якимов, Шенырём, Полевой, Комаров, Гершен, Никитенко и др.) в развитии сравнительно-типологических связей национальных литератур. Кроме того, в контексте исторической компаративистики, рассмотрены научные взгляды Буславина, Чернышевского, Боборыкина, Пыпина, Дашкевича, братьев Веселовских, являющихся ближайшими последователями Белинского в процессе формирования теории типологических связей русской и европейских литератур. И наконец, проведён анализ литературно-критического творчества советских исследователей (Жирмунский, Алексеев, Конрад, Неупокоева и др.), а также европейских компаративистов (А. Дюма, Д. Дюррен, Паул Ван Тигем и др.).

Итак, анализ русской и западноевропейской литературы подчинён Белинским борьбе за реализм. В ходе этой борьбы критик выдвинул критерии, способствующие созданию единой теории литературы, включающей как романтический, так и реалистический способы изображения жизни. Основными признаками этой концепции являются эстетические категории.

В основу эстетики Белинского заложена теория о мирозерцании русского и европейских народов. Германия и Франция представляют собою, по логике Белинского, «два противоположных полюса... первая – вся мысль, вся идея, вся созерцающая, вторая – вся дело, вся жизнь... англичане представляют собою как бы примирение Германии с Францией. ... Характер германского мышления и поэзии – превыспренность и идеальность. Остроумие есть оружие французов, юмор лежит в основании британского мирозерцания» (IV, 419–421).

Истоки русского мирозерцания, по логике критика, следует искать в поэзии, в народных песнях и бы-

линах, в которых отразилась духовная сила, удаливость и размах русской души. Пройдя сложную эволюцию своего развития от Ломоносова до Пушкина, мирозерцание русского народа полное своё выражение нашло в баснях Крылова, поэзии Кольцова и творчестве Пушкина. Мирозерцание Пушкина трепещет, по мысли Белинского, в каждом стихе, – в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания, облик нравственных идей у него бесконечно, да не всякому всё это даётся и трудно открывается, потому что в мир пушкинской лирики нельзя, по логике Белинского, входить с готовыми идеями, как в мир рефлексированной поэзии.

К основополагающим категориям в теории Белинского следует отнести такое понятие, как «народность», присущую, по его мнению, литературе, отражающей жизнь того или иного государства. Вступая в полемику с защитниками только «своей» народности и независимости «своего» национального искусства, Белинский доказывал, что бедна та народность, которая беспокоится за «свою» самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью. Некоторые отечественные патриоты, по мнению критика, не видят, в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно «боясь» за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют её. Белинский имеет в виду не возможность поступиться народностью в ущерб самобытности русской культуры, но, наоборот, проявление активности в процессе взаимодействия нравов, культуры и жизни европейских народов для обоюдной их пользы.

При определении сути и границ народности, присущей национальным литературам, Белинский предостерегает от ошибочного мнения о том, что народность является принадлежностью только «низшим» слоям общества, и что истинная национальность скрывается только якобы под занавесом, в курной избе, и что разбитый на кулачный бой нос пьяного лакея есть поистине шекспировская черта, – а главное, что между людьми

образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность. В связи с этим утверждением Белинскому импонировали суждения Гоголя о том, что «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа, – поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, всегда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» (VII, 439).

Наряду с истинной народностью, присущей романтизму и реализму, Белинским отмечена и псевдонардность. Эта псевдонардность включала в себя утробование простонародности, увлечение натуралистическим копированием, что свойственно было, например, французским литераторам «натуральной школы», а в русской литературе таким белетристам, как В.А. Ушаков, Н.Ф. Павлов, М.Н. Погодин, в произведениях которых народность выглядела весьма примитивной и тривиальной.

С концепцией мировой литературы как единства и многообразия у Белинского связано неприятие идеи любой национальной исключительности и национальной изолированности: «Теперь только слабые ограниченные умы могут думать, что успехи человечности вредны успехам национальности и что нужны китайские стены для охранения национальности» (VII, 45). В самом первом цикле статей («Литературные мечтания», 1834) Белинский заявил: «У нас нет литературы», – вкладывая в эти слова тот смысл, что русская литература, к сожалению, не стала ещё подлинным выражением духа народа, вполне самостоятельной формой выражения народного сознания. По существу, здесь речь идёт о литературе как общественной силе, которой, по мнению Белинского, Россия пока не обладает. В этом контексте мысль Белинского о том, что «у нас нет литературы», была во многом оптимистической, – ибо, хотя литературы как результата художественно-

го творчества ещё нет, но есть литературный процесс, движение к самобытной, национально неповторимой литературе.

Признавая позднее, в цикле пушкинских статей (1843), что «существование русской литературы есть факт, не подверженный никакому сомнению» (V, 648), масштабы её всемирно-исторического значения он определяет с позиции её самобытности и взаимодействия с другими литературами. Литература русская не успела ещё, по логике критика, установиться и определиться, – вырасти до значимых масштабов, чтобы воплотить в себе произошедшие исторические сдвиги, и вследствие этого не может пока «pretendовать на должное умственное всемирно-историческое значение в современном человечестве» (V, 649). Насколько не принижая уровень значения русского искусства, перспективы его развития Белинский усматривал в будущем России. Каким будет будущее и в чём конкретно оно будет состоять, Белинский тогда предугадать затруднялся, но веру свою прозрачно выразил в следующем признании: «Что Россия готовится великое будущее, что русское племя носит в себе плодотворное зерно субстанциональной жизни, которое некогда должно развиться в величественное, широколиственное дерево, – такое предположение и теперь не чуждо достоверности; но в чём будет состоять это великое будущее, какое мироозерцание разовьётся из субстанции русского народа, даже в чём именно состоит субстанция его духовной природы, – этого теперь определить нельзя, а фантазировать об этом и бесплодно и бесполезно» (V, 649).

Восхищаясь первыми успехами русской поэзии, Белинский вынужден был заметить, что «из этого ещё не следует, чтоб мы имели право равнять нежные, светолюбивые стебли нашей юной литературы с величественными и колоссальными деревьями европейских литератур» (VII, 48). Осознавая свою правоту, Белинский критически воспринимает желание некоторых русских патриотов посчитать во что бы то ни стало «детство»

нашей литературы за преждевременную её зрелость, – в то время как русский народ (по сравнению с тогдашними цивилизованными нациями) на данном этапе своего эстетического развития был похож, по мысли Белинского, на гениального ребёнка, не знающего ещё, по какой дороге ему надо идти. И потому нам следует, считает критик, «пока отказаться от всяких претензий сравнивать и равнять русскую литературу с французскою, немецкою и английскою, – хотя в то же время нельзя сказать, чтобы мы вовсе лишены права сравнивать (и даже иногда ставить выше) иные отдельные произведения других литератур; но в отношении чисто художественном, а не философски-историческом» (V, 649). Когда для России придёт время «производить» поэтов всемирного значения, – этих поэтов, предупреждает Белинский, будут называть их собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственным, будет в то же время и нарицательным. Белинский считал, что великий русский поэт может соперничать с великими западноевропейскими поэтами в большей степени в форме, но, к сожалению, не в содержании своей поэзии. Содержание даёт поэту жизнь его народа, – следовательно, достоинство, глубина, объём и значение этого содержания зависят прямо и непосредственно не только от самого поэта и его таланта, но и от исторического значения жизни его народа.

В теории литературы Белинский ни в коей мере не принижает роли народной поэзии. Поэзия народа, по его мнению, есть зеркало, в котором отражается жизнь со всеми её характерными оттенками и родовыми приметами. Так как поэзия есть не что иное, как мышление в образах, то поэзия народа есть ещё и его сознание. На какой бы степени образования ни стоял человек, он уже чувствует или бессознательно мыслит, – на какой бы степени цивилизации ни стоял бы народ, он, по мнению Белинского, уже имеет свою поэзию. Песня, например, составляет его лирическую поэзию, сказка – эпическую. Драматическая поэзия может находиться в том или другом как элемент, но обычно

ненно бывает плодом дальнейшего развития искусства народов. У каждого народа поэзия носит отпечаток его духа. Песня француза, по мнению критика, часто неблагоприятна, но всегда весела; песня немца патриархальна или мрачна; песня русского, замечает Белинский, заунывна, тосклива и могуча. Содержание песни есть, по мнению критика, субъективное, личное чувство, ощущение, навеянное минутою или обстоятельствами. К определению самобытности Белинский подходит с патристических позиций российского демократа: «Мы не должны и не можем быть ни англичанами, ни французами, ни немцами, потому что мы должны быть русскими; но мы возьмём, как свой, всё, что составляет исключительную сторону жизни каждого европейского народа, и возьмём её – не как исключительную сторону, а как элемент для пополнения нашей жизни...»

Акцентируя внимание на содержании литературного произведения, В.Г. Белинский считал идею определяющим критерием творческого метода писателя. В середине 1840-х годов он выдвинул учение о гуманной, демократической мысли как основе русского и западноевропейского искусства, всматривая в современное искусство сознательную позицию автора. Критик развивает положение о том, что было бы неправильным сводить произведение искусства только к какой-либо одной или нескольким общеполитическим идеям, утверждаемым в содержании произведения. «Содержание», по его мнению, «не во внешней форме, не в сцеплении случайностей, а в замысле художника, в тех образах, в тех тенях и переменах красок, которые представлялись ему ещё прежде, нежели он взялся за перо, словом, – в творческой концепции» (IV, 219). Событие, по мысли критика, развёртывается, как растение из зерна, – и этого нельзя сделать, сперва придумав какое-то отвлечённое содержание, а потом уже придумывая лица героев, заставляя их исполнять разные роли. Образцом идеи, органично связанной с содержанием произведения, Белинский считал роман Лермонтова «Герой

нашего времени», объясняя, что «герой нашего времени – вот основная мысль романа» (IV, 262). Но в ином произведении, по логике критика, трудно сформулировать идею. Примером тому являются не только «Фауст» Гёте, «Гамлет» Шекспира, но и «Евгений Онегин» Пушкина, да и «Ревизор» Гоголя. Белинский, обладающий незаурядным эстетическим вкусом, зачастую безошибочно мог оценить весомость идейного содержания действительно художественного произведения, в отличие его от подделок под произведение искусства.

Художественный принцип правды изображения жизни Белинский тесно увязывает с поддержкой «натуральной школы» (эти слова, презрительно брошенные Булгаариным в адрес учеников Гоголя, критик подхватил и сделал не юмористической кличкой, а литературоведческим термином). В начале одного из двух последних своих годовых обзоров («Взгляд на русскую литературу 1846 года») Белинский написал: «Если бы нас спросили, в чём состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью». Во второй статье, приступая к анализу произведений Герцена, Гончарова, Тургенева, Дамы, Григоровича и других писателей, которых критик считал наиболее типичными представителями «натуральной школы», он так определял первое требование этой школы: «...возможно близкое сходство изображаемых ею лиц с их образами в действительности». Это и есть утверждение и защита Белинским реалистического метода в русской литературе.

В теории литературы Белинского одно из первых мест отведено положению о том, что «история» искусству не чужда. Призывая историю «серьезным и величайшим знанием нашего времени» (IX, 284), Белинский убежден, что она дала новое направление искусству. И видимо, не могло и быть иначе, – ибо, по мысли критика, если «поэзия, прежде всего, есть жизнь, а потом уже искусство, в чём, если не в истории жизнь проявляется с такою полнотою, глубокою и разнообра-

нием...» (VII, 52). Белинский и другие русские критики (Надсуднин) ближе были к романтической, чем к реалистической концепции историзма. Известно, что именно романтизм обратил специальное внимание на разработку исторической темы. В каждой национальной литературе это осуществлялось по-разному. Но была для всех общей проблема типизации исторических героев. Намечалось несколько решений, но возобладал принцип «поэтической верности», вследствие чего нарисованные романтические образы далеко не всегда совпадали с исторической действительностью. Но зато нагляднее проступала сама идея произведения. В связи с этим можно говорить об условном характере историзма как в творчестве Шиллера, так и в поэзии Жуковского. При раскрытии исторической темы Белинский требовал соблюдения главного правила в переводе художественного произведения – «передать дух» переводимого оригинала. Именно так, по мнению Белинского, переводил Жуковский, оригинальный поэт и талантливый переводчик.

В оценке критерия историзма, применительно к произведению русской и западноевропейской литературы, критик был особенно внимателен, когда речь шла о верности изображения жизни народа и важных исторических событий, доносящей силой которых был народ. В статье о трагедии Пушкина «Борис Годунов», давая восторженную оценку Пимену, Белинский критически замечает, что «Пимен уж слишком идеализирован в его первом монологе, и потому, чем более поэтического и высокого в его словах, тем более грешит автор против истины и правды действительности: ни русскому, но и никакому европейскому отшельнику-мстопыску того времени не могли войти в голову подобные мысли» (VII, 527). Но тем не менее критик приходит к выводу о правоте автора, – ибо, по логике Белинского, хотя в данной конкретной сцене и изображена ложь, зато она такая, «которая стоит истины... в этой лжи относительно времени, места и нравов есть истина человеческого сердца, человеческой природы» (VII, 528). И в

связи с этим всё произведение в целом и особенно заключительный финал рассматриваемого монолога Белинский считает глубоко верным исторической истине. И всё-таки можно склониться к умозаключению о том, что в теории Белинского, характеризующего суть историзма, художественная правда превалирует над правдой исторической. Это особенно ощутимо при анализе его суждений об исторических произведениях Шамара, Гёте и русских романтиков.

В суждениях об историческом жанре критик ставит вопрос о праве художника на вымысел, – имеет ли писатель право на вымысел, а если имеет, то в какой степени. Решая эту проблему, Белинский приходит к выводу, что право на вымысел определяется здравым смыслом при достижении поставленной цели. Та выдумка, которая противоречит исторической правде, неприемлема с исторической и художественной точки зрения. И отсюда следует, что художник имеет право на фантазию (на художественный вымысел), – если его фантазия не искажает истину человеческой жизни. Критик выдвигает тезис о том, что при воссоздании исторической действительности долг романиста – заглянуть в частную, домашнюю жизнь народа, показать, как в эту эпоху он думал и чувствовал, и плакал, и ел, и спал. То есть критик считает воссоздаваемые картины прошлой жизни в какой-то степени отражением современной действительности.

Для полноты отражения исторической жизни народа и отдельной исторической личности лучше всего подходит, по логике Белинского, форма не эпической поэмы, а исторического романа. В эпоху Белинского русская литература располагала уже некоторыми произведениями на историческую тему, среди которых – «Арап Петра Великого», «Капитанская дочка», «Борис Годунов» Пушкина, «Тарас Бульба» Гоголя. Кроме этих шедевров, Белинский рассматривает исторические романы Лажечникова, Загоскина и Кукшынника, отмечая порой в них наличие моралистического схематизма, повторение схем Вальтера Скотта с традиционным положитель-

ным героем и официально-менторскую точку зрения в оценке исторических событий и лиц. Вера в успех исторических произведений, рождённых на почве национальных исторических событий, критик подсказывал: «Русская жизнь до Петра Великого имела свои формы, – поймите их ... какие эпохи, какие люди! Да их стало бы несколько Шекспирам и Вальтерам Скоттам!» (VII, 601) Отстаивая право исторического романа на жизнь, Белинский старается научно аргументировать свою точку зрения. Исторический роман, в его представлении, есть точка, в которой история, как наука, сливается с искусством, являясь дополнением истории, её составной стороной. Когда мы читаем исторический роман Вальтера Скотта, то как бы сами становимся современниками эпохи, гражданами стран, в которых происходят описываемые события, получая о них, в форме живого созерцания, иной раз лучшее понятие, чем могла бы дать о них какая угодно история. Таким образом, Белинский одним из первых в русской и мировой критике обосновал художественную целесообразность обращения к прошлому как способу освещения актуальных проблем современности.

Для разъяснения сущности жанра «романа» в русской и западноевропейской литературе критик создаёт концепцию «идеальной» и «реальной» поэзии. Поэзия, по мысли Белинского, в основном двумя способами охватывает и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздаёт жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношения к миру, к веку и народу, в котором он живёт, или воспроизводит её во всей её наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам её действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два «отдела» – на «идеальную» и «реальную». Характер реальной поэзии состоит, по мысли критика, в верности действительности, – она не пересоздаёт жизнь, но воспроизводит, воссоздаёт её и, как выпуклое стекло, отражает в себе под одною точкою

зрения разнообразное её явления, выбирая из них те, которые нужны для составления полной, отчётливой и единой картины. В концепции реальной поэзии отчётливый характер произведений состоит, по мысли критика, в беспощадной откровенности, жизнь в них является как бы на показ, во всей наготы, во всё её ужасающем безобразии, – как будто её вскрывают анатомическим ножом. В то же время можно заметить, что сам Белинский никогда не употреблял термина «реализм», пользуясь выражениями: «действительный», «реальный» и т.п. Но художественный метод современных писателей (Пушкина, Гоголя и др.) Белинский рассматривал именно как реалистический, т.е. отражающий жизнь действительную.

Рассматривая «интернациональную» сущность романа, Белинский констатирует, что содержание литературного романа – это художественный анализ современного общества, раскрытие тех невидимых основ его, которые от него же самого скрыты привычкою и, может быть, бессознательностью. Задача современного романа, отмечает критик, – воспроизведение действительности во всей её нагой истине. И потому очень естественно, в связи с этим, что роман завладевает всеобщим вниманием, – в нём общество видит своё зеркало и, через него, знакомится с самим собою, может быть, совершая великий акт самосознания.

Обратим внимание на логику суждений Белинского о рефлексии. XIX век критик назвал «веком рефлексии» – философствующего духа, размышления, «загафой и онегой» которого является вопрос. Рефлексия своеобразно отразилась в творчестве русских и западноевропейских художников. Рефлексию Белинский считал одним из признаков романтического искусства. Апофеозом рефлексии стала, по его мнению, трагедия Гёте «Фауст». В английской литературе рефлексирующей он считал поэзию Байрона, в русской – лермонтовскую («Душа», «Герой нашего времени»). Шекспировский «Гамлет» и «Дон Кихот» Сервантеса, безусловно, являются образцами рефлексирующей литературы. Как общественная

«болезни» рефлексия проявилась в апатическом восприятии окружающей жизни, в которой невозможно позавтоваться её благам.

В теории литературы Белинским уделено много внимания разъяснению эстетической категории «лиризм». Лирика, в его представлении, – это особый род поэзии, в котором преобладает лиризм переживаний и чувств субъекта. В связи с этим Белинский обосновал новый жанр «эпической заегии», к которому он относит, например, такие произведения, как: «Умирающий Тасс» Батюшкова, его же «На развалинах замка в Швейции», «Водопад» Державина, «Андре Шенье» Пушкина и др. В произведениях подобного жанра, по мысли Белинского, «...поэт вводит... событие под формою воспомина-ния, проникнутого грустью». К «эпической заегии», по логике критика, принадлежат дума, баллада и романс, которые, собирая в себя эпические элементы, остаются всё же жанрами лирическими, – ибо в них «главное не событие, а ощущение, которое оно возбуждает, дума, на которую оно наводит читателя». Достоинство гоголевских произведений, по мнению критика, именно в лиризме.

В теории Белинского две философские тенденции («субъективная» и «объективная») сливаются в органическом синтезе, и поэтому «отсутствие в поэте внутреннего (субъективного) элемента есть недостаток» (IV, 520). Но горе и тому, по мысли Белинского, кто, соблазненный обаянием внутреннего мира души, закроет глаза на внешний мир и уйдёт вглубь себя, чтоб пытаться блаженством страдания поддерживать пламя, которое может сжечь не только душу, но существо в целом. Отрицая, таким образом, крайнюю степень субъективной формы восприятия жизни, критик предупреждает и о том, что не следует впасть и в другую крайность, – ибо горе и тому, кто, увлечённый одною внешностью, делается и сам внешним человеком. Суть ошибки в том, по мысли критика, что оба эти мира, внутренний и внешний, – крайности; равно опасно предаваться одной из них исключительно. Но оба эти

мира равно нуждаются один и другом, и в возможном проникновении одного другим заключается совершенство человека.

Рассматривая понятие «трагическое», критик обращается к драматургии Пушкина и Шекспира, утверждая, что трагическая вина Бориса Годунова в пушкинской трагедии («Борис Годунов») напоминает вину шекспировского Макбета («Макбет»). Чтобы добиться власти, Годунов не останавливался перед нарушением нравственного закона – перед убийством царевича, стоявшего на его пути к трону. Но такой подход к изображению характера русского царя критик считал мнелодраматическим и в историческом, и в поэтическом плане. Разгадать историческую судьбу Годунова можно, по логике Белинского, обратившись к социально-историческим, а не к морально-психологическим причинам. В история, а не во внутренней жизни царя видит критик источник его трагизма, отягощенный реальностью того, что царь «хотел играть роль гения, не будучи гением». Суждения о нравственной и исторической вине трагического героя, утверждаемые критиком при анализе «Бориса Годунова», соотносимы с мнением Белинского о судьбе трагических героев «исторических хроник» Шекспира.

В теории Белинского следует выделить суждения о своеобразии комического и трагического элементов и тесной их взаимосвязи в произведениях искусства. Собственное понятие о юморе Белинский утверждает в статье о повестях Гоголя, который воспроизводил жизнь, произнося над нею беспощадный приговор. Соприкасаясь друг с другом в искусстве и в жизни, комическое и трагическое вызывают, по мнению критика, не только «легкий и радостный», но «болезненный и горький смех». Примером тому, по мысли Белинского, является комедия Гоголя «Ревизор», в которой писатель соединил принципы комедийной характеристики и сюжетостроения с широкой, почти универсальной установкой на охват критического материала. В пьесе вызван к жизни образ города, имитирующего жиз-

недостоинство любого крупного социального объединения (ипсоте до государства – Российской империи или даже, может быть, всего человечества) – и потому потенциально обладавшего неограниченной критической силой.

Средством, щедро питающим юмор, является, по мысли критика, ирония, в произведениях искусства по-своему отражающая действительность. В концепции Белинского понятие «ирония» чаще связано с реалистическим характером искусства. «Это и понятно, – объясняет критик, – поэзия есть воспроизведение действительности, верное зеркало жизни, – а где больше иронии, как не в самой действительности?» (VII, 601) В связи с этим он замечает, что лица Гоголя «потому именно смешны, что слишком действительны» (II, 359). По мнению критика, кроме комического таланта, Гоголь обладает и трагическим талантом. Это лучше всего доказывает его «Тарас Бульба», повесть, исполненная трагической силой, трагического величия, блистающая картинами великих характеров и великих страстей. Да и лицо художника Пискарева в повести «Невский проспект» тоже, по мнению Белинского, вовсе не комическое. Присутствие трагического элемента сильно чувствуется и в комической на первый взгляд повести «Шинель» – в лице и судьбе смешного и жалкого Акакия Акакиевича. В «Старосветских помещиках» добродушный веселый смех читателя разрешается, по мысли критика, в грустное, раздражающее чувство. Белинский готов проследить этот трагический элемент в большей части «комических» сочинений Гоголя, доказывая, что умение писателя так тесно сплести трагический элемент с комическим – это самая резкая и яркая особенность его таланта, великое его достоинство.

Можно выделять суждения Белинского о сатирическом изображении в произведениях искусства. Очертания социальной сатиры могут «маскироваться», «прятаться» за «безобразное», казалось бы, «смешное». В произведениях литературы Белинский находит много

примеров разоблачающего смысла, поражающего противника острым сарказмом. Следует заметить, что в суждениях о сатирическом изображении жизни ощущалась эволюция развития самого критика – от полного неприятия им сатиры до восторженного восприятия её как законного рода литературы.

Обратимся к «демонической» теме, столь популярной в литературе XIX века. «Демонизм» критик считал одним из признаков романтической поэзии. Он живо откликнулся на разработку этой темы в западноевропейской (Гёте – «Фауст», Байрон – «Манфред», «Кани») и русской (Пушкин – «Мой демон», Лермонтов – «Демон») литературах. Критик восхищён талантом Гёте, сумевшим в поэтической форме передать неукротимое стремление человеческого разума к познанию.

Важным критерием художественности в теории Белинского является «естественность» изображаемого факта. Естественность, по логике критика, означает отсутствие в художественном произведении искусственных «пужан» и «подставок» со стороны автора при описании им независимой жизни своих героев. Творения истинного художника должны быть объективными, а это достигается, по мысли Белинского, естественностью рассказа или действия. Такую естественность критик находит в произведениях русской и западноевропейской литературы. При этом Белинский говорит не только о борьбе, но и о примирении двух крайностей изображения жизни – «искусственности» и «естественности», – ибо, взаимно проникая одна в другую, они образуют собою объективную истину. Между тем как «излишняя естественность», по логике Белинского, не есть «слишком большая естественность». Можно, например, естественно, «натурально изобразить пытку, казнь, несчастную смерть человека, упавшего в нетрезвом виде в помойную яму, – но все эти изображения, считает критик, будут возмутительны для души, нездоровы и бессмысленны, ибо в них не будет никакой разумной мысли, никакой разумной цели» [IV, 492]. Воплощение подобных картин Белинский отвер-

гаа. Но когда живописец «представляет нам естественно истязание человека за истину и в лице его выразит победу душевной твёрдости над физическим страданием, – то чем больше будет в картине естественности, тем картина будет изящнее и художественнее, ибо в ней будет видна разумная цель и разумная мысль» (IV, 492–493).

В теории Белинского важны, кроме того, положения о «разумности» и «необходимости» в творчестве художника и о художественном произведении как «замкнутом» в самом себе. В статье «Стихотворения Владимира Гюгачкова» Белинский утверждает, что признак разумности всякого явления есть необходимость, тогда как, наоборот, – признак бессмысленности всякого явления есть случайность. И закон этот, по логике критика, убеждённое всего сказывается в произведениях искусства. При чтении, к примеру, романов Вальтера Скотта читатель хорошо знает, что содержание их – это вымысел, что ничего этого не было, но, между тем, прочтя роман, он несколько продолжит его в своей фантазии. Это происходит оттого, что в романе этом всё необходимо, – то есть события все вытекают из индивидуальностей действующих лиц и характеров, из взаимных их положений и взаимосвязей, – оттого, что автор не положила тут ни одной случайной черты, ни одного произвольного штриха.

Утверждая «тенденцию художника», называя её «авторской позицией» или «авторской точкой зрения», подтверждение своей теории Белинский находит в анализе произведений русских и европейских писателей. Принципиальную «тенденцию», например, он обнаруживает в комедии Грибоедова «Горе от ума», где, по его мнению, есть «железный гумор, это грозное негодование, которое не улыбается шутливо, а зовет востро, преследует ничтожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмом» (I, 81). В подобных произведениях искусство, по мысли критика, вершит суд над жизнью. Тенденцию писателей и поэтов к осуждению современной им действительности обнаруживает Белинский в поэзии Бай-

рона и Лермонтова, Шиллера и Гёте, Беранже и Жорж Санд, Диккенса, Гоголя и В.Ф. Одоевского.

В теории Белинского важное место отведено понятию эстетических понятий «содержание», «художественность», «сюжет». Так, анализируя поэму Лермонтова «Демон» и восторгаясь её содержанием, критик в письме к В.П. Вязнину признаётся, что до сих пор явно преувеличивал значение художественности в ущерб содержанию художественного произведения (XII, 85). Рассматривая эту проблему, критик замечает, что содержание нередко понимают только внешним образом – как сюжет сочинения, не подозревая, что содержание есть душа, жизнь и «сюжет этого сюжета». И потому, если дело идёт, например, о романе или повести, то смотрит только на полноту происшествий, на сложность завязки и искусство развязки. С этой точки зрения «Звезда де Вальеро» Кукольника, конечно, будет романом «с содержанием», потому что и в самый день не перескажешь всех приключений этого романа, – а «Старосветские помещики» Гоголя (где нет происшествий, эффектных завязок и развязок) окажутся повестью без всякого содержания. Образцом высокой художественности выступает, в представлении критика, поэзия Пушкина, в которой Белинский отмечает соразмерность, стройность, полноту, естественность творческой концепции, лежащей в основе поэтического искусства. У Пушкина никогда не бывает ничего лишнего, недостающего, – всё в меру, всё на своём месте, финал гармонирует с началом, – и в этом критик видит преимущество Пушкина-художника перед другими русскими и западноевропейскими мастерами искусства.

Ратуя за народность русской литературы, Белинский подразделяет все произведения на истинно художественные и мнимо художественные. В истинно художественных произведениях критерием оценки, по мнению Белинского, была истина, естественность, верность действительности, а мнимо художественным произведением прусуши сенсационная новизна, громкость

успеха, отсутствие общемировых и общечеловеческих проблем и, наоборот, наличие частных и случайных вопросов, а затем как следствие: преждевременная старость и бессмысленное исчезновение в бездонной пропасти времени. Достоинством истинно художественного произведения Белинский считал простоту, признающую делать произведение изящным и красивым, которая в мнимо художественных созданиях подменялась обычно эффектной изысканностью и надуманной запутанностью сюжета. Простота способствовала правде отражения жизни, тогда как изысканность уводила автора в обратном направлении. Эта истина была неоспоримой при анализе, например, критиком романтических и реалистических произведений Гоголя и мнимо художественной поэзии Бенедиктова, лишённой простоты и достоверности воспеваемых фактов.

О соотношении понятий «талант» и «гений» Белинский размышляет в одной из первых своих рецензий («Ночь на Рождество Христово»). Что такое подражание, по мнению критика? Гений создаёт оригинально, самобытно, то есть воспроизводит явления жизни в образах новых, никому не доступных и никем не подозреваемых. Талант читает его произведения, проникается ими, живёт в них. Эти образы, по мысли Белинского, преследуют его, не дают ему покоя, и вот писатель или поэт берётся за перо, и его творение более или менее делается отголоском творения гения, носит на себе живые следы его влияния, хотя и не лишено собственных красот. Но в сем случае, считает критик, талант не хотел и не думал подражать: он только запялтил небольшую долю удивления и восторга гению, он только был увлечён тяготением снами.

В теории Белинского утверждается мысль, что важным признаком истинного творчества является простота вымысла, объективность описываемых автором событий. Этот признак присущ в большей степени реальной поэзии. Отличительной чертой характера творчества Гоголя Белинский считает как раз простоту вымысла и происходящие от неё совершенную исти-

ну жизни, народность, оригинальность и «комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния...» (I, 289). Считая простоту вымысла одним из верных признаков истинной поэзии и зрелого таланта, критик наличие этого критерия видит в драмах Шекспира. Обращаясь к лермонтовской поэзии, он писал: «И какая удивительная простота в стихах! Простота, по мысли критика, «есть красота истины, – и художественные произведения слабы ею, тогда как мнимо-художественные – часто гибнут от неё и потому по необходимости прибегают к изысканности, запутанности и необыкновенности». То есть изысканность является антиподом простоты и всегда может служить верным признаком слабости или отсутствия настоящей поэзии.

Белинский считал, что «типизм» есть один из основных законов творчества, без которого не может быть творчества вообще. Учение Белинского о художественной типизации имело большое значение для развития литературы. Критик в решении этой проблемы пошёл дальше современных ему литературных критиков (Никитенко, Шевырёва, Вульфсона). Требование верного изображения действительности посредством типизации жизненных явлений характерно для Белинского. Это положение он развивает в статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» и «Горе от ума». В разработке этой идеи он опирается также и на анализ других классических произведений русской и западноевропейской литературы. Сущность типизма, применительно к литературе, означает, по мысли Белинского, процесс, когда в частном и конечном явлении выражается общее и бесконечное. Но при этом не следует «копировать» действительность, изображая какие-нибудь случайные явления, – надо создавать типические образы, обязательные своим типизмом общей идее, в них выражающейся. В этом состоит, по Белинскому, типизм изображения, когда поэт берёт самые резкие, самые характерные черты персонажей, опускает все случайные, не способствующие выделению их инди-

индивидуальности, выбирая их не «по сортировке», но по сути, родственной отдельными своими качествами жизненному множеству. Тип (первообраз) в искусстве, по логике Белинского, есть то же, что «род» и «вид» в природе, что «герой» в истории. Типическое лицо есть представитель целого рода лиц, есть нарицательное имя многих предметов, выражаемое, однако же, собственным именем. Так, например, Отелло есть собственное имя, принадлежащее только одному человеку, изображённому Шекспиром, но в жизни мы часто видим людей, в припадке ревности напоминающих нам шекспировского Отелло. В этом смысле многие герои поэмы, драмы и повестей Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других, по мнению критика, – типы, ибо истинно талантливые поэты включают в свои произведения только те черты из жизни героя, только те факты из события, избранного для воссоздания картины, которые имеют прямое отношение к идее его создания.

Воссоздание типических героев и типичных обстоятельств во многом зависит от художественного мастерства писателя, заключающегося, по логике Белинского, в способности художника одною чертою, одним словом живо и полно представить то, что без неё никогда не выразить и в десяти томах. От этой причины и происходит чрезвычайная плодovitость и многословие беллетристических произведений, не отмеченных печатью истинной художественности. Истинный мастер, по мнению критика, не нуждается в многословии, – ему достаточно одной черты, одного веского слова, чтобы выразить главную мысль, на одно изъяснение которой иногда нужен целый том.

В теории Белинского есть положение об «автобиографии» и «односторонности» творчества некоторых писателей. Сила автобиографической проекции в «Герое нашего времени» Лермонтова была столь велика, что Белинский долгое время был убеждён в несмысленности того мнения, что «Записки» Печорина являются автобиографией автора, заглавы: «Печорин – это он сам, как

есть» (XI, 509). И даже после появления лермонтовского предисловия к этому роману Белинский продолжал утверждать, что «хотя автор и выдаёт себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи – удивительное сходство» (IV, 262). По мнению критика, образ Печорина наделён авторской субъективностью. Но, придя к выводу, что было бы неправильно «выставлять роман Лермонтова автобиографией», Белинский подчёркивает, что «субъективное изображение лица не есть автобиография» (IV, 267). В доказательство этого он приводит тот факт, что «Шнеллер не был разбойником, хотя и Карл Мосер и выражал свой идеал человека» (IV, 267).

В истории литературы Белинский замечал важную особенность, не получившую, к сожалению, должного пояснения в литературоведении. Речь идёт о так называемой «односторонности» романтического искусства. Под романтической односторонностью, в частности, Жуковского, он понимал воспроизведение реальности через субъективное, личное восприятие художника. В первой же эссе Жуковского («Сельское кладбище») был дан психологический портрет автора, что уже намечало в дальнейшем развитие односторонности романтизма.

В теории Белинского особое внимание обращено на решение социальных проблем в жизни общества. Если в «Речи о критике» (1842) на первое место он выдвигал эстетический анализ произведений искусства, заявляя, что «определение степени эстетического достоинства произведения должно быть первым делом критики» (VI, 284), то в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (1848) на первый план выходят социальные проблемы. В наше время, считает критик, искусство и литература «больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общие, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени» (X, 306). В письме к Гоголю (1847) он говорит о властях предрекающих, о самодержавии, помещиках, чи-

повинная, духовенство. В результате возникает страшная картина страны, где торгуют людьми, где... «нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей» (X, 213). В этот период Белинский подчеркивал важную роль писателя в обществе не только в эстетическом, но и в социальном отношении.

Не соглашаясь с мнением поклонников «чистого искусства», считавшими, что «падение» искусства и литературы происходит якобы вследствие обращения художников к вопросам общественной жизни, Белинский доказывал, что снижение художественного достоинства произведений искусства происходит зачастую из-за недостатка таланта, вскрывающего пороки общества. Такой писатель, наряду с верным изображением картин современного общества, создаёт порой необычные характеры, проявляя страсть к мелодраме, эффектам, преувеличениям, словом, ко всему ложному, неестественному и ненатуральному. Таковы, по мнению критика, романы Эжена Сю.

Следует заметить, что философские системы западноевропейских учёных, к которым поочерёдно обращался Белинский, были для него лишь формой, с помощью которой критик пытался придать стройность и законченность своим собственным изыскам. После охлаждения к идеям Гегеля и увлечения идеями утопического социализма он высказывал оригинальные мысли относительно исторической роли капитализма, играющего, по его мнению, как отрицательную, так и положительную роль в истории человечества и через этапное развитие которого должна будет пройти и Россия. Правда, критик неоднократно говорил о негативном влиянии рынка на литературную продукцию. Вот одно из характерных высказываний на эту тему: «Всему глау корень – деньги. Еженю Сю платят огромные суммы и, естественно, требуют, чтобы он работал за тронх. ... Итак, здоровье, талант, литературная репутация, – всё принесено в жертву деньгам» (X, 115).

В теории литературы особого внимания заслуживают выводы Белинского по проблеме «чистого искусства». Отрицая необходимость «чистого» искусства, критик объясняет, что настоящее искусство должно отражать прежде всего самую действительность. Мысль о каком-то «чистом, отрешённом искусстве», живущем в своей собственной среде, не имеющем ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлечённая, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Отрешённость искусства от жизни, по логике Белинского, несёт с собою гибель искусства. Говоря о бессмысленности существования «чистого» искусства, Белинский на примерах развития русской и западноевропейской литературы доказывает правоту своей концепции, убеждая читателей, что искусство не может быть бесстрастным, как не могут быть бесстрастными и сами художники. Поэтому, в частности, нигде и никогда не существовало космополитического искусства.

По логике Белинского, критерии красоты многоаспектны. Красота может быть присуща художественному произведению даже при отсутствии красоты в образах её главных или второстепенных героев. Красота может быть, например, в предчувствии будущего человеческого идеала, которое передаётся через отрицательные образы – порой с большей силой, чем через положительные. Так Белинский утверждает взаимодействие и даже нераздельность красоты и истины мыслей. Но в искусство, по мысли Белинского, на правах истины, входит порой и «безобразное». В определённых социально-исторических условиях безобразное является фактом действительности в произведении искусства. То есть критик утверждал тем самым, что «жизнь есть самая действительность, потому-то она должна быть неуловима и беспощадна, где дело идёт о том, что есть ная что бывает...» (IV, 533). Художественная правда, в понимании Белинского, есть изображение непрекращающейся борьбы между красотой и безобразным – между добром и злом.

Обратим внимание на тезис Белинского об «идеальном содержании» художественных произведений. «Идеальное содержание», по мысли критика, представляет собой творчески обогащённую действительность, создаваемую под воздействием нравственных и социальных противоречий. Произведение с идеальным содержанием должно вобрать в свою структуру многие эстетические категории, рассматриваемые в теории Белинского (народность, художественность, объективность, идейность, естественность, простота, социальность и т.д.), обнаруживающие художественный синтез, без которого произведение искусства не может быть идеальным, безукоризненным, – в полном смысле этого слова.

В теории Белинского есть положение о разделении литературы на два вида: «белострелки» и подлинно художественную литературу. Белострелка, в представлении Белинского, является чем-то низким по сравнению с истинным искусством, но всё-таки представляющим эстетическую ценность, ибо белострелка – это всё же удел таланта, а высшее искусство – достоинство гения. В связи с этим интересны суждения критика о подражании и заимствовании в сфере искусства. Придавать заимствованию или даже подражанию, как способу освоения чужого, то фатальное значение ослабления или якобы исчезновения национального своеобразия – значит, по мысли Белинского, не верить в свой народ и принимать момент развития за его результат. Заимствование, по Белинскому, есть испытание сил народа, его способности ассимилировать, поднимать и использовать всё полезное для его собственного самоутверждения. Не отрицая возможности заимствования некоторых элементов у лучших образцов искусства, Белинский всё-таки утверждал, что «чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни отсутствия своего собственного, национального содержания» (X, 9).

Критика занимает важное место в творчестве Белинского. Вообще литературную критику следовало бы,

по логике Белинского, назвать движущейся теорией литературы как искусства или движущейся художественной теорией. Белинский призывает назначение критики подтверждать истину теории практически. В Германии, замечает Белинский, критика идеальна, умозрительна. Во Франции она положительная, историческая. В России она должна, по мысли Белинского, сочетать преимущество той и другой, то есть быть «высшей, трансцендентальной», но «многочетивоею, говорливоею, повторяющею саму себя», потому что её целью должен быть не столько успех науки, сколько успех образованности. Наша критика должна быть губернёр-ом общества и на простом языке говорить высокие истины. В своих началах она должна быть немецкою, в своём способе изложения французскою. Немецкая теория и французский способ изложения – вот единственный способ сделать её глубокою и общедоступною², считает Белинский.

В литературно-критической практике Белинского можно установить определённый перечень жанров литературной критики, распространённых в России с первой четверти XIX века. Так, например, Белинский широко использует жанр критической статьи, литературного портрета-характеристики, литературного обозрения, статьи-монографии, цикла статей в одной статье. Ярким примером подобного цикла является «Литературные мечтания» (1834), представляющие собой десять статей в одном литературно-критическом цикле. Другим, более значительным примером может служить цикл, состоящий из одиннадцати статей, под общим названием «Сочинения Александра Пушкина» (1843–1846). Результаты анализа жанровых форм, используемых Белинским при характеристике литературы, наводит на мысль о том, что наследие Белинского настолько велико и значительно, что даже колоссальный объём научной литературы не привёл к исчерпанности изучения его творчества.

Деятельность Белинского развёртывалась в то время, когда на Западе и в России формировалось понятие

«мировой литературы». И Белинский, чутко улавливая особенности национального пути отечественной литературы, постоянно соотносил её достижения с мировым художественным опытом. Для него было аксиомой, что русская литература развивается в рамках общеевропейского литературного процесса. Поэтому суждения критика о писателях Западной Европы и США не сводятся к простой оценке их вклада в мировую культуру, но продиктованы его раздумьями о судьбах русской литературы и путях её дальнейшего развития в контексте мировой литературы.

Белинский одним из первых применил в литературной критике сравнительный метод изучения творчества русских и европейских писателей. Он был теоретиком и историком не только русской, но во многом и западно-европейской литературы. В своих литературно-критических трудах он является не только оригинальным философом, но и великим просветителем-демократом. Поиск эстетической истины, борьба за высокую художественную литературу составляют смысл и душу его литературно-критической деятельности. Белинский искренне верил, что «вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции»¹. В рецензии «Месписцлов на (высокосный) 1840 год» критик писал: «Завещуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-м году – стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науку, и искусству и принимающую благодетельную дань уважения от всего просвещённого человечества»².

2011

¹ Самарин Р.М. Зарубежная литература первой половины XIX века в оценке В.Г. Белинского. М.: Изд. АН СССР, 1958; Гудков Н.А. В.Г. Белинский и зарубежная литература его времени. Канада, 1961; Демуров В.Д. Белинский и мировой эстетизм // В мире отечественной классики. Сб. ст. Вып. 2. М., 1987. С. 175–202; В.Г. Белинский и литература Запада / АН СССР, Институт мировой литературы им. А.М. Горького / Отв. ред. С.В. Тураев. М.: Наука, 1990.

¹ Смирнов В.М. В.Г.Болдинский о сравнительно-типологических связях русской и европейской литератур: Монография. Пенза: Издательство Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г.Болдинского, 2011.

² Ахлюев Р.М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство, 2002. С. 5.

³ Болдинский В.Г. Литературные заметки // Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд. АН СССР, 1953–1959. Т. 1. С. 84.

⁴ Болдинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 1. С. 260.

⁵ Болдинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 9. С. 53.

⁶ Там же. Т. 2. С. 315.

А.А. ДЕМЧЕНКО

***В.Г. Белинский, В.Н. Майков и
К.Д. Кавелин в 40-е годы XIX века***

Избирательность имен обусловлена их полемическим участием в обсуждении важнейших для сороковых годов проблем, связанных с трактовкой творчества Гоголя и «натуральной школы».

Тон был задан Белинским, видевшим в Гоголе родоначальника «натуральной школы» как нового отрицательного, критического направления в отечественной литературе. Рассмотрение этой концепции в условиях её обсуждения талантливым литературным критиком В.Н. Майковым и близким к литературным кругам профессором-историком К.Д. Кавелиным существенно уточняет позиции Белинского.

В.Н. Майков (1823–1847) до сих пор принадлежит к числу малоисследованных критиков. Сороковые годы, на которые пришлось его выступления, вошли в историю отечественной литературы под именем Белинского, и, выступая «под тенью» своего великого современника, Майков, подобно поэтам пушкинской поры, неизбежно получал значение лишь маргинального литератора. Его статьи долгое время оставались под обложкой прижизненных журналов, и впервые собранными в одном томе их издали в 1891 г., затем в двух томах в 1901 г. и, наконец, в 1985 г. одной небольшой книгой. Переиздание сочинений Майкова – необходимое звено в историко-критическом освоении эпохи Белинского.

Невелика и научная литература о нём. Весомое оценочное значение имеет, разумеется, высказывания Белинского. О Майкове в XIX и начале XX в. писали А.М. Скабичевский, К.К. Арсеньев, А.Н. Пыпин, Г.В. Плеханов, позднее взгляды критика специально рассматривались

Е.И. Кийко, Б.Ф. Егоровым, Ю.В. Манном, Т.И. Усакиной, О.М. Морозовой, Ю.С. Сорокиным¹. Последние десяти-пятнадцать лет отмечены исследованиями Е.В. Барнашовой, В.А. Мыслякова, В.В. Сабешкиной, А.М. Берёзкина. Однако гоголевская тема в связи с «натуральной школой» возникала в названных работах лишь попутно и до сих пор остаётся недостаточно проработанной.

Большая статей о Гоголе у Майкова не было. Краткие отклики на второе издание «Мертвых душ» (1846) и «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), статья об иллюстрациях к «Мертвым душам» художника А. Агина и гравёра Е. Вернадского, разрозненные отрывы о Гоголе в других его статьях и рецензиях – вот всё, чем располагает исследователь.

В современной истории русской литературной критики Майков традиционно представлялся активным защитником эстетических принципов «натуральной школы» в трактовке Беланского². Эта характеристика, обобщая исследовательские оценки позиции Майкова, не исключает, однако, коррективов в изучении одного из ведущих в реалистическом искусстве направления и связанного с ним творчества Гоголя.

Систематизируя свои эстетические взгляды, Майков писал в статье 1846 г. «Стихотворения Коляцова»: «Самая так называемая натуральная школа не представляет собою никакого единства эстетических принципов». В Англии и во Франции она являлась «последствие анализа, который обратил искусство в средство к решению и популяризированию общественных вопросов», и «на писателя смотрят там до сих пор исключительно со стороны его социального направления». Подобная односторонность школы, имеющая под собой некоторое основание, должна быть дополнена осознанием факта, согласно которому «художественная мысль зарождается в форме любви или негодования», и «тайна творчества состоит в способности верно изображать действительность с её симпатической стороны. Иными словами, художественное творчество есть пересоздание действительности,

совершенство не замененным её форм, а возведением их в мир человеческих интересов (в поэзию). Это «человеческие действительности» в искусстве Майков понимала в неразрывном единстве с художественностью, «художественной идеей», которая «должна иметь существенное различие от идеи дидактической» (С. 70, 100, 104, 108. Выделено Майковым³).

Ко времени его выступления значение автора «Мертвых душ» для русской литературы и общества уже было выяснено Белинским, и эти оценки в целом Майковым разделялись. Тем не менее суждения критика о писателе складывались в концепцию, не во всем совпадающую с Белинским. Так, в той же статье «Стихотворения Крыжовова» он с особой настойчивостью говорит о разнице между Гоголем и писателями «натуральной школы». Не называя имен, но имея в виду белетристов-физиологистов, Майков зачисляет этих писателей в «многочисленный отдел quasi-гоголевской школы» – «умеренные, полужизненные лагерротиписты», принципы которых разделяет большинство публики, «расположенной к Гоголю», но видящей «в нём самом изумительного кописта – и ничего более», тогда как в действительности «любовь к жизни во всей её обширности составляла основу его личности и выражалась в его поэзии» (С. 99, 116). Даже произведения одного из лучших представителей «натуральной школы» Я. Вутова лишены важнейшего качества художественных сочинений – «тем психологических»: «не заботясь о личности своих героев, он придаёт им занимательность верною картиною их внешней обстановки, что при помощи ума и наблюдательности удаётся ему исполнить». Герой «прекрасного» рассказа Я. Вутова «Партикулярная пара» Шапкин «не может не возбуждать участия как жертва самым общим человеческих зол», но «фамилия Шапкин не делается нарицательным именем» подобно гоголевским «чичиковщина, маниловщина». Кроме того, в рассказе «есть очень замечательный абрис петербургских купеческих конторщиков высшего полёта, русских и немецких: это одна из самых ловких физи-

ологий петербургского общества. «Ловких» – в значении «удачных», но только по отношению к «физиологизму», которым Майков отказывал в художественности, оставаясь в слове «ловких» и даже ирония. Достоинство рассказа Буткова, как и других его сочинений, «чисто дагерротипическое», сравнения с гоголевскими изображениями они не выдерживают (С. 258–261). Физиологизм, дагерротипизм в качестве специфических признаков прозы натуралистов не связывают с Гоголем, а отдают от него. Общее у них другое – социальность, служащая основой критического направления в литературе. Иное дело проза психологическая, на фоне которой «Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский – по преимуществу психологический», и его «меньше, чем кого-нибудь, можно назвать подражателем Гоголя» (С. 180).

Безусловным сторонником «натуральной школы», возводимой к главенству в ней Гоголя, Майков не был. Он прямо пишет, что созданная Гоголем школа «быстро водворается в нашей литературе; но деятельность её бессознательна и смутна, потому что сам Гоголь только уяснял, а не объяснял критикой». По убеждению Майкова, большинство представителей «натуральной школы», по сути составляющих «отдел quasi-натуральной школы», видит натуральность «в сладострастном созерцании и дагерротипировании яви общества», и именно в дагерротипировании усматривают «всю тайну художественности» (С. 71, 99). В стремлении сблизить Майкова с Белинским исследователи утверждают, однако, что Майков отделяет односторонних последователей Гоголя «от настоящей натуральной школы, под которой разумеется школа, теоретически обосновываемая Белинским». На наш взгляд, позиция Майкова иная: он предлагает суждения Белинского, направленные на укрепление школы активизацией в ней социальных мотивов, усилить обязательным требованием художественности, «художественной идеи». Эту теоретическую линию сочувственно отметил ещё в Некрасовских «Отечественных записках» 1871 г. А.М. Скабичевский, неизменно по-

история свои заводы в последующих переизданиях составленного им историко-литературного труда. Именно с Майковым связывал он «первые попытки пересадить эстетические понятия на реальную почву и вместе с тем согласовать утилитарный принцип искусства с эстетическими воззрениями, вывести его прямо на них»⁵. «Майков всегда подчеркивал, – отмечает Ю.В. Манн, – общественное значение разбираемых им художественных произведений. Но он никогда не отклонил в сторону эстетические критерии»⁶. Ту же мысль провёл В.А. Мясляков в своей статье о посвящённых разбору творчества Козьцова выступлениях В.Г. Белинского, В.Н. Майкова и М.Е. Салтыкова-Щедрина⁷.

Сопоставление Гоголя с «натуралистами» в кино, чем у Белинского, калоте, чётко прослеживается на материале статьи Майкова «Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя "Мертвые души"». Издание Е.Е. Бернадского и А.Г. Рисова А. Агня, гравировал на дереве Е. Бернадский. Санктпетербург, 1846», опубликованной в «Отечественных записках» за 1847 г. (№ 2) и мало привлекавшей внимание исследователей⁸.

Издание рисунков вызвало многочисленные отклики в газетах и журналах, но выступление Майкова стало самым обстоятельным и квалифицированным разбором этой, словами критика, «благородной попытки употребить труды и капитал на иллюстрацию сочинения, появление которого составило эпоху» (С. 316).

В статье можно выделить три взаимосвязанные темы. Первая содержит характеристику таланта Гоголя и его знаменитого сочинения. Вторую составляют суждения о средстве искусства, в частности живописи и литературы. Третья посвящена собственно анализу рисунков.

К 1847 г., когда прошло четыре года со времени первого издания «Мертвых душ», русская периодика уже накопила значительное число отзывов, среди которых особой глубиной и крупными обобщениями выделялась характеристика, принадлежавшая Белинскому. Не называя имени критика, Майков, по сути, повторил

ет его оценки Гоголя, предельно их суммируя. Сохранена и подтверждена главная мысль великого критика об «огромном влиянии "Мертвых душ" на современное общество» (С. 303). В развитие этого тезиса Майков проследит героев гоголевского романа на читателей «разных категорий». Одни, «растратив все силы на приведение себя в состояние благоприимчивости», пожалуй, и позавидуют предприимчивому Чичикову с его «страшной способностью наслаждаться» нам Собакевичу, который «сытно и компактно устроился в невозмутимой скорлупе своего дубового дома». Другие найдут в романе обидные и проницательные выражения, «невыносимые для их светских авторитетов». И многим неловко стало, «когда узнали они, что имена Чичикова, Манялова, Собакевича, Коробочки и всей фаланги гоголевских героев могут быть и нарицательными». «Ни один читатель по прочтении "Мертвых душ", – заключал критик, – не оставался пассивным. Каждый вынес из книги Гоголя хотя одно живое слово, которым был вправе и ограничиться, повторяя его вечно и беспокоясь этим словом, как событием, определяющим его положение на свете, его нравственную физиономию» (С. 300, 301, 303).

В этих, в целом не расходившихся с Беланским суждениях возникают – то глухо, неотчетливо, неразвёрнуто, а порою и с почти нескрываемыми намёками – заявления, которые звучат polemично по отношению к Беланскому. Как известно, критик «Современника» разговор о Гоголе и его романе настойчиво связывал с идеями «натуральной школы» нам, иными словами, с развитием отрицательного направления в литературе с его сосредоточенностью на социальных обличениях крепостнической действительности. Майков притуплял эту направленность, которую полагал односторонней в объяснении литературных явлений. Своими характеристиками он подчёркивал внимание и к общечеловеческим ценностям, сообщаям творчеству автора «Мертвых душ» стремление к всестороннему показу жизни во всех её не только отрицательных, но

и положительных произнесениях. Ход мыслей Майкова подсудно вёл к утверждению, что возмущаемые Белинским трактовки, несомненно, находили своих сторонников в обществе, но чтение Гоголя наводило их и на иные заключения. И в статье Майкова появляется образ некоего «пострадавшего» читателя. Он пишет: «Наконец, пострадали молча, кротко и сознательно люди, которые нагадывали в создании Гоголя вывод из вечно прекрасной жизни, жизни, которую нельзя же любить, в чём бы она ни проявлялась». И далее следует многозначительная, подчеркнутая критиком фраза: «Эти люди пострадали – любя». В пояснение своей позиции Майков продолжает: созданным художником лица и всё величие подвига Гоголя «в первую минуту скорбно отозвалось в сердце <...> Увидел человек своё бессилие: что с таким старанием разгадывал он целый век, то несмыслимо спланированное перо Гоголя очертило в трёх словах и тут же обогнало бедных аналитиков в банзороужности и неспособности к устойчивому, спокойному созерцанию и исследованию» (С. 302). К числу «бедных аналитиков» (имена не названы) Белинский, конечно, не причислялся, но всё же с категоричностью заявлено: «...Ещё не существует настоящего критического разбора» «Мертвых душ» (С. 303). Понятно, Майков явно пообещал такой «разбор», но спустя четыре месяца умер, оставив в статье об иллюстрациях к «Мёртвым душам» лишь штрихами обозначенные основные линии несогласия с Белинским.

Майков не оставляет полемики при переходе к дальнейшему разговору о соотношениях принципов работы живописца, художника-иллюстратора и художника слова. Характеристики этих видов творческой деятельности исполнены тонких замечаний. Выступая в статье о Гоголе как художественный критик, Валерий Майков искусно находит точки соприкосновения в оценках и как критик литературный.

Предмет его рассуждений – соотношение литературного и изобразительного творчества, пределы каждого из искусств: одни задачи могут быть решены только

поэтом, другие – только живописцем. Но в случае, «если антературное описание указывает живописцу все оттенки рисунка и красок, – это значит, что задача поэта истощена и что область поэзии дошла до пределов живописи. Живописец может смело браться за кисть и создавать картину со слов поэта». Майков приводит «пример удивительной страницы» из «Мертвых душ» с описанием заросшего сада Пяюшкина в начале VI главы романа. К такой странице, говорит Майков, явно «недостаёт картины Рюйсдаля, который один только сумел бы более обстоятельно передать всю прелесть глухой зелени, плотно опутаншей и заткавшей тропинки и просеки сада, – грациознее развесить хмелевые пирамиды, дать возможность дальше разглядеть чудную игру света на кленовом листе, резкими линиями определить перспективу тёмной чащи над затоптанной кустарников дорожкой...». Отмечая мастерство Гоголя, «исключительно живописца» в изображении аксессуаров окружающего его персонажей быта, Майков берёт в параллель «Теньера над ним» умного мастера фламандской школы, которая так глубоко понимала смысл будничной жизни². Знание творчества знаменитого голландского пейзажиста XVII в. Рюйсдаля, итальянца Теньера, мастера изображений фламандской простонародной жизни XVII в., а также предложенные самим Майковым подробности словесной картины, уловленные острым критическим глазом, – всё указывало на компетентность в суждениях, приобретённую художественным воспитанием в семье отца, известного академика живописи Н.А. Майкова.

В других случаях критик приводит описания, «исключительно доступные средствам поэзии и много теряющие в живописи». Примером послужила «Три пальмы» Лермонтова (приведён отрывок со строк: «...в дали голубой // Стоялом уж крутился песок золотой») – «картина живописца, взявшегося за изображение явлений в их исторической последовательности, в свою очередь, – по мнению Майкова, – делается программой для поэта». И тут же следует любопытное для лер-

монтоведов предположение, связанное с творчеством французского художника О. Верне, известного в XIX в. автора жанровых картин на восточные темы: «Мы почти уверены что "Три пальмы" написаны Лермонтовым под влиянием какой-нибудь картины Ораса Верне, иными словами, что Орас Верне своим картиной бессознательно напросился на стихотворение Лермонтова» (С. 304–306, 310).

Но есть в «Мертвых душах» превосходные описания, «во все недоступные живописи, темы, невыразимые ни для какой кисти». И потому художник, приступая к живописному воспроизведению подобных фрагментов, «должен очень и очень измерить свои силы и пристально изучить и прочувствовать каждую строчку великого писателя, соображаясь с средствами живописи, избрать только те сцены, в которых заметна недостаточность слова для передачи размеров и форм как самих действующих лиц, так и всех принадлежностей места действия» (С. 307).

Анализ исполненных А.А. Агивым рисунков Майков предвзряет важным замечанием, отражающим его концепцию Гоголя, полемически дополняющую построения главного теоретика «натуральной школы». Автор «Мертвых душ» «ни на одно мгновение не упускал из вида общечеловеческих условий характера каждого из своих героев, и потому все действующие лица его поэмы прежде всего являются людьми, как бы малы и ничтожны ни были они по положению своему в обществе, до какого бы нравственного унижения ни были доведены воспитанием и неизбежным течением дела. Отсюда вытекает «необходимое условие для живописца: ни под каким видом не сделать из действующих лиц поэмы немощных уродов, односторонних карикатур... Это будет вопиющая ошибка против идеи, положенной в основание каждого характера, созданного Гоголем» (С. 313). Опасность другого рода критик видит в часто повторяемых утверждениях, будто герои «Мертвых душ» писаны с нескольких удачно подобранных лиц. Напротив, они – «не дагерротипные снимки»,

они – высокохудожественные создания, «так строго, так мудро начерчены, что их можно сравнить с теми превосходными произведениями великих живописцев, у которых сквозь верхнюю краску, соответствующую подлинному цвету лица, как бы просвечивает бездна других красок, слоями проложенных прежде и сообщаящих написанному телу мягкость и прозрачность». Иллюстратор романа обязан понимать «всю важность "Мертвых душ" для русского общества», видеть в героях романа «вывод из целой категории людей», чувствовать тонкую художественность их созданий, «картинность описаний Гоголя», быть русским человеком, «видевшим Россию» (С. 313–316). Противопоставляяне гоголевской художественности «дагерротипным снимкам» содержало аллюзию на несовместимость творчества автора «Мертвых душ» с безэстетичкой «натуральной школой», сознательно направленной на создание «физиологий», «дагерротипных снимков». Потому при рассмотрении результатов иллюстратора важным критерием выставлялись близость к гоголевскому тексту (нужно, чтобы «художник понял Гоголя») и отсутствие карикатурности в изображениях (С. 326). Этим требованиям А. Агин в основном отвечал, по критическому заключению автора статьи.

Желая художнику успеха в его дальнейшем ответственном обращении к творчеству Гоголя, Майков был убежден, что «его наблюдательность и твёрдый, бойкий карандаш подарит нашу публику изданием, которое оставит по себе благодарную память в кругу людей образованных и живо принимающих к сердцу опыт молодого таланта, служащего искусству для искусства» (С. 324).

Заключительными словами об «искусстве для искусства», пронесёнными в положительном для этой формулы ключе, Майков сразу обозначил контекст восприятия своих суждений о Гоголе и о художественном воплощении в изобразительном искусстве героев «Мертвых душ». Майков, конечно, не был безусловным сторонником самой теории «искусства для искусства» в том её виде, в каком она пыталась оправдать

парекания Белинского, и он, скорее всего, говорил о служении одного вида искусства другому. Однако всё же употребляемая им формула приобретала некий, так сказать, «драгизаций» Белинского смысла и в конечном счёте содержала известное противостояние критике «Современника».

Останавливаясь в своих публикациях 1847 г. на истолковании «Мертвых душ» современниками и развивая прежние свои суждения на этот счёт, содержащиеся в его прошлогодней статье о Комакове, где проводилась мысль о необходимости преодолеть одностороннее истолкование творчества Гоголя как представителя только отрицательного направления в русской литературе, Майков также утверждал: «...Все ухваталось за отрицание», и только «на людях более или менее деланных и сколько-нибудь талантливых влияло "Мертвых душ" выразилось не только в отрицании некоторых ненормальных явлений жизни, но и в порывах к созданию чего-нибудь такого, что могло бы упрочить и обобщить в публике впечатление, произведённое "Мертвыми душами"». В пример поставлены «несколько беллетристических произведений, не лишённых направления» (они не названы, но в их число входила, судя по разным отзывам Майкова, сочинения Ф.М. Достоевского), затем «неудачная попытка поставить Чичикова на Александринском театре»¹⁰ и, наконец, стремление молодого художника А. Агина ознакомить публику посредством рисунков «с разными изменениями действительной жизни» (С. 303, 304).

Спор Майкова с великим критиком коснулся также предисловия Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ» (1846) и «Выбранных мест из переписки с друзьями». Если Белинский с иронией воспринял просьбу Гоголя «в этом фантастическом предисловии» направлять к нему замечания на недостатки поэмы («К чему весь этот фарс?», – писал он¹¹), то Майков в кратком отзыве ограничился простым цитированием заданных Белинского мест без всяких комментариев. Косвенным выражением позиции рецензента стала заключительная

слова отзыва: «...Величайшее достоинство второго издания "Мертвых душ" заключается в тождестве его текста с текстом первого издания» (С. 296) – то есть Гоголя, несмотря на некоторые настораживающие нотки предисловия, не изменил текста поэмы, и это самое важное, подтверждающее неизменность убеждений Гоголя-писателя в его стремлении к воплощению заложенной в первом томе идеи.

Тема истолкования Гоголя во всей целостности его творчества определяла главное содержание отзыва Майкова о «Выбранных местах из переписки с друзьями» (Отечественные записки. 1847. №. 2). Знаменитого замцбруннского письма к автору «Мертвых душ» Майкову не суждено было узнать: он умер 15 июля 1847 г., в те дни, когда Беланский озвучивал своё только что сочинённое послание в дружеском кругу¹². Однако первый печатный отклик Беланского на гоголевскую «Переписку» (Современник. 1847. №. 2) с его тоном осуждения «смирennemудрого советодателя», которого на объявленном «новом пути» ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу¹³, существенно разнился с отзывом Майкова. Конечно, Майков не мог не отметить, что в книге Гоголя «встречается и множество противоречий, множество натянутых выводов, множество фактов, освещённых ложным светом одностороннего воззрения и произвольно составленных теорий» (С. 298). Однако слова эти вставлены в контекст недвусмысленно позитивных характеристик и автора, и самой книги. Читаем: «...Часто в этой книге встречаются мысли чрезвычайно светлые, высказанные необыкновенно сильным и живописным языком». Сочувственно цитируя из «Предисловия» к «Переписке» о перенесённой писателем тяжкой болезни, побудившей его составить завещание, Майков замечает: «Завещание Гоголя проникнуто духом истинно монашеского смирения, весьма естественным в человеке, изнурённом телесными недугами и душевным разочарованием» (С. 297).

Трудно согласиться с мнением, будто Майков в своём отзыве, осторожном «по условиям цензуры», дал «бескомпромиссную», «в сущности, принципиальную отрицательную оценку книги Гоголя»¹⁴.

Основным в рецензии Майкова стала рассуждения на тему высказанного в «Предисловии» отказа Гоголя от своих прежних сочинений, вызванного негодованием Белинского. Майков иначе истолковывает «отказ» Гоголя, которым как противника Гоголя, так и его сторонники «не преминут воспользоваться». Он выписывает слова из «Предисловия», где Гоголь приводит отзыв Пушкина о его таланте «выставлять так ярко пошлость жизни» и, говоря о «Мёртвых душах», подтверждая углубление этого свойства своего дарования: изображённая здесь пошлость «испытала читателей», её «не простил» ему. Сравнительно с Белинским переориентировав внимание читателей своего отзыва на эти слова, перекрывающие заявление Гоголя о «беспомешности» всех прежних его сочинений до «Мёртвых душ» включительно, Майков заключает: «Вот как Гоголь откалывается от своего таланта и от своих произведений» (С. 298, 299).

Вывод Майкова по поводу гоголевского «отказа» был спустя десять лет повторен другим критиком, Чернышевским, писавшим, что писатель «до конца жизни остался верен себе как художнику», что «высокое благородство сердца, страстная любовь к правде и благу всегда горела в душе его, что страстную нежность ко всему низкому и злему до конца жизни кипела он»¹⁵. Конечно, в данном случае Чернышевский имел в виду прежде всего «Ревизора» и «Мёртвые души», тогда как Майков апеллировал ко всему творчеству художника.

Белинский не прошёл мимо изложенной Майковым концепции Гоголя. Печатаю свои замечания он высказал в статье «Ответ "Москвитину"» («Современник», 1847. № 11), написанной после смерти Майкова. Сделано это было очень осторожно и, разумеется, без какого-либо упоминания. Белинский воспользовался не бросающимся в глаза поводом – проведённым Майковым

сопоставлением Гоголя с фламандским художником Теньером. Не отрицая правомерности указаний на глубокое понимание смысла будничной простонародной жизни Гоголем и Теньером, Белинский сосредоточился на характеристике русского писателя, создавшего не только замечательные по мастерству и глубине изображения пошлости жизни, но и персонажи высоко трагические, представшие, например, в «Тарасе Бульбе» – «видно, что поэма эта писана тою же рукою, которою писаны "Ревизор" и "Мертвые души" <...> Это – не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а ещё более – дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности»¹⁶. Критик нейтрализовал основной аргумент своего оппонента, упрекавшего в односторонности оценки Гоголя.

Белинский не оставил без внимания и формулу «искусство для искусства», которой Майков завершал свою статью о Гоголе. Одно дело – формула, исходящая от прямых противников «натуральной школы», другое – признаваемая «своими». В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник». 1848. № 1) критик подверг резкому осуждению теорию «искусства для искусства» («чистого искусства»), и в этом выступлении слышится скрытая полемика и с Майковым, допустившим формулу в свою критическую практику. «...Вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, – писал Белинский, принципиально не принимавший каких-либо положительных ссылок на «искусство для искусства», – мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешённом искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлечённая, мечтательная»¹⁷. В то время, по замечанию Т.И. Усачиной, Белинский не мог разделить с Майковым «призывов дополнить критическое изображение жизни утверждением положительных идеалов, считая эти призывы преждевременными для данного исторического этапа, требующего ломки и отрицания»¹⁸. Ещё при жизни Майкова Белинский писал в обзоре русской

литературы за 1846 г. («Современник», 1847. № 1) в ответ на упрёки в «одностороннем» направлении «натуральной школы»: «Разумеется, нельзя, чтобы все обвинения против натуральной школы были положительны ложны, а она во всем была непогрешительно права. Но если бы её преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностью, – и в этом есть своя правда, своё добро: привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придёт время, верно изображать и положительные явления жизни «...» не идеализируя их риторически»¹⁹. Слова Белинского в известном смысле можно посчитать некоторой уступкой своим оппонентам, в том числе и Майкову, но перенос «положительных» изображений на очень далёкую перспективу не мог найти созвучия с эстетикой Майкова.

Высказывания Белинского, на первый взгляд обнуляющие некоторую непоследовательность, вполне провозвещены самим Белинским в частной переписке с К.Д. Кавелиным (1818–1885), дружившим с Майковым.

В жизни Белинского Кавелин появился в шестнадцатилетнем возрасте, когда его родителями Виссарион Григорьевич был приглашен для подготовки сына к поступлению в университет. В течение нескольких месяцев Белинский давал уроки русского языка, словесности, истории и географии. «Учил он меня плохо «...» Но насколько он был плохой педагог, настолько, – вспоминал Кавелин, – он благотворно действовал на меня возбужденном умственной деятельности, умственных интересов, уважения и любви к знанию и нравственным принципам «...» Отрицательное отношение ко всей окружающей меня действительности социальной, религиозной и политической, благодаря Белинскому, во мне засело, хотя в очень наивной, неопределенной и мечтательской форме»²⁰. После окончания юридического факультета Московского университета и защиты магистерской диссертации Кавелин преподавал в университете до 1848 г.

на кафедре истории русского законодательства. В 1842–1843 гг. он жил в Петербурге, и к этому времени относится его постоянное общение с Беланским. Из Москвы Кавелин приехал убеждённым славянофилом, поклонником А.С. Хомякова, однако под воздействием Беланского происходит смена мировоззренческих ориентиров, и Кавелин сближается с западниками – А.Н. Герценом, И.С. Тургеневым, В.П. Веткиным. Кавелин вспоминал: «Влияние Беланского на моё нравственное и умственное воспитание за этот период моей жизни было несравнимо, и оно никогда не изгладится из моей памяти. Я его боготворил, благоговел перед ним»²¹.

После возвращения Кавелина в Москву между ними завязывается переписка, сохранившаяся, к сожалению, не полностью. Заметное место в ней занимала тема Гоголя, треклущая Кавелиным почти по Майкову. Об этом можно судить по ответу Беланского от 22 ноября 1847 г. (письмо Кавелина не сохранилось). Беланский писал: «Воё, что Вы говорите о разлаганн натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить сомнение на очевидное, вместо того чтобы отводить их от неё. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились»²². Беланский признал, что отзыв Кавелина о его статье «Ответ "Москвитиннику"» затронул его «глубоко». И дело не только в сомнениях самого корреспондента относительно Гоголя и «натуральной школы». Эти сомнения, идущие из стана оппонентов, с достаточной настойчивостью возникали и в лагере единомышленников, «наших», по словупотреблению Беланского, и к ним он относил Майкова, занявшего место Беланского в «Отечественных записках».

В следующем письме Беланского от 7 декабря 1847 г. последовало дополнение, настолько тема была принципиально важной. Здесь читаем: «Вы спрашиваете: "Представляет ли современная русская жизнь такую дружную сторону, которая, будучи художественно воспроизведена, представила бы нам положительную сто-

рону нашей народной физиономии?»²³. Вопрос почти буквально повторял Майкова. Белинский ответил на него утвердительно. Развёртывая ответ на примере Гоголя, критик ещё раз энергично повторял: «...Между Гоголем и натуральной школой – целая бездна; но всё-таки она идёт от него, он отец её, он не только дал ей форму, но и указал на содержание. Последним она воспользовалась не лучше его (куда ей в этом бороться с ним!), а только сознательнее»²⁴. В указании на разграничительную черту между Гоголем и «натуральной школой» и художественную слабость её сторонников («фальш-гоголевской школы», по определению Майкова) Белинский солидарен с Кавелиным (Майковым). Но «многие, – писал Белинский, имея в виду славянофилов, – не видя в сочинениях Гоголя и натуральной школы тех называемых “благородных” лиц, а всё плутов или плутишек, приписывают это будто бы оскорбительному понятию о России, что в ней-де честных, благородных и вместе с тем умных людей быть не может. Это обвинение неслепое <...> Что хорошие люди есть везде, об этом и говорить нечего <...> Но вот горе-то: литература всё-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не впадая в идеализацию, в реторику и мелодраму, т.е. не может представлять их художественно такими, какие они есть на самом деле, по той простой причине что из тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с той общественною средою, в которой они живут <...> Теперь Вы видите ясно, – заключал критик, – как я понимаю этот вопрос и почему решаю его не так, как бы следовало»²⁵.

Как видим, шло, по словам А.П. Скафтымова, «доказывание» Гоголя, у героев которого, «нет ни пороков, ни добродетелей»²⁶, и Белинский «никогда, сколько было возможности по условиям цензуры, приоткрывал тот перспективный план, в котором должны были мыслиться не только комические фигуры порока, но и его трагические жертвы». В этих условиях, когда устанавливался «новый принцип критики действительности» с особой

восприимчивостью «ко всяким формам угнетения личности», в обстановке полицейского надзора «всякое оправдание критики действительности нуждалось в защитной маскировке». Эту общественно-политическую подоплёку критического, «гоголевского» направления в литературе, Беланский отставив как важнейшее проявление своей позиции. «Вы, юный друг мой, хороший учёный, но плохой памятник»²⁷, – в этом напоминании Кавелану, которое могло бы быть адресованным и Майкову, высказывается убеждённость в конечной правоте своего дела.

Как видно из писем к Кавелану, Беланский намеревался написать о Гоголе обстоятельную работу и, понимая необходимость объяснений, пояснил: «Заранее чувствую тоску при мысли, что <...> мне надо будет говорить многое не так, как думаешь»²⁸. Вопросы и недоумения Кавелана, по сути, повторная суждения Майкова, и Беланский не опровергал их полностью.

Продолженный нами творческий диалог-спор Майкова и Кавелана с Беланским, получивший отклик в подпольной демократической критике, позволяет заключить, что высказывания о Гоголе, с которыми Беланский, хотя и не в печати, в принципе соглашался, были необходимы, как необходим был и критический пафос теоретика «натуральной школы». Мнения Беланского и Майкова плодотворно воздействовали на современных писателей и на весь ход развития отечественной словесности в соответствии с условными литературно-общественной жизни России.

Важно отметить, что в ту пору имя Гоголя отождествлялось с «гоголевским направлением», то есть направлением обязательным, отрицательным. Опасность подобного отождествления для характеристики творчества Гоголя чутко улавливал Беланский, видевший «целую бездну» между писателем и «натуральной школой». Однако время осознания необходимости социальных перемен требовало опоры не на Гоголя, который всегда мог рассматриваться вне «обязательного» ряда, а на «гоголевское» направление, обретавшее значение

символа противостояния крепостничеству. Потому-то «гоголевское направление», получающее опору прежде всего в Великом, определяло содержание знаменитых впоследствии «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, посвященных критике. Перенос эстетическую оценку «всего» Гоголя на будущее, Великий уже сейчас требовал усиления критических, гражданских настроений, сознательных защите переводимого в мировоззренческий план самого понятия «Гоголевское направление». Именно гоголевскому направлению, живому и честному, призывающему к обществу и гражданскому протесту, объясая, как скажет позднее Н.А. Некрасов, служить «осиный честный человек в России»²⁰, – позиция, ярко проявлявшаяся в творчестве литераторов многих и многих последующих десятилетий, особенно в переломные моменты русской истории.

2011

¹ Свод научной литературы о Майкове (изд. / Юрий Е.Ф. Майков Валерий Николаевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 461.

² Малаховский О.О. Литературная критика 1840-х годов // История русской литературной критики / Под ред. В.В. Прохорова. М., 2002. С. 119.

³ Здесь и далее указания страницам издания: Майков В.М. Литературная критика: Статьи и рецензии / Сост., подг. текста, вступ. статья и примеч. Ю.С. Серовкина. А., 1988.

⁴ Баранкова Е.В. Проблемы натурализма в эстетических воззрениях В.М. Майкова // Проблемы метода и жанра. Томск, 1994. Вып. 18. С. 132–133.

⁵ Скобелевский А.М. История новейшей русской литературы. 1848–1898. Четвертое изд., испр. и доп. СПб., 1900. С. 58. Вслед за Скобелевским привожу и там же писал Е.К. Арсеньев (Вестник Европы. 1896. № 4. С. 823), М.А. Протопопов (Русская мысль. 1891. № 10. С. 138), Ар. Мухом (Исторический вестник. 1891. № 4. С. 198), А.Н. Пытин (Вестник Европы. 1892. № 2. С. 824). Представителя идеалистической эстетики конца XIX в. А.А. Волынский, напротив, осудил Майкова за создание «полудрагоценной, сыпанной формы искусства» (Вильковский А.А. Русские критики. Литературные очерки. СПб., 1894. С. 629).

⁶ Мамз Ю. Валерий Майков // Вопросы литературы. 1963. № 11. С. 122.

¹ Миславков В.А. Кузнецовский «цикл» статей в русской критике 1840-50-х гг. // *Русская литература*. 1996. № 2. С. 40.

² См. в работе: Спирин Г. Александр Алексеевич Алин. 1817-1875. М., 1955. С. 106; Едубалов В.А. А.А. Алин. А., 1979. С. 31. Последние критические упоминания о статье В.Н. Майкова см.: Верещагин В.А. Сто разговоров к «Мертвым душам» // *Московский журнал*. 2002. № 10. С. 37-40; Спирин Г. Художественная жизнь России 30-40-х гг. XIX в. М., 2005. С. 170-171. См. также: Демченко А.А. Иллюстрации художника А.А. Алина к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя в критике В.Н. Майкова // *Междисциплинарные связи при изучении литературы*: Сб. науч. тр. Саратов, 2009. Вып. 3. С. 33-42. Материал этой публикации в дальнейшем переработанном виде вошла в предлагаемую статью.

³ Впоследствии критиком обстоятельств русской прозы с мастерством юнговского фрейдизма глубоко помыслился А.В. Дружанин в критическом разборе произведения Н.А. Гоголя. См.: Дружанин А.В. Литературная критика / Сост., подг. текста и вступит. статьи Н.Н. Скатова; примеч. В.А. Котомникова. М., 1983. С. 296-297.

⁴ Речь идет о переделке автором Н.Н. Кузнецовым для собственного бенефита фрагментов романа Гоголя, сыгранной в Александровском театре под названием «Комические сцены из новой пьесы "Мертвые души"» (1842). Об этой психизировке Боланский писал как о «втором изложении» произведения (Боланский П.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953-1959. Т. VI. С. 398. В дальнейшем смысле – по этому изданию). Майков же указывал на попытку автора сцен сосредоточиться не на «отрицательном», а на «комическом» их содержании.

⁵ Боланский В.Г. Т. X. С. 51.

⁶ См.: Осман Ю.Г. Астанья жизни и творчества В.Г. Боланского. М., 1958. С. 510.

⁷ Боланский В.Г. Т. X. С. 64, 77.

⁸ Саркис Ю.С. Примечания // Майков В.Н. Литературная критика. А., 1985. С. 381.

⁹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1939-1953. Т. III. С. 12.

¹⁰ Боланский В.Г. Т. X. С. 244.

¹¹ Там же. С. 304.

¹² Уткин Т.М. Петербург и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов, 1963. С. 49.

¹³ Боланский В.Г. Т. X. С. 16-17.

¹⁴ В.Г.Боланский в юбилейных саремскихках / Сост., подг. текста и прим. А.А. Колюсского и Е.Н. Тихомиров; Вступ. статья Е.Н. Тихомиров. М., 1977. С. 169, 170.

¹⁵ Там же. С. 173. См. также: Аленский С. Боланский в оценке его современников. СПб., 1911. С. 353-359.

¹⁶ Боланский В.Г. Т. XII. С. 432-433.

¹⁷ Там же. С. 459 (выделено Боланским).

¹⁸ Там же. Т. XII. С. 461.

¹⁹ Там же. С. 460, 461. Критический комментарий к письмам см. в кн.: Пылин А.Н. Боланский: Его жизнь и переписка. Изд. 2-е. СПб., 1908. С. 347.

¹⁶ Болынский В.Г. Т. XII. С.461.

¹⁷ Там же. С. 433.

¹⁸ Там же. С. 461. Наиболее полное изложение научных и творческих связей Болынского и Гоголя см.: Монахова И.Р. В.Г. Болынский: жизнь и поэзия // Болынский В.Г. «Вся жизнь моя в письмах». Из переписки В.Г. Болынского / Сост. и автор вступ. ст. И.Р. Монахова. М., 2011. С. 73-143.

¹⁹ Некрасов М.А. Собр. соч.: В 12 т. М., 1948-1953. Т. X. С. 308.

И.П. ЩЕБАЛЫКИН

Педагогические идеи В.Г. Белинского

Творческое наследие Белинского вызывает сегодня большой интерес не только с историко-литературной стороны. Отмечая достоинства и недостатки тех или иных произведений, критик, как правило, выходил за рамки чисто литературного разбора. Его эстетические суждения органически смыкались с характеристикой вопросов, относящихся к нравственности, культуре, воспитанию, образованию и социальным условиям эпохи. Практически необозрим круг жизненных проблем, получивших отражение в критических статьях, рецензиях и обзорах Белинского.

Как к этому отнестись? Был ли это «разговор по поводу» или мы имеем дело с высшими качественными образцами эстетического синкретизма? Вернее – второе предположение, позволяющее понять и самые причины громадной популярности Белинского среди читателей своего времени, а также в последующие десятилетия.

В современных условиях немаловажное значение приобретают педагогические идеи Белинского, определившие подход и само направление его литературных анализов. И это не случайно. Дело в том, что одним из признаков истинного таланта критик считал способность автора положительно воздействовать на воспитание подрастающих поколений и общества в целом. Так, к числу важнейших достоинств Пушкина как гениального поэта Белинский относил его несомненное право «быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых... читателей», потому «мы не знаем на Руси более краеугольного, при великости таланта, поэта, как Пушкина»¹.

Из этого видно, что результаты эстетического воздействия литературы и искусства Белинский видел

склонен был определять в эквивалентах педагогической значимости.

К этому надо добавить, что воспитание вообще, и конкретной личности в частности, критик не отрывал от образования, а образование, в свою очередь, рассматривал как основу общественного прогресса по всем его направлениям, в том числе в литературе. Белинский верил, что «придет время, просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится... наши художники и писатели будут наконец издавать печать русского духа», и тогда наступит «истинная эпоха искусства». Но «теперь нам нужно учиться! ученые! ученые!» (1, 125).

Очень своеобразная, как видно (я в принципе верная) постановка вопроса. Лишенная «русского духа» (иначе – народности) отечественная литература, действительно, не в состоянии обрести истинной художественности. Народный же «дух» в литературе и искусстве может утвердить себя по-настоящему главным образом с помощью просвещения. Тот факт, что критик часто (особенно в первые годы своей деятельности) отождествлял «просвещение» и «образование», рассматривая то и другое как *обучение*, не умаляет значения его горячих призывов к повсеместному расширению зоны просвещения, основной составляющей общенационального прогресса.

В этой связи традиционные оговорки в работах ряда исследователей творчества Белинского XIX века о том, что просветительский пафос его статей оказывался в известном противоречии с его «революционностью» и тем самым будто бы снижал значение деятельности критика, следует рассматривать как отзвук вульгарно-социологических пристрастий. Сегодня мы понимаем, что, ратуя за просвещение в качестве основы быстрых общественных преобразований, Белинский тем вернее отстаивал реальный, исторически обусловленный путь социального обновления. Что касается революционных «разрушений», то они для того и нужны были, по мысли Белинского, чтобы потом уже с помощью просвещения отладить все механизмы общественного прогресса. На-

сколько оправданным было такое представление критика о стимулирующих функциях революционных потрясений – другой вопрос. Важно, однако, что и в годы самого пылкого увлечения революционностью (1841–1842), на первом плане у Белинского была не революция как таковая, а ее последствия, то есть устройство мира (в частности, России) на основах здравого смысла, гуманности и просвещения. Именно просвещение, по мысли критика, могло придать обществу необходимую динамику, а личности – истинно человеческий облик. Отсюда и знаменитые прогнозы Белинского о том, что будущим поколениям «суждено видеть Россию в 1940 году – стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного (курсив мой. – Н.Ш.) человечества» (2, 515).

Чем же объясняется столь глубокая вера Белинского в преобразующую силу просвещения и образования? Что он считал главным результатом их совместного воздействия на человечество?

Сначала – в цели образования, которое, по убеждению критика, является основным «распространителем» просвещения.

«Есть много родов образования и развития, – писал Белинский в статье «Сочинения Александра Пушкина», – и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять образование нравственное (курсив Белинского. – Н.Ш.). Одно образование делает вас человеком ученым, другое – человеком светским, третье – административным, военным, политическим и т.д., но нравственное образование делает вас просто «человеком», то есть существом, отражающим на себе отблеск божественности (курсив мой. – Н.Ш.) и потому высоко стоящим над миром животным» (6, 328). Не правда ли, и теперь эта цель образования может считаться не только высокой (причем верно сформулированной), но совершенно неизбежной? Даже – императивной, если исходить из необходимости сохранения человека как уникального творения Вселенной?

Полезно обратиться и к тому, в каких формах, как проявляется в человеке истинная нравственность. Оказывается, по Белинскому, она «произрастает и растет из сердца, при падаотворном содействии светлых лучей разума». Поэтому во «взаимных отношениях» людей друг к другу... – и больше нигде (курсив мой. – И.Ш.) должно искать примет нравственного или безнравственного человека, а не в том, как человек рассуждает о нравственности... и какой категории нравственности он держится. Ее мерно не слова, а практическая деятельность» (6, 328).

Формулировки цитируемого текста могут показаться излишне категоричными, но по существу они верны.

К числу несомненных достоинств педагогических воззрений Белинского надо отнести его объяснения глубокой связи воспитания, подлинной нравственности и образования с социальными условиями, в которых развивается человеческая личность. «Человек рождается не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия... Зло скрывается не в человеке, но в обществе», – замечала критик (6, 393).

Что касается природных свойств человека, то «люди, – считал Белинский, – по своей натуре более хорошие, нежели дурны, и не натура, а воспитание, нужда, ложная (курсив мой. – И.Ш.) общественная жизнь делает их дурными»¹. В подтверждение этой мысли Белинский склонен был приводить иногда крайние примеры, взятые, однако, из самой, во многом неприглядной действительности. «Крестьянин, – пояснила критик, – которого жилище не лучше хлева, который разделяет его (жилище. – И.Ш.) с домашними животными и который дурно одет, дурно ест – такой крестьянин не может быть нравственным человеком: если он и не вор, то лентяй, и во всяком случае существо оскотинившееся»². Как говорится, «не в бровь, а в глаз», тем внешним «прекраснодушным» политологам, которые всерьезно рассуждают о необходимости преодоления «родимых» пятен житейского невежества в житейских слоях без учета условий их материального существования. Белинский

решительно не принимал такую позицию, позицию либерального словоблудия. Касаясь вопроса о наставниках обучающихся, он считал, что по-настоящему «учить могут только те, которые с ... высоким образованием соединяют теплую любовь к народу, понимают его потребности, сочувствуют его нуждам»⁴.

Принципиально важным в контексте этих слов было убеждение великого критика в том, что воспитание и образование всех сословий государства российского нужно осуществлять на здоровой национальной основе, на привитии любви и уважения к отечественной истории, к тем ее эпизодам, в которых сказалось стремление к разумному жизнеустройству. «Давайте детям больше и больше созерцания общего, человеческого, мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные национальные явления: пусть они узнают сперва не только о Петре Великом, но и Иоанне III, чем о Генрихах, Карлах, Наполеонах. Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству»⁵. Отсюда и отказ Белинского-критика считать истинно образованными людьми тех русских юношей (подразумеваются представители господствующих сословий), которые «не умеют связать двух русских фраз, написать русской строки без орфографических ошибок»⁶.

Особо ценной в педагогических и образовательных установках Белинского следует считать его ориентацию на практику, на нужды самой действительности. Враг схоластики и формализма, он был убежден, что ни знания сами по себе, ни так называемые положительные свойства личности ничего не значат в отрыве от реальных потребностей жизни, ее текущих запросов.

В разной степени к сама «дейтельность» личности не мыслилась в отрыве от действительности, как имитация активности, лишенной обозначенных, притом гуманных, целей и задач. В этом отношении Белинский был едва ли не «ригористом», требовавшим от личности полной самоотдачи на благо всеобщего процветания. Формирование такой готовности в человеке Белинский

считал священнейшей обязанностью литературы и искусства, всей системы современного ему образования.

Критик считал, что в жизни любого человека, осознающего себя личностью, у человека, обладающего определенными знаниями, а более всего «чувством времени», есть только два пути, на которых возможна действительная реализация заложенных в нем качеств. «Вот тебе две дороги, – писал Белянский, вступая в диалог с воображаемым читателем, – два неизбежные (курсив мой. – И.Ш.) пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое спескорыстие и, дыши для счастья других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для славы человечества... Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?... Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: любви самого себя больше всего на свете... гни твоей хребет, погни эмзее между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, утнятай, пей кровь и слезы... Весела и блестяща будет жизнь твоя... всё будет трепетать тебя, везде покорность, услужливость... и журналист прокричит по всеуслышанию, что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя!» (1, 57)

В этой страстной, полемически заостренной характеристике двух путей личностного самоутверждения зафиксирована, в сущности, типология вечного противостояния в человеческом мире добра и зла, щедрости и корысти, свободолюбия и прогнивания, истины и обмана, претендующего на равные права с добродетелью. Частная зарисовка отражала, как видим, масштабы едва ли не военного масштаба. Таков стиль Белянского, таковы его пристрастия, когда надо было коснуться человеческих пороков, исправление которых зависело не только от политико-экономических решений, но и от моральных (подчас в большей степени) убеждений каждого вступающего на стезю умственного развития. Диалектика «внутреннего», связь индивидуального со всеобщим всегда учитывалась Белянским в характеристике воспитательных систем, в оценке педагогического воздействия общества, в том числе литературы, на подрастающее поколение.

Какие же методические принципы и приемы отстаивал Белинский по ходу анализа жизненных явлений и литературных произведений? Следует заметить, что в этой части он выступал как публицист, а не как профессиональный педагог, непосредственно работающий в системе образования. Этим объясняется широкий подход, а подчас и «метафорический» стиль критика в характеристике вопросов образования и воспитания, вопросов, так или иначе заключающих в себе общезначимый, порою философский смысл.

Заслуживает внимания, в частности, суждение Белинского о том, что домашнее воспитание следует отличать от «казенного», осуществляемого в государственных или частных учебных заведениях. И та и другая формы воспитания в совокупности своей определяют образ мыслей и характер поведения человека в обществе. И все-таки решающее влияние на становление человеческой личности, по убеждению критика, оказывает домашнее, семейное воспитание. При этом основным инструментом семейного воздействия, по мнению Белинского, оказывается отношение родителей к своим обязанностям, их любовь к малолетним «чадам». Заключение, конечно, не новое и в эпоху Белинского. Новым было, однако, разъяснение того, в чем и как проявляется настоящая родительская любовь.

Критик выделяет три формы заботы о подрастающем поколении. «Есть отцы, которые любят детей для самих себя, – замечает он, – и в этой любви есть свои истинная и разумная сторона; есть отцы, которые любят детей своих для них самих (курсив мой. – И.И.), и эта любовь выше, истиннее, разумнее; но при этих двух родах любви есть еще высшая, истиннейшая и разумнейшая любовь к детям – любовь *к истине, к Богу*» (3, 46). Именно третья форма родительской любви, ориентированная на воспитание вневременного («божественного») в человеке, позволяет «обратить труд в привычку, в наслаждение для своих детей». Она даже может исключить, по словам Белинского, «унизительные для человеческого достоинства наказания», наказания, подавляю-

ние в детях «благородную свободу духа», растаскивающие их сердца чувствами «унижения, страха, скрытности и лукавства» (3, 48).

Как видим, перед нами едва ли не идеальная «модель» семейного воспитания подрастающих поколений. Ее достоинства очевидны, если учесть, что формирование личности критик относит не ограничивая интересам семьи или родового круга. Напротив, семейная система воспитания должна, по мысли критика, тесно смыкаться с общественно-государственной. Разделение функций допустимо, по Белинскому, только при условии их конечного слияния. «...На родителях, на одних родителях лежит священнейшая обязанность сделать своих детей людьми (курсив Белинского. – И.Ш.); обязанность же учебных заведений – сделать их учеными, гражданами, членами государства на всех его ступенях. Но кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин, плохой слуга государства» (3, 50).

Прогрессивный смысл этих рассуждений подкреплялся тем, что нельзя ни в какое время, по убеждению Белинского, сделаться ни «человеком», ни тем более «гражданином» без совершенствования, а при необходимости и изменения общественных условий внутри государства. Этим своим убеждением критик уже в середине 30-х годов XIX века поднимался значительно выше официальных педагогических доктрин своего времени.

В начале 40-х годов он проникается идеей социальности («социальность, социальность – ная смерть!» – записал он в письме к В.П. Боткину от 8 сентября 1841 г.), пониманием того, что благополучие личности, человеческое «счастье» вообще, во многом зависят от общественно-политической среды, морально-правовых условий, складывающихся в государстве.

Отсюда и тот «минимум» преобразований, который сформулирован критиком в письме к Гоголю (1847 год) и без которого нельзя думать о благополучии страны, равно, как и о развитии отечественного образования. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отме-

нение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть», – утверждал критик (8, 282).

Каждый пункт этой очень скоро ставшей знаменитой триады имел непосредственное отношение к судьбам отечественного образования, к воспитанию гражданских чувств подрастающих поколений. Ведь там, где законы соблюдаются только по видимости, крайне затруднено формирование человеческой порядочности, истинной любви к труду, а, значит, и к отчизне.

Заслуживают внимания в этой связи и высказывания Белинского о том, какими способами необходимо пользоваться не только домашним наставникам, но – еще в большей степени – воспитателям государственных, а также частных учебных заведений при подготовке своих питомцев к успешной деятельности на поприще науки, государственного или гражданского служения. Критик отставал в данном вопросе многообразие средств педагогического воздействия. Однако одно условие он считал обязательным и постоянным в осуществлении образовательного процесса. Критик заявлял: «новое (это в равной степени относится к системе образования и воспитания. – И.Ш.), чтобы быть действительным, должно исторически (курсив мой. – И.Ш.) развиваться из старого – и в этом законе заключается важность воспитания» (3, 49). Иначе говоря, во всем должна быть своя преемственность и взаимосвязь. В этом смысле любые нововведения, тем более в системе образования, нельзя осуществлять наобум, без учета их истинной потребности. Белинский, оценивавший жизненные явления с позиций историзма, понимал это как никто другой в 40-е годы XIX века.

Важное значение, на наш взгляд, имеет еще одно замечание критика. Оно касается формы и способов обучения. В статье «Руководство к всеобщей истории» (1841) он писал о том, что «душу учения составляет система и наукообразность изложения. Самое дурное учение – это учение посредством игры, забавы», так как обучающийся в этом случае «все будет схватывать скоро и

живо, но вместе с тем и поверхностно, несознательно, непрочно, привычно, калейдоскопически» (4, 396).

Вероятно, не каждый современный методист согласится с итоговой оценкой Белинского «игрового» обучения. И тем не менее суждения критика в этой части не лишены оснований. Во всяком случае, очевидные недостатки такого обучения, связанные с поверхностностью, калейдоскопичностью усвоения материала, не могут быть оставлены без внимания со стороны тех, кто реформирует сегодня российское образование по всем линиям.

Таким образом, педагогические идеи и суждения великого критика были достаточно перспективны и концептуальны. Во многом они сохраняют свою значимость и в наши дни, поскольку основаны на глубоком знании законов реальной действительности, а также нужд общественного и экономического развития своего народа.

2011

¹ Белинский А.Г. Собр. соч. в 9 т. М., 1976-1982. Т. 6. С. 285. Остальные цитаты Белинского, кроме оговоренных, приводятся по этому изданию с указанием в круглых скобках тома и страницы.

² Белинский А.Г. Полн. собр. соч. Т. IX, М., 1958. С. 175.

³ Там же. 302.

⁴ Там же. Т. VIII. С. 229.

⁵ Белинский А.Г. Избр. пед. соч. М., 1948. С. 51.

⁶ Там же. С. 33.

Е.Ю. ТИХОНОВА

Белинский и славянофилы о русской действительности

Существовавшее в историкографии мнение, что в отличие от критически воспринимавших современную им Россию западников славянофилы были ее защитниками, выглядит ныне анахронизмом. Даже М.П. Погодин, традиционно считающийся в историкографии представителем «официальной народности», не был безоговорочным сторонником существующего порядка, позволяя себе в разговорах со своим покровителем С.С. Уваровым выражать надежду на преобразования. Славянофилы тем более отрицательно относились к настоящему положению вещей, которое К.С. Аксаков в записке «О внутреннем состоянии России» характеризовал как «внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью»¹. Требования славянофилов к правительству состояли в подготовке крестьянской реформы, ликвидации сословных привилегий, демократизации местного управления, дарования свободы слова. Прежде чем строить новую жизнь в соответствии с тем или иным идеалом, замечал Самарин в письме Погодину, надо вывести общество из умственного и нравственно-го паралича: «У нас не ложное направление мысли, а безмыслие господствует»². Надо сказать, что Николай I, связывая национализм с оппозиционностью правительству, воспринимал легальный, сугубо мирный кружок славянофилов чуть ли не как подпольную организацию. Зная об этом, славянофилы напоминали друг другу об осторожности; так, Самарин, на основании дошедших до него сведений, предостерегал в 1844 г. из Петербурга своих друзей: «Власть убеждена, что в Москве образуется политическая партия... что клоч... "да здравствует

Москва и да погибнет Петербург» – значит: да здравствует анархия и да погибнет всякая власть», советуя им переменить «образ жизни, образ действия», бросить «мурмолки» (намек на неодобряемую царем пропаганду Ахсаковым русского плытия), перестать «провозглашать тосты» и не упоминать «ни о Петербурге, ни о Москве»¹.

Утверждение, что в западничестве 1840-х гг. существовало «революционное» и «либеральное» крыло, стало к 1930-м гг. историографическим штампом. С нашей точки зрения, оно является искажением фактов: разность индивидуальных ориентаций (очень нестойких) не говорит о делении западников на устойчивые группировки; перед нами кружок с естественным несопадением мнений, но не партия, где каждый заметный оттенок мысли оформляется в «крыло» или «уклон». Однако различия в оценке российской реальности в западничестве действительно наблюдаются: так, Н.П. Огарев и А.И. Герцен, не веря в возможность благотельных перемен в обозримом будущем, уже в 1845 г. решили покинуть Россию; Белинский, настроенный в 1841 г. столь же пессимистически («Да и о чем писать? О выборах? но у нас есть только дворянские выборы... о министерстве? но ни ему до нас, ни нам до него нет дела... о движении промышленности, администрации, обществу, о литературе, науке? – но у нас их нет»²), с годами проникался уверенностью, что положение не безнадежно: «Как бы мы ни были нетерпеливы и как бы ни казалось нам все медленно идущим, а ведь оно идет страшно быстро...» (Т. 9, С. 682). В конце жизни он считал, что главное – не наращивать скорость преобразований, а не допускать ее спада; отсюда умеренность и поэтичность его социально-политической программы.

Классы и сословия в России

Славянофилы и западники совпадали во взглядах на необходимость отмены сословных разграничений и преимуществ дворянства. Отношение Белинского к дворянству не было однозначным: он считал его создателем русской культуры и государственности, хра-

нителем (в прошлом и отчасти в настоящем) духовного потенциала нации. Но эта миссия первого сословия постепенно переходила к интеллигенции, вбирающей «санки» всех социальных групп. Экономические и политические привилегии дворянства Белинский безусловно отрицал.

Аналогичным было отношение к дворянскому классу славянофилов. «Требования экономии политической, – писал Хомяков, – заставят отделать права на землевладение от прав дворянских, и скоро останется голый миф, который умрет, не замеченный никем. Слово "дворянин" перейдет в разряд таких слов, как "разных орденов кавалер", годных только к расширенно подписи под деловыми бумагами, но ничего не значащих»⁴. Самый молодой и наиболее «левый» из славянофилов И.С. Аксаков позднее выразит желание, чтобы царь позволял дворянству совершать «великий акт уничтожения себя как сословия»⁵. Здесь явное различие между славянофилами и «консервативным» крылом литераторов «Москвитянина»: в то время как Хомяков осуждал в письме Самарину Указ от 11 июня 1845 г., повышавший (до статского советника) чин, дающий дворянские права, – как шаг к охране сословности⁶, Гоголь в «Выбранных местах...» призывал вытеснить «низких разночинцев» из служебной иерархии⁷. Впрочем, славянофилы не всегда удрачивались от выскомертия к «разночинцам», а в стане «официальной народности» вопрос о высшем сословии не решался однозначно; так, выходец из крепостных Погодин до грубости резко осуждал Гоголя за шлет перед аристократией: «Противно всем твоим стремлениям (давнее) тереться около знатных... не находишь сказать им ничего, кроме лести, когда все зло там»⁸.

Соглашаясь с Белинским в суждения об отсутствии в России аристократии⁹ (Т. 4, С. 51), славянофилы оценивали сходство нравственных понятий и обычаев боярства и низших классов как преимущество Руси перед средневековым Западом¹⁰. Белинский же, наоборот, призывал благотворным на определенном историческом этапе наличие у нации аристократии. В западном

рыцарстве формировалось понятие чести. При всей его искаженности и ограниченности, с современной точки зрения, оно являлось компонентом выработки общечеловеческих гуманистических начал. На Руси «один и тот же кнут тяготел и над мужиком, и над барником, и для обоих их он был несчастьем, а не бесчестьем» (Т. 4. С. 36). Такое «равноправие» сдерживало развитие личного достоинства, первоначально зарождавшегося в высших слоях общества. Итогом этого являлась нечувствительность русских к нанесенным им властью оскорблениям, равнодушная покорность любым государственным начинаниям. «Пытью гонят нас к просвещению, – писал Герцен, – пытью наказывают саншюком образованных – вот безобразнейшая сторона демократического уравниния, производимого равным лишением прав»¹².

По Белинскому, в допетровской Руси царя худший вид сословности – сословность без аристократии. Петр своей реформой разрушил сословные перегородки, создав Табель о рангах. Для представителей недворянских классов поступление на службу сопровождалось постепенным очищением от сословных признаков, приобщением к цивилизации: «Чиновническое сословие играет в России роль химической печи, проходя через которую люди мещанского, купеческого, духовного и, пожалуй, дворового сословия теряют резкие и грубые внешности этих сословий... Два-три поколения, и мы ни в какой телескоп не отличите их от родового дворянства» (Т. 7. С. 323). Белинский, родившийся разночинцем, хорошо знал, что для людей его среды служба была практически единственной лестницей вверх, и с пониманием относился к существованию традиционно нелюбимого в русском обществе чиновничества. Позиция Белинского вызывала возражения славянофилов, заявлявших, что Петр I «не только не повзвинул стены между сословиями, но он-то и построил их, создав особый, всеми ненавидимый бюрократический класс»¹³. Обыгрывая слова Белинского, Хомяков назвал вступление индивида в бюрократическую иерархию «олигархическим процессом, посредством которого лично, некогда принадлежащее

жизни, переживается в бесцветный призраж просвещенного человека»¹⁴.

Антигосударственники славянофилы опасались бюрократического упорядочения социальной жизни. Вражда к бюрократизму вырождалась у них, однако, в презрение к чиновнику. Отсюда упреки, брошенные литературе за возросшее в 1840-х гг. сочувствие служащему разночинцу; так, Шевырев обвинял русскую литературу в защите не народа, а «канцеляристов»¹⁵. В главах же «государственника» Белинского это бюрократизации уравновешивалось наращиванием просвещенности, окультуриванием нации в результате втягивания в государственный аппарат людей из «низов».

Ратуя за вступление страны на промышленный путь, Белинский не мог не присматриваться к русскому купечеству. Он желал бы найти в нем залог экономического прогресса нации, но облик российских «буржуа» охлаждал его надежды. Определенное влияние могло оказывать на него и крайне негативное восприятие купечества Боткиным, представителем крупной торговой фамилии, откровенно стыдящимся своего происхождения: «...то, что называется купеческим классом, – писал он, – осуждено без возврата на тучность и грубое невежество. Недалеко то время, когда торговые дома будут основываться дворянством...»¹⁶. В антипатии к торговому сословию Боткин сближался со славянофилами, называвшими купцов пародией на народ. Но сам он считал славянофилов идеологами именно купеческого класса: они воспевают «мужика», а зажиточный мужик становится купцом¹⁷. Мнение Боткина о «буржуазности» славянофильской доктрины нашло сторонников и среди исследователей русской мысли, хотя на самом деле славянофилам не делал ставку на разбогатевшего мужика.

Желая ликвидировать сословность во благо «народу», славянофилы включали в это понятие лишь один субъект общества – крестьянство. В этом смысле их учение носило отпечаток классовости. Хотя объективные интересы крестьянства не совпадали с эталоном общинного социализма, славянофильские позиции отразили

действительные элементы крестьянского и общенационального российского «менталитета» – неверие в результативность индивидуальной деятельности, привычку прятаться в «миру».

У Белинского отрицание сословности не служило на пользу какой-либо одной социальной категории. Его мировоззрение не было классово агрессивным; идеалом для него являлось разнообразное, гармоническое и социально обаллакированное общественное устройство.

Государство и закон

Если Белинский не мыслит прогресса вне рамок государства и чуждался всяких проявлений анархизма, то славянофилы, напротив, настороженно смотрели на государственные институты. Правда, целостная концепция функционирования российского государства, высказанная К.С. Аксаковым, не была общей платформой кружка. В отношении славянофилов к вопросу о сотрудничестве с правительством Николая I также не прослеживается полного единства: Аксаков настаивал в 1840-х гг. на невозможности каких-либо связей с ним, а не менее оппозиционно настроенный к российской действительности Самарин считал ошибочным устранение от государственной службы¹⁸.

Согласно Аксакову, русское государство изначально отличалось разумным и нравственным построением. В отличие от образовавшихся на основе завоевания европейских монархий русское самодержавие брало начало от призыва кнзя народом: в Европе шла война граждан с властью за свои права; на Руси народ передоверия государству «внешнее» правление, не требуя от него никаких гарантий, потому что он «искал не равновесия в совершенстве, а согласия, не хотел условными стеснить ни себя, ни правительство и боялся, ставши сам как бы частью правительства, заразить свою жизнь элементом внешней правды и внешнего принуждения». Власть не вмешивалась во «внутреннюю» жизнь народа, создавая, что «единство веры и единство... быта» обеспечивала целостность общества¹⁹. Эти суждения пред-

ставляют собой сплав идей, заимствованных Аксаковым из лекций Погодина, чтения Гегеля и разговоров в кружке Станкевича в 1830-х гг.; они во многом совпадают с политическими концепциями Белинского периода «примирения с действительностью».

По Аксакову, эта идиллия была прервана Петром I, положившим начало превращению России в антинародную деспотию. Сходным образом смотрел на Петровскую империю Киреевский, писавший, что «разум народа – в церквях, в университетах, в литературе, в убежденных сословиях и пр. В правительство – народная воля...». При Петре I воля возобладала над разумом²⁰. Хомяков, считавший Петра «страшной, но благотворительной грозой» и старавшийся снять крайности в оценках реформы, подтверждал, однако, что «силы духовные принадлежат народу и церкви, а не правительству...»²¹.

Из подобного разделения функций, где государству отводилась роль исполнителя решений народного разума, что отчасти близко просветительской теории общественного договора²², Аксаков исходил и в «Записке», поданной им 8 апреля 1855 г. Александру II. Это была своего рода программа, предлагаемая славянофилами новому царю, автор которой всерьез стремился рассеять возможные опасения Александра по поводу попыток каких-либо общественных сил перехватить у него государственный руль: народ в России безразличен к политике, он ищет «свободы духа», свободы «внутри себя»²³. Аксакову представлялось, что неограниченной монархия – самая демократическая форма правления, власть, исходящая от народа, не расколотого на противоборствующие общественные слои и группы и имеющего единые идеалы и ценности²⁴. Этот «народный» монархизм мыслился как государство без правовых и бюрократических институтов, государство-семья, держащееся на авторитете царя-патриарха и доверии детей-подданных. Разделение власти, по мнению славянофилов, нужно не народу, а верхам общества для отстаивания корыстных интересов. Так, Аксаков уверял царя, что своеобразем заражено лишь дворянство,

порожденное прозападнической политикой Петра и отплатившее власти восстанием 14 декабря²³; для Самарина «конституционализм навсегда сохранил привкус осадочности и „лаутовства“ высших классов в ущерб низшим»²⁴. В своей политической концепции славянофилы отрицали монархизм и патернализм русского сознания, а также постоянно маячивший в нем образ «врага», мешающего «доброму» правительству добиться всеобщего счастья.

В «Записке» Аксаков настойчиво отмечал это, вносимое политикой в жизнь общества. Западные народы «надеждам республик, настроили конституций всех родов» и в результате «обедили душою», погрязли в расприх и «готовы рухнуть и предаться, если не окончательному падению, то страшным потрясениям каждую минуту»²⁵. Славянофилы путали кажущаяся неустойчивость западных государств с кипением открытого противоборства различных взглядов и идей. В своем презрении к политической «суете» они нашли немало последователей. Так, Бердяев писал: «Славянофилы не хотели, чтобы Россия вступила на путь борьбы политических партий, столкновения интересов, самоутверждения человеческих воль. И в этом была правда, возвышающая их над ограниченной государственной идеологией»²⁶. Однако история России и Европы опровергла такую «правду», доказав, что равномерное «спускание паров» в парламентских государствах в условиях свободной прессы обеспечивает большую стабильность, чем их скопление внутри закрытого общественного «котла». Политизированный Запад в целом проявил себя менее взрывоопасным, чем российская «оскобая тишина», разразившаяся катастрофой. Желание избавить нацию от «грязной» борьбы интересов, сосредоточив ее на нравственном совершенствовании, не приводит к чуждой свободе духа и общественному спокойствию: «Идея нейтрализовать порок пороком оказалась практичной в политике, а идея возрождения добродетели, способной впоследствии нейтрализовать порок, оказалась беспыдной мечтой, способной лишь увековечить деспотизм»²⁷.

Своему царствующему адресату Аксаков предлагал вернуться к разделению государственного и народного бытия, оставив за правительством администрирование, законодательство, судопроизводство, освободив народ от бюрократического надзора в остальных жизненных отправлениях, дав ему независимость общественного мнения и местные самоуправления. В неопубликованных документах и приложениях к «Запискам» говорилось о желательности созыва в будущем земских соборов как совещательного органа, о неестественности властию сферы бытия и необходимости перенесения столицы в Москву²⁰.

Славянофильская теория «юридически бесформенного государства, государства „до душе“... построенного на одних нравственных началах»²¹, во многом совпадала с мыслью Бакунина о «превосходстве общественного, то есть соборного, начала над государственным самодержавным принципом»²² и потому квалифицировалась исследователями как своеобразный анархизм. Противоречивость славянофильского «анархизма», как и его нежизнеспособность, проявилась уже в самом обращении Аксакова к царю. В самом деле, что давало право автору при его признании всей полноты монаршей воли говорить с самодержцем в тоне наставника? Пожалуй, только осознание себя голосом русской нации. Таким образом, послание Аксакова уже становилось вмешательством народа в дела правления посредством славянофильской «партии». Аксаков упорно обходил очевидную перспективу использования требуемой им свободы слова в целях «поучения» власти, не задумываясь над тем, что само это требование – политическое, ибо «свобода публичного слова как народное или земское право было бы... ограничением государственного полновластия, одинаково несообразным как с характером всевластного правительства, так и с характером безвластного народа»²³.

«Анархизм» славянофилов обнаруживался и в отвержении закона как буржуазного института. Считая юриспруденцию западным установлением, они утверждали, что русский быт основан на чувстве внутренней

правды, а не на полицейском «материализме формы»²⁴. Мечты обиденных социалистов-славянофилов о замене закона чувством были созвучны социальному романтизму Маркса, который также связывал «политическое» государство с эгоистическим буржуазным человеком, а закон – с «защитой свободы человека как изолированной, замкнувшейся в себе монады»²⁵.

Во второй половине 1840-х гг. Белинский не думал об уничтожении самодержавия в России. Не считая монархию неизбежной судьбой нации, не находя в ней преимуществ над европейским конституционализмом, он относился к ней как к данности русской жизни своего времени. Вопрос состоял не в переходе к иной форме правления, а в возможности проведения сверху антифеодальных преобразований, и здесь, по мнению Белинского, шансы на успех давала как раз неограниченность власти. Образованная часть общества должна была в этой ситуации, терпеливо преодолевая недоверие правительства, оказывать ему поддержку и помощь, ни в коем случае не путая его утопическим радикализмом – непростительной, в глазах Белинского, революционной хлестаковщиной. Сам Николай не внушал ему того отвращения, какое испытывал к самодержавию Герцен; напротив, Белинский считал его способным возложить на себя бремя реформаторства.

Пафос политической позиции Белинского – в убеждении, что правовая цивилизованность есть необходимый базис общественного развития. Разговоры о замене закона чувством братства, любви, справедливости вызывали у него насмешки: «Я очень рад, если вследствие любви меня никто не ограбит и не убьет на большой дороге, но, при отсутствии строгого полицейского надзора, я никак не положусь на любовь моих ближних...» (Т. 7, С. 476) Не увлекало Белинского и стремление заменить закон обычаем, на чем настаивала Хомяков: «Закон, писанный и вооруженный силой принудительною, подводит под условное единство разногласие частных воли. Обычай, неписанный, безоружный, выражает собою самое коренное единство общества»²⁶. Отрицание

патриархальных норм и предпочтение четкого законодательства объективно связывают позицию Белинского с буржуазными реформами. Отметим, что мысль Хомякова о превосходстве высоконравственного «единодушия» над «грубовещественным» голосованием²⁷ в самом славянофильском кругу нашла критику в лице Кошелева. В письме Хомякову тот сообщал, что его крестьяне, получив от него большую самостоятельность и поняв, что общинное правление приобрело реальную силу, вступили на «парламентский» путь, разделившись на «партии», и «единогласие исчезло, ибо оно происходило лишь от равнодушия»²⁸.

Белинский не искажал процесса становления западного правового сознания, признавая, что законы в Европе не всегда были в согласии с истиной. Но даже несправедливый закон приучал европейца мыслить и действовать в правовых рамках: «Завоевательная система, положившая основание европейским государствам, тотчас же породила там чисто юридический быт, в котором само насилье и угнетение принимало вид не произвола, а закона» (Т. 8. С. 198). Белинский вряд ли был знаком с непереуслышанной тогда на русский язык повестью О. Бальзака «Ведьма» из серии «Озорных рассказов», описывающей средневековый суд над обвиненной в колдовстве женщиной; русского читателя не может не поразить, что при всей жестокой абсурдности самого дела в его ведении строго соблюдались все юридические формальности. В сознании россиянина, напротив, исторически закреплялась правовой нигилизм, тормозящий роль которого становилась все более очевидной. В программе-минимум, сформулированной в письме Гоголю 1847 г., Белинский в числе трех важнейших задач выдвигает «введение, по возможности, строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть» (Т. 8. С. 282). Обращает на себя внимание умеренность требования: речь идет не о законотворчестве, а об укреплении существующих норм, по сути – о воспитании уважения к закону. Предполагается, вероятно, длительное совмещение конституционно не ограниченного правления с

установлением личных и собственностических гарантий граждан в экономической, духовной и бытовой сферах. Идеалу славянофилов – монархия без законов – Белинский противопоставляла надежду на выживание государства с четким и строгим законодательством под эгидой сильной верховной власти.

Крепостное право

В нашем распоряжении почти нет свидетельств о том, как мыслала себе Белинский крестьянскую реформу. Единственным источником является его письмо Анненкову от 1–10 декабря 1847 г. о начинавшемся в верхах движении в пользу освобождения крестьян (отметим, что Белинский как журналист был хорошо осведомлен о происходящем в правительственных кругах). Он считал, что реформа должна быть проведена «сверху»; будь, до которого могло довести промедление возбужденных слухами крестьян, толкующих, что «царь хочет, а господа не хотят», стал бы трагедией для страны. В этой связи Белинский говорил об опасности отставания власти от общества в кризисные моменты истории: «...когда масса спит, делайте, что хотите, все будет по-вашему; но когда она проснется – не дремайте сами, а то быть худо...»

Потенции царя как государственного деятеля оценивались автором письма высоко: будет большим упущением не двинуть дела вперед «при таком монархе, который один по своей мудрости и твердой воле способен решить его». Однако желание Николая I начать подготовку к отмене крепостничества сталкивается с не менее активным желанием его приближенных провалить преобразования. Победа консервативных сил остается реальной, предсказуемы и их проемы – утомить царя проволочками, перечислением истинных и мнимых препятствий и воспользоваться первым попавшимся случаем, чтобы отклонить его внимание от крестьянской проблемы (Т. 9. С. 688). Реформе будет затягивать и объективная дилемма, встающая перед правительством, которое не может «дать свободу крестьянам без

земля, боясь пролетариата», но не может и оставить без земли дворянство, «хотя бы и при деньгах» (Т. 9. С. 686).

В попытке реконструировать позиции Белинского по этому вопросу уместно обратиться к взглядам ближайших единомышленников. Трудно предположить, что Белинский, обычно осторожный в своих социально-политических решениях, проявля в крестьянском вопросе большую радикальность, чем Герцен и Огарев. Последние являлись в то время сторонниками выкупа земли крестьянами (при участии правительства) в течение переходного их состояния от рабства к полной свободе; приблизительно так, вероятно, представляла себе процесс отмены крепостничества и Белинский, считавший необходимым перевести страну на буржуазные рельсы без потрясений и без «пролетаризации» сельского населения.

Подобно западникам, славянофилам была претниванием крепостного строя, называя право помещика на крестьян «наглым нарушением всех прав»¹⁸. Дожившие до 1861 г. члены кружка стали активными сподвижниками реформы. Однако, помимо безусловных заслуг славянофилов в крестьянском деле, в литературе отмечены и их, мягко говоря, колебания, особо бросающиеся в глаза благодаря контрасту с признанием крестьянина центральной фигурой русской жизни¹⁹. Так, в начале 1840-х гг. Хомяков отстаивал трехдневную барщину. Хотя в дальнейшем он отказался от этого, в целом его представления о реформе не отличались либерализмом: крестьянин должен получить небольшой надел за значительный выкуп²⁰. Сам Хомяков, о чем писали еще его современники, отличался жесткостью в обращении с носителями «высшей» правды, бывшими в его собственности.

В 1848 г. Киреевский столь панически воспринял европейскую революцию, что предлагал затормозить реформу, даже не задаваясь вопросом о возможности влияния европейских событий на русское крестьянство²¹. Если в данном суждении можно усмотреть искреннюю заботу о благополучии страны, то весьма цинично жу-

чит его желание превратить освобожденного крестьянина в батрака путем сокращения надела: «Десятина пропорции на душу... будет довольно важною поддержкою для крестьянина и вместе с тем поставит его в необходимость искать посторонней работы, без чего все пом. помещиков осталось бы необделанным, по известному свойству русского народа искать работы только до тех пор, покада она необходима для его пропитания...»⁶³ В.И. Семевский, исследовавший отношение российских деятелей к крестьянскому вопросу, пришел к неутешительному для славянофилов выводу, что в имениях А.С. Хомякова, П.В. Киреевского, А.М. Кошелева (последний уже в конце 1840-х гг. предпринимал энергичные попытки подготовки реформы) крестьяне жили хуже, чем в других имениях той же местности⁶⁴. Даже такой деятель реформы, как Ю.Ф. Самарин, не забывал о мерах, обеспечивающих интересы землевладельцев⁶⁵. Выкуп крестьян за землю, предлагавшийся славянофилами, превышал ее цену, становился выкупом личной свободы⁶⁶. По предположению Семевского, один лишь Ахжиков выступал за наделение крестьян землей без выкупа⁶⁷, занимая благородную, но утопическую позицию.

Таким образом, не только идеологический диктат в советской историографии, требовавший трактовать славянофилов как охранителей существующего режима, но и противоречивость их собственных позиций помогали утвердиться мнению, что славянофильство – образ мыслей предусмотрительных помещиков, понимавших выгоды наемного труда и боявшихся крестьянского восстания, а потому привязавших сторону реформы.

Думается, что объяснение общинной идеологии славянофилов всего лишь красной фразой, маскирующей их собственнически-расчетливые, – своего рода выворачивание наизнанку значения данной доктрины. Уместно вспомнить замечание С.С. Дмитриева, что славянофильство нельзя воспринимать как целостное явление⁶⁸. Ведь и те, кто говорил о славянофилах как о «дворянско-помещичьих» идейных вождах, признавали, что их практическая деятельность и «романтические

налозили» наладился в разных плоскостях²⁰. Остается добавить, что именно «налозили» являлись «делом» славянофилов – идеологией русского утопического социализма, выдвинутой средними и крупными помещиками. Рассуждая о славянофилах, историки порой забывали ту истину, что попытка привести в соответствие свои слова и поступки удается не многим. Велинский, освобождая единственную унаследованную от матери крепостную, ибо ему органически претяло видеть рядом работы зависимого от него человека; Огарев, без выкупа отпущивший на волю с землей около двух тысяч крестьян, – натуры исключительные. Славянофилы, как и большинство смертных, не испытывали особого дискомфорта из-за расхождения своего коллективистского идеала с помещичьим бытием. Считая, что будущая Россия за крестьянской общиной, она не спешила стать в ряды ее чужаков. В свою очередь, исследователь не обязан выводить некий средний итог из философии славянофилов и их образа жизни. Представляется плодотворным сосредоточение именно на теоретическом их наследии, отразившем те стороны русской духовной «субстанции», которые в XX столетии в значительной степени перешли в область реальности.

Община

Самым ценным элементом российской действительности славянофилы считали общину, изначально воспринимавшую ими не в качестве производственной или административной единицы, а как принцип русской жизни, прообраз будущего человечества, всеобщую этическую норму²¹. Условием общинного союза провозглашалось подавление личностного эгоизма, «самоотречение каждого в пользу всех»²². Община представлялась идеальной средой воспитания человека, где каждый с детства видит, как эгоизм «становится беспрестанно лицом к лицу с нравственно мыслию об общем, о совести, законе, обычном, вере и подчиняется этим высшим началам»²³. В переводе на житейский язык это означало отдачу лица под общинный контроль. Хомяков и не

стеснялся говорить, что взаимная ответственность «соединяет в одно целое частные выгоды поселян и служит каждому ограждением против его собственной беспечности и пороков», что община поэтому должна быть наделена большой властью над своими членами, вплоть до отдачи нерадивых и провинившихся в батрачество, под суд администрации для высылки и т.д.²³ Идеями коллективной жизни легко переходила в форму казарменного быта.

Подходя к общине прежде всего как к фактору нравственному, славянофилы не абстрагировались от ее хозяйственно-контрольных функций, от социальных коллизий в ее собственных недрах. Хомяков утешал себя надеждой, что до эксплуатации бедных богатыми в общине дело не дойдет: «быт деревенских миров и сила семейственного начала поставят взаимное отношение поселян между собою и общее их отношение к земледельцу на разумном основании, которого недостает народам просвещенного Запада»²⁴. Между тем его соратник по кружку Кошелев, признавая полезность общинной государственной ячейки, считал ее учреждением экономически невыгодным, а общинную поруку за проступки и долги ее членов – средневековым пережитком. Констатируя, что общинное начало – шаг к всеобщей общественной собственности, он замечал, что в казачестве «собственность частная, а не общественная имеет преимущество неоспоримое». За общину подадут голос лишь немужские и бедные, а для остальных она явится «прокрустовой кроватью». Высказывания Кошелева в переписке с Хомяковым о том, что общество «должно быть устроено в видах успеха, а не неподвижности; ...призывать сырых, больных, престарелых... но не лишать прочих возможности развивать свои силы и способности», и его приговор общине: «всякая неразделанная общинная собственность есть камень, которым люди тиснуты не вперед, а назад» – не вызвала бы возражений Белинского²⁵.

На аргументы Кошелева Хомяков отвечал, что общине приносится «в жертву не выгоды общества, а некото-

рая часть неограниченных прав лица индивидуального»; к тому же человечество не выработало равнодушного ей устройства хозяйствования: крупная английская ферма производительна, но порождает пролетариат, мелкая французская земельная собственность ведет к оскудению и отупению народа. Только община способна, распространившись и на промышленность, снять остроту борьбы между трудом и капиталом¹⁶. Самарин уже в 1840-х гг. формулировал теорию соединения западной социальной мысли с русским общинным бытом, предвосхищая тем самым концепцию общинного социализма Герцлина: «Западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всех обязательной нормы — требование общины... Это требование совпадает с нашей субстанцией... в оправдание формулы мы принимаем быт, и в этом точка соприкосновения нашей истории с западной»¹⁷.

Таким образом, славянофилы как идеологи подходили к общине отнюдь не с дворянских позиций, хотя как помещики не прочь были воспользоваться ее выгодами. В.П. Попов выдвинул предположение, что славянофилы отставляли общину как первобытную форму, отбрасывая у времени «те ценности, которые имеет всякое докалассовое общество», — равенство прав, отсутствие эксплуатации. В несвободе общинной жизни они пытались узаконить не ядро феодального строя, как то делали представители «официальной народности», а несвободу патриархально докалассового общества¹⁸. Наиболее важной кажется нам мысль, что социализм есть в известном смысле «возрождение» общества архаического типа, к которому по структуре принадлежала и русская сельская община. Поэтому «точка соприкосновения» этих состояний жизни реальна¹⁹. Общинные симпатии славянофилов обожали их с христианскими социалистами, а также с А. Бланком²⁰.

В 1840-х гг. западники смотрели на общину либо скептически (Герцен), либо сугубо отрицательно. Огарев называл ее «равенством рабства», сборищем, где

«каждый является палачом и жертвой, завистником и боящимся зависти», выражением «зависти всех против одного, общины против лица. Если на Западе идея равенства требует, чтоб всем было равно хорошо, то на миру равенство требует, чтоб всем было равно дурно»⁶¹. Белинский считал общину архаизмом, исчезающим в процессе социального роста (Т. 8. С. 333). Обобщенные мечтания славянофилов вызывали у него неприятие: в начале 1840-х гг. – своим умнением патриархальностью; в конце жизни – социалистическим привкусом⁶².

«Централизаторство» Белинского и славянофилов

В свое время А.А. Григорьев обвинял Белинского в централизаторских стремлениях, в недооценке «местных» культур⁶³. Однако Григорьевым не было отмечено, что не меньшими «централизаторами» выступали и славянофилы. Считая необходимым лишение Риги городских вольностей, которыми пользовалось немецкое дворянство, Самарин в составленной им зимой 1848/49 гг. «Записке» (о кратком изложении его работы по истории Риги) утверждал: «Первое условие существования государственного союза есть подчинение всех прав и интересов частных – как местных, так и сословных – позам общественным, и право верховной власти... решать без апелляции все вопросы... С уступкою нам с разделом этого права было бы неминуемо сопряжено уничтожение или раздвоение государства»⁶⁴. Защищая в период службы в Аляске индигенских крестьян от немецких баронов, он в отношении последних объявлял себя русофилом. Реакция Николая I на эти выступления была столь негативной, что Самарин оказался в Петропавловской крепости. Во время заключения 17 марта 1849 г. состоялась его встреча с императором, сравнившим его поведение с декабристской пропагандой: «Вы пишете... если немцы не сделаются русскими, русские сделаются немцами... Вы хотели сказать, что со времени императора Петра I и до меня мы все окружены немцами и потому сами немцы... Вы поднимали общественное мнение против правительства; это готовилось

повторение 14 декабря»⁶⁶. Царь, конечно, преувеличил дело, но желание славянофилов иметь правительство более «русское» по духу несомненно. Они не симпатизировали сепаратистским стремлениям Польши, считая ее историю наказанием за измену славян православию⁶⁶.

При этом истерно было бы подходить к «централизаторству» 1840-х гг. с современных позиций: в первой половине XIX в. возрождение государственности национальных районов, как правило, не было еще первоочередным вопросом самой истории. Белинский, сочувствуя угнетенным нациям и народам, считал, однако, малые государства благоприятной почвой для закрепления престонародных националистических инстинктов, патриархально-феодалных пережитков⁶⁷. Истоки его «централизаторства» – в убеждении, что крупные государства более восприимчивы к культуре. Отсюда его холодное отношение к «местным» литературам, не к народному творчеству, а к попыткам создания «писательской» литературы в национальных регионах на местном языке. В этих произведениях он «не находил ни достаточного общечеловеческого поэтического интереса, ни настоящего удовлетворения потребностям местного народа...»⁶⁸. Белинскому было свойственно стремление повернуть Россию лицом к развитому Западу. И хотя Григорьев утверждал, что, «разрывая связи со славянством», Белинский приобщил к космополитизму⁶⁹, думается, историческое чутье Белинского диктовало ему верную позицию. Он представлял, что груз «славянских» связей потянет страну назад, не оправдает затраченных усилий и жертв. Надо отметить, что славянофилы (за исключением Аксакова), боясь за славянские народы в их борьбе против Австрии⁷⁰, не доходящая, подобно Погодину и Ф.И. Тютчеву⁷¹, до панславизма, в чем напрасно подозревал их Николай I⁷². Что касается славянских стран с богатыми политико-культурными традициями, они, возможно, отталкивали Белинского своей нестабильностью, которая, в отличие от социальных движений Франции, представлялась ему бесплодной для мировой цивилизации. Он осуждал рос-

сийское правительство за творимые в Польше жестокости (Т. 9, С. 420–421), но относясь к польскому вопросу лишь «с гуманной точки зрения», не испытывая интереса к национальной революционности¹⁵.

Особо отметим отношение Белинского к проблеме украинской автономности. Подобно славянофилам, он не одобрял провинциализма в Кирилло-Мефодиевском обществе стремления к отделению Украины, считал, что при начавшемся процессе подготовки освобождения крестьян оно несвоевременно и играет на руку противникам реформы (Т. 9, С. 690). Восхищаясь «поэтическим и человеческим духом Южной Руси... чуждой грубости и дикости» Севера (Т. 4, С. 165), Белинский не верил в государственность Малороссии. Условием образования государства он считал расслоение общества, само же государство — плодом деятельности высшего класса, получившего возможность достичь значительного уровня цивилизованности. «Мужичьи демократии» (подобные Украине и Новгородской волынщине) остаются «пародиями» на республику, царством «неподвижно чуждых форм», не подпускающим к себе цивилизации «ближе пушечного выстрела», видимостью порядка, заключающегося «не в правах, свободно развившихся из исторического движения, но в обычае — краеугольном камне всех азиатских народов». Они могут отличаться доблестью, великодушием, простотой нравов, но не способны «образоваться в органически политическое общество», обречены равно или поздно войти в состав государств, возникших на классовой основе (Т. 5, С. 238–241). Сама культура народа, чья история была связана с «мужичьей демократией», остается в зачаточном состоянии. Примером служила для Белинского украинская литература: язык Малороссии — народный говор, которого не знало образованное общество, и не случайно писатель такого масштаба, как Гоголь, при страстной любви к Украине творил на русском языке (Т. 4, С. 418). Таким образом, корни «централизаторства» Белинского — в отрицании патриархальных «народных» демократий, осуществленных вне цивилизованных политических форм.

«Централизаторство» же славянофилов, как это ни покажется странным, имело своей основой подсознательную уверенность в силе русских национальных начал, в их способности выжить без помощи «сверху», без ограждения общества от чуждых влияний, т. е. опасение, что «русские сделаются немцами».

Просвещение

В историографии отмечалось, что славянофильство в русском варианте отразило кризис просветительской идеологии. В самом деле, оно является уникальным в общественной мысли первой половины XIX в. тем, что мало затрагивает идеи просветительства. Само дело образования заботило славянофилов меньше, чем, например, Погодина, который в период ужесточения правительственной политики в области культуры в конце 1840-х – начале 1850-х гг. обратился к царю (в 1854 г.) с протестом против непомерной цензуры, сокращения числа студентов, ограничений для вступающих в университет из податных сословий и пр.⁷⁴ Свой протест Погодин собирался подать еще в 1848 г., но его отговорила Киреевский⁷⁵, заявивший: «Не велика еще беда, если наша литература будет убита на два или на три года... в теперешнюю минуту мы все готовы жертвовать всеми второстепенными интересами, чтобы только спасти Россию от смут и бесполезной войны...»⁷⁶ В согласии с объявленным литературой «второстепенным интересом» находились и взгляды Киреевского на образование, направление которого «должно стремиться к развитию чувства веры и нравственности преимущественно перед знанием»⁷⁷. Мистический элемент славянофильской доктрины не мог не вступать в противоречие с рационалистической основой просветительства.

Идея Белинского далеко выходит за рамки просвещения, но просветительские тенденции характерны для его творчества. Утверждение, что «человек рождается не на зло, а на добро... зло скрывается не в человеке, но в обществе...» (Т. 6. С. 393), выходящее «добро» из ряда социальных, исторически формирующихся по-

ний; вера, что «все недостатки и пороки нашей общест-
венности выходят из невежества и непросвещения»
(Т. 4, С. 44–45), – диссонировали с пронизывающим ми-
росозерцанием Белинского духом диалектики. Вместе с
тем Белинский не предлагал отказываться от реформи-
рования общества, ожидая его нравственного совершен-
ства, считал необходимым начинать политическое пере-
устройство с самосовершенствования отдельных лиц.
Согласимся, что в призывах Белинского к просвещению
(когда их не противопоставляют политико-социальным
решениям) имеется и доля реализма: без интеллектуаль-
но-нравственного развития личности, в свою очередь,
забывается общественный прогресс.

¹ Асольков К.С. Поэм. собр. соч. М., 1889. Т. 1. С. 420.

² Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 12. Письма. 1840–1853. М., 1911. С. 254.

³ Там же. С. 151, 153.

⁴ Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976–1982. Т. 9. С. 467. Далее ссылки на данные издания даются в тексте с указанием тома и страниц.

⁵ Хомиков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 3. М., 1904. С. 236.

⁶ Цит. по кн.: Понев В.Д. Социальная природа и функции раннего славянофильства // Научные лекции Кубанского ун-та. Проблемы гума-
низма в русской философии. Краснодар, 1974. Вып. 184. С. 68–69.

⁷ См.: Хомиков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 8. С. 245–246.

⁸ Лавин Н.В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1986. Т. 6. С. 314.

⁹ Перетякина Н.В. Гоголь: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 414.

¹⁰ См.: Асольков К.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. С. 23.

¹¹ См.: Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 1. М., 1980. С. 5.

¹² Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1965. Т. 2. С. 398.

¹³ Асольков К.С., Асольков И.С. Литературная критика. М., 1981. С. 198.

¹⁴ Хомиков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. М., 1900. С. 44.

¹⁵ Шенников С.П. Петербургский сборник // Москвитинки. 1846. № 3. С. 186–187.

¹⁶ Понев В.Д. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 268.

¹⁷ См.: Там же. С. 272–273.

¹⁸ См.: Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 12. С. 178–180.

¹⁹ Асольков К.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. С. 13–23.

²⁰ Карлович Н.В. Поэм. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 241.

²¹ Хомиков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 3. М., 1900. С. 27–28.

²² См.: Шенников С.Е. Драматические произведения славянофилов // Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978. С. 397.

²³ Асольков К.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. С. 605.

²⁴ Соловьевский И.Ф. Проблемы взаимоотношений церкви и государства в мировоззрении А.С. Хомякова // *Славяно-философские аспекты критики романтизма*. А., 1987. С. 106–107.

²⁵ См.: Аюшков К.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. С. 617–618.

²⁶ Нильде В.Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. С. 42.

²⁷ Аюшков К.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. С. 612.

²⁸ Бердяев Н.А. Апокалипсис Степановича Хомякова. М., 1912. С. 196.

²⁹ Яков А.А. Русская идея в 2000-й год // *Несча.* 1990. № 9. С. 148.

³⁰ См.: Аюшков К.С. Поэм. собр. соч. Т. 1. С. 638–651.

³¹ Грыбовский А.Д. Собр. соч. СПб., 1901. Т. 6. С. 413.

³² Шолоховичев А.Е. Философские портреты. Нижний Новгород, 1990. С. 37.

³³ Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 457.

³⁴ Хомяков А.С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 195.

³⁵ Марш К., Энгельс Ф. Соч. М., 1970. Т. 1. С. 400–401.

³⁶ Хомяков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 3. С. 73.

³⁷ Там же. С. 116.

³⁸ Колосовское Н.П. Биографии А. Н. Кавказска. Т. 2. М., 1892. С. 103–104.

³⁹ Хомяков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 3. С. 13.

⁴⁰ См.: Шеншин Д.М. Очерки развития русской общественной-экономической мысли XIX–XX веков. А., 1948. С. 135.

⁴¹ См.: Соловьевский В.М. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 2. СПб., 1888. С. 396–400.

⁴² См.: Карповский М.В. Поэм. собр. соч. Т. 2. С. 249.

⁴³ Там же. С. 254.

⁴⁴ См.: Соловьевский В.М. Крестьянский вопрос в России... Т. 2. С. 399, 405–412.

⁴⁵ См.: Дубининская Е.А. Общественная и политическая деятельность славянофила Ю.Ф. Самарина в 40–50-е годы XIX в. // *Исторические записки*. М., 1994. Вып. 110. С. 326.

⁴⁶ См.: Давыдов Н.А. Очерки русской экономическо-политической мысли периода падения крепостного права. М., 1926. С. 230, 233.

⁴⁷ См.: Соловьевский В.М. Крестьянский вопрос в России... Т. 2. С. 418, 426.

⁴⁸ См.: Дмитриев С.С. Подход должен быть конкретно-исторический // *Вопросы литературы*. 1969. № 12. С. 80–82.

⁴⁹ Андреев В. Раннее славянофильство // *Вопросы истории и экономики*. Симоник, 1992. С. 73.

⁵⁰ См.: Навин-Рязанский Р.В. История русской общественной мысли. СПб., 1911. С. 354.

⁵¹ Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 1. С. 34–35.

⁵² Хомяков А.С. О старом и новом. С. 164.

⁵³ Хомяков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 3. С. 71–72.

⁵⁴ Там же. С. 84.

⁵⁵ Колосовское Н.П. Биографии А. Н. Кавказска. Т. 2. С. 104–105.

⁵⁶ Хомяков А.С. О старом и новом. С. 165, 164–166.

⁵⁷ Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 1. С. 63.

⁵⁸ Погов В.П. Славянская природа и функция раннего славянофильства. С. 61, 71.

⁷⁰ Поном В.П. Развитие славянофильства как эстетический феномен и проблема человека // Научные доклады Кубанского ун-та. Проблемы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974. Вып. 184. С. 105, 108.

⁷¹ См.: Блан А. История революции 1848 года. СПб., 1907. С. XXVII.

⁷² Гершен Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1956. Т. 3. С. 9.

⁷³ См.: Мухомов-Резниченко Р.К. В.Г. Белинский. Пр., 1918. С. 161; Федин М.М. Мысли о русской литературе. М., 1965. С. 109–110.

⁷⁴ См.: Григорьев А.А. Собр. соч. М.; Пр.; Казань, 1915. Вып. 3. С. 89.

⁷⁵ Цит. по кн.: Мельде В.В. Юрий Самарин и его время. С. 42.

⁷⁶ Там же. С. 48.

⁷⁷ См.: Колмаков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 3. С. 138.

⁷⁸ См.: Аношкин П.В. Литературные воспоминания. М., 1899. С. 218–219.

⁷⁹ Пыляк А.М. Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1908. С. 471.

⁸⁰ Григорьев А.А. Собр. соч. Вып. 3. С. 99.

⁸¹ См.: Колмаков А.С. Поэм. собр. соч. Т. 8. С. 149.

⁸² См.: Мисюта-Мамонтов Т. Россия и Центральная Европа по взглядам славянофилов // Византизмские исследования. М., 1992. Вып. 16. С. 24–25, 30–32.

⁸³ См. ответы Н.С. Аношкина на предложенные ему вопросы при его аресте в марте 1849 г. с пометками Николая I (Сухомлинов В.Н. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1899. Т. 2. С. 505, 510).

⁸⁴ Аношкин П.В. Литературные воспоминания. С. 248.

⁸⁵ См.: Варецкий Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. 13. СПб., 1899. С. 161–162.

⁸⁶ См.: Там же. Т. 9. С. 302–304.

⁸⁷ Карловский М.В. Поэм. собр. соч. Т. 2. С. 249.

⁸⁸ Карловский М.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 391.

Е.Ю. ТИХОНОВА

**Понятие личности
в сочинениях Белинского**

Понятия, обозначающие личностное начало, в лексике Белинского весьма многочисленные: личность, человек, индивид, индивидуальность, субъект, Я, конечное, субстанция, самость. С обсуждением проблем персонализма тесно связаны также понятия: любовь, эгоизм, прекраснотушность, внутреннее, нормальность, простота, непосредственность, разум, чувство. Личность всегда исследуется в контексте взаимодействий с Общим в различных ипостасях: Бог, Абсолютный дух, действительность, универсум, общество, государство, нация, человечество. В язык Белинского вошел «словечки», принятые в кружке Н.В. Станкевича 1830-х гг.: прекрасная душа, добрый малый, падение, идеальность, призрачность, винкание [смысловывание, самокопание] и т.д.

Вопрос о законности протеста человека против объективных сил поставлен уже в студенческой пьесе «Дмитрий Каляинин» о судьбе крепостного интеллигента. Но остается без ответа: герои не могут решить, является ли субъект «ничтожной пылинкой» в гармонии вселенной или имеет право выступить с «ухомом на Бога, как на тирана, который утешается воплями своих жертв...»¹.

Первые годы критической деятельности Белинского прожиты под влиянием учения Шеллинга. Согласно ему, природа через «Я» стремится к самопознанию, вершина которого – художественное творчество. Из шеллингианства Белинский вывел идею воплощения в жизнь Абсолютного идеала путем борьбы и жертвенности личности: «Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает само идею своим умом и знанием, да приобщается

к ее жизни и живому и горячему сочувствию, да разделяет ее жизнь и чувство бесконечной, изжженной любовью!² Субъекту, не способному вместить в себя целый мироздания, присущ эгоизм, с которым необходима борьба: «подави свой эгоизм, попри вогами твою своскорастное я...»³ С индигидом связаны и эстетические представления Белинского. В выданнутой в 1835 г. теории идеальной и реальной поэзии последняя является античной, отображающей жизнь человека, тогда как идеальная поэзия провозглашает ту или иную общественную норму. Индигид стоит в центре таких родов поэзии, как драма («Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека, а драма представляет этого человека в его вечной борьбе с своим я и с своим назначением...»⁴), и таких жанров, как роман и повесть.

Интерес к нравственным проблемам привнес Белинского в 1836 г. к мало известному в России фихтеанству. По Фихте, «Я» творит актом воображения внешний мир – арену его преобразовательской деятельности, которая и провозглашается истинной реальностью. Белинскому более всего созвучна мысль Фихте о нравственном и социальном освобождении личности. Индигид воспринимается в идеальном облике, «когда наше Я, соприкасаясь к общей жизни вселенной, переносит ее в себя и, усиленное, углубленное до бесконечности, живет новою, усиленную жизнью»⁵. Моральный ригоризм приводит к утверждению героизма нормой поведения. Согласно фихтеанскому приоритету намерения над результатом поступка, Белинский отдает предпочтение человеку, интенсивно стремящемуся к совершенству, перед тем, кто достиг более высокой ступени, но остановился в развитии: «...кто... ежеминутно не улучшается... тот подл, хотя бы он был выше тысячи людей...»⁶ Отвергается посредственность, усредненность, обывательское здравомыслие, умеренность в темпераменте и суждениях. Выполнение долга провозглашается наслаждением. Личность бессмертна: окончание земного существования – переход не в покой рай, а к высшей форме борьбы. Людей роднит лишь единство взглядов – «сознание самого себя

в другом субъекте»¹. Отношение к личности пронизано нравственным максимализмом, радикально-просветительской идеей превосходства должного над сущим.

Термин «личность» практически не используется Белинским в 1834–1836 гг.; синонимом его выступает слово «человек», например: в середине века «родилась идея человека, существа индивидуального, отдельного от народа...»; герой реальной поэзии «есть человек, существо самостоятельное, свободно действующее, индивидуальное...»².

В 1837 г. Белинский все более разочаровывается в могуществе субъективного Я. Но, отвергая социальную революционность Фихте (социальный прогресс состоит в просвещении и самосовершенствовании – «Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства – тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею странною в мире»³), он гораздо медленнее отказывается от убеждения во владычестве интеллекта над материей. В переписке этого времени индивид предстает как «мысль, одетая телом; тело твоё спит, но твоё Я останется, следовательно, тело твоё есть призрак, мечта, но Я твоё сущственно и вечно»⁴. Мир вещей случаен; внутренняя жизнь человека логична и целесообразна. Вместе с тем в спорах Белинского с другом по кружку М.А. Бакуниним фихтеанское мирозерцание дает всё больше трещин. Вообще их полемике можно рассматривать как столкновение реалистического и романтического восприятий человеческого бытия. В 1830-х гг. на фоне абстрактного этического максимализма Бакунина Белинский анализировал психологию личности в ее общественных проявлениях; в конце 1840-х гг. революционной вере Бакунина в народ он противопоставил надежду на деятельность личности – на появление в России царя-реформатора.

Бакунин говорил, что достойная личность всегда пребывает в просветлении, которое не могут смутить внешние обстоятельства. Отходка на внешнее есть уступка морали толпы. В целом Белинский соглашался с этим,

разделяя людей в 1837 г. на два «класса»: «скотов» и индивидов с любовью в душе¹¹. Человек толпы, по терминологии кружка, призрак или «добрый малый». Выше него стоит «прекраснодушный» (способный преобщиться к жизни духа в мигновом порыве, но подверженный «падением» – сомнению в достижимости идеала). Бакунин максималистски признавал Человеком лишь обладателя истины, обладав «прекраснодушным» презрением; Белинский ценит уже само стремление к истине: «Но когда я вижу человека с зародышем чувства, то как бы глубоко ни пал он... он брат мой, и я не могу презирать его»¹². В противовес Бакунину, отстаивавшему постоянство блаженства, которого не должно смущать временное и исторически бессильное зло, Белинский писал о закономерности страдания индивида. Это был шаг к переходу от фиктского постулата (личность – творец мира) к стоическому принятию объективного.

В переписке Белинского 1837 г. термин «личность» по-прежнему встречается редко, например: «Ты должен быть равнодушен к обиде твоей личности; ты должен быть равнодушен только к оскорблению истины...»¹³.

В период «примирения с действительностью» (1838–1839 гг.) Белинский рассматривал субъекта в качестве органа самосознания Абсолюта: «Человек есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выражением которого служат его личности»¹⁴. В политическом аспекте Белинский безоговорочно подчиняет субъекта общественно-государственной структуре. Считая самодержавие идеальной властью в России, он заимствует идею Гегеля о монархии как личностном способе правления: в персоне царя происходит «акт снятия частных индивидуальностей в общем сознании своей государственной личности и самости»¹⁵. Республиканское же правление не имеет личностного характера: «...идея этого государства есть условный символ, без сущности и личности...». Термин «личность» употребляется здесь в философском контексте синонимично понятиям: «субъективность», «частное выражение общего», «конечное проявление бесконечного»¹⁶.

Нация проходит стадии детства, юности, зрелости, старости – «народ есть личность как отдельный человек»¹⁷. Но Дух человечества не замыкается в этих повторяющихся кругах, а прогрессирует, воплощаясь в народе, который на данный момент достиг расцвета.

Вместе с тем интерес к действительности, разбуженный реализмом Гегелем, приводил Белинского к пристальному взгляду на индивидуальность человека, к мысли, что «всякий человек есть явление самообытное и может жить и развиваться только в своих формах»¹⁸. Отдавая личносте под опеку общих установлений, Белинский одновременно провозглашал ее ценность, упрекая друга-врага Бакунина: «...идея для тебя дороже человека»¹⁹. Однако на долю личностных проведений оставалась лишь область внутренне-интимного. Отсюда вытекало и понимание Белинским религии, не только как приобщения человека к Мировой идее, но как оправдания и прощения деяний, которые в реальной жизни подлежат приговору Высшего разума: «Да, пока человек в сфере общего – я сужу его, я претендую знать его; но как скоро из сферы общего уходит он в сокровенные тайники своей индивидуальности – я могу о нем только скорбеть и молиться, могу его только прощать...»²⁰.

Вступая в противоречие и с фихтевской боязнью природного, и с гегелевским возвышением разума, Белинский поднимает на щит органику и естество индивида. Вращение в действительность чувством продуктивнее рассудочного знания. В конце 1830-х гг. отвергается нравственный ригоризм, объединявший личность: «Долой ярмо долга, к дьяволу гнилой морализм и идеальное режонерство! Человек может жить – всё его, всякий момент жизни велик, истинен и свят!»²¹ В связи с этим Белинский не принимал в то время творчества Шлегеля: «Тут вмешалась личность – Шлегель тогда был мой личный враг... За что эта ненависть? – за субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекраснуюдушную войну с действительностью...»²²

В переписке 1838–1839 гг. термин «личность» обычно заменяют слова: человек, я, субъект, индивидуальность и т.д. Исключений немного, например: «Тогда я думал, что не личность, не непосредственность человека заливывает узда дружбы: я стремился к высокому, ты также, следовательно, ты мне друг...»²³ Встречаются и необычные персоналистические термины: «...ты [Бакунина] гнешь чужие самостоятельности»²⁴.

Уже в конце 1837 г. изменяется трактовка Беллинским термина «прекраснодушие». Ранее оно вменялось в вину субъекту как личная слабость. Теперь «прекраснодушие» признается необходимым моментом развития: переходом из младенческой непосредственности во вражду с реальностью, а затем к зрелому примирению с жизнью.

В 1838 г. в спорах с Бакуниным Беллинский вновь меняет определение «прекраснодушия». Прежде оно отождествлялось с неуменiem (постоянным или временным) возвыситься до идеала. Теперь в лексике Беллинского появляется словосочетание «идеальное прекраснодушие» – потеря такта действительности, жертва «действительной святостью чувства» во имя «мертвой, абстрактной мысли»²⁵. Прекраснодушному «герою» противопоставлен реализированный «доброй малый», человек «толпы», которая при всей своей примитивности и безликости является реальностью. Однако антиподом «травы» выступает все же не «пошляк», а человек, наделенный тремя добродетелями: простотой, непосредственностью и нормальностью. Простота – отсутствие рисовки, фразерства, оригинальничанья; непосредственность – инстинктивное понимание действительных отношений; нормальность – сила и свежесть здоровых чувств.

Особенность понимания Беллинским «действительности» связана с сомнением в ее разумности. Бакунина и Станкевич повторяли за Гегелем, что действительность – воплощение Абсолютного, зачисляя ее случайные, изменчивые, нелогичные явления в разряд призрачного, несуществующего. Беллинский, расходясь с Гегелем, включал в рамки действительного всё наличное бытие.

Оно представлялось ему чудовищем, уничтожающим непокорных. Таким образом, Белинский, в сущности, выводил из «действительности» абсолютность и божественность, – Высший разум рождает чудовище. Это позволяло вскоре поднять вопрос о безнравственности и антигуманности Абсолюта в отношении к человеку. Конституируя бесполезность сопротивления Общему, Белинский сочувствует личности: «...пусть отнимется у меня язык, которым я говорю, рука, которою я пишу, если я тем или другим изрек приговор падшему ближнему». Но, провозглашая действительность всемогущей, Белинский не оставлял выхода для индивида: «Рано или поздно, но покрет она всякого, кто живет с ней в разладе и идет ей наперекор»²⁶.

Таким образом, в период «примирения с действительностью» Белинский, отставив полноту чувственной природы и спонтанность единичного, всецело подчинил его сложившемуся мироощущению, и, возмущаясь бесчеловечностью Общего, в то же время лишил личность права протеста и даже ухода от реальности во внутренние переживания и грезы.

«Прекраснодушие» – изменчивая категория в философии Белинского. В 1840 г. он пришел к выводу, что «прекраснодушие и призрачность не одно и то же»²⁷. Человек, не умеющий сознать правоту большинства, выражающего закономерный момент развития Идей, по-прежнему считается незрелым. Но Белинский склонен уже одобрить восстание против объективного, если только оно вытекает не из ума, а из чувства. Так, головному недовольству Чацкого, искусственному умничанью противопоставлены живучие страдания Печорина, его страстное, «бешеное» неприятие зурядности²⁸. Это действительное прекраснодушие – величайший момент личностного становления.

В общетеоретическом плане Белинский по-прежнему определяет всякое индивидуальное явление как выражение Общего в отдельном: «Общее и безразличное стало в нем частным и особым, чтобы через эту частность и особность снова возвратиться к своей общности, со-

зная ее. Закон обособления и замкнутости в частном явлении общего есть основной закон мировой жизни»²⁰. Однако частная жизнь индивида становится для Белинского всё более значимой: «...права личного человека так же священны, как и мирового гражданина...». Страдания, слабости, колебания «конечного» уже не квалифицируются как отступничество от Духа: «...кто на воле и судорожное сжатие личности смотрит свысока, как на отпадение от общего, тот или мальчик, или змеист, или дурак...»²¹. Отметим, что в 1840-х гг. термин «личность» встречается в статьях и письмах Белинского чаще, чем в ранних произведениях.

О важности для Белинского индивидуального существования говорит и направление его физического уничтожения, мысль о тщетности жизни была для него нестерпимой. В 1840 г. единственным оправданием Общего остается вера в бессмертие души. Но она все более истончается, обращаясь в «дым фантазий». Белинский писал в связи со смертью Станкевича: «...казалось невозможным, чтобы смерть осмелелась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить ее в ничтожество»²².

К октябрю 1840 г. Белинский отказался от «примирения с действительностью», знаменем чего стало провозглашение человека не средством, а целью и мерою развития универсума: «Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества»²³; «судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира»²⁴. На данный момент прогресс превращается для Белинского в «надувателя и палача бедной человеческой личности»²⁵, с которой снимается вина за грех и преступление, спровоцированные действительностью: «Нами управляет жизнь, мы небольшие ее орудия – пусть же она сама и расклевывается с самою собою»²⁶. Отметим, однако, что эти мысли далеки от толстовского отрицания права общества карать индивида: Белинский освобождает от ответственности «внутреннюю», а не «внешнюю» личность, оставляет приверженцем закона и противником анархических

тенденций. Следует также сказать о различии между статьями и письмами Беллинского в вопросе о личности. Так, в письме В.П. Боткину он выражает возмущение законом трагической коллизии, согласно которому герой страдает и в случае следования долгу, и в случае измены ему: Общес использует героя – «благороднейший сосуд души» – как «самого жирного барана для заклания»²⁶. В статьях он решает данный вопрос с гегелевских позиций, обосновывая необходимость страдания героя: «...без этого падения или этой гибели он не был бы героем, не осуществил бы своего личностное вечных субстанциальных сил, мировых и непреходящих законов бытия»²⁷.

Беллинский вскоре почувствовал, что избавленная от требований Общего личность повисла в воздухе, а круг ее интересов замкнулся на интимной сфере. Сознывая, что без осуществления во внешней жизни мир души человека «есть мир пустоты, миражей, мечтаний»²⁸, он ищет выхода в реальность и находит его в идее социализма. Социализм этот имеет персоналистический характер, окрашен в романтические и религиозные тона, близкие западному мистическому социализму Ж. Санд и П. Леру, его задача – не освобождение угнетенных классов, а «возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам Спаситель сойдет на землю и страдал на кресте за личного человека»²⁹.

Признавая личность приоритетным субъектом истории, Беллинский в первой половине 1840-х гг. допускает революционное насилие: «Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью»³⁰. Оно оправдывается для Беллинского безжалостностью Общего к отдельному существу: «...политико-экономический баланс природы или Провидения – насыщая, как хочешь» позволяет хладнокровно умертвить 99 младенцев из 100, поскольку они не годятся «на пьезы». Сам Бог теряет право укорять человека за кровь и террор: в жизни, пропитанной смертью, Бог и человек равно предаются оргии истребления, «где гроб и обезглавленный труп – не более как орнаменты торжественной залы»³¹.

В начале 1840-х гг. Белинский пересматривает соотношение «разум – чувство». Если в период «примирения» ведущими были непосредственность, органичность, инстинкт, то теперь они отождествляются с покорностью авторитету, со следованием обычаю. Разум, подрывающий предание, провозглашается лучшим даром человека. Враждебность к чувству – своеобразная форма антитрадиционализма. При этом страсть, как чувство, не связанное с ценностями патриархального быта, остается для Белинского благим свойством души.

В одной из рецензий Белинский коснулся понимания его современниками персоналистических терминов. Слова «субъект», «индивидуум», «индивидуальный» считались книжными и даже в философских сочинениях напавшая «газуменье невежд», но слово «личность» уже получило право гражданства в русском языке¹². Сам Белинский определял понятие «личность» как «чрезвычайную форму разумного сознания»¹³.

Нацию и человечество Белинский воспринимал персоналистически, полагая, однако, что личностное начало присуще лишь европейским народам. Но при принадлежности русских к европейскому сообществу, развитие личности шло у них своеобразно; в допетровской Руси «личность никогда и ничего не значила, но всё знача род...»¹⁴. Разделение общества в Средние века не привело у нас к образованию аристократии, рыцарства (которые в Европе стали средой формирования личности): «В этом чересчур простом обществе не было жизни, разнообразия, потому что личность человека поглощалась этим обществом, и каждый должен, обязан был жить, как жила все, а не как указывал ему его разум, его чувство, его наклонности»¹⁵. Всё шло сверху вниз, и личность зарождалась на троне. Дальнейший прогресс нации – в развитии личностного начала в обществе и народе, на которое Белинский смотрел оптимистически: «Русская личность пока – эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкосты!»¹⁶ Задачу истории как науки Белинский видел в том, чтобы «представить человечество как инди-

видуум, как личность и быть биографией этой „идеальной личности“⁴⁷.

Беллинского дилетат Беллинский считает индивидуальным выражением исторического момента, «общество-реальной идеей, „личным общим“ своего времени»⁴⁸. Он подчеркивает связь гениальности с личностным началом, с самобытностью индивида: «...гений есть высочайшее развитие личности»⁴⁹. Отметим, что в конце жизни понятие личности для Беллинского усложняется, становится шире гегелевских определений и воспринимается как нечто движущееся в процессе бытия: «Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой всё – или фантастическая мечта, или логическая отвязченность?... чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умом определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь...»⁵⁰.

В конце 1840-х гг. Беллинский отходит от социалистической ориентации, выступая активным поборником буржуазных реформ. Это влечет новый пересмотр идей персонализма. Чувственная сторона индивида вновь обретает для Беллинского важнейший смысл, хотя теперь он ищет гармонического сочетания разумного и естественного. Личность не исчерпывается интеллектом, но ум способен принимать свойства натуры конкретного индивида: «Ум – это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность. Оттого на свете столько умов, сколько людей, и только у человечества один ум»⁵¹.

Борьба с романтизмом приводит Беллинского к новому пониманию эгоистичности человеческой природы. Эгоизм позитивен, так как способствует самостоятельному развитию личности перед поглощением средой и государством. Единственным способом прогресса является окультуривание эгоизма путем осознания единства личных целей человека с целями его группы, класса, нации и, наконец, человечества. Укрепление чувства солидарности с себе подобными – дружба и гарантии социальных завоеваний.

В преобразовательских потенциях низших слоев Белинский разочаровался: «Где и когда народ освободил себя? Всегда и всё делалось через личности»⁵². Но роль народа, в его представлении, огромна. «Народ – сила охлестывающая, остужающая пыл «героев», не дающая им новаторству выродиться в опасный для общества волюнтаризм, в крушение основ общественного бытия. «Народ – почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность – цвет и плод этой почвы»⁵³. В Европе реформы надо ждать от представителей буржуазии, если их корыстные расчеты удастся контрбализировать интересами других социальных групп. В России реформы возможны усилиями преобразователей на троне при поддержке интеллигентской элиты. Субъектом социального движения провозглашалась личность, действующая на базе сложившихся отношений. При этом общественная теория Белинского носила не классовый, а всенациональный характер и прежде всего подразумевала благо отдельного человека: отмена крепостного права, сословности, телесных наказаний, упорядочение правовых отношений призваны были расширить базу формирования личности, вернуть ей «человеческое достоинство, оскорбляемое с умыслом и еще больше без умысла»⁵⁴, дать простор ее духовной жизни.

Проблема личности опосредованно попала и в центр спора Белинского со славянофилами. Белинский считал индивидуальное и общественное равно важными элементами в бытии человечества, славянофилы же стремились растворения единичности в целом, подчиняя ее общине, патриархальной норме, идеалам коллективизма. Белинский называл прогрессом развитие субъекта до личности; славянофилы, напротив, связывали усложнение личности с эгоизмом, с утратой цельности и соборности. Главной движущей силой истории Белинский считал интеллигенцию (хотя самого этого термина он не знал), славянофилы призывали образованных людей раствориться в народе, проникнуться его духом и традициями.

Обращенность к индивиду – определяющее звено мирозерцания Белинского, придающее ему демокра-

тическое и гуманистическую направленность.

В дореволюционной историографии либерального направления тема защиты личности провозглашалась центральным звеном философии, социологии и этики Белинского. Одним из первых исследователей восприятия взаимоотношений личности и общества в мирозерцании «идеалистов» 1830-х гг. стал П.Н. Милосков («Любовь у «идеалистов» тридцатых годов», 1895–1896). В «Очерках из истории русской литературы XIX века» (1902) Е.А. Соловьев рассматривал роль Белинского в освобождении русской личности от поглощения государственными целями. Д.Н. Овсяннико-Куликовский в «Истории русской интеллигенции» (1903–1910) трактовал идейные искания Белинского как составную часть процесса зарождения интеллигенции в России. В «Истории русской общественной мысли» (1906) Р.В. Иванов-Разумника Белинский был поставлен в центр борьбы русской интеллигенции со всеми видами «мещанства» за человеческую индивидуальность.

В советской историографии вопрос о связи Белинского с проблемами персонализма затрагивался лишь косвенно при изучении его этических и эстетических взглядов. Исключением стала работа А.Я. Гинзбурга (Человеческий документ и построение характера: О психологической прозе. А., 1977), где личностное становление членов кружка Н.В. Станкевича, в частности Белинского, отраженное в их переписке, анализировалось как важный элемент развития реализма в русской литературе.

¹ Белинский В.Г. Дмитрий Кавказец [1830 г.] // Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 1. С. 464.

² Белинский В.Г. Литературные впечатления [1834 г.] // Там же. С. 30.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 79.

⁵ Белинский В.Г. Опыт системы нравственной философии. Сочинение... Алексей Дроздова [1836 г.] // Собр. соч.: В 9 т. М., 1976–1982. Т. 1. С. 335.

⁶ Там же. С. 331.

⁷ Там же. С. 336.

⁸ Болынский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя [1835 г.] // Письм. собр. соч.: В 12 т. М., 1953-1959. Т. 1. С. 265, 267.

⁹ Болынский В.Г. Письмо Д.П. Иванкову. 7 августа 1837 г. // Там же. Т. 11. С. 146.

¹⁰ Там же. С. 146.

¹¹ Болынский В.Г. Письмо М.А. Бакунину. 16 августа 1837 г. // Там же. С. 161.

¹² Там же.

¹³ Болынский В.Г. Письмо Д.П. Иванкову. 7 августа 1837 г. // Там же. С. 147.

¹⁴ Болынский В.Г. Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 году). Сочинение Ф. Глинка [1839 г.] // Там же. Т. 3. С. 340.

¹⁵ Болынский В.Г. Бородинская годовщина. В. Жуковского... Письмо из Бородина от безумного к безумному изумлению [1839 г.] // Там же. С. 247.

¹⁶ Болынский В.Г. Очерки Бородинского сражения... // Там же. С. 336, 340.

¹⁷ Там же. С. 325.

¹⁸ Болынский В.Г. Письмо М.А. Бакунину. 13-15 августа 1838 г. // Там же. Т. 11. С. 273.

¹⁹ Болынский В.Г. Письмо М.А. Бакунину. 12-24 октября 1838 г. // Там же. С. 336.

²⁰ Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 10-16 февраля 1839 г. // Там же. С. 353-354.

²¹ Болынский В.Г. Письмо Н.В. Станиславичу. 29 сентября - 8 октября 1839 г. // Там же. С. 368.

²² Там же. С. 368.

²³ Болынский В.Г. Письмо М.А. Бакунину. 12-24 октября 1838 г. // Там же. С. 329.

²⁴ Там же. С. 332.

²⁵ Там же. С. 322, 330.

²⁶ Болынский В.Г. Письмо М.А. Бакунину. 10 октября 1838 г. // Там же. С. 287.

²⁷ Болынский В.Г. Письмо М.А. Бакунину. 26 февраля 1840 г. // Там же. С. 481.

²⁸ Болынский В.Г. Горой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова [1840 г.] // Там же. Т. 4. С. 266.

²⁹ Там же. С. 303.

³⁰ Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 16 декабря 1839 г. - 10 февраля 1840 г. // Там же. Т. 11. С. 426-427.

³¹ Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 12 августа 1840 г. // Там же. С. 534.

³² Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 4 октября 1840 г. // Там же. С. 534.

³³ Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 1 марта 1841 г. // Там же. Т. 12. С. 23.

³⁴ Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 13 марта 1841 г. // Там же. С. 32.

³⁵ Болынский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 10-11 декабря 1840 г. // Там же. Т. 11. С. 571.

²⁰ Белинский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 12 августа 1840 г. Там же. С. 538.

²¹ Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и нады [1841 г.] // Там же. Т. 3. С. 34.

²² Белинский В.Г. Письмо Н.А. Валушкину. 9 декабря 1841 г. // Там же. Т. 13. С. 76.

²³ Белинский В.Г. Письмо В.Л. Боткину. 10–11 декабря 1840 г. // Там же. Т. 11. С. 577.

²⁴ Белинский В.Г. Письмо В.П. Боткину. 8 сентября 1841 г. // Там же. Т. 12. С. 71.

²⁵ Белинский В.Г. Письмо В.Л. Боткину. 13 апреля 1842 г. // Там же. С. 97.

²⁶ Белинский В.Г. Проклятые русские В.А. Васильева [1845 г.] // Там же. Т. 9. С. 226–227.

²⁷ Белинский В.Г. Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская народная поэзия [1845 г.] // Там же. Т. 3. С. 653.

²⁸ Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статьи разные [1845 г.] // Там же. Т. 7. С. 507.

²⁹ Белинский В.Г. Русская литература в 1845 году // Там же. Т. 9. С. 383.

³⁰ Белинский В.Г. Письмо В.Л. Боткину. 8 марта 1847 г. // Там же. Т. 12. С. 350.

³¹ Белинский В.Г. Руководство к истории истории. Сочинение Фредрика Арендса [1842 г.] // Там же. Т. 6. С. 93.

³² Белинский В.Г. Статьи о народной поэзии. [1841 г.] // Там же. Т. 3. С. 315.

³³ Белинский В.Г. О жизни и сочинениях Кольцова [1845 г.] // Там же. Т. 9. С. 530.

³⁴ Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Там же. Т. 10. С. 28.

³⁵ Там же.

³⁶ Белинский В.Г. Письмо П.В. Анисимову. 15 февраля 1848 г. // Там же. Т. 12. С. 467–468.

³⁷ Белинский В.Г. Семейное чтение. – Книга четвертая [1848 г.] // Там же. Т. 10. С. 368–369.

³⁸ Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Там же. С. 323.

Г.Ю. КАРПЕНКО

**Творчество В.Г. Белинского в свете
философии видения
и эстетики преображения**

Современная культура совершенно несправедливо обошлась с творчеством В.Г. Белинского: его почти совершенно забыла. На недавнем историческом переходе – в 1980–2000-е годы – с «великим критиком» («властителем дум властителей дум») произошло непредсказуемое превращение: победитель «там», он вдруг оказался проигравшим и забытым «здесь». «Там» он успешно боролся с Ф. Булгариным, О. Сенковским, Н.Полевым, С. Вурцком, со славянофилами и даже с самим собой, подчиняя все свои усилия созданию реалистического направления в русской литературе и критике, а «здесь» – в культурном пространстве современной России – его практически нет. «Последующая судьба Белинского, судьба его творческого наследия», как справедливо пишет И.П. Щербалкин, оказалась «еще ужаснее», чем жизнь, полная невзгод и страданий¹.

Однако, несмотря на то, что, как считает И.А. Волгин, сегодня «спор о Белинском бесперспективен»², нельзя утверждать, что «классическое наследие» Белинского архивно, что оно неактуально и исчерпало свой идейно-эвристический потенциал. Творчество критика – удивительное явление национального духа, еще в полной мере не разгаданное до конца. Глубина и концептуальность идей Белинского настолько впечатляют, что возникает естественная потребность назвать его не только первым критиком, но и первым русским философом, явившим особый тип мышления «в делах жизни»³ и во многом определявшим развитие в России литературно-художественного и философского сознания

XIX–XX веков. И сегодня – в 200-летнюю годовщину со дня рождения Белинского – остаются справедливыми высказывания Г.В. Плеханова и Н.А. Бердяева: «Белинский является центральной фигурой во всем ходе развития общественной мысли»⁴; «Белинский – центральная фигура в истории русской мысли и самосознания...»⁵.

Можно утверждать и большее. Многие идеи Белинского относятся к разряду «мировых событий», к которым причастно только то, что соотносится с «вечностью идеального» и обладает способностью напоминать о себе всегда – во все времена – продуктивной жизнеисполнительностью. Приписать творческое наследие критика к разряду «вечности идеального» позволяют масштаб и характер утверждаемых им мыслей и концепций. Современная культура до сих пор нуждается в энергии того «парыва» идей, который представляет собой творчество Белинского, и, вслед за В.Н. Топоровым, с грустью отзывавшимся о нашем непонимании грандиозных замыслов русского Слова, следует сказать, что, не проиння чуткости, мы прощали много «тех залогов, которые были нам даны»⁶.

К сожалению, к творчеству Белинского чаще всего относились и относятся как к критическому наследию, рассматривают его критику в ее основной «производственной» функции – в функции оценки, вынесения эстетического приговора. Между тем в своем творчестве Белинский выступает и как мирозадающий художник: он творит мир, создает образ мира, утверждает некие неизбывные – антропологические и духовно-онтологические – основы отечественной культуры, без которых «ничто не начало быть, что начало быть» (Иован. 1: 3).

Рассмотрение в творчестве Белинского состояний «эстетической жизнеисполнительности», придающих человеку и миру характер извечной устойчивости в модусах истины, блага и красоты, является задачей данной статьи.

Как видно из высказываний Белинского, его ценностно-познавательная установка определялась пониманием мира как Творения, а жизни как «жизнестудожества». Другими словами, исходная – «предпосылочная» – точка

зрения Беллинского связана с убеждением в изначальности совершенства мира, с ощущением-переживанием того, что мир – божий и «божий мир прекрасен»: «Посмотрите на бесконечный океан, на глубокий шатер неба, на ослепленные облаками горы: на них не написано ни одной буквы о величии божием, ни одного предписания о поклонении ему, – а между тем, как громко, как внятно и торжественно говорит она душе человеческой о величии Господа и каким благоговением, какою любовию исполняют к нему сердца!» (Т. 5. С. 221)

В эпоху Беллинского такая убежденность в совершенстве творения была не только «наследием веков», освященным Библией и античной культурой, но и научными событиями эпохи, нашедшим свое яркое выражение в философии видения и в спорах о способности видеть гармонию мира.

Чтобы понять эстетико-мировоззренческие пристрастия Беллинского, увидеть их укорененность в эпохе, необходимо обратиться к философскому и культурно-историческому контексту.

Показателем спор, разгоревшийся в феврале – марте 1836 года между двумя энтомологами, специалистами по насекомым, Жюзефом Кювье и Жоффруа де Сент-Илером. Как отмечает Гёте, описывающий этот спор в статье «Принципы философии зоологии», два специалиста по насекомым являл два образа мышления. Сент-Илер исходил из того, что человек в своем внутреннем сознании хранит целое. Оппонировавший ему Ж. Кювье не допускал возможности такого урезания целого и считал «незаконным притязанием... хотеть признать и познавать то, что нельзя видеть глазом, что нельзя осязательно представить себе»⁷. Для него такое допущение было «поэтической метафорой», не имеющей ничего общего с наукой⁸. Сент-Илер, напротив, утверждая, что не видимое глазом только глазом и видится: наблюдения за разными стадиями развития бабочки из личинки как раз доказывают (показывают), что в ее зримо изменяющихся формах сохраняется нечто общее, составляющее ее живой, теплый образ, гармонично

внутреннего, без чего была бы невозможна и гармония внешнего. Кюве же по-кантовски считал немощью урезать сверхчувственное там, где ни глаз, ни логические категории ничего не «схватывают».

Белинский, казалось бы, не имеющий никакого отношения к энтимологическим спорам эпохи, все же впитал их философско-эстетический дух и в полной мере отразил в своем творчестве то, что связано с видением духовно-органического. Критик отстаивает идею «реальности» духовно-органического, и образом такого «видения невидимого» для него служат процесс рождения бабочки. Выделяя в структуре бытия «лермонтовский элемент», который «открывает собою новые, дотоле невиданные миры», Белинский замечает: «Тут, кажется, соприсутствуешь духом таинству мысли, рождающейся из ощущения, как рождается бабочка из некрасивой личинки» (Т. 5. С. 452).

Творческая энергия откровения Белинского о «мысли-бабочке» настолько ошеломляет, что для его осмысления и перевода на описательный язык понятий и логико-метафорических впечатлений необходимо не только специально сосредоточиться на семантико-философских особенностях высказывания, но и учесть в аспекте рассматриваемой фразы научные сведения того времени об изменениях в живой природе. В приведенном высказывании критика как будто нарочно сфокусировались, сошлись в «точке бабочки» все ключевые слова культуры, ее умовые проблемы. «Эпизод с бабочкой» является своеобразной эмблемой эпохи, ее показательным интеллектуальным событием. Активный участник интеллектуальной жизни Европы, биолог и историк Ж. Мишле пишет: «Анатомия насекомых была темой одного из величайших диспутов нашего века»³. Мотив «рождения бабочки из некрасивой личинки» имел не только энтимологическое значение. С ним был связан целый комплекс натурфилософских, философско-эстетических настроений и переживаний. Слова Белинского, относящиеся к Лермонтову, доносят до нас дыхание как того времени, так и чего-то большего.

Пусть не путает «дерзкая» возможность несметафорического сочетания личинки-существа и бабочки-мысли, их взаимных сопряжений и последующих превращений. С точки зрения «жизнехудожества» тело, органические силы «замкнутого в самом себе целого» представляют собой «симфонию души», где каждая «нота» (=участница хора) в соотканках целому является страстной несомнितельницей. Для настроения того времени подобного рода переходы и превращения «духовной органики», обновляющие «старое тело» и несущие ему новую «музыку согласия», были привычным делом. В религиозно-философском плане уже со времен Г.В. Лейбница [1649–1716], в его «Монадологии», звучала «музыка согласия», в «духовно-органолептическом» такое стало возможным только после биологических (и зитомологических) исследований. Веч.Вс. Иванов приводит два характерных свидетельства эпохи. Ж. Мишле, уподобляя себя насекомому, признается: «Я много раз переходил от личинки к куколке, а затем – к более совершенному состоянию». Для Гёте, считавшего себя «хамелеоном», «превращаться», переходить из одного состояния в другое было естественным процессом. Своему другу Цальтеру Гёте по поводу «Метаморфоз растений» писал в октябре 1816 года: «Если ты прочитаешь эту книжечку в спокойное время, то принимай ее символически и представляй себе всегда какое-нибудь живое существо, которое, постепенно развиваясь, образует себя из самого себя»¹⁰. Сам Белинский не относил себя к «головам макушки», которые в течение жизни не изменяются (Т. 7. С. 105), даже считал, что «органические превращения» – неизбежное следствие духовно-возрастного развития человека. «Боже мой! Как я переменюсь! – сетует Белинский. – Но эта метаморфоза – общий удел всех людей: и вы, мой благосклонный читатель, изменитесь, если уже не изменились» (Т. 8. С. 523).

Для Белинского «рождение бабочки из некрашеной личинки» укрепляло его представления о духовно-органической природе развития всех форм жизни. Именно метаморфозы насекомых выступали в природном

мире, уже на уровне живых существ, зримым аналогом процесса превращения «умирающего» зерна в растение, приносящее «много плода», и являла собой тем самым глубокий принцип развития-преобразования: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн. 12: 24).

Бабочка была тем же самым образованием, что и цветок, только стояла на более высокой эволюционной ступени: царство живых существ, отмечает Белянский, «открывалось мирнадами насекомых, этих как бы сорвавшихся с своих стеблей и летающих цветов» (Т. 4. С. 589). Многое давало наблюдательному глазу «рождение бабочки из некрасивой личинки»: оно говорило и о необратимости процесса превращения, и о движении природы к более совершенным, завершенным формам и проявлению, эволюционно и исторически воплощающимся в человеке: «Природа ознаменовала свое творческое стремление стройным рядом существ, постепенно приближающихся к человеку» (Т. 5. С. 313).

Конечно же, само использование Белянским в качестве члена сравнения и метафорического ряда «рождение бабочки из личинки» подсказывало-наводило биологической и даже энтомологической («насекомной») атмосферой эпохи, явленн К. Анненс, Ж. Кюве, Жоффруа Сент-Илера и, наверное, в первую очередь поэтико-натурфилософскими настроениями Гердера и Гёте. Поэтико-натуралистическое описание стадий превращения бабочки приводит Гердер в «Идеях к философии истории человечества»: «Все превращения в низших царствах природы – это совершенствованные... превращения можно наблюдать у многих существ, и среди них известным символом стала бабочка... Кто бы подумал, что в облике гусеницы скрывается бабочка? Кто бы узнал, что гусеница и бабочка – это одно и то же существо, если бы не доказывал это опыт? А ведь эти две формы существования – это два возраста одного и того же существа, на одной и той же нити... сколь же прекрасные превращения скрывает оно природа»¹⁵.

На «премудрый» характер внутренних сил природы указывал и Гёте. К серии своих работ по органике Гёте предпослал эпиграф из Книги Нова (приводимый здесь в переводах с немецкого И.И. Канаева и К.А. Свасьяна): «Смотри, Он проходит мимо меня, прежде чем я увижу его, и изменяется, прежде чем я заметил это»¹²; «Смотри, Он проходит мимо прежде, чем я это увижу, и изменяется прежде, чем я это заметю»¹³ («Siehe, er gehet vor mir über, ehe ich es gewahrt werde, und verwandelt sich, ehe ich es merke» (Das Buch Hiob, 9:11). В научных наблюдениях над природой Гёте, следующему по «правильному пути природы», «за шагом природы»¹⁴, за тем, что Гердер называл «путем Бога в природе», постоянно приходилось сталкиваться с «эффектом «невидимого Бога», который вносит в рассматриваемый живой объект логикой не объяснимые зримые изменения: их заметишь только тогда, когда они, как по принципу тайного присутствия Творца, уже произошли. Постичь эти изменения – «одушевляющую связь» (Гёте) между личинкой и бабочкой – можно лишь «соприсутствием духа тинистну», или, другими словами, жизненной родственностью Творцу и всему тому, в чем есть «воплощающийся тип», «общий образ» и что «всегда остается самим собой»¹⁵.

Тайну «одушевляющей связи» между всеми уровнями бытия остро чувствовал-переживал и Берлинский, умевший прозревать в видимом невидимое: «Жизнь есть великое таинство, начинала от рождения и смерти человека, от сферы его чувств и понятий, до явлений природы, до развития из зернз малейшей былинки» (Т. 3. С. 506); «Посмотрите на природу, приглядитесь с любовью к ее материнской груди, прислушайтесь к биению ее сердца – и увидите в ее бесконечном разнообразии удивительное единство, в ее бесконечном противоречии удивительную гармонию. Кто может найти хоть одну погрешность, хоть один недостаток в творении предвечного художника? Кто может сказать, что вот эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же мир природы, столь разнообразный, столь, по-видимому, противоречивый, так

разумно действителен, то неужели высший его – мир истории есть не такое же разумно действительное развитие божественной идеи, а какая-то бессвязная скачка, полная случайных и противоречащих столкновений между обстоятельствами?» (Т. 3. С. 413).

Исходное понимание Беланским, что «божий мир есть дыхание единой вечной идеи», и многочисленные высказывания на эту тему с обращением к образам живой природы значат многое. Но в данном случае необходимо обратить внимание не только на их органический, но и на поэтический характер: они утверждают просто и обыкновенную истину, вытиснутую каждому человеку и открывающуюся ему в «цветущей роше», среди лугов и полей, под солнечным или звездным небом, – даже самая сверхчувственная идея никак не отделяма от запахов, аромата, дуновения, дыхания – от всего того, что Плотин назвал «цветением бытия», а Беланский – «познание жизни» (Т. 7. С. 69). Критик создает свой «сад», в котором цветы, лепестки, жюльетки, пылинки, ценовые сами по себе, в то же время не отделены от восприятия идеи как органической энергии, идеи как зерна. Беланский, обращаясь к ряду показательных примеров, буквально зачитывает «цветение» идеи, создает образ ее произрастания, показывает, как из идеи-зерна бытие расцветает жизненной красотой: «Посмотрите на цветущее растение... лепестки расположены так симметрически, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с такою заботливостью, с таким бесконечным совершенством отделан и украшен до малейших подробностей... Как роскошно прекрасен его цветок, сколько на нем жюльеток, оттенков, какая нежная и яркая пыль... эти чудные краски вышли изнутри растения, этот обязательный аромат есть его бальзамическое дыхание. Там, внутри его ствола, целый новый мир: там самостоятельная лаборатория жизненности, там по тончайшим сосудам дивно правильной отделки течет влага жизни, струится невидимый эфир духа... Где же начало и причина этого явления? В нем самом: оно было уже, когда еще не было растения, когда было только зерно. Уже в

этом зерне заключался и корень, и ствол, и красивые листочки, и пышный ароматический цвет!» (Т. 4, С. 302).

Призыв увидеть глазом в зримом незримое, узреть гармонию внутреннего, постоянно звучащий в работах Белинского, отвечает «зрелищному» подходу, который находит свое обоснование и стимулы не только в биолого-натурфилософских и историкофилософских сочинениях эпохи, но и в религиозном источнике: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть отвержену в геенну огненную. Смотрите, не презрите ни одного из малых сих» (Матф. 18: 9–10).

Такой «зрелищный» подход затрагивал культуру к вопросу о «глазе, который прозреет»; природа в живых воплощенных налюстрировала сокровенную мощь евангельских слов: идея-зерно, жизненность органического, пребывающая где-то в реальности зримо-незримо, доступна лишь «духовному глазу». Человек уже не только мог понимать мистический смысл евангельских рецензий, но и научался реально, «конкретно» (как тогда любил говорить) видеть духовное, более глубокую гармонию жизни. «Зрелищный» подход побуждал человека как бы скорректировать саму психофизиологическую способность глаза видеть.

Настойчивые приглашения увидеть в зримом незримое, звучащие в работах Белинского, способствовали настройке «духовного глаза». Ведь самым сложным, по словам Гёте, является умение глазами видеть то, что находится перед глазами¹⁶, потому что для этого нужно или обладать способностью или научиться видеть равновеликость таких, например, разномасштабных величин, как бабочка и планета; для этого нужно иметь особые «стекла» («магический кристалл», «духовный глаз»), оттапливающие «на поверхности» и пропускающие «во внутрь души» образ, жизненность мира.

Философия зрения не была просто научной проблемой, удовлетворяющей праздное любопытство мыслителей. Она напрямую соотносилась с антропологией и историкофилософией, служила пестованию «нового» челове-

ка из его собственных духовно-органических глубин. В соответствии с принципами, выработанными еще немецкими просветителями, преобразование человеческой души зависит от виртуальной природы восприятия, от способности созерцать и в первую очередь от того, чем «вооружен глаз». Правильное видение ведет к преобразованию человека, к претворению его природы, к формированию высокой духовной органики, к созданию исторически нового антропологического типа¹⁷. Основным показателем «нормального» (правильного) зрения признавалось умение представлять мир в его единстве, видеть, как писал Лейбниц, сородственность «природы вещей и природы духа»¹⁸.

Как видим, Беланский не был в стороне от глубинных проблем эпохи. Показывая возможность достижения «равномасштабного» эффекта «поэтико-рецептивного» уравнивания взглядом физически разновеликих «вещей» и явлений, критик считает, что такими «стеклами» обладают русские художники слова – Пушкин, Лермонтов, Гоголь: «Стекла (по прекрасному выражению Гоголя), озерающие небесные светила и насекомых, равно велики» (Т. 6. С. 359). Платон называл таких людей «лучшими натурами»: они умеют «видеть благо и совершать к нему восхождение»¹⁹.

В «антропологическую» эпоху истинность христианства как религии пробуждающейся совести и преобразования подтверждалась «рождением бабочки из личинки» и в разной степени творческим опытом культуры. Ведь приходилось призывать очевидное: бабочка есть бабочка, человек есть человек, как «целое есть замкнутое в самом себе существо» (Т. 4. С. 203).

Однако «духовно-органическое» видение – видеть глазами то, что находится перед глазами, – наиболее сложно реализуется, как считал Беланский, по отношению к человеку. Критик сетовал на то, что в обществе все люди являются чем угодно, но только не «людьми»: «Титло «человеческа» священно и велико только на словах да в книгах, а в жизни о нем никто не заботится, никто не спрашивает» (Т. 6. С. 383); *У нас любовь вошла только в*

книгу да в ней и осталась» (Т. 7 С. 486). Творческая работа критика была связана с мыслью о соединении «слова и дела», о действенной силе произносимого слова. В этом отношении размышления Белинского очень близки высказываниям А. Фейербаха, занимавшегося созданием «философии будущего». «Истинная философия, – писал немецкий философ, – заключается не в том, чтобы творить книги, а в том, чтобы творить людей»²⁸.

В «насекомной» культуре XIX века складывалась «революционная ситуация» подобно той, в которую был поставлен человек земли Христа: нужно было увидеть человека в «любим» человеке, даже в том, кто смирился со своей «насекомной» участью, как смирилась самаритянка, у которой Иисус попросил носить воды. Она недоумевает: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самаритянки? ибо Иудеи с Самаритянами не сообщаются» (Иоан. 4: 9). Христос по «дару Божьему» и по своей Христовой «плоти живой» входит в самаритянку человека. Он пробуждает в ней ответный отклик, и она, видя в нем уже не иудея, а человека, «говорит людям: пойдите, посмотрите Человека» (Иоан. 4: 28–29).

В эпоху «рождения бабочки» в русской литературе накапливалась «духовно-эмоциональная» (подспудная) энергия преобразования человека посредством «живой гуманности», которая призвана была сломать механико-физиологическую конструкцию мира, ее социально-метафизические основания и вывести к простоте видения очевидного: человек есть человек, Бог есть и в «насекомности», в «растительности» каждого существования. К актуализации философии духовного видения-преобразования был причастен и Белинский, который писал о любви как «органическом понимании, где одно чувство без выговаривания, а если выговаривание, то уже не отыгненное, а такое, которое есть в то же время и ощущение» (Т. 11. С. 242).

«Рождение бабочки из личинки» открывало долговременную перспективу осмысления и принятия «духовной органики» в разных его проявлениях: «Жизнь всегда жизнь, в чем бы ни проявлялась она, на какой

бы ступени развития ни стояла... Нигде жизнь не является столько жизнью, как в сфере духовных интересов и разумного сознания... это самый пышный цвет жизни... но и в природе, даже на самых низких ступенях ее развития, жизнь является святым и великим таинством» (Т. 4. С. 484).

В русской культуре эстетика «рождения бабочки из личинки» приучала человека видеть мир «человеческим» глазом по Слову Спасителя: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих». Речь уже только шла не о мистике, а об «органике» духовного восприятия «малых сих», о естественности «божественно-антропологического» прозревания, художественно-натуралистического видения-утверждения бытия бабочки, травинки, гусеницы, личинки, бабочки, ручья, всякого человека, народа, «всякой жизни, даже недоступной вооруженному глазу», и т.д., – о присущности человеку «магического кристалла», «духовного стекла», «светлого взгляда» [см.: Т. 7. С. 321; Т. 10. С. 79], «озирающего небесные светила и насекомых» с равным тщанием, с усердием натуралиста и художника, с каким смотрела на мир Гёте и Пушкин: «Подобно Гёте, Пушкин есть поэт внутреннего мира души... в глазах его все равно прекрасны и равно интересны, как явления природы в глазах естествоиспытателя» (Т. 7. С. 35). С таким художественно-натуралистическим тщанием старался смотреть «на небесные светила и насекомых» и Белинский. В письме к М. Бакунину от 26 февраля 1840 года Белинский соотносит свой взгляд со словами апостола Иоанна: «Апостол Иоанн сказал: "Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего не знает, – тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?" Я чувствую, что могу любить *неведомого Бога* только в *видимых явлениях*. К этому, у меня есть убеждение, что я не могу не увидеть Бога ни в одном явлении, где только он является. Вся жизнь моя есть оправдание этого убеждения: я увидел Ставкенича и полюбил Бога, увидел твоих сестер и полюбил Бога» (Т. 11. С. 487; см.: 1 Иоан. 4: 20). Кратник побуждает и

читателя и взгляду на мир через «эстетический микроскоп». «Но и тут мы еще не все видите, – предупреждает критик читателя, рассматривающего человека «невооруженным» глазом, – возьмите микроскоп, увеличивающий в миллион раз, – вас поразит благоговейным изумлением эта бесконечность организмов» (Т. 4. С. 203).

Особую роль в формировании и становлении духовного видения Белынский отводит искусству, художественному творчеству. «Поэтическое», или «художественный элемент» (см.: Т. 9. С. 119–121), определяется критиком как особого рода «материя», как органическое начало природы и самого человека: «Искусство, об руку с природой, встречает его (человека. – Г.К.) у порога жизни и провожает за порог жизни» (Т. 10. С. 370); «Поэзия не в одних книгах: она в дыхании жизни, в чем бы ни проявлялась эта жизнь – в природе, в истории или в частном быте человека» (Т. 7. С. 94; см.: Т. 7. С. 52, 54, 69, 321). Такое проникновение жизни «художественным» позволяет Белынскому поставить между ними знак равенства: «В сущности своей жизнь и поэзия тождественны» (Т. 4. С. 489).

Задолго до современных исследователей Белынского волновала проблема соотношения «художественного» и «жизненного». К ней он подходит со стороны «художественности» Творения. «Художественное» выделяется критиком как первичная сущность самого бытия. Более того, «художественное» является результатом скрытого процесса внутренней жизни человека, ее озарением, прорывом из сферы «ничтоствия»: оно действительно живет в его сердце, активно входит в состав его крови.

Мир преобразуется в «поэтическое» и под воздействием воспоминания, когда из прошедшего устранивается все частное и случайное и оно приобретает замкнутую в себе целостную картину жизни, – тогда-то и появляется возможность взглянуть на прошедшее «как на нечто, вне нас находящееся, предметное... Все прошедшее получает для нас новый колорит, является как бы преображенным... в самом несчастии видим мы одну поэтическую сторону» (Т. 4. С. 490). Следовательно, и «воспоминатель-

ная» работа души (нейрофизиологический процесс) оценивается критиком как «поэтическое» в своей основе.

Такое видение «художественного» в статусе онтологического (духовно укорененного в саму жизнь) позволяет Белинскому отнести поэзию к абсолютной сфере и рассмотреть ее в качестве одной из первоосуществных форм жизни, изначально вне себя ничем не обусловленных: «Поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе цель, так же как истина в знании, как благо в действии... Подобно истине и благу, красота есть сама себе цель и по праву властвует над всею только властью своего имени, неотразимым обаянием своего действия на души людей» (Т. 4, С. 496–497). Искусство, проникши до «сacroвенного сердца», до «животворной идеи» вещи (см.: Т. 5, С. 40), доходит до «идеальной всеобщности, дающей себя чувствовать в индивидуальном и частном» (Т. 8, С. 18), и тем самым каждую вещь делает «сосудом духа и разума» (см.: Т. 5, С. 40). В этом смысле искусство может сравниться (соперничать) только с Творцом и творящей природой: «Вечно соперничать с природою в способности творить – его высочайшее наслаждение. Схватить данный предмет во всей его истине, заставить его, так сказать, дышать жизнью – вот в чем его сила, торжество, удовлетворение, гордость» (Т. 10, С. 318–319).

Критик с редкой настойчивостью и постоянством пишет об эстетико-психофизиологическом воздействии литературы, систематически использует «органическую» лексику, чтобы передать «поэтико-бурлящее» содержание и художественного слова, и самого бытия. Можно даже наметить «по Белинскому» шкалу эстетических реакций-настроений, вызываемых искусством слова. Низший порог восприятия и эмоционально-эстетического контроля произведений связан с удивлением – чувством, как пишет критик, чисто внешним и односторонним, замыкающим реакцию на субъекте восприятия. На высшем уровне восприятия «трепет обьясняет душу» (Т. 5, С. 549), произведение вызывает «божественный восторг, который возбуждается в душе чрез разумное проникновение в глубинную сущность предмета» (Т. 5, С. 529). На

этом высшем уровне художественное слово выполняет религиозную функцию – преображает мир и человека.

По мысли Белинского, в русской культуре такой преобразующей мир и человека силой обладает художественное слово Пушкина. Когда Белинский говорит о художественном онтологизме творчества Пушкина, то он тем самым волею или неволею ставит его произведение по мощи воздействия на человека, на «читателя» (того, кто может «узреть», созерцать в буквенных знаках сокровенные смыслы жизни, буквально (по этимологическому значению) увидеть в словах «сияние», «блестяние» мира – см.: Т. 6. С. 512) в ряд тех книг, которые приобщают человека к тайнам бытия, к «нероганфам» вечности. «В колыбелях и могилах будут видаться ему, – пишет Белинский о человеке, читающем Евангелие, – волны великого бытия: волна гонит волну, волна сменяет волну – волны проходят и исчезают, а океан все так же велик и глубок и так же живет и движется на своем бездонном необъятном ложе, – а в его кристалле все так же торжественно отражается лучезарное солнце, и все так же колышется и трепещет ночное небо, усыпанное мириадами звезд, – а те звезды своим таинственным блеском как будто говорят о новых мирах, где так же проходит и приходит волны бытия, может быть, уже прошедшие здесь...» (Т. 3. С. 78–79; ср.: Т. 5. С. 312).

Нельзя пройти мимо таких поэтически насыщенных высказываний Белинского, такого «поэтического» комплекса его творчества, как «трепет».

Чтобы понять глубину и духовную перспективу мысли критика, необходимо актуализировать рифмуемые смысловые ряды: «трепет ночного неба», «трепет серебристого листа», «трепетание вечной идеи жизни человечества» (Т. 1. С. 135), «трепет объедает душу». Эмотивные ритмы неба, листа, исторического времени и души соизмеряла. Безусловно, что что-то в самом Белинском послужило «посылом», вызвавшим их совпадение, обозначенное посредством семантической реакции «трепета». Конечно же, во многом этому способствовала эстетика эпохи с ее «резонирующей» настроенностью души, спо-

собой улавливать мельчайшие вибрации внешнего и внутреннего мира. А может быть, сама эстетика есть только пробудившееся следствие «трепетания» «человека помнящего», когда-то обособившегося от природы, но унаследовавшего от нее в «психофизиологических» реакциях умение трепетить, как «полая былинка на тихо веющем ветру», и теперь откакающего на ее зов и зов всего «своего», являя родство душ, земли и неба в таких, казалось бы, случайных соответствиях. На такую «вспоминательную» способность души трепетать указывает сам Беланский, ссылаясь на «божественного Платона», считавшего, что «вслаждение красотой в этом земном мире возможно в человеке только по воспоминанию той еданой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминает себе в первоначальной ее родине», и что первой реакцией, фиксирующей «жизненную родственность» человека и мира, является трепет: человек «сначала трепещет, его охватывает страх» (Т. 4. С. 497).

Как видим, для критика «улавливать дух» – это не только его личная настроенность, но и творческая способность и обязанность художника, который должен изображать жизнь так, «чтобы сквозь его рассказ прелепало живая идея» (Т. 1. С. 134), а также духовный долг читателя и даже в каких-то случаях мера его русскости, обнаруживающаяся при восприятии художественных произведений, таких, например, как «Стансы», «Поэты», «Пир Петра Великого», «Медный всадник», которые Беланский назвал «Петриадой»: «И мерою прелепи при чтении этой «Петриады» должно определяться, до какой степени вправе называться русским всякое русское сердце» (Т. 7. С. 547; см.: Т. 3. С. 100). Опять-таки необходимо обратить внимание на то, что поэтико-эмоциональные ритмы неба, листа, исторического времени и души не просто совпадают, а соотношены с творчеством Пушкина, нашим в нем свое воплощение.

Пережить «слезы трепетного восторга», зафиксировать «точку вечности» и запечатать момент единности «великого» Пушкина – «царства бесконечного» (Т. 3.

С. 100] – Белинский смог в 1839 году, когда в рецензии на альманах «Сто русских писателей» он признается, что ему благодатно открылся «Каменный гость» Пушкина, и делается не просто религиозным опытом, а потрясением, опытом внутреннего преображения, тем «святым откровением», ради которого человек рождается в мир и, обретая его, с ним умирает: «Мы ушлисли даль без границ, глубь без дна, – с трепетом отступили назад... Что так поразило нас? – Мы не знаем этого, но только предчувствуем это, – и от этого предчувствия дыхание замирает в груди нашей, и на глазах дрожат слезы трепетного восторга... Пушкин, Пушкин!.. И тебя видели мы... Неужели тебя?.. Великий, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто был ты?..» (Т. 3. С. 100; см.: Т. 11. С. 483). Данное признание Белинского показывает, насколько глубоко он был связан не только с сокровенным настроением эпохи, но и с ее интонацией, внутренним ритмом, даже с эмоциональными паузами, которые все вместе, явно обнаруживая себя и в «лирических отступлениях» Гоголя, и в «переживаниях» святоотеческих текстов, приобщают «духовное время» Белинского к потоку вечности, к единому Слову. «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его» (Иован. 1: 14), – свидетельствует апостол Иованн в Евангелии об увидевшем Боговоплощении. «И тебя видели мы», – со «словами трепетного восторга», находясь в состоянии высшего потрясения – преображения, свидетельствует критик о воплощении на Руси художественного Слова.

Таким образом, как показывает Белинский, художественное слово – творчество Пушкина – обладает «возвратно-вспоминательными» и проективно-порождающими свойствами, возвращает нас «назад» и дает нам жизнь «вперед», связывает нас с дольным и возвышает до горнего, приучает нас с одинаковым тщанием замечать небесные светила и «малых сих». Оно задает русской культуре удивительный масштаб историзма, осмыслить который и помогает великий критик, видев-

ний свою задачу в малом, надевшийся «только на опы-
лые немногих... И что ж, разве это не великое счастье –
пробудить помет к высокому в иной дремающей душе? Разве это не великое счастье – родить к себе ощущение
в сердце, которого мы никогда не знали и не узнаем,
которое жонет, может быть, в далёком от нас уголку
этого мира, но которое от наших строк забьется в лад
с нашим сердцем и, в общем человеческом интересе,
сознает свое родство с нами по духу, в ознаменованье
торжества духа над условными пространства и време-
ни...» (Т.4, С. 483).

¹ Щербинин М.П. «Перед новым твором...» // Литература в школе. 1996. № 3. С. 53.

² Волков Н.А. «Человек на все времена» // Русский провинциал. 1996. № 2. С. 98.

³ Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1963–1999. Т. 1. С. 103. Дает смысл не дается название дается в тексте с указанием тома и страницы.

⁴ Давыдов Г.В. Эстетика и социология искусства: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 64.

⁵ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 35.

⁶ Толстой Л.Н. «Бедная Анна» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995. С. 34.

⁷ Гегель В.В. Избранные сочинения по эстетике. М.: А., 1987. С. 230.

⁸ См.: Кант И. О перевертышах на поверхности земного шара. М.: А., 1937. С. 47–48.

⁹ Цит. по: Неклюдов В.В. Избранные труды по эстетике и истории культуры: Научные системы. Киев. Поэтика. М.: Наука русской культуры, 1996. Т. 1. С. 79.

¹⁰ Там же.

¹¹ Гербер М.Г. Наука и философия истории человечества. М., 1977. С. 130–134.

¹² Гегель В.В. Указ. соч. С. 7.

¹³ Соловьев К.А. Никитин Вильфред: Гег. М., 1989. С. 48.

¹⁴ См.: Гегель В.В. Указ. соч. С. 20–22, 48.

¹⁵ Там же. С. 102, 158, 318.

¹⁶ См.: Соловьев К.А. Указ. соч. С. 64.

¹⁷ См.: Гербер М.Г. Культура как «образ мира» в философии немецкого Просвещения // Новый взгляд на философию: Ежегодник Философского общества СССР. 1991. Культура и религия. М., 1991. С. 35–46.

¹⁸ Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. М., 1982–1989. Т. 2. С. 81.

¹⁹ Давыдов. Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 360.

²⁰ Фейербах А. Сочинения: В 2 т. М., 1995. Т. 1. С. 180.

И.Р. МОНАХОВА

***Гражданство небесное и земное.
Гоголь и Великий
о путях развития России***

Интересная судьба сложилась у письма В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Оно приобрело столь широкую, просто всенародную известность, какой не possuждало никакое другое частное письмо в российской истории. А в советское время содержание «зальцбургского» послания Белинского было, наверное, более известно широкому кругу читателей, чем содержание той самой книги, о которой в нем идет речь, – «Выбранных мест». Об этом письме, написанном в июле 1847 года, один из первых его читателей, А.И. Герцен, сказал: «Это – гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

То же, по существу, можно сказать и о книге «Выбранные места из переписки с друзьями», которая вызвала столь яркую отклик критики. Последняя из опубликованных при жизни Гоголя, эта книга тоже стала завещанием. И оба эти произведения потрясли читающую публику своего времени и стали для нее как «гром среди ясного неба»: книга Гоголя – потому что он в ней выступил как проповедник неожиданного для многих, письмо Белинского – потому что было похоже на некий политический манифест. И хотя оно еще долго оставалось неопубликованным, но во множестве списков разошлось по всей России.

Это сочинение Белинского и современному читателю может многое поведать и может быть полезно. Но полезно в то же время и основательно познакомиться с «Выбранными местами». Сопоставление этих произведений может заставить о многом задуматься и се-

годия, когда со времени их создания прошло уже более 160 лет. Впрочем, актуальность их сегодняшним днем, конечно, не ограничится, она продолжит существовать и дальше.

Только нужно избавиться от примитивных ярлыков, некогда «приклеенных» к этим классикам и объявляющих «поющего» Беллинского революционером, а «поющего» Гоголя – реакционером. К сожалению, эти неслышим штампы еще не исчезли до сих пор. Это мешает представить в настоящем виде идеи обоих классиков и увидеть в них то, что актуально для нас сегодня. Не был Гоголь реакционером. Его пристальное внимание к нравственному уровню современного ему общества и шокировавший многих призыв к христианизации жизни, прозвучавший в «Выбранных местах», – это всё означает, что Гоголь на определенном этапе своей жизни решился обратиться к обществу напрямую с религиозной проповедью. А это никак нельзя назвать реакционной позицией. Наоборот, следование религиозным заповедям – это, возможно, и есть самый прямой путь эволюционного развития. Тем более что Гоголь убеждал всех не столько в церковь идти, сколько «призвать Христа к себе в дома». Не был и Беллинский революционером. Как известно, он довольно прохладно, с разочарованием отнесся к революционным событиям 1848 года во Франции.

Оба они писали об эволюционном развитии общества, правда, руководствуясь при этом разными побудительными мотивами. Беллинский – сочувствием к обездоленным слоям населения. А Гоголь – прежде всего болью за нравственное несовершенство общества в целом, грозящее гибельными последствиями всем.

Более того, они оба, по существу, вели речь о насаждении христианства на жизнь. По мнению Гоголя, насаждение религии должно выразиться в смягчении нравов. И тогда люди, находясь в тех условиях, которые есть в какой-либо конкретный период, не дожидаясь внешних перемен, данных сверху – властью, сами в силу своего более гуманного, разумного и рационального отношения ко всему смогут изменить многое в жизни. Таким

образом, появятся ниточки, ростки нового содержания в рамках старой формы. А затем эти внутренние изменения приведут и к изменению внешних форм, но естественно и закономерно.

Белинский противопоставляет этой гоголевской логике уже имеющиеся достижения европейской цивилизации (гражданские свободы, права человека, просвещение, более прогрессивные, чем в России, законы и их выполнение), так как это и более гуманно по отношению к людям, и ближе христианскому идеалу. Позиция Белинского, отраженная в его письме, поддержана в духе идеалов Просвещения. Не случайно он упоминает Вольтера, противопоставивши его католической церкви. Правда, при этом без его внимания остается тот факт, что без основательного многовекового влияния христианской церкви на общество не было бы и Просвещения, не сформировался бы и человек, проникнутый идеалами гуманизма и думающий не только о своей телесной оболочке, но и о душе. Не было бы и того же Вольтера, «срудясь насмешкою потрунившего в Европе костюры фанатизма и невежества»⁶.

И Гоголь напоминает Белинскому об этой простой диалектике воздействия религии на жизнь и зависимости степени гуманизма в обществе от этого воздействия, правда, лишь в постправленном письме: «Вы отделяете церковь от Христа и христианства, ту самую церковь, тех самых «...» пастырей, которые мученической «своей смертью» запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец упали сами палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал «это слово»»⁷.

Белинский пишет о результатах влияния христианства на жизнь народов и не упоминает о процессе – как это было и как это должно быть в России, чтобы достичь подобного состояния дел. Достаточно ли только реформ? Приведут ли аналогичные реформы к аналогичным результатам? Ведь существовало же христианство и в России (к тому же в качестве государствен-

ной религии), но, несмотря на его воздействие, законы к тому времени еще не стали гуманными, например, сохранялись крепостное право и телесные наказания. Таким образом, дело не только в самом по себе существовании религии в обществе как своего рода закона, но еще и во внутренних свойствах людей. То есть имеет место огромная проблема низкого нравственного уровня человека и, следовательно, общества, что приводит к самым разным негативным последствиям и во внешних проявлениях – в социальной, политической, экономической областях. Что с этим делать?

Белинский об этой проблеме не упоминает, но ясно, что без ее решения не может быть эффективной никакая реформа, потому что результат в итоге зависит от психологических и духовно-нравственных особенностей самого человека. Что делать с этим качеством, если оно ostанавливает желать лучшего и в таком же негативном направлении падает на все?

Гоголь, в противоположность Белинскому, всецело сосредоточился на решении этого вопроса. Ни тот, ни другой не дали полного и исчерпывающего ответа на вопрос о том, как усовершенствовать жизнь российского общества, но это произошло именно потому, что каждый из них предельно убежденно и умышленно выразил свою позицию. И в результате их точки зрения стали, по существу, взаимодополняющими и совершенно взаимно необходимыми, хотя внешнее их диалог стал конфликтом и потом многие десятилетия воспринимался как конфликт читателями и исследователями их творчества. При этом, правда, позиция Белинского была яснее, очевиднее: нужны реформы, которые отменят уродливые пережитки прошлого и сделают общественное устройство более справедливым и современным: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмену телесных наказаний, введение, по возможности, строго выполняемых хотя тех законов, которые уже есть»².

Позиция Гоголя в этом диалоге сложнее, ее смысл, на первый взгляд, не так очевиден, она нуждается в

дополнительных комментариев. Но тем не менее и в гоголевском подходе есть столь же важное «рациональное зерно», как и у Белинского. Гоголь сосредоточился на качестве самого человека, в каких бы условиях он ни жил, на его духовно-нравственной зрелости, и этот подход был по-своему очень глубоким и реалистическим.

Действительно, в будущем неоднократно повторилась ситуация, когда общество возлагало много надежд на реформы, надеясь с их помощью решить сразу все проблемы или многие из них, а потом разочаровывалось в результатах этих реформ. Потому что какие бы ни были прогрессивные идеи и правильные лозунги, но при их практическом исполнении выступает на первый план качество самих исполнителей, которое напоминает конкретным содержанием абстрактные идеи. А оно зачастую уводит куда-то далеко в сторону от тех лучезарных перспектив, которые поначалу рисовались в мечтах и планах. И в результате получается то, что соответствует не лозунгам и намерениям, а качеству (то есть нравственному уровню) человека и общества в целом.

Таким образом, обмануть историческую судьбу не представляется возможным. Невозможно обществу достичь во внешних проявлениях того уровня, который не достигнут еще во внутреннем качестве.

Прежде чем совершить великое дело, нужно «остроиться» внутренне. Это одна из любимых мыслей Гоголя. Это правило, которое он применял в первую очередь к самому себе, но видел его универсальность во всех областях жизни, в том числе и в судьбах людей и в исторической судьбе российского общества. Он писал в неоправданном письме Белинскому: «Нужно вспомнить человеку, *«что» он вовсе не материальная скотина, «но вы»-сказый гражданин высокого небесного гражданства. Потому «он» хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью «земного» гражданина, до тех пор не «пр»идет в порядок и за-мное» гражданство»*».

Поэтому Гоголь и не стремился прикнудить ни к западникам, ни к самовофилам, так как и те и другие в своих взглядах на пути развития России больше ори-

ентировались на социальные преобразования. Только одни считали, что нужно провести реформы по западному образцу, а другие призывали обратиться к русским национальным традициям. Гоголь же в основном занимал вопрос: каким образом практически изменить к лучшему самого человека, его человеческие свойства, чтобы в улучшенном виде он мог соответствовать более совершенным и прогрессивным внешним формам общественного устройства. Ответу на этот вопрос посвящены «Выбранные места» и второй том «Мертвых душ».

Белинский в залицбрушском письме упрекал Гоголя, что тот слишком оторвался от жизни: «Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека, а ведь известно, что ничего нет легче, как издали видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть»². На первый взгляд, это так и есть, и Гоголь признавал, что он «слишком уредоточился в себе», правда, замечая при этом, что Белинский «слишком разбросался»³.

Но теперь, воспринимая этот спор через прошедшее с тех пор время и зная о тех исторических событиях, которые для них обоих оставались в будущем, можно сделать вывод, что вопрос, на котором сосредоточился Гоголь, не менее важен, чем необходимость реформ и различных внешних преобразований. Вообще он был одним из немногих, кто четко обозначал низкий уровень нравственного состояния общества как главный его недостаток и главную беду (а не внешние формы – политические или экономические). И не только обозначал, но и громко во всеуслышание заявлял об этом и стремился, как мог (издавая «Выбранные места»), этот недостаток исправить и беду уменьшить, рискуя прослыть сумасшедшим и стать «гласом вопиющего в пустыне».

Такой вывод подтверждают и произошедшие с тех пор с российским обществом исторические события. Каждый раз после очередного этапа революций и реформ, когда проходит энтузиазм и эйфория, общество задумывается о своем нравственном состоянии, потому что это состояние его порой ужасает.

Таким образом, Гоголь в свое конкретное время решал проблему всех времен. Например, к настоящему времени в России уже произошли всевозможные реформы и осуществлялись какие угодно реформы, а каких-либо действенных способов изменить к лучшему нравственный уровень общества не нашли и даже сейчас не складывается решение этой проблемы. Лишь опутная ее нагнетание.

Исходя из общегуманных соображений, Белинский смотрел на ситуацию в России с такой точки зрения: насколько человеку хорошо жить здесь, не слишком ли много он страдает и как уменьшить его страдания. Гоголь тоже чувствовал неустройство российской жизни, как и Белинский. Апокалиптические настроения причудливо сочетаются с проповедническим запугиванием и во втором томе «Мертвых душ» («Гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати непобедимых племен, а от нас самих») и в «Выбранных местах» («Непомянутой тоской уже заворелась земля; черством и черством становится жизнь; всё мельчает и мелкает. <...> Боже! Пусто и страшно становится в таком мире!»).

Но при этом Гоголь имел в виду более общий, вневременной ориентир: насколько человек выполняет свое предназначение в жизни, насколько он соответствует тем требованиям, которые ему даны свыше в виде религиозных заповедей. Идет ли он к спасению души, совершенствуя себя и оказывая благотворное влияние на окружающих? Насколько российское общество вообще осознает свою обязанность в этом плане? Ведь оно создано на религиозной, христианской основе. (Да и другие религии основаны на тех же, в сущности, основных положениях и главное требование к человеку выдвигают то же – любить Бога и ближнего.) Существует ли в обществе вообще такая идея, что помимо необходимости соответствовать требованиям прогресса, есть еще и более основательные требования, продиктованные самым основным законом – принятой когда-то обществом религией, определявшей в основном его идеологию?

Если нет, если эта основная задача и обязанность не выполняется и даже не осознается обществом, то теряют смысла другие обстоятельства – достаточно ли комфортно такое общество живет, не слишком ли много оно страдает и т.д. Бесполезно и уповать на какие-либо внешние преобразования, не решая этого главного вопроса. Тогда как помочь человеку понять его главную обязанность и выполнить ее? Как сподвигнуть более сознательно, таким образом, относиться к своей жизни и более серьезно, всегда помня об ответе за все совершаемое? Такими вопросами задавался Гоголь.

Конкретные недостатки (например, затнувшееся существование крепостного права) – это проявление болезни, а не ее причины. Осуществив реформы, можно устранить последствия. А причина при этом остается, так как она заключается в самом характере человека (общества), его внутренних свойствах, которые останутся неизменными. Что с этим делать? Если ничего не делать, то вместо этого последствия будут другие – аналогичные. Это как рубить головы гидры – тут же вырастают новые.

Вот эту глубинную, основную проблему видел Гоголь и думал, как практически ее решить. Как видно из его произведений и писем, он настолько сильно чувствовал главную проблему современного ему общества – недостаток христианизации жизни – и ее опасность для России, что, возможно, это затмевало для него многое другое. И хотя свою сосредоточенность на этих вопросах он в письмах к Беллинскому дипломатично назвал «зудредоточенным в себе», но все-таки и в дальнейшем он остался в уверенности, что писал он о главном. Это подтверждает и второй том «Мертвых душ» (судя по сохранившимся главам). Описание в нем помещика Костанжогова – это продолжение мыслей «Выбранных мест». Таким образом, Гоголь не отказался от своих идей, а стремился объяснить их наиболее убедительным для читателей способом – в художественной форме.

Как помочь человеку «состроиться»? Как повернуть душу человека к благу, чтобы вследствие этого не было ни уродливых отношений, ни античеловеческих законов?

Вот какую задачу пытался решить Гоголь в то время, когда он жил, и в тех условиях, в которых находилась тогда Россия.

Одним из таких условий было, в частности, крепостное право. Казалось бы, в этих уродливых отношениях не до нравственного роста. Но Гоголь и в такой ситуации увидел возможность возрождения и развития. Помещик должен стать не просто владельцем богатств и поглотителем чужого труда, а должен сделать из своих крестьян трудолюбивых, зажиточных и высоконравственных людей. А для этого он должен забыть о роскоши, руководить своим хозяйством, помогать разорившимся крестьянам, быть для них судьей, воспитателем, благотворителем и даже проповедником христианства. Словом, жить по принципу: кому много дано, с того много и спрашивается.

Хотя Гоголь писал о «власти свыше» помещика над крестьянами, но для чего, по его мнению, нужна была эта власть? Только для организации жизни крестьян на основаниях христианской нравственности. Для этого, правда, помещик должен стать чем-то качественно иным, чем был на самом деле: и хозяином, и приказчиком, и благотворителем, и судьей, и проповедником. Словом, должен отречься от себя, от своих эгоистических устремлений, и полностью посвятить свою жизнь перевоспитанию крестьян и заботе об организации их жизни на нравственных основах. В результате он должен сделать из них достойных христиан – трудящихся, состоятельных и добродетельных. Фактически помещик должен по своей инициативе взять на себя огромные обязанности, выполнение которых – на грани человеческих сил (потому что есть большой соблазн вовсе не быть подлинником, а просто пользоваться благами, данными судьбой). От помещика тут требуется сделать самое главное и трудное – подействовать на души людей (прежде всего примером) и отвечать за это перед Богом.

И настолько он должен внутренне усовершенствоваться, что даже стать «напутником» священнику, в его тоже воспитываем. Как бы предвидя критику Белинско-

то по адресу попов («Большинство «...» нашего духовенства всегда отличалось только толстыми бровями, пшоломическим педагогизмом да фиким невежеством»⁷). Гоголь в «Выбранных местах» признает, что нет идеальных священников и советует помещикам напутствовать их: «Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священный, вполне отвечающий пшолму идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником»¹⁰.

Не надеясь на профессиональных судей, помещик должен сам осуществлять суд и одновременно проповедовать, используя саму ситуацию суда над нерадивым крестьянином как повод поучать и наставлять его, «прищенившись» к его проступкам (глава «Сельский суд и расправа»).

Помещик ли уже это в обычном понимании этого слова? Нет. Это что-то совсем другое. И он сам, и крестьяне в его поместье, и их отношения, и вся жизнь на этой земле – это совершенно иное явление, чем то, что существовало на самом деле тогда в России. И только названия, обозначения здесь прежние: помещик, крепостные. Фактически за эти названия и критиковали Гоголя, в частности, Беланский сказал о нем: «проповедник кнута, впрочем невежества».

Возможно, Гоголь так унылся, что действительно и не заметил, что так реалистично изобразил утопию. Правда, эту утопичность хорошо замечали его современники, да и читатели последующих поколений тоже, и наша ее ислемой, ужасной и в то же время смешной.

Но если присмотреться пристальнее к этой утопии и сравнить ее с различными альтернативами, то станет ясно, что никаких идеальных и беспроблемных альтернатив нет. Поскольку любые внешние перемены проходят мимо главной задачи – преобразования самого человека, его качества, то сами по себе они не решают всех проблем и не распутывают всех противоречий в обществе. Например, после отмены крепостного права

была, как известно, убийство царя-освободителя, несколько революций, сталинская диктатура, ГУЛАГ. Знание этого исторического опыта уже заставляет совсем по-другому посмотреть на «утопию» Гоголя. И, во всяком случае, смешной она уже не кажется.

И возникает вопрос: действительно ли автор «Выбранных мест», сосредоточившись на христианском преображении человека, совсем «оторвался от жизни» (как считали многие его современники, да и читатели многих других поколений тоже) или как раз он изложил весьма действенный и прямой путь к развитию – не менее эффективный, чем политические или экономические реформы? Ведь предлагаемый Гоголем образ жизни – это не идеал навсегда, а путь. Путь к более разумно устроенному и благополучному обществу. Путь, который можно начать с любого момента, при любых условиях, в любом состоянии. И даже в тех условиях, которые существовали во времена Гоголя.

Вот почему Гоголь внимательно рассматривает взаимоотношения помещика и крепостных крестьян – потому что именно эта ситуация существовала тогда и люди находились тогда именно в таких отношениях друг к другу, а вовсе не из-за любви к крепостному праву, которой, конечно, у него не было. И в то же время, внимательно рассмотрев эту ситуацию, Гоголь показал в ней то, что может способствовать благу, как это ни может показаться парадоксальным.

Логичное продолжение приобрели эти мысли в главе «Занимающему важное место», которая была запрещена цензурой в прижизненном издании «Выбранных мест». Здесь уже в качестве «напутника» дворян и чиновников выступает генерал-губернатор (так же, как князь во втором томе «Мертвых душ»). И если помещик еще не достиг необходимых для воспитания крестьян нравственных качеств, то на него в этом направлении должен полагать губернатор, так же как и на всех дворян вообще. Они же, в свою очередь, должны достигнутое ими «нравственное благородство» распространить на всё общество, в чем и заключается истинное предназначение этого сословия.

Говоря об устройстве жизни и существовании тогда условиях, Гоголь подчеркивал лишь важную мысль, что с любого места, где бы человек ни находился (и общество в целом), можно начинать эволюционное развитие, основанное на нравственном преобразовании человека. С любого места без исключения – будь то и жизнь при крепостном праве.

Эволюция подразумевает и перемены внешние, вырастающие на основе внутренних. И Гоголь писал о нравственном росте человека не только как о том, что ценно само по себе, но и как о необходимой основе для преобразования общества: *«Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин, служа Богу всеми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы законные всему. И человечество двинется вперед»¹¹.*

Тогда результатом могут стать те достижения, которые были так необходимы России и образцы которых Белинский видел в западной цивилизации: *«Россия ищет свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пизтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердела их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веком потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение»¹².*

Справедливые права и законы и строгое их выполнение – это и есть те самые «правильные отношения между людьми» и «пределы законные всему», к которым стремились и Гоголь, и Белинский. Но для Белинского путь к воплощению этого идеала пролегал в основном через внешние преобразования (политические, социальные). А пример достижения более справедливого, более расце-

оптимального устройства общества он видел в некоторых западных странах. Но при этом он как бы оставлял «в тени» проблему «человеческого фактора». То есть он не задавался вопросом: почему эти страны, будучи близкими России по религии (принадлежа тоже к христианскому миру), а значит, и по идеологии, приняв уже к тому уровню демократических свобод, которого России только еще предстояло достичь путем реформ?

Понятно, что если задаться этим вопросом, то на первый план выходит как раз «человеческий фактор». Ведь до сих пор демократические процессы в обществе происходили с огромным трудом и очень медленными темпами. Например, крепостное право давно уже было осознано как пережиток прошлого большей частью общества и высшей властью, однако оно продолжало существовать, и хотя подготовка к крестьянской реформе шла, но она тянулась многие десятилетия, делая Россию все более отсталой с точки зрения общественного устройства по сравнению с Западной Европой. Если до сих пор было так, значит, дело в большой степени в самом человеке, в уровне его нравственности, гуманности. По-видимому, это и препятствовало тому, чтобы сделать общество более гуманно и демократично устроенным.

Это огромная проблема, которую с помощью одних только социально-политических реформ решить явно невозможно. Если для Белинского, ожидавшего внешних перемен (как и многие другие его современники), эта проблема была «в тени», то Гоголь, как бы восполняя этот пробел, всецело сосредоточился на ее решении. А решение ее он видел одно – религиозно-нравственное преобразование человека (и в масштабах личности, и в масштабах общества).

Сам Гоголь, уезжая в 1836 году за границу, провел свою «мини-реформу» по отношению к своему слуге Якиму – отпустил было его на свободу. Но тот не пожелал уйти от господ (по-видимому, просто некуда было идти), наглядно подтвердив, что одно дело – даруемая извне свобода, другое дело – способность ей соответствовать. Это целый путь, большой труд, а не только

момент реформы. Иначе несвобода может показаться лучше свободы. Об этом пути и труде и писал Гоголь в «Выбранных местах» и втором томе «Мертвых душ».

Еще один пример из биографии Гоголя. В последние годы жизни он переписывался и общался лично с богатым черниговским помещиком А. М. Марконовичем, который представлял собой редкий пример помещика, отбросившего человеколюбием по отношению к крестьянам и прогрессивными взглядами в отношении их судьбы. Он создал в своем поместье больницу и училище для крестьян. Позже он представил на утверждение правительства проект освобождения своих крепостных. Однако в правительстве к этому проекту отнеслись отрицательно, опасаясь вредных последствий, и не сочли возможным представить его на рассмотрение царю. В конце жизни Марконович участвовал в «Черниговском комитете об улучшении жизни помещичьих крестьян» и, по воспоминаниям современников, постоянно оставался там в меньшинстве из-за своих слишком прогрессивных взглядов.

Гоголь очень интересовал такой положительный тип его современника. Хотя это явление встречалось нечасто, но это был не художественный образ «правильного» помещика в «Мертвых душах» (Костанжогол) и не общее рассуждение на эту тему в «Выбранных местах». Это была часть жизни тогдашнего российского общества, которая не в литературе, а на самом деле показывала возможности иного, положительного его развития даже в тех условиях, которые тогда были, вернее, начиная с тех условий, чтобы улучшить их.

Мысль о том, что на любом месте и в любых условиях можно что-то делать для преобразования жизни на христианских, а значит, более нравственных началах, — это одна из самых любимых мыслей Гоголя, как видно из «Выбранных мест». Наверное, какая ситуация ни существовала бы при Гоголе в России, он всё равно написал бы о пути преобразования человека, живущего в той ситуации. То есть о том, как могли бы действовать его современники в этих конкретных условиях, желая

устроить жизнь к лучшему. Но основа любых конкретных советов была бы одна – воплощение в жизнь христианских заповедей – как максимально реалистический и самый эффективный подход к решению этой проблемы. Если не идти по этому пути, то невозможно сделать общество более гуманным и демократичным.

Но насколько обществом осознана эффективность такого подхода? Насколько оно готово видеть на каждом месте возможность нравственного роста? Оно, скорее, готово унывать, глядя на других, более заманчивыми ориентирами, которые при ближайшем рассмотрении как раз и оказываются утопиями. Утопичность – это как раз свойство общественного сознания, когда оно стремится определить пути будущего развития общества.

Но для того и дан исторический опыт, чтобы эту утопичность корректировать в должном направлении – то есть реалистическом, более близком к истинному. А еще для этого есть и такие образцы публицистического, проповеднического и даже пророческого слова, как «Выбранные места из переписки с друзьями» и письмо Белинского к Гоголю по поводу этой книги. Из них обоня мы должны извлечь урок. Оба они, увиденные сквозь призму прошедшего с тех пор времени, могут многое сказать нам и во многом помочь при нашем желании услышать обращенные к нам многозначительные слова. И важно, что были они сказаны уже более чем полтора века назад.

Гоголь писал в одном из писем: «Человечество бежит ослепелью, никто не стоит на месте; пусть его бежит, так нужно. Но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огня истины, если они улетучатся общим движением, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые лезутся. Хоровод этот кружится, кружится, а наконец может вдруг обратиться на место, где они истинны. Что ж, если он не найдет на своих местах благодетелей и если увидят, что святые огни пылают не полным светом? Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны занимать многие, которым Бог дал не общие всем дары»¹¹.

Сам Гоголь вполне следовал этому правилу, и все произведения, в том числе «Выбранные места», писал не только для современников, но и для потомков. Сочинения, оказавшиеся, по его мнению, недостойными внимания публики, он сжигал. А «Выбранные места», несмотря ни на какие мнения о них, он предполагал включить в собрание сочинений¹⁴.

Правда, готовые конкретные советы для сегодняшнего дня из этих произведений получить нам труднее, чем современникам Гоголя и Белинского (так как изменялись многие исторические реалии). Однако всегда актуальной остается сущность гоголевского подхода – подчеркнутое внимание к состоянию души человека, его внутреннему миру.

Вот, например, в главе «Русской помещик» Гоголь советует помещикам просвещать крестьян исключительно в области закона Божия, а остальные книги считать ненужными им и вообще грамоту заменять беседами со священником, а также напоминать о христианских заповедях всегда во всех ситуациях житейских. На первый взгляд, Гоголь тут выглядит ужасным ретроградом и врагом просвещения, что странно и неожиданно для писателя.

Однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что ничего сверхъестественного с Гоголем не произошло и он не превратился вдруг из человека просвещенного в иракобеса. Просто, советуя ограничиться лишь духовным просвещением крестьян, он указал единственно возможный путь благотворного воздействия на душу человека, а значит, на его качество – это влияние религии. Белинский так остроумно и страстно ополчился на эту идею Гоголя, противопоставляя ей философию европейского Просвещения, таким атеистом представил русского человека, что сразу становится ясно, насколько проблематично воплощение в жизнь гоголевских советов.

Гоголь не только понимал всю сложность, может быть, даже неразрешимость и в то же время насущность этой проблемы – он, кажется, никогда не забывал о ней и ждал

с осознанием ее всю жизнь, чувствовала ее как свою личную драму и свое личное очень важное для него дело.

В сущности, о том же самом идет речь и в двух последующих главах – «Исторический живописец Иванов» и «Чем должна быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». В обоих случаях речь идет о том, каким должен быть человек, преображенный религией. В первом случае речь идет о человеке, с которым это преображение уже произошло и он ушел в свое дело (создание картины), как в монастырь, и обрел такую духовную крепость, которая редко кому свойственна, в том числе среди художников. В другом случае к такой крепости Гоголь призывает стремиться любому обывателю, не создающему никаких великих произведений. И дело не в том, каким путем человек к этому придет – путем одним только молитв или еще каких-то средств (например, разделения денег на разные кучи, каждая из которых предназначена на определенные цели). Важно то, чтобы он преодолел расплывчатость и обмывание, свойственные современному человеку, ставшему рабом своих своих пустых капризов.

В словах Гоголя слышна ностальгия по человеку, сильному духом и одухотворенному религиозным восприятием всей жизни, как бы такой человек существовал когда-то и теперь утерян: *«Дрянъ и тряха сталъ всякъ человекъ; обратилъ самъ себя въ подлое подложное существо и въ раба самыхъ пустейшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нетъ теперь нищѣ свободы въ ея истинномъ смыслѣ. <...> Свобода не въ томъ, чтобы говорить промолву своихъ желаний: да, но въ томъ, чтобы уметь сказать имъ: нѣтъ»¹⁵.*

Здесь та же тоска по одухотворенной жизни, что звучит и в известном восклицании автора «Миргорода»: «Скучно на этом свете, господа!» Но в отличие от автора «Миргорода» автор «Выбранных мест» не только тоскует о когда-то бывших истинных духах, наподобие «православных рыцарей» из «Тараса Бульбы», но и пытается воссоздать, вернуть хоть бледный отсвет того великого света.

Рассмотрен с духовных позиций всё российское общество своего времени, от крестьян до монарха, и постиг всякий глубинный смысл его устройства и его потенциальных возможностей, Гоголь в «Выбранных местах» фактически создал новую «энциклопедию русской жизни» – теперь уже с точки зрения ее нравственного состояния. (Как известно, художественной «энциклопедией русской жизни», по выражению Беллинского, ранее стал пушкинский «Благонный Онегин».)

* * *

Гоголь не зря просил перечитывать книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» – и неоднократно. Действительно, в отличие от его художественных произведений, которые сразу и навсегда запечатываются в памяти довольно ярко, «Выбранные места» открываются не сразу. К пониманию их нужно пройти некоторый путь, так что это должно быть не просто механическое перечитывание, а постижение.

Сначала они просто шокируют своей необычностью и по сравнению с другими произведениями Гоголя, и вообще с тем, что обычно принято считать литературой.

Потом становится понятно, что это исповедь и проповедь одновременно.

Потом – что исповедаемые мотивы здесь нужны, только чтобы убедительнее и действительнее осуществить ту же проповедь. То есть и то, что кажется исповедью, – это тоже проповедь, хотя и под видом исповеди. Словом, всё это своего рода проповедь христианства, но осуществляемая не священником, а писателем – глубоко верующим человеком. Но, правда, от этого понимания впечатление от книги не становится менее шокирующим.

Потом наконец становится ясно, насколько всё в «Выбранных местах» современно и сейчас, несмотря на некоторые реалии, теперь уже устаревшие (крепостное право, монархия и др.). Потому что, в сущности, речь идет о вечных для России проблемах, о которых говорилось и до Гоголя (может быть, не так громко и подроб-

но), и особенно много после Гоголя, а их решение так до сих пор и не найдено.

Как не было многочисленного среднего класса, который стал бы основой стабильности в обществе, так его и нет. Именно эту проблему, чувствуя ее особенную важность, по существу, предлагал решить Гоголь, советуя помещикам воспитывать своих крестьян трудолюбивыми и помогать им жить в достатке. Хотя это еще не средний класс, но это путь к его созданию. Такие крестьяне были бы больше готовы к свободе и в будущем меньше нуждались бы в революции. Помещиков же он, наоборот, призывал к более аскетической жизни, чем они привыкли вести, – не гнаться за роскошью, следуя веяниям моды, и основательно заниматься хозяйственными делами. И это тоже путь к созданию «среднего класса», к преодолению сложных, кажущихся неразрешимыми противоречий в обществе. А вообще всех призывал работать не для себя, а для Бога, и прежде всего людей, «занимающих важное место». А высшая власть, то есть монарх, по мнению Гоголя, должен «сделаться весь одна любовь» и обратить всех «как бы в собственное тело свое, возбоден духом о всех»¹⁸, а также передать всю любовь подданных ее «законному источнику» – Богу. А художник должен уйти в свое дело, как в монастырь, и отречься от многочисленных мешающих ему соблазнов светской жизни. Все эти задачи, обозначенные Гоголем, как была тогда актуальны и не решены, в современной ему России, так и остались актуальными и нерешенными до сих пор и, наверное, будут всегда такими оставаться. Таким образом, Гоголь обозначил вечные проблемы, но в то же время и дал вечные ориентиры для движения общества к разумному и гуманному устройству.

По-видимому, есть и еще одна степень понимания – наивысшая. Это когда что-то из сказанного Гоголем практически повлияет на мысли и действия его читателей, а значит – в какой-то степени – на жизнь соотечественников. Такой ведь и была цель книги – влияние на жизнь, а не просто изложение своих мыслей.

Таким путем к постижению этой книги, и, возможно, пройти его быстро нельзя и нужно на этом пути расти внутренне и не останавливаться на первом впечатлении.

Возвращаясь к письму Беллинского, необходимо отметить, что он как раз и имел только первое впечатление и волею судьбы вынужден был только им и ограничиться. Кроме того, Беллинский знал «Выбранные места» в сокращенном цензурой виде. Наиболее острые главы, которые показывали, что Гоголь, также как и Беллинский, чувствовал тяжесть назревших в России проблем и надвигающуюся грозу из-за сложившихся противоречий в российском обществе, были цензурой запрещены. Это главы «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы России», «Занимающему важное место».

Взаимоотношения Гоголя и Беллинского оборвались в период наибольшего разногласия. И вот в результате этого нам пришлось навсегда запомнить Гоголя и Беллинского как некие противоположные стороны и носителей взаимоисключающих мнений. Но это произошло только из-за того, что жизнь Беллинского в этот момент закончилась. Проживя он далее, он, возможно, скорректировал бы в какой-то степени свое мнение, как это случалось и раньше. Ведь когда-то он увлекся «примирением с действительностью», а потом всё это назвал «трусизмом» – и действительность, и свое стремление примириться с ней. Когда-то критиковал ученые статьи Гоголя из сборника «Арабески», а через несколько лет раскаивался в этом. К тому же со временем возникли существенные основания для того, чтобы мнение о творчестве «когда-то» Гоголя могло у читателей и критиков несколько измениться. После смерти Гоголя были опубликованы некоторые его письма и «Авторская исповедь», которые показывают, каким образом духовный путь писателя привел его к созданию «Выбранных мест».

При своих выдающихся способностях к развитию и восприимчивости нового и необыкновенно стремительных

темах этого развития Белинский вполне мог в какой-то мере проникнуться пониманием и уважением к идеям Гоголя, но не сразу, а постепенно, со временем – если бы это время было в его распоряжении. Ведь начало же, хотя и очень медленно, меняться отношение современников к Гоголю как духовному писателю вскоре после его смерти. И уже в 1850-е годы Чернышевский, далекий по своим идеологическим убеждениям от Гоголя и близкий к Белинскому, в статьях о Гоголе стремился доказать искренность автора «Выбранных мест», назвав его «человеком слишком высоких и слишком сильных стремлений»¹⁷.

Но как бы то ни было, наше дело – современных читателей Гоголя и Белинского – не столько сосредоточивать внимание на их противоречиях, сколько извлекать пользу для себя из их произведений – из того, что в них есть непреходящего. Исторически оставшиеся навсегда в споре, они во внимании и в понимании читателей должны достичь объединения своих идей.

Читателю же, привыкшему воспринимать «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя и «завальбружское» письмо Белинского как свидетельства об их непримиримых противоречиях и быть неким сторонним наблюдателем этой полемики, оценивающим, кто прав, а кто виноват, кто победил, а кто проиграл, – такому читателю полезно, помимо роли такого судьи, раздающего оценки, побывать и в роли ученика. Отодвинув на второй план эмоциональную сторону, сосредоточиться на содержательной стороне и постараться не столько оценивать или сочувствовать, сколько учиться. Усвоить рациональное зерно, содержащееся и в том и в другом произведении. Для этого они, собственно, были написаны. Только такой подход позволит извлечь пользу как в наше время, так и в любое другое время, из этих необычных, публицистических и проповеднических, произведений.

¹ Белынский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. X. С. 214.

² Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. XIII. С. 439–440.

³ Белынский В.Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 213.

⁴ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 443.

⁵ Белынский В.Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 213.

⁶ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 343.

⁷ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 126.

⁸ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 456.

⁹ Белынский В.Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 215.

¹⁰ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 525.

¹¹ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. IX. С. 494.

¹² Белынский В.Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 213.

¹³ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 314.

¹⁴ По воспоминаниям Г.П. Давыдовского, посетившего вместе с О.М. Бодуновским осенью 1851 г. Н.В. Гоголя, он рассказал им о подготовке своего собрания сочинений:

«— А "Перевиски"? — спросил Бодуновский.

— Они войдут в известной том; там будут поминуты письма и банкеты и родные, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, является... после моей смерти» (Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 438).

¹⁵ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 341.

¹⁶ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 356.

¹⁷ Бердяковский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1948. Т. IV. С. 450.

И.Р. МОНАХОВА

***«Истинный рыцарь духа».
Роль В.Г. Белинского в истории русской
литературы***

Многим памятна некрасовская строчка: «Белинский был особенно любим...» Надо признать, что и сегодня он тоже любим особенно. Наверное, никакая persona в истории русской литературы не вызывает столь контрастных оценок и эмоций, как он. Споры о Белинском и в наше время по накалу страстей напоминают порой его же собственные журнальные «баталлии» с оппонентами. О его личности и творчестве спорят так, как будто и не проходило с тех пор многих десятилетий.

В этой особенной любви к Белинскому можно отметить два аспекта. Во-первых, он воспринимается очень живо и непосредственно, как современное явление. Во-вторых, любовь к нему местами соседствует с ненавистью. «Для меня Белинский не существует!» – категорически заявил мне один профессор филологии из МГУ. Некоторые «исследователи» в наши дни посвящают целые главы книг и диссертаций тому, чтобы доказать, что Белинский ничего (или почти ничего) хорошего не сделал для русской литературы, в которой к тому же мало что понимал.

Остается только загадкой, как ему удалось, «ничего не понимая» и «ничего не сделав», войти в историю русской литературы в качестве великого критика. И почему то же самое не повторяют другие, сколько бы они ни понимали и что бы они ни сделали. Говорят, что это, мол, друзья Белинского превозносили его и сложили о нем легенды. Почему бы, в таком случае, друзьям и поклонникам других критиков не превознести их и не сложить о них подобные легенды? Ведь Белинский фактически

одни преодолела скромные границы своего жанра и стала фигурой, сравнимой по масштабу со своими великими современниками – Пушкинным, Гоголем, Лермонтовым.

Нигилистические настроения в отношении Белинского особенно проявились в последнее время. Ведь «нестовый Виссарион», считавшийся раньше чуть ли не революционером, теперь как бы «вышел из моды», то есть конъюнктура изменилась. Некоторые особенно усильно стараются соответствовать «духу времени», не найдя для этого лучшего способа, как обивать грязью Белинского.

Таким образом, Белинский – особенный классик: «нестовый Виссарион» [надо отдать должное его исследователям] никак полностью не покрывается «хрестоматийным глазом». Вокруг него всё еще бушуют дискуссии, а любители «сбросить кого-нибудь с корабля современности» не устают «в детской резвости» раскачивать корабль русской литературы. Но, отдав дань свободности, обратимся теперь к нетленному.



Какова роль Виссариона Григорьевича Белинского в истории русской литературы? Хотя о его жизни и творчестве написаны многотомные исследования, но для широкого круга читателей Белинский так до сих пор и остается преимущественно автором «письма к Гоголю».

Для того чтобы понять роль Белинского в литературе и общественной жизни, надо представить, на каком этапе находилось развитие русской культуры в целом в то время, когда начиналась деятельность Белинского, то есть во второй четверти XIX века. Россия к тому времени прошла огромный путь исторического развития, русский человек, русское общество – также. Сформировался русский национальный характер. За время исторического развития был накоплен огромный духовный опыт, в котором наша отражение многие составляющие российской жизни: своеобразие природных условий и исторического пути, быт, религия, земные влияния и т.д. Духовное содержание, накопившееся в

народе в течение многих веков, оставалось, по существу, невысказанным, скрытым, подобно полезным ископаемым в земле. Представление русского человека (и общества) о своем месте и своей роли в мире, о самом себе, свой оригинальный, неповторимый взгляд на жизнь и в ее сущности, и в разнообразных проявлениях, реакция на вызовы судьбы (исторической – в масштабах всего народа и личной – в масштабах человека), своеобразие устройства общества и взаимоотношений человека и общества – информация обо всем этом в исчерпывающем, избыточном объеме скопилась в исторической памяти, в сознании человека (и общества). Но информация эта была большей частью бесформенной, а значит, толком не освоенной и недоступной самому же ее владельцу.

Вот почему общество, объективно созревшее для самосознания, испытывало повышенную духовную жажду, стремись освоить, осознать накопившееся им же самым духовное содержание. В этом объективная причина возникновения «золотого века» русской литературы. Дело не только в том, что именно в то время появились гениальные личности (в частности, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский), но и в том, что они были тогда крайне востребованными. Ведь великая литература не может создаваться в атмосфере всеобщего равнодушия к ней.

В то же время неравнодушные публикации возникают именно от желания осознать существующее у нее же самой содержание. То есть у писателя в этот момент имеется не только усиленный интерес публики к его творчеству, но и объективно великое поприще, потому что велико неосвоенное, невысказанное духовное содержание, накопленное народом. Как подчеркивал Белинский, «поэт никогда и ничего не выдумывает, но облекает в живые формы общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то своё собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно предощущали, или о чем мыслили, но чему

не могли дать ясного образа, чему не могли найти слово, и что, следовательно, поэт умел только выразить»¹.

Литература стала в России главным путем самосознания и взяла на себя главную роль в том, чтобы показать русскому человеку его же самого и рассказать ему о нем же самом что-то такое важное, сущностное и в то же время обобщенное, что он сам сформулировать для себя не в силах. Для этого необходим гений, который сумеет «переплавить», «переродить» каким-то таинственным путем огромную, но бесформенную массу информации в художественные образы, которые тоже по существу представляют собой информацию, но только в особом виде. Во-первых, в художественном образе ее огромное количество. Во-вторых, она особого качества, потому что художественные образы имеют замечательное свойство оставаться живыми, яркими, свежими, преодолевая века и даже тысячелетия. К тому же они воспринимаются читателями удивительно легко (в отличие, например, от научной информации) и запоминаются надолго. Так художественность (образность) связана с народностью искусства.

Духовная жажда, жажда самопознания русского общества начала XIX века была во многом жаждой великой литературы, которая в дальнейшем и возникла. Ее появление обществом явно предчувствовалось. Белинский в статье «Литературные мечтания», опубликованной в 1834 году, решительно заявил: «У нас нет литературы». Статья эта поражала всех смелостью суждений и «огненностью» стилем. Однако главный акцент ее («у нас нет литературы») – это в то время была идея, «висящая в воздухе». Но именно Белинский выразил ее наиболее четко, ярко, основательно. Хотя в этой статье он пишет и о Пушкине, и о многих выдающихся писателях – Ломоносове, Державине, Тредиаковском, Сумарокове, Карамзине, Жуковском, Грибоедове, но тем не менее делает вывод, что «у нас нет литературы». Что имелось в виду? Литература еще не приобрела тот масштаб, который соответствовал бы ее потенциальным возможностям как выразительницы духа народа. Белинский

писал о существенном раздвоении между народом (массой народа) и обществом (избранным крутом людей, более или менее просвещенных и свободных). Самой существенной характеристикой литературы Велинский считал народность: «Что такое наша литература: выражение общества или выражение духа народного? Решение этого вопроса будет историею нашей литературы и вместе историею постепенного хода нашего общества со времен Петра Великого»².

Народность же он считал верностью жизни: «Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно»³ (это уже из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя»). А верность жизни, способная передать дух народа, – «необходимое условие истинно художественного произведения»⁴. Это уже поэзия новой эпохи – «поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени»⁵. Таким образом, художественность и народность тесно взаимосвязаны. И вывод Велинского «у нас нет литературы» связан и с тем, что литература не стала еще выразительницей народного духа, и с тем, что в ней было слишком мало истинных художников: «У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, то есть таких людей, для которых писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются в искусство»⁶. Впрочем, вывод Велинского в итоге весьма оптимистичен: «У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов»⁷.

Велинский не просто логическим путем пришел к своим выводам. Здесь было явное предчувствие дальнейших (вслед за Пушкиным) вершин художественного творчества и явное ощущение назревшей в обществе потребности в великой литературе как в выразительнице духа народа, как в главном пути к самопознанию. Неудивительно, что на современников «Литературные мечтания» произвели впечатление налетевшей бури – стихийного, грозного и в то же время радостного собы-

тия, подобного несеншей грозе. Дело тут не только в «от-
несенном» стиле статьи. Белынский сумел почувствовать
и убедительно передать очень важную для общества в
тот момент идею, и читающая публика увидела в его
словах выражение в какой-то степени своих заветных
мыслей и предчувствий, которые так ярко выразить и
даже просто сформулировать так четко не могла.

Таким образом, понимание будущего великого кри-
тика в литературе произошло очень вовремя: для него
существовало огромное поприще. Великая литература
не может создаваться в «безраздушном» пространстве –
без понимания и осмысленного понимания к ней публики,
без той «духовной жажды», которая заставляет человека
искать ответы на «вечные» вопросы. Но если «духовная
жажда» – явление большей частью стихийное, безот-
четное и возникает тогда, когда наступает время под-
няться на новую ступень духовного развития и само-
сознания, то с пониманием сложнее. Отчасти оно тоже
«стихийно», «естественно», если встречается с истинным
искусством. Но здесь не всё так просто. Если уж Лев
Толстой, читая Белынского, признался в своем днев-
нике в 1857 году: «Статья о Пушкине – чудо. Я только
теперь понял Пушкина»⁴, то что говорить о многих дру-
гих читателях! Да, они поняли бы в какой-то степени
Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других писателей того
времени и без критика, но в какой степени? Что они
узнали бы в этих произведениях?

Например, книги молодого Гоголя («Вечера на хуто-
ре близ Диканьки», «Миргород») имели громкий успех.
Многим нравились остроумный стиль, приключенные
сюжеты, малороссийская экзотика. Но в то же время
некоторые критики называли его творения «самышлем»,
«грязным» из-за их простонародного колорита. Имен-
но Белынский увидел еще тогда, в первой половине
1830-х годов, истинный масштаб гениального писате-
ля, которого в 1835 году в статье «О русской повести и
повестях г. Гоголя» назвал «главой литературы, главой
поэтов», а сущность гоголевского творчества определял
как «поэзию жизни действительной». И в дальнейшем

он отстаивал новую, реалистическую эстетику, прежде всего в своей многолетней «борьбе за Гоголя».

Столь же важным, основополагающим делом всей жизни Белинского была борьба за художественность литературы, за высокое искусство, истинную поэзию. Один из главных тезисов, высказанных Белинским: «Искусство есть мышление в образах» стал в дальнейшем основой для понимания всей русской публики не только классики XIX века, но и русской литературы в целом. Истинно поэтическое произведение не выдумывается автором, а создается по вдохновению, дарованному свыше. Оно рождается, как росток из зерна, и поэт тут является почвой. Поэтому образ и живет как бы своей жизнью и воспринимается как живой – потому что он «рожден». Белинский противопоставлял такие сотворенные по вдохновению, «рожденные» произведения «сделанным», «смастеренным». Художественную литературу он отдавал от риторической, то есть лишённой живой, образной основы и не имеющей отношения к искусству. Главным критерием при оценке произведения для Белинского была художественность, и величие художника связывалось с присутствием в его творчестве истинной поэзии. (Кстати, эти «азы» величие было бы почтнее вспоминать и сегодня в применении к современной литературе.)

Таким образом, деятельность Белинского была совершенно необходима и весьма своевременна: он создал в России основу для восприятия создававшейся тогда и грядущей великой русской литературы, расцвет которой во многом был связан с новой, «реальной» поэзией. Начало и основа высших достижений русской литературы – это пушкинское, гоголевское творчество. Начало и основа ее понимания, освоенные обществом – это творчество Белинского. Поскольку, как уже говорилось, великая литература без понимания ее обществом, не будучи необходимой ему, не может существовать, то Белинский фактически был создателем того высочайшего явления в отечественной культуре, которое называют теперь «золотым веком» русской литературы.

Для того чтобы осуществить эту миссию, критику было недостаточно быть тонким ценителем искусства. Надо было быть еще и трибуном, надо было завладеть вниманием публики так, чтобы критическое слово стало таким же насущным, как и художественное. Надо было фактически из критики сделать общественную деятельность, причастную не только к литературе, но и к социальной жизни. Всё это было в критике Белынского, которая, конечно, далеко превосходила обычные масштабы этого жанра. Благодаря этому критика Белынского воспитывала целые поколения – и читателей, достойных великой литературы, и людей, готовых, подобно ему, жить честно, бесстрашно. Есть немало свидетельств об ошеломляющем восприятии современников от статей Белынского, об их огромном влиянии на читателей. Наверное, сегодняшнему человеку даже трудно представить себе, чтобы литературная критика могла бы стать событием общественной жизни такого масштаба.

Вот что писал о 1840-х годах музыкальный и художественный критик В.В. Стасов: «Белынский же был – решительно нашим настоящим воспитателем. Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все прочее не сделают столько для нашего образования и развития, как один Белынский, со своими ежемесячными статьями. Мы в этом не разнились от остальной России того времени. Громадное значение Белынского относилось, конечно, никак не до одной литературной части: он прощел всем нам глаза, он воспитывал характеры, он рубил рукою свалача патриархальные предрассудки, которыми жила сплошь до него вся Россия, он издали приготавливал то здоровое и могучее интеллектуальное движение, которое окрепло и поднялось четверть века позже. Мы все – прямые его воспитанники»⁹.

Провинциальный актер А.П. Толочнов вспоминал: «Какое торжество бывало, когда учитель словесности, доходящий ученикам, приносит книжку “Отечественных записок” со статьями Белынского! Как береглась эта книжка! Сколько раз перечитывались.. Какую энергию и жажду к труду возбуждая рассказы о тружени-

ческой, почти мученической жизни Белинского... Его неутомимая деятельность, несмотря на всевозможные препятствия, его твердость в перенесении различных невзгод, преследований и физических болезней, его страстная, гуманная, нежная душа, сквозившая в статьях, имела чарующее влияние на молодые, восприимчивые сердца... Это влияние на многих осталось на всю жизнь... Многих знаю я, которые до сих пор, уже потерявшие, помятые жизнью, без унывания не могут произнести имени Белинского и продолжают честно трудиться во имя его...¹⁰

И.С. Аксаков свидетельствовал: «Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вопочего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю. <...> "Мы Белинскому обязаны своим спасением", – говорят мне везде молодые честные люди в провинциях. <...> И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, – ищите таковых в провинции между последователями Белинского»¹¹.

Другого примера подобного масштаба литературно-критического творчества в русской литературе не существует. О масштабе его деятельности И.С. Тургенев сказал: «Белинский любил Россию; но он также пылко любил просвещение и свободу; соединить в одно эти высокие для него интересы – вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился»¹². Символично, что в творчестве Белинского неразрывно соединялись взгляд на литературу и взгляд на окружающую действительность, борьба за высокое искусство и за более цивилизованную жизнь. По-видимому, в столь литературоцентричной стране, как Россия, иначе и быть не могло.

Уникальность деятельности Белинского еще и в том, что он был способен не только оценивать литературные

произведения, но и оказывать влияние на развитие самой литературы, на ее облик. Уже говорилось о том, что критика Беланского много значила для понимания публикой произведений Гоголя. По замечанию Н.А. Гончарова, «и Гоголь не был бы в глазах большинства той коммемориальной фигурой, в какую он, осмещенный критикой Беланского, сразу стал перед публикой»¹².

Но дело не только в том, что Беланский открыл для публики существо гоголевского творчества (реальная поэзия) и самого Гоголя как истинного, великого поэта. Дело еще и в том, какое значение это имело для творческой судьбы самого Гоголя, а значит, и для развития русской литературы в целом. Ведь Гоголь с большим вниманием относился к мнениям читателей и критиков. Например, когда его первая книга «Ганц Кюхельгарстен» получила отрицательный отзыв критики, он не только свел почти весь тираж ее, но и отказался в дальнейшем писать в том же духе. Его последующие произведения были совершенно иными.

П.В. Анненков вспоминал об участии Беланского в творческой судьбе Гоголя: «Одною из <...> далеко опережающих остальных была статья Беланского "О русской повести и повестях г. Гоголя", написанная всмел за выходом в свет двух книжек Гоголя: "Миргород" и "Арабески" (1835 год). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприимчивком Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Беланский. Статья эта одобряема причлаась очень кстате. Она подошла к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость по адолюменту, он осужден был выносить самые заостренные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, осажденный и сконфуженный не столько яркими выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одиноким, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. <...> Руку помо-

при в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем неосождаемый и совершенно ему неизвестный Белинский, привившийся с упомянутой статьей в "Телескопе" 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирая, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой, как полезной и приятной, – а, основываясь на сущности авторского таланта и на достоинстве его мировоззрения, просто объявлял, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя. Я никак не смел видеть действие этой статьи на Гоголя. Он <...> был доволен статьей, и более чем доволен: он был очисти́тываен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. <...> Решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не пообум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий»¹⁴.

Был бы дальнейший творческий путь Гоголя таким, каким он стал на самом деле, если бы в начале этого пути, в решительный, переломный момент, Белинский не поддерживал в Гоголе «поэта жизни действительной»? И вслед за этим – было бы таким, как оно стало, дальнейшее развитие всей русской литературы, в котором творчество Гоголя – «отца натуральной школы» – сыграло решающую роль? Ведь никакой предопределенности, заданности не было, никто не гарантировал, что в России XIX века возникнет великая литература. Она создавалась общими усилиями, и не только великих художников. Фактически Белинский был их сотворцом и ее созданием.

Столь же решающее значение имела поддержка Белинского и для творческой судьбы Достоевского. Так же как и в случае с Гоголем, это была не только принципиальная критическая оценка его сочинений и не только предвидение будущей великой судьбы, но и влияние на эту судьбу. Трудно рационально объяснить, подробно проанализировать, чем же была, в сущности, знамени-

тая встреча никому еще не известного литератора Достоевского с Белинским. Чем она была в судьбе Достоевского и в судьбе русской литературы? Если сказать, что это была беседа в восторженных тонах, благословение на новые творческие подвиги, данное самым авторитетным критиком начинающему писателю, – это еще ничего не сказать.

При первой встрече с Достоевским Белинский «передал ему вполне свой эгуизм»¹⁵, – писал свидетель этой встречи И.И. Панаев.

Но лучше всего, конечно, рассказана о сущности и значении этого события сам Достоевский, вспоминая в конце жизни, в 1877 году, в «Дневнике писателя» о своей встрече с Белинским: «Я вышел от него в упоении. Я остановился на угау его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходящих людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошло торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. <...> Я это всё думал, припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом»¹⁶.

То, что одной «минуты блаженства» может быть достаточно «на всю жизнь человеческую», – это Достоевский в своем творчестве очень ярко показал. Но здесь-то речь идет не только о счастье, не только о восхищении: судьба великого писателя в какой-то степени была выстроена этой «самой восхитительной минутой» – судьба, составляющая, в свою очередь, часть русской культуры.

Да, такой вклад Белинского в развитие отечественной литературы трудно рационально объяснить. Он не содержится в собрании его сочинений, а «растворился» в самой литературе и стал ею. То же самое можно сказать и о понимании русской классики XIX века многочисленными поколениями читателей. Здесь Белинский присутствует с тех пор, как писал об этом, до сегод-

нившего дня и, наверное, будет присутствовать столько, сколько будет существовать сама эта классика. Публикации Белинского оказывали огромное влияние и на мировоззрение читателей вообще, и, в частности, на их литературные взгляды. А.И. Герцен писал: «Статьи Белинского судорожно охидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получили ли "Отечественные записки"; тяжелый номер рвали из рук в руки. "Есть Белинского статья?" – "Есть", – и она поглощалась с мизерадным сочувствием, со смыслом, со спорами... и трех-четырех верований, увлеченной как не бывало»¹⁷; «На его статьях воспитывалась вся учащаяся молодежь. Он образовал эстетический вкус публики, он продавал силу мысли»¹⁸.

Но самое интересное, что повести Белинского о литературе так прочно уживались публикой, что вскоре уже считались общепринятыми и само собой разумеющимися – настолько, что их источник уже порой и не помнился, как будто они сами по себе возникли в умах читателей. О его ранних статьях И.С. Тургенев заметил: «Мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною, стали всеми приняты, общим местом <...>. Под этим приговором подписались потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей»¹⁹. И всё это происходило в столь широком масштабе, что удивляло даже самого Белинского. «Не знаю, что будет вперед, а пока я просто изумлен тем, как ния мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось», – писал он в 1846 году А.И. Герцену.

Конечно, читающая публика – это во времена Белинского был еще далеко не весь народ. Но через несколько десятилетий эти общепринятые взгляды от узкого круга просвещенной публики с наступившем всеобщей грамотности и при довольно почтительном отношении к классике в советский период перешли к самому массовому читателю. Так что мы, сами того зачастую не подозревая, видим классику отечественной литерату-

ры во многом глазами Беланского, включая даже и тех, кто «кое-где у нас порой» пытается сбросить великого критика с «корабля современности». Эта затея, будоражащая воображение некоторых, совершенно неосуществима еще и потому, что Беланский – это не только его собрание сочинений (статей и писем). Беланский – это в какой-то степени и сама литература ее «золотого века» и наш собственный взгляд на нее.

Но и это еще не всё. Не только Беланский – критик, теоретик литературы, философ, публицист, трагун остался в истории русской культуры, но и Беланский – человек: необыкновенно искренний, «исконный» в своем поиске и отстаивании истины, в своем неравнодушии ко всему, – словом, «отец русской интеллигенции». Обращая на это внимание, В.Г. Короленко подчеркнул: «Кроме той массы идей, которые он в течение своей долгой карьеры пустил в обращение, которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться, не всегда даже связывая их с первоисточником, – кроме столько-то печатных томов и страниц, Беланский навсегда нам еще целый, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов. Этот образ – он сам, с его страстным жаждой истины, с его исканиями и искренностью. <...> Это был истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляды, как на своего подвижника и святого! И это – быть может, самый бессмертный долг того, что нам осталось от Беланского»²⁰.

Так исторически сложилось, что самым «громким» событием жизни Беланского и сочинением, имеющим самую громкую известность, стало его «зальцбургское» письмо к Гоголю 1847 года по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» и весь тот общественный резонанс, который вызвали оба эти произведения. Традиционно многие десятилетия конфликтность этой ситуации подчеркивалась и преувеличивалась. Впрочем,

для самых Гоголя и Белинского и их современников громкость этого конфликта была вполне закономерна и объяснима. И для Белинского, и вообще для всей читающей публики Гоголь был исключительно художником. Никто, кроме самых близких ему людей, не имел глубокого представления о его религиозных устремлениях, его духовном пути. Это нам сейчас вполне доступно: многие материалы, рассказывающие о внутреннем мире Гоголя, – письма, «Авторская исповедь», «Размышления о Божественной Литургии». И мы легко можем по этим материалам увидеть Гоголя-христианина. Для современников Гоголя (за редким исключением) всё это было неизвестно, поэтому появление «Выбранных мест» было для них как «гром среди ясного неба». Поэтому и письмо Белинского стало столь громкоподобным. Другое обстоятельство, послужившее этому, заключается в том, что и Гоголь и Белинский слишком увлекались каждый своей идеей. «Как и слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались»²¹, – примерно так заметал Гоголь в письме Белинскому. И это усиленное сосредоточение каждого на своей идее вполне понятно и закономерно.

Но с тех пор прошли многие десятилетия, пройден большой исторический путь, который вполне убедительно показал, что взгляды Белинского и Гоголя (проведение социально-политических реформ и духовно-нравственное преобразование человека и общества) – это две неотъемлемые части целого, то есть развития общества. Без каждой из этих частей полноценное, эффективное развитие невозможно. Не конфликт, а синтез этих направлений должен быть: совершенно необходимо и одно, и другое.

В их «конфликтных», так сказать, сочинениях гораздо больше сходства, чем различия. И то и другое представляет собой, по существу, проповедь гуманизма, но только Гоголь здесь выступает с христианских позиций, предлагая усовершенствовать российскую действительность путем духовно-нравственного роста каждого человека, а Белинский – с просветительских, считая са-

мым важным просвещение народа и проведение социально-политических реформ.

То, что Гоголь и Белинский оказались, по-видимому, самыми неравнодушными людьми своего времени, которые с тревогой и болью задумывались о настоящем и будущем России, – это тоже сблужает, а не отдаляет их точки зрения. Показательно, что оба они в конце жизни оказались в опале за свои проповедническо-публицистические сочинения. Белинского только смерть спасла от преследований. О том, что грозило ему самому, можно догадаться по судьбе петрашенинцев, в том числе Ф.М. Достоевского, отправленных на каторгу за чтение его письма к Гоголю.

На Гоголя – автора «Выбранных мест» – ополчилась почти вся читающая публика. Люди разных взглядов и убеждений дружно осуждали его, высмеивали, упрекали, называли сумасшедшим. Попал он в немилость и у властей, так как в этой книге решил всех учить как жить, в том числе и царя: «Он (монарх. – И.М.) неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна любовь. <...> Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое – быть образом того на земле, который сам есть любовь»²². Даже после смерти Гоголя, даже в некрологе его имя запрещалось упоминать в печати. Как известно, И.С. Тургенев, нарушивший этот запрет и опубликовавший некролог Гоголю, был арестован и наказан ссылкой в свое имение Спаское-Лутовинное.

Таким образом, в «роковых» опусах Гоголя и Белинского – «Выбранных местах» и «замыбрушском» письме гораздо больше общего, чем это может показаться на первый взгляд. Оба эти сочинения – оппозиционные, каждое по-своему. Раньше стереотипно считалось, что Белинский здесь выступал как революционер, а Гоголь – как реакционер. Формальный повод для подобных оценок был такой: главный пафос «замыбрушского» письма – необходимость отмены крепостного права, а в «Выбранных местах» о каких-либо политических переменных речи вообще не идет.

Однако высшая власть в России давно уже к тому времени искала путь к отмене крепостного права, и в годы создания письма Белинского и преследования петрашевцев за его чтение этот путь (по историческим меркам) уже подходил к концу, то есть к реформе 1861 года. Хороша же была революционность Белинского, если она совпадала с основным направлением развития России, которым следовала в тот момент высшая власть, то есть движением от крепостничества к его ликвидации! Так что революционным его письмо, по существу, назвать трудно. Оппозиционным – да, так как, не дожидаясь спущенных сверху реформ, он осмелился четко сказать, какова общественно-политическая ситуация в России и какие реформы ей необходимы.

«Выбранные места», хотя никаких политических реформ не предлагал и поэтому, с формальной точки зрения, мог бы показаться реакционным, по существу, стал не менее оппозиционным сочинением, но оппозиционным не только и не столько к власти, сколько ко всему обществу. Неслучайно эта книга была негативно воспринята почти всей публикой (за редким исключением), а не какими-то определенными «партиями» или сословиями. Это и неудивительно: всей России, всем соотечественникам Гоголь высказал упрек, что они живут далеко не по-христиански. Всем без исключения, в том числе и царю, он дал советы, как устроить жизнь по закону Христа (а по тону книги – скорее, поставил такую задачу).

Этот подход, при ближайшем рассмотрении, реакционным назвать нельзя. Это призыв к развитию, к движению вперед. Но только основой для этого развития, по Гоголю, должны быть не политические реформы, а духовно-нравственное преобразование человека и общества. Но неизвестно еще, что сложнее. Может быть, предлагаемый Гоголем путь – как раз самый труднопреодолимый.

Например, Гоголь писал, что монарх должен не только «сделаться весь одна любовь» и обратить всех «как бы в собственное тело свое, вооблаив духом о всех»²², но еще и передавать всю любовь подданных ее «законному

источнику» – Богу: «Полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передана сама по начальству, и всякой начальник, как только заметит ее устремленные к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь самому Богу»²⁴.

Так чьи идеи более оппозиционны, более кардинальны – Гоголя или Беланского? Определенно царю легче было отменить крепостное право, выполнив тем самым главную из обозначенных Беланским в «сальцбруннском» письме задач, чем выполнить задачу, поставленную Гоголем, и «сделаться весь одна любовью».

Но в любом случае два связанных между собой факта русской литературы и общественной мысли – «Выбранные места из переписки с друзьями» и «сальцбруннское» письмо Беланского к Гоголю – это вещи, в сущности, настолько же сходные, сколько и различные, потому что обе в основе своей оппозиционны, обе представляющие собой проповедь, обе выражающие главные для развития России идеи – каждая свою.

В то же время это был своего рода гражданский подвиг их обоих – во всеуслышанье сказать о самых важных изъянах, извках общества, чувствуя, какую опасность таят они в себе, если их бесконечно замалчивать и ничего не делать для их преодоления.

2011

²⁴ Беланский П.Г. Собр. соч. М., 1981. Т. 6. С. 256.

²⁵ Беланский П.Г. Собр. соч. М., 1976. Т. 1. С. 61.

²⁶ Там же. С. 172.

²⁷ Там же. С. 172.

²⁸ Там же. С. 145.

²⁹ Там же. С. 124.

³⁰ Там же. С. 125.

³¹ Толстой А.М. Собрание сочинений. М., 1985. Т. 21. С. 179.

³² Славин В.В. «Гоголь и воспитание русской молодежи 30–40-х гг.» // Гоголь и воспоминания современников. М., 1952. С. 401.

¹⁰ Толмачев А.П. Гоголь в Одессе. 1850–1851 гг. Из воспоминаний провинциального актера // *Гоголь в воспоминаниях современников*. С. 426.

¹¹ Ахлюков Н.С. Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 457.

¹² Тургенев Н.С. Собр. соч. М., 1979. Т. 11. С. 270–271.

¹³ Гоголь Н.А. Очерки. Статьи. Письма. Воспоминания современника. М., 1986. С. 379.

¹⁴ Ахлюков Н.В. Литературные воспоминания. М. 1983. С. 160–162.

¹⁵ Писемко М.Н. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 349.

¹⁶ Достоевский Ф.М. Собр. соч. М., 2004. Т. 9. Кн. 3. С. 34.

¹⁷ Герцен А.И. Сочинения. М., 1988. Т. 3. С. 24.

¹⁸ Герцен А.И. Письма издамца. М., 1984. С. 175.

¹⁹ Тургенев Н.С. Собр. соч. М., 1979. Т. 11. С. 254.

²⁰ Корсаков В.Г. Собр. соч. М., 1953. Т. 8. С. 8–10.

²¹ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. XII. С. 361.

²² Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 355–356.

²³ Там же. С. 356.

²⁴ Там же. С. 366.

А.М. КРУПЧАНОВ

***К вопросу о дате рождения
В.Г. Белинского***

Занимаясь в течение многих лет проблемами жизни и творчества В.Г. Белинского, мы обратили внимание на ряд противоречий и разночтений, связанных с датировкой рождения критика, собрали эти разночтения в данной работе и попытались дать им свою трактовку, не абсолютизируя свои наблюдения и выводы.

В конце XIX – начале XX века вопрос о противоречиях в датировке рождения критика приобрел дополнительную остроту в связи с опубликованием его метрического свидетельства.

Прежде всего, относительно дня рождения критика. О дате рождения Белинского существуют два официальных документа: первый – выписка из метрической книги Александро-Невской Свояборгской церкви, в которой сказано, что Белинский родился 1 июня 1811 г., второй – письмо из канцелярии великого князя Константина Павловича от 9 июня 1811 г., в котором говорится о согласии великого князя быть восприемником от купцов новорожденного сына штаб-лекаря Г.Н. Белинского (отца). Как ясно из названного письма, отец Виссарионом Григорьевичем, в письме от 31 мая 1811 г., просил великого князя изъявить согласие быть восприемником «от купцов» новорожденного сына. Последний документ хранился в семье Белинского в Ченбае, а выписка из метрической книги, полученная Белинским в 1847 г., была опубликована лишь в 1911 г.

Итак, два официальных документа расходятся в указании дня рождения Белинского (1 июня и 30 мая). Расхождение дат – 1 июня и 30 мая неоднократно обращало на себя внимание исследователей. В.С. Нечасов и

своей монографии о Белинском (ч. 1, с. 47), рассматривая этот вопрос, отдает предпочтение дате 30 мая. Белинский указывал официальным днем своего рождения также 30 мая: по письму из канцелярии великого князя, в котором есть осылака на письмо отца Белинского от 31 мая. Поэтому датой рождения 1 июня никак быть не может. В документах о рождении, которые Белинский подавал при поступлении в Московский университет, Межевой институт и проч., указана дата 30 мая 1811 года. Последний документ был выдан Белинскому за подписью 23 пензенских дворян. По-видимому, и этот документ основывается на датировке письма из канцелярии великого князя. Возможно, здесь учитывались и показания родителей. Ведь в письме из канцелярии великого князя не говорится о дне рождения. Из письма явствует лишь, что этим днем не может быть 1 июня, но в какой день мая месяца родился Белинский, об этом мог бы сказать только родители.

Между тем в 7 томе «Истории русской литературы» (под. АН СССР) оказывается предпочтение дате метрической выписки, т. е. 1 июня, хотя примечание отсылает к точке зрения Нечасовой. В. Нечасова лишь указывает предпочтение дате 30 мая, но недоумевает, почему в метриках показана дата 1 июня. В стремлении объяснить это расхождение и может теперь заключаться основная интрига этого вопроса. Необходимо обратить внимание на самый текст метрической выписки: «Тысяча восемьсот одиннадцатого года июня 1-го, 7-го у лекаря гробного экипажа Григория Белинского от первой его жены Марии Ивановой родился сын Виссарион. Молящийся и крещен священником Иоанном Кутряиновым». В метриках говорится сразу о двух вещах: о рождении Виссариона Белинского и о том, что он был молящийся и крещен. Всё это записано под датой 1 июня. Ясно, что родился Белинский несколько раньше. Можно размышлять, как это делает Нечасова, почему отец Белинского, не дождавшись ответа из канцелярии великого князя, крестил сына, но метрическая запись совместила два события и является, собственно, свидетельством о дне

крещения, а не о дне рождения. Но как тогда понять указание на то, что Белинский был крещен 9 июня, о чем говорится в примечаниях к публикации личных документов Белинского в сборнике материалов о нем, изданном в Пензе в 1848 году? Белинскому, доставшему метрическую выписку в 1847 г. в связи с хлопотами о присвоении дворянского звания, было совершенно неважно это расхождение в двух днях относительно датировки дня его рождения между метрической выпиской и документом, подписанным 23 пензенскими дворянами, основанном на словах его родителей и письме из канцелярии великого князя. Иной даты дня рождения, как 1 июня, метрика и не могла показать, так как в книге сразу были записаны и рождение и крещение. Видимо, версия о том, что крещен был Белинский 9 июня, связана с близостью имени Белинского (день преподобного Виссариона 6 июня).

Ответ на этот вопрос положил бы конец разнобою в датировке дня рождения Белинского и снял бы аргументы, мешающие безоговорочно признавать дату 30 мая бесспорной. Неясность в этот вопрос внесло опубликование Рудаковым в 1911 г. метрической выписки. В 7 томе «Истории литературы» не приводится доказательств, почему авторы считают датой рождения Белинского 1 июня, они просто сослались на публикацию метрической выписки и оглашают скептическую точку зрения В. Нечаевой.

Теперь относительно датировки года рождения Белинского. Мнение о том, что Белинский родился в 1810 году, основано на записке его родственника Д.П. Иванова, посланной А.Н. Пышину, в которой он назвал эту дату (рукопись хранится в АБ). Монография Пышина и, видимо, устные консультации ввели эту дату в широкий оборот. Что касается письма из канцелярии великого князя, то оно, вероятно, относится к году крещения, а не рождения крестника. Крещен же Белинский мог быть и год спустя после рождения.

Начиная свои хлопоты о внесении его имени в дворянскую родословную, Белинский не надеялся на по-

явление своего метрического свидетельства. Более того, он и не подозревал о его существовании. Еще за пять лет до разыскания метрики в «Прошении...» по адресу Пензенского дворянского собрания от 22 ноября 1843 года записано: «...метрического свидетельства о рождении его он не может предоставить потому, что так как он рожден от отца его во время нахождения его в походах на службе во флоте, а потому ему и неизвестно, откуда получить оное» (ПСС, XII, 474). Как видно, затруднения для Беллинского определялись не только временем, но и местом рождения. Метрическая выписка «выслонотана» ему «по случаю», то есть особым способом.

Итак, официально Беллинский всегда указывал годом своего рождения – 1811 год. Этот год зафиксирован и в «Ведомостях об успехах и поведении учеников пензенской гимназии за 1826–1828 годы» («Пензенский сборник», с. 169), которые также основывались на семейной бумаге из канцелярии великого князя. Официальная бумага из канцелярии великого князя, таким образом, уравнивается в правах с не существовавшей до 1947 г. метрикой.

Отец Беллинского по должности с самого начала службы был штаб-лекарем: хотя, как свидетельствует его служебный формуляр, он был произведен в штаб-лекари только 20 августа 1810 года; никаким другим воинским званием, кроме звания «штаб-лекаря», во время службы он не может быть назван. Из того же формуляра отца известно, что возникли он 3 ноября 1809 г. в Кронштадте, где жил с женой (см.: Нечаева, с. 45) и затем был переведен в Сибирь. Следовательно, брак родителей В. Беллинского официально зафиксирован в начале ноября 1809 года – время, с которого может начинаться отсчет возрастных данных крестика. Одним словом, начиная с мая следующего, 1810 года, В. Беллинский уже имел, если можно так сказать, «право» появиться на свет, либо в Кронштадте, либо в Сибире.

Найденное в архивах метрическое свидетельство крестика не только не устранило противоречий, но, наоборот, еще более обострило их. Принятая в конце кон-

цов официальная дата, указанная в метрическом свидетельстве, в дальнейшем вызывает возражения. Так, в 7 томе «Истории русской литературы», изданном Академией наук СССР в 1955 году, в одном из примечаний указано: «В.С. Нечаева, основываясь на сопоставлении ряда свидетельств, считает эту дату ошибочной и приводит доказательства тому, что Белинский родился 30 мая 1811 года»¹ (см.: Нечаева В.С. В.Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. М.: АН СССР, 1949. С. 47). Выводы В.С. Нечаевой, по существу ставящие под сомнение достоверность указанных в свидетельстве месяца и числа, могут опровергнуть и точность даты года рождения, а следовательно, и достоверность документа в целом. Ведь в течение продолжительного времени считалось, что Белинский родился в 1810 году, этот год указан и в книге А.Н. Пыпина «Белинский. Его жизнь и переписка» 1872 г. При этом А.Н. Пыпин опирался на показания еще живших в то время многочисленных современников и родственников критика.

Таким образом, опубликование В. Рудаковым в 5 номере «Исторического вестника» за 1911 год найденного им метрического свидетельства не положило конец спорам и не сняло указанных противоречий, а только отодвинуло их разрешение на более отдаленный срок.

Доказательство В.Рудакова основано на том, что Белинский якобы сам не знал даты своего рождения до получения метрического свидетельства, которое, судя по этому, утверждал окончательно и его самого в правильности этой даты. Такой вывод неизбежен, в противном случае остались бы необъяснимыми те довольно многочисленные места в письмах, где критик указывает дату своего рождения 30 мая 1810 года. И тем не менее вывод, основанный на метрике, неверен.

Белинский, равно как и его родственники, не мог не знать официального года своего рождения, так как с 1811 года в семье Белинских находился официальный документ, в котором указан тот же год, что и в метрическом свидетельстве. Речь идет о документе за № 315

от 9 июня 1811 года, подписанном чиновником Лагодя, в котором дается согласие великого князя Константина Павловича на восприимчивость В. Белинского от купели: «Его императорское высочество, – указывается в документе, – государь цесаревич и великий князь Константин Павлович по письму вашему от 31 минушшего мая на восприятие от купели новорожденного сына вашего Виссариона изволил изъявить свое согласие и приказал мне вас о сем уведомить с тем, чтобы на место его высочества при крещении избрали кого заблагорассудите»¹. Этот документ, постоянно находившийся в семье Белинских, служил верным дубликатом официального свидетельства о рождении, может быть, именно поэтому и невытребованного. Со временем этот документ приобрел в глазах семьи Белинских еще большую ценность, потому что восприимчивость лицами императорской фамилии вскоре было отменено. 12 января 1826 года был издан специальный указ «О вверное в комитет министров восподданнейших просьб о восприятии от купели новорожденных младенцев». «Его величество предоставляет себе изъявлять на сие свое согласие только для таких лиц, которые лично известны его величеству»², – говорилось в указе.

Таким образом, возникает, по-видимому, неразрешимое противоречие между двумя документами: 31 мая 1811 года отец В.Г. Белинского обратился к великому князю с просьбой о восприимчивости новорожденного сына Виссариона, тогда как в метрическом свидетельстве значится, что он родился 1 июня 1811 года. В каком-то из этих документов дата рождения неверна. После опубликования В. Рудаковым метрического свидетельства и признания его достоверности такими учеными, как Р.В. Иванов-Разумник, А.А. Корнилов и другие, дата 1 июня 1811 года стала официальной. Но и тогда уже не все ученые были согласны с ней. Так, Е. Ащкий писал в примечаниях к 3-му тому писем Белинского: «Нам кажется, что пока, при тех данных, которые опубликованы, и при тех соображениях, которые высказаны, вопрос этот не может считаться окончатель-

но вынесенным. Больше данных за дату 30 мая, против нее лишь [1] выписан из метрической книги, против нее же несколько документов, оспорить достоверность которых нельзя без значительных натяжек». Е. Аляский делает из этого следующий вывод: «Во всяком случае, можно считать, что документально вполне (?) установлен год рождения Бельского – 1811, вопрос же о том, родился он 30 мая или 1 июня нельзя считать окончательно выясненным»⁴. При этом автор ссылается на утверждение «А» (Русская старина, 1911, кн. 5) о «частых ошибках» в метрических свидетельствах.

Но Е. Аляский также допускает, таким образом, непоследовательность: сомневаясь в достоверности месяца и числа, он принимает год рождения, как он указан в метрическом свидетельстве. Между тем в данном случае есть основания сомневаться в точности и даже в подлинности метрического свидетельства вообще. Первоначальная фамилия «Бельский» в этом свидетельстве исправлена на «Бельнский». Кроме того, документ получен Бельским через М. Языкова, который оформлял его с помощью своих связей. «Языков мне обработал великой важности дело, – писал критик В. Веткин 4 марта 1847 года, – выхлопотал метрическое свидетельство о рождении. В этом ему много помогало то обстоятельство, что он имеет случай в морском министерстве и мог в короткое время получить оттуда такие справки, каких мне и в десять лет не добиться бы»⁵.

Если же и признать, что Языкову удалось получить подлинное метрическое свидетельство, то и тогда нельзя поручиться за его точность ввиду того, что лица, ответственные за регистрацию новорожденных, сплошь и рядом относились к своим обязанностям с крайней небрежностью. Об этом свидетельствуют, например, противоречия в духовных росписях Чыбарской Николаевской церкви, в которых с 1818 по 1829 год отмечался возраст Бельского. В росписях указано, что в 1818 году ему было шесть лет, в 1819 – семь, в 1820 – восемь, в 1821 – девять, в 1822 – десять, в 1823 – одиннадцать, в 1824 – одиннадцать, в 1825 – двенадцать,

в 1827 – семнадцать. В некоторых записях Белинский именуется «Виссарионом»⁶. Случалось, что новорожденный вообще не был зарегистрирован, и тогда его возраст устанавливается на основании так называемого «свидетельства» духовной Консистерии. Не исключено, что Белинский получил свидетельство в результате «свидетельств», основанных для которого могло послужить письмо из канцелярии великого князя Константина за № 315, где дается согласие на восприимчивость. О «точности» этих документов рассказывает родственник Белинского Д. Иванов. «Пропущенный в метриках, – вспоминает Д. Иванов, – я получил свидетельство о своем рождении по свидетельству, произведенному духовной Консистерией, и в этом свидетельстве мой нормальный возраст увеличен на целый год, и потому только принят в университет»⁷.

Само правительство, издавая указ от 31 января 1831 года «Об обязательном истребовании метрических свидетельств от поступающих на службу чиновников», понимало, что провести его в жизнь будет нелегко, так как у значительного числа лиц метрические свидетельства отсутствовали. Для этой категории чиновников было сделано исключение. «Правила сего не распространять, однако, на формуляры тех чиновников, – говорится в указе, – которые вступили в службу прежде опубликования сего положения, ибо собрание свидетельств о рождении таковых чиновников будет сопряжено с величайшими затруднениями»⁸.

Свидетельство о рождении требовалось и в других случаях, например, при внесении в родословную книгу дворянства. В 1828 году в Консистерии, где выдавались свидетельства, были обнаружены «важные злоупотребления». В одном из правительственных указов отмечалось, в частности, что в Консистерии «берут даны» с подающей прошения о метриках⁹. В таких условиях возможны были и фальшивые свидетельства, об одном из которых и упоминал Д. Иванов.

Ввиду невозможности точного определения возраста большого числа лиц, претендовавших на дворянское

знание, правительство издало в 1831 году указ «О замене метрических свидетельств удостоверениями из духовных росписей при внесении в родословную книгу лиц, рожденных до 1831 года». В указе говорилось: «Требовать, применяясь к ст. 58 и 59 упомянутых законов, свидетельства 12-ти и более почетных и достойных дворян о действительном происхождении просителя от таких-то родителей и надежащего удостоверения со стороны родственников»¹⁰. Этот способ установления возраста и происхождения применялся и ранее. Например, подобное свидетельство за подписью 23-х чембарских дворян в 1829 году было представлено Белинским при поступлении в Московский университет. Дата рождения критика в этом документе – 30 мая 1811 года. Это свидетельство Белинский трижды предпринимая на протяжении 1830-х годов, пытаясь определиться на службу: в Белорусский учебный округ – учителем, в Московский университет – корректором, наконец, в Константиновский нежевой институт – преподавателем.

В 1830-х годах, уже незадолго до смерти, дослужившись до установленного чина, отец критика получил знание и права потомственного дворянина. В то время это знание давало определенные привилегии, в частности при поступлении на службу. Именно поэтому дети Г. Белинского (в том числе и В.Г. Белинский, уже известный к этому времени в России критик) начали усиленно хлопотать о присвоении им дворянского звания. В. Белинскому удалось осуществить это позднее других: он получил дворянскую грамоту за несколько месяцев до смерти. Задержка в выдаче ему грамоты формально объяснялась отсутствием метрического свидетельства. Но возможно, что эта задержка вызвана нежеланием высших кругов видеть в числе дворян одного из прогрессивнейших (с правительственной точки зрения – наиболее опасных) русских литераторов. Во всяком случае, свидетельства 23-х чембарских дворян оказалось недостаточно для получения дворянской грамоты. Как уже было отмечено, в большинстве случаев духовные росписи и свидетельства, выдаваемые по «следствию»

Ковенстории, не отличались точностью. Трудно было полагаться и на точность показаний родственников, даже самых близких. Но в отношении Белянского подобные сомнения отпадают, потому что показания родителей, как и его собственные показания, опирались на подлинный документ, равный по значению метрическому свидетельству, – выписку из канцелярии великого князя № 315. Наличие этого документа в корне меняет дело: он дает все основные данные показанной критикой и его ближайших родственников. При этом показания эти подразделяются на официальные и неофициальные, хотя и те и другие опираются на один и тот же документ. В письмах родителей по интересующему нас вопросу содержатся довольно скудные сведения. Но по отдельным замечаниям можно судить, что им хорошо был известен возраст их первенца. Так, мать Белянского, полутрамотная женщина, замечает в одном из писем в Москву, что письмо сына получила 6 июня в день его ангела. Согласно святцам, день «преподобного Виссариона» падал именно на 6 июня¹¹.

Более многочисленны показания самого критика. Уже при поступлении в университет он писал в прошении на имя ректора от 31 августа 1829 года: «Родом я штаб-лекарский сын, от роду имею 18 лет»¹². Судя по этому утверждению, Белянский считал годом своего рождения 1811 год. Много он и не мог написать, так как при этом письме он приложил свидетельство чембарских дворян, которое опиралось в конечном счете на выписку из канцелярии великого князя. 9 августа 1834 года Белянский подает прошение на имя Николая I об устройстве корректором в университет и снова прилагает свидетельство дворян Чембарского уезда о рождении и крещении¹³. При поступлении в Константиновский межевой институт в 1838 году Белянский просит брата выслать ему «бумагу, которою с. н. в. Константин Павлович изъявил свое согласие на восприимчивость»¹⁴. Об этом документе Белянский вновь упоминает позднее в связи с хлопотами о присвоении ему дворянского звания. Он пишет Д. Иванову в 1842 году: «Дмитрий

Капитонович Исаев умер, говорят, он извлек и выхлопотать мне дворянскую грамоту из Пензенского депутатского собрания, куда у меня бумаги еще в 1839 году и отослал в Пензу при моей просьбе. И что же? Варуг узнаю, что согласие о восприимчивости меня от купца Белинского князя Константина Павловича не было получено, а оно точно было отослано¹³. 6 августа 1843 года Белинский высылает, очевидно, найденный документ о согласии великого князя на восприимчивость¹⁴. Регистрационная запись о браке В. Белинского от 12 ноября 1843 года также свидетельствует о том, что он родился в 1811 году. «Брак неслужащего дворянина Виссариона Григорьевича Белинского, православного, 32 лет», – указано в записи. 5 июня 1845 года, обращаясь к обер-священнику армии и флота с просьбой о выдаче ему метрического свидетельства, Белинский еще раз подтверждает, что он «рожден в мае 1811 года в Свеаборге»¹⁵. Белинский при этом отчасти знал, что никакой другой даты его рождения в официальных документах быть не может, потому что на руках у него был документ за № 315, относящийся к году его крещения – к 1811 году.

Совсем другого характера показания неофициальных бумаг критика. В те же самые годы в своих частных письмах Белинский с твердой последовательностью опровергает дату метрического свидетельства, утверждая, что он родился в 1810 году 30 мая. Так, в 1839 году он писал Н. Станкевичу: «Я... недоросль в 30 лет... неслужащий русский дворянин»¹⁶. Здесь хотя и нет точного указания даты рождения, однако уже содержится противоречие с официальными документами, так как округление в этом случае составило бы 2 года. Совершенно точно Белинский указывает свой возраст в письме к В. Боткину за границу 26 марта 1846 года, то есть в самый разгар хлопот о дворянской грамоте. «Мая 30, а по-вашему, по-басурманскому июня 11 стукнет мне 36 лет, осенью 3 года, как я женат, и моей дочери теперь 9 месяцев... пройдут незаметно и еще 4 года – и мне 40 лет – страшно! Вот она старость!»¹⁷

Через год Белинский получил метрическое свидетельство, по поводу которого В. Рудаков писал: «Очевидно, сам Белинский вполне согласился с датами этого документа, да и герольдия (Сената. – А.К.) признала его достоверным»²⁰. Но Белинскому не пришлось раздумывать и колебаться по получению этого документа, так как он всегда официально соглашался с датой – 1811 год. Метрическое свидетельство нужно было Белинскому не для уточнения своего возраста, а для получения дворянской грамоты. Получив метрическое свидетельство, Белинский не был удивлен и не поддавался с близкими и друзьями (в том числе с Вяткинским, которому писал о получении свидетельства) сомнениям по поводу новых данных о своем возрасте. Это могло произойти только потому, что он всегда знал о существовании противоречия между показаниями официальных документов и его действительным возрастом.

Это противоречие не осталось незамеченным со стороны современников. Тот же Д. Иванов, например, по прочтении книги А. Пыпина о Белинском в ноябре 1875 года пытался, как он пишет, помочь «разъяснению обстоятельств, заключающих в себе загадочный характер, и отчасти... разрешению небольших противоречий, встречающихся в свидетельских показаниях самих очевидцев»²¹. Характерно, что обнаруженное метрическое свидетельство вызвало лишь колебания в вопросе о возрасте критика, официальной же датой его рождения оставалась дата 30 мая 1811 года. Колебания эти объясняются тем, что сам Белинский не разъяснял (по обстоятельствам, о которых будет сказано ниже) смысла имеющихся расхождений между метрическим свидетельством и его высказываниями в частных письмах.

Д. Иванов только в 1876 году согласился с показанием метрического свидетельства, да и то лишь наполовину. «Еще в 1828 году, – вспоминал он, – Белинский задумал поступить в университет. В это время Белинскому было 17 и даже 18 лет, следовательно, возраст не мешал его вступлению»²². Соглашаясь с датой 30 мая 1811 года, Д. Иванов опирался на какой-то архивный доку-

мент. «В архиве сын мой узнал, что Белинский родился в 1811 году 30 мая»²³, – писал Д. Иванов А. Пышину. Очевидно, сын Д. Иванова имел дело с документами, основанными на свидетельстве чембарских дворян или на выписке из канцелярии великого князя, так как в метрическом свидетельстве указана дата 1 июня 1811 года. Таким образом, к 1876 году Д. Иванов пришел к признанию той самой даты, которую и сам критик официально всегда указывал как дату своего рождения – 30 мая 1811 года. В этом признании нельзя усматривать ничего неожиданного.

К тому времени уже не было в живых В. Боткина, а в 1875 году умерла последняя представительница семьи Белинских, сестра критика, Александра Григорьевна. Характерно, что именно на основании ее показаний Д. Иванов утверждал (до архивных разысканий сына), что Белинский родился в феврале 1810 года. «Первоначально мое сообщение об этом предмете основывалось на загадочном сообщении сестры Виссариона, Александры Григорьевны», – писал Д. Иванов. Вопрос так и остался невыясненным, так как сестра Белинского (в замужестве А.Г. Кузьмина) отказалась дать подробные сведения о своей семье. «Родная сестра В.Г. ... интригой отказалась мне в сообщении этих сведений», – писал Д. Иванов, – считая оскорбительным для памяти родителей помещать в печати известия о их семейных несогласиях. Несмотря на мое подробное письмо, разъясняющее ей мои добрые намерения при этом, старушка не отвечала мне ни слова, с тем и умерла в начале августа 1875 года»²⁴.

Здесь важно отметить, что «загадочное» сообщение сестры Белинского отодвигало дату рождения критика, даже в сравнении с неофициальными данными, на несколько месяцев назад. При этом Александра Григорьевна, как видно, не назвала месяца и числа рождения брата, ограничившись туманными намеками, на основании которых Д. Иванов и отодвинул дату рождения на февраль. Вероятнее всего предположить, что Александра Григорьевна намекала на преждевременность родов, так как в книге о брачующихся родителях Белин-

ского зарегистрированы 3 ноября 1809 года, то есть за 4 месяца до февраля и за 7 месяцев до мая.

В этом случае версия о том, что Белинский родился в феврале, отпадает, а семейная дата – 30 мая – получает новое подтверждение: В.Г. Белинский мог родиться семимесячным 30 мая 1810 года. Он мог догадываться и даже знать об этом: не случайно в его статьях и письмах содержатся многочисленные упоминания о «ненормальности», «нестественности» его развития. Этим же в значительной степени объясняется и постоянный интерес критика к проблемам рождения и воспитания детей. Первое дошедшее до нас оригинальное произведение Белинского, его «Рассуждение», посвящено проблемам детского воспитания. При этом критик всегда подчеркивал, что жизнь ребенка часто зависит от стихийных причин. «Разве рождение и гибель человека не случайность?»²⁵ – писал он в 1842 году В. Водяну в связи со смертью жены А. Краевского. «Из ста младенцев едва ли один достигает юности». В 1846 году, уже сам будучи отцом, Белинский вновь пишет на ту же тему А. Герццу: «Чего стоит матери родить ребенка... поставить его на ноги... Смерть так и бьется за него с жеманом»²⁶. Конечно, этот вопрос не оставался для критика уже личным, а приобретал широкое социальное значение. Ведь, только по официальным данным, в одном 1808 году в Петербурге из 7812 новорожденных 62 умерли до крещения. А по всей России в этом году в возрасте до 5 лет умерли 215 663 ребенка только мужского пола²⁷.

Вместе с тем постоянный и даже несколько преувеличенный интерес Белинского к проблемам детского воспитания связан с фактами его личной биографии. Белинский часто подчеркивал в письмах, что в его рождении и воспитании было место какое-то отклонение от нормы. «Неужели и так ужасно обесчеловечена ненормальной жизнью, неестественным развитием, что неспособен к истинному чувству»²⁸, – писал он Бакушину. При этом речь шла часто о слабости здоровья критика: «Не боюсь истощения духовных сил (о физических нечего и говорить – частично порастрачено) – а частично ласки

от природы, столько же, как и от свободных искусств – ну, да черт с ним, что с воли упало, то пропало...»²⁰.

Хотя представители рода Белинских не отрицались долголетием, они вместе с тем не представляли собой исключения и в противоположном смысле: продолжительность жизни отца, матери, брата Константина, сестры Александры едва ли свидетельствует о слабости «природы» Белинских. Речь может идти об индивидуализируемых особенностях в рождении и воспитании самого критика, который по каким-то причинам «в семействе был чужой»²¹. Уже в 1831 году, после запрещения «Дмитрия Калинин», Белинский писал родителям: «Соображивши все обстоятельства моей жизни, я вправе назвать себя несчастнейшим человеком... Доказательства перед глазами. Вы сами знаете, как сладки были лета моего младенчества...»²² И позднее критик неоднократно вспоминал о каких-то тяжелых обстоятельствах своего рождения и первоначального воспитания. «Я не был грудным, – писал он М. Бакунину, – родился в большем при смерти, груди не брал и не знал ее... сосала я рожок, и то, если молоко было прокислое и гнилое – свежего не мог брать»²³.

Туманный намек на какое-то «обстоятельство» в воспитании содержится еще в одном письме Белинского. «Ты знаешь, что я имею похвальную привычку краснеть без всякой причины, как думают все, – писал критик М. Бакунину, – но в самом-то деле очень не без причины. Эта похвальная привычка составляет несчастье моей жизни... Самолюбие – вот причина этого нваения. Конечно, здесь принимает большое участие какая-то природная робость характера и еще одно обстоятельство, о чем теперь мне некогда распространяться»²⁴. Наконец, в одном из писем тому же М. Бакунину содержится прямое подтверждение факта преждевременности родов. «Прикованный железными цепями к внешней жизни, мог ли я возвыситься до абсолютной? – писал критик. – Я увидел себя бесчестным, подлым, ленивым, ни к чему не способным, каким-то жалким не-доноском, и только в моей внешней жизни видел причину всего этого»²⁵.

Конечно, и здесь Белинский до конца не раскрылся, сохранял тайну и другие члены семьи, но в цепи высказываний критика и его ближайших родственников это признание его подучает автобиографический смысл и, несомненно, заслуживает самого пристального внимания. В своих статьях критик неоднократно оперирует термином «недоносок», «недоноски» в отношении неудачных, с его точки зрения, произведений искусства и литературы, лишенных чувства, немыстраданных и незрелых.

Белинский, как видно из его писем, постоянно мучился сознанием своей немалой физической неординарности. Его меньше всего заботило отсутствие так называемого «философского напоя», болезнь, которой страдали его друзья из дворян: Станкевич, Бакунин и другие. При всех своих идейных колебаниях и противоречиях Белинский всегда оставался на твердой почве трезвого реализма и меньше, чем кто-либо из его друзей, впадал в напыщенный романтизм, ная как говорила критик, в – «идеальности». О ненормальном развитии Белинского ему напоминали частые, очень тяжелые болезни, которые в конце концов свели его в могилу. Будучи болезненно застенчивым, он никому не раскрыл своей тайны, хотя много раз пытался сделать это, так как тайна эта тяготила его, особенно при той безграничной откровенности, которая установилась в кружке молодых людей в 1830-х годах в Москве.

Из сказанного вытекают следующие выводы.

Белинский и его ближайшие родственники с достоверной точностью знали официальную дату рождения критика, так как с 1811 года в семье Белинских имелся документ о согласии великого князя Константина на воспитанничество. Наличие этого документа несовместимо с утверждениями о том, что Белинский узнал эту дату своего рождения только с получением метрического свидетельства в 1847 году.

Расхождения в показанных официальных и неофициальных документов (писем критика, в частности) в этом вопросе возникли гораздо раньше появления на

сцене метрического свидетельства. При этом во всех официальных документах последовательно выдвигалась дата 30 мая 1811 года, а в неофициальных – с не меньшей последовательностью фигурировала дата 30 мая 1810 года. Следовательно, эти расхождения, возникшие с ведома самого критика, также нельзя ставить в зависимость от понижения метрического свидетельства, точность которого к тому же сомнительна.

Метрическое свидетельство, официально оформленное, необходимо было Белинскому не для определения даты своего рождения, а для получения дворянской грамоты.

Таким образом, мы можем предположить, что не менее достоверными свидетельствами в этом вопросе являются неофициальные показания критика и его ближайших родственников, которые утверждают, что В.Г. Белинский мог родиться 30 мая 1810 года.

2011

¹ История русской литературы. АН СССР. Т. 7. 1965. С. 39.

² Русская старина. Кн. 4. 1899. С. 203.

³ Полн. собр. сочин. Восточной Российской империи. Изд. 2. Т. 1. С. 57.

⁴ Ледной Е. Привет к 3 тому писем Восточников. Пг., 1914. С. 383–384.

⁵ Белинский В.Г. Письма. Т. 3. С. 193–194.

⁶ Архангельский А. Об утверждении В.Г. Белинского в дворянском достоинстве // Русская старина. 1899. Кн. 4. С. 203–203.

⁷ См. «Приложение» к 3 тому писем В.Г. Белинского. С. 440–441.

⁸ Полн. собр. сочин. Восточной Российской империи. Изд. 2. Т. 6. Отд. 1. 1845. С. 116.

⁹ Там же. Т. 3. С. 144; УК. От 12.2.1828 г. № 156; УК. От 14.2.1828 г.

¹⁰ Там же. Т. 20. Отд. 1. С. 518. (Письма 1831 г.)

¹¹ См. «Преддворный показание на это от Р.Х. 1811». (Подпись Восточников, как коллежский секретарь, был исключен из метрического. – А.К.) С. 146. «Восточников – «состылый» (греч.) См.: Там же. С. 190.

¹² Рудков В. Новые данные о времени рождения Белинского // Новое время. 1910. 14(27) авг. № 12364.

¹³ Гурьянов В. Эпизод из биографии Белинского // Литературное наследство. Т. 57. С. 248.

¹⁴ Белинский В. Избр. соч.: В 6 т. Изд. Фрунзе. Т. 6. Письма. С. 21.

¹⁵ Белинский В. Письма. Т. 3. С. 314. Ноябрь 1842.

¹⁶ Архангельский А. Об утверждении Белинского в дворянском звании // Русск. старина. 1899. Кн. 4. С. 200.

¹⁷ Рубинин В. Новые данные о времени рождения Болонского // Новые время. 1910. 14 (24) августа. № 12364.

¹⁸ Болонский В. Письма. Т. 3. С. 355. Сентябрь — октябрь 1839 года.

¹⁹ Болонский В. Письма. Т. 3. С. 106. В. Востанур. 26.3.1846 г.

²⁰ Исторический вестник. 1911. № 3. С. 597.

²¹ Болонский В. Письма. Т. 3. С. 404.

²² Болонский В. Письма. Т. 3. Примечания. С. 423.

²³ Там же. С. 440.

²⁴ Там же. С. 440.

²⁵ Болонский В. Письма. Т. 2. С. 296. В. Востанур. 13.4.1842.

²⁶ Болонский В. Письма. Т. 3. С. 103. А. Горцелу. 19.2.1846.

²⁷ См. Месопотамия на лето от Рождества Христова 1830.

²⁸ Болонский В. Письма. Т. 1. С. 168–169. М. Вакуну мсаду 15 и 21 ноября 1837.

²⁹ Там же. Т. 1. С. 376. В. Станиславер. 1839.

³⁰ Там же. Т. 2. С. 112.

³¹ Болонский В.Г. Собр. соч.: В 6 т. Изд. Фрука. Т. 6. Письма. С. 8. Рождество. 17.2.1831.

³² Там же. Т. 3. С. 112. В. Востанур. 16.4.1840.

³³ Болонский В.Г. Собр. соч.: В 6 т. т. Изд. Фрука. Т. 6. Письма. С. 28. М. Вакуну.

³⁴ Там же. С. 27. М. Вакунур. 21.6.1837.

ЧАСТЬ III

И.А. ВОАГИН

**Неизвестство Виссариона.
Белинский в историко-литературной
традиции**

Учитель на все времена

В 1880 году в городе Новочеркасске был издан – ныне, разумеется, никому не ведомый – сборник работ воспитанников местной гимназии. В этом приложении кной мысли нашел достойное место сокурс ученика 7 класса Н. Туркина «Просветительные идеи Белинского (Вид хрестоматии)». Приведа известные строки недавно умершего поэта («Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»), добросовестный гимназист уже от себя добавляет: «И кто же из нас не питает этого глубокого уважения к Белинскому, безмерно-великое и безмерно-благодетельное влияние которого до сих пор ясно чувствуется во всем, что только появляется у нас истинно прекрасного и благородного?»¹

Вопрос, с жаром заданный учеником провинциальной российской гимназии, носит, конечно, чисто риторический характер. Ибо к 1880 году (канун царевбийства 1 марта) в сознании российских школьников, которое, в свою очередь, есть же что иное, как упыщенный слепок общего мнения, крепко засела мысль об эстетической непогрешимости Белинского и его безусловной приверженности делу прогресса. Русская литература, обретающая к исходу столетия все более ошутимый сакральный статус, была еще и школьным предметом. Это требовало ясного, внятного и желательно однозначного толкования «священных текстов». Белинский как никто годился на эту роль. Он стал Аристотелем средней школы. С его тягой к выставлению переводных баллов отдель-

ным писателям и мощным дидактическим потенциалом, он стал учителем учителей.

Русская школа утварила Белинского, надежно законсервировав его пламенный образ и превратив бесчисленные поколения школьников в обязательных потребителей его критической прозы.

Это был счастливый и, главное, не подверженный выхождению времени выбор. Ибо никто никогда не в силах опровергнуть тот постулат, что «поэзия – это мышление в образах» и что «в художественном произведении идея с формой должны быть святы, как душа с телом». Какой безумец осмелелся бы отрицать, что «в искусстве все неверное действительности есть ложь»? Такой набор безусловных, энергически заявленных истин необходим всякому, кто жаждет быстро и без затей постигнуть нехитрые тайны искусства.

«Пушкин столько не воспитал, как Белинский, – говорит В. Розанов. – Пушкин был санником для этого зрел и умен». Белинский стал школьным писателем на все времена. Его комментарий к тому, что испеченной, еще не остывшей от человеческого огня отечественной классике, конечно, есть «вторая реальность» – вторая по отношению к художественному первоисточнику. Но это была первая вторая реальность: все позднейшие критические ухищрения лишь дополняли и корректировали картину. Автор статей о Пушкине в чем-то повторил участь своего героя: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет».

Школа жестко отобрала наиболее важную для себя часть его критического наследия и отбросила за ненужностью все остальное. Она не стала вдаваться в его многочисленные противоречия и умчаться в вопиющей непоследовательности суждений. Она мудро проигнорировала весь этот внеклассный контекст. «Белинский оказался идеально приспособленным для выполнения сугубо учебной задачи: первого (я чаще всего – последнего) прочтения воспитуемыми свода хрестоматийных текстов.

Он оказался также идеальным учителем жизни.

Гимназист седьмого класса Турякин прилежно выписывает: «...не показывайте им (детям. – И.В.) Бога грозного, карающего судию, но учите их смотреть на Него без трепета и страха, как на отца, бесконечно любящего своих детей».

«Видеть и уважать в женщине человека – не только необходимое, но и главное условие возможности любви для порядочного человека нашего времени».

«Сама природа создала женщину преимущественно для любви...»²

Этот Белинский (разумеется, без «Письма к Гоголю») так же естественен в лоне старой российской школы, как Белинский с «Письмом» – в лоне школы советской. Во все эпохи он действительно остается властителем дум: преимущественно учеников 7-х, 8-х и 9-х классов.

«С глазами, вперекрытыми в туман...»

Большевики не только признавали Белинского, но и повышали его в чин.

«Он учился у писателей, – сказано в одном учебном пособии 1950 года, – но в гораздо большей степени учал их. И он имел на это моральное право». Такая патерналистская модель вполне устраивала новую власть, ибо подразумевалось, что за отсутствием равномоющего авторитета миссию педагога и опекуна (своего рода «коллективного Белинского») самоотверженно берет на себя государство. Белинского перестали читать: в нем стали выискивать указания.

В 1924 году А. Луначарский находчиво заявил, что «перспектива у Белинского довольно правильная, почти марксистская» (хотя тут же, как бы метафору, добавив, что он стоит у истоков реки «с глазами, вперекрытыми в туман»)³. Белинским начали бить расповиден и троцкистов, попутчиков и безродных космополитов, Ахматову и Зощенку, и т.д., и т.п.⁴ Как удивила бы его такая судьба!

Даже Ленин, неосторожно заметивший, что письмо Белинского к Гоголю было выражением настроений крепостных крестьян, не подозревал о последствиях.

В 1948 году в Пензе вышла книжка «Земля родная», в которой любовно воспроизведены народные предания о прославленном земляке.

...Однажды одна крестьянка жала барскую рою и, устав, присела на сноп отдохнуть. Естественно, тут же явился барский управитель на коне: он замызгался на праздную жинцу кнутом. «...Но вдруг крик с дороги: "Не смей! Не смей!"».

Надо ли объяснять, кто это был? Разумеется, конный Белынский. Вечером того же дня садам в замочную скважину довелось наблюдать, «как он по комнате ходил со скитлыми кулаками, а на глазах слезы блеснули. Походит, походит, сядет за стол, попишет что-то и опять из угла в угол ходит и все выдыхает и грозит кому-то»⁶.

Саме собой, любознательный юноша аккуратно записывает в тетрадочку мужицкие байки про попов. Теперь понятно, из каких глубин будет брошено впающему в религиозный экстаз Гоголю: «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку?»

Так «народная мифология» смыкается с мифологией официальной. Впрочем, и та и другая имеют единый источник. И на сей раз Белынский остается властным духом главным образом служебного толка.

Но и здесь отнюдь не кончается сфера посмертного существования автора «Литературных мечтаний». В не меньшей степени впечатляет его полуторговская инкем не оспоренная роль: профессионального добытчика правды.

«У Белынского, – говорит Н. Бердяев, – было характерно русское искание целостного мирозерцания, которое дает ответ на все вопросы жизни...»⁷ Не случайно автор имеет такое миропонимание «тоталитарным». Воплотив в себе родовые черты русской интеллигенции (иная, в качестве «духовного отца», видела ее таковой), Белынский сосредоточил в себе проблему, от разрешения которой, как недавно еще казалось, зависела судьба России.

Для лика «искового Виссария»: один – учебно-прикладной, другой – метафизический, ментальный, сливаются в единый образ, осязают один исторический

миф. И независимо от того, кем был Беллинский «на самом деле», важно уяснить, чем был он в драматической истории нашего национального духа.

«В одном гробе...»

Беллинский любил играть в преферанс. Колесников игра, замечает К.Д. Камалин, «занимала и возмущала его до смешного». Он вносил в игру столько отчаяния и страсти, «точно участвовал в великих исторических событиях»¹.

Можно сказать, что всю свою сознательную литературную жизнь Беллинский «играет в преферанс», волнуясь и трепеща вне зависимости от предложенных ставок. Его захватывает сам процесс. Он вкладывает в свои оценки такую долю личного крошного интереса, что для читателя важна не столько даже логика его рассуждений, сколько их повелительный тон. Он всегда говорит как власть имущий. Его искренность порою пугает. Меняя, по его словам, убеждения «как копейку на рубль», он никак не может обзавестись основным капиталом. От его взора не укрывается ничто. «Беллинский, служака исправный, – жестко заметит А. Блок, – торопыжка каефина своим штемпелем все, что являлось на свет Божий»².

Россия знала критиков более тонких, более виртуозных и несомненно обладавших большим эстетическим вкусом. Но никто из них не мог обогнать Беллинского в одном – в столь явственном проявлении «страдательного потенциала», в слиянии текста со всеми субъективными достоинствами или недостатками произносящего этот текст лица. Беллинский как человек совершенно неотделим от своих писаний. Человеческий фактор стал главным козырем «симпатичного жулика» (как именовал его образованнейший, хотя и не всегда «симпатичный» Набоков³): широкость натуры искупает порой теоретические ошибки.

Во всей мемуаристике о Беллинском мы не встретим ни одного сколько-нибудь негативного отзыва о герое.

Правда, воспоминаниях оставших в основном друзья: подброджельматы предпочли отмолчаться. Последние не могли упрекнуть его даже в наиболее извинительной из всех национальных привилегий. Когда Н. Греч осмелелся высказать подозрение, будто Белинский пишет «не выходя из запоя», ему было ретроспективно замечено, что Белинский-пыльца – такая же бессмысленная вещь, как Лессинг на канате¹¹. (Трезвость – устойчивая черта всех прогрессивных критиков; вот почему, скажем, Ал. Григорьев не принадлежит к их числу.)

Приветели относятся к Белинскому «с восторженной любовью, подобной той, какую питают к женщине». С другой стороны, и сам Белинский ведет себя с молодыми, подношным надежды литераторами как нетерпеливый любовник. «Он, – говорит И. Гончаров, – как Дон Жуан к своим красавицам – относится к своим идолам. Обольщается, хвалит, потом стыдится многих из них и как будто мстит за прежние свое поклонение» (именно так поступил он с Достоевским). Этот страстный элемент заметен у него во всем: во взгляде на литературу, религию, политику, философию, историю.

При этом, если он говорит о женщине страстно, то исключительно об ее гражданской и общественной роли. Его волнует только «вещный секс»: здесь ему нет равных.

Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти...

Одни именуют его «центральной», другие – «гаднаторской» натурой; все без исключения указывают на его neodолжимый нравственный магнетизм. «Многие, – замечает Каверин, – побывавши под сильным влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению»¹². «...К нему, – добавляет П.В. Анненков, – всегда являлись несколько по-праздничному, в лучших нарядах, и моральной верижкой нельзя было перед ним показаться...»¹³

Последователи не раз будут выкалывать строгую тень Белинского себе на подмогу. Даже мертвого его пытаются сооперничать со своими: сначала замыслив воз-

двинуть общий с Добролюбовым памятник на их практически братской могиле, затем – радостно предлагая перенести в соседнюю могилу Тургенева бедный, давно исчезнувший в финских болотах прах. (Только крайнее негодование вдовы уберело покойника от этих дружеских кощунств¹⁴.)

Но в поле зрения Беллинского пребывает не только словесность как таковая. Она для него лишь часть (хотя и важнейшая) всего универсума, который также подлежит его неподкупному и пристрастному суду.

Казнь В.Ф. Одревский, один из ведущих писателей старшего поколения, признававший талант «недоучившегося студента», именует покойного критика «одной из высших философских организаций», какие он когда-либо встречал в жизни. Современники будут поражаться тому, как почти не владеющий иностранными языками Беллинский «со слуха» (т.е. из разговоров) станет усваивать высшие достижения германского духа и немедленно пролагать их к вытекающей российской жизни. Не своего ли литературного восприимчивика держал в уме автор «Братьев Карамазовых», когда писал о гипотетическом русском мальчишке, впервые увидевшем карту звездного неба и на следующий день возмущавшем ее исправленной?

«Беллинский – основатель мальчишества на Руси, – напишет В. Розанов в «Мимолетном». – Торжествующего мальчишества, – и который именно придал торжество, силу, победу ему»¹⁵.

Пушкина, который сам начинал «как мальчишка», видимо, настораживала эта черта. «Боясь с независимостью мнений и с остроумием своим, – пишет он о Беллинском в 1836 году, – соединил он более учености, более начитанности, более увлечения к преданию, более осматрительности, – словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного»¹⁶. Может быть, Беллинский и прислушался бы к этим словам, но, скорее всего, он не знал, кто скрывается за инициалами А.Б., которыми была подписана якобы присланная в «Современник» из Твери пушкинская статья.

«Игровому», «несерьезному» Ремизову, напротив, подчеркивает отсутствие у Белинского «зрелости»: «Так и прыгает, скачет. Хохокает. Свистит. "С мальчишковой весело"; и на 50–70–80 лет после Белинского в русской литературе устанавливалось "весело"»¹⁷.

Но порой Белинский очень серьезен. В своих титанических усилиях «мысль разрешить» он вообще напоминает героев Достоевского. Однажды с горьким упреком он сказал И.С. Тургеневу: «Мы не решили еще вопрос о существовании Бога, а вы хотите есть!» – фразу, которая вполне могла быть произнесена еще одним «русским мальчишкой», Иваном Карамасовым.

«Все, что не носило на себе печати мыслей, не имело интеллектуального характера и выражения, – говорит П.В. Анненков, – всею ему ужас». Мемуарист имеет в виду не только принципиальную отстраненность своего героя от низкой, бездуховной (или кажущейся ему таковой) жизни, но также исключительную теоретичность его мышления, не готового, по мнению Анненкова, воплотить свои крайние выводы в радикальные исторические поступки (иначе говоря, его неготовность стать Смердяковым, «доведшим до ума» теоретические выкладки брата Ивана). Он все-таки не звал Русь к топору, а требовал хотя бы исполнения законов уже существующих. Но тот же Достоевский, вспоминая чалоточного Белинского, сквозь слезы «гражданского счастья» (как выразился Набоков¹⁸) наблюдавшего за строительством вокзала Николаевской железной дороги (той, что вызовет вскоре у Некрасова прямо противоположные чувства), аттестует его как самого истермального человека в России. Все эти черты – сопряжение «мирового» и «сиюминутного», поиски Бога и сокрушительное богохульство, заботы о немедленном благе и сутубая теоретичность, не желающая знать, во что обрядится материализация идеалов, – все это войдет в плоть и кровь российской интеллигенции, в круг ее домашних привычек, в практику семейных ссор. Как и у Белинского, все ее духовные порывы будут идеологизоваться чистейшим бескорыстием, жертвенной жаждой самозаклания и хроническим поиском идеала.

Унаследованный от Беллинского духовный энтузиазм способен принимать самые причудливые обличья.

Монах или Робеспьер?

Современники говорят о «истинном Виссарионе» как о человеке, пребывающем в перманентном нравственном возбуждении, которое «сделалось, наконец, нормальным состоянием его духа» и которое, добавим, иные могут интерпретировать как сублимацию сексуального чувства. Эта сутобо индивидуальная черта (свойство «человека экстремны») также отложилась в генетической памяти нации. В России человек, претендующий на место властителя дум, не может быть спокоен по определению. Ибо только он в России и есть сова земли. «Крут Беллинского», как он исторически сложился (то есть крут либеральных, а позже – радикальных идеалов), аккумулирует в себе умственные потенции эпохи и стремится монополизировать все интеллектуальное поле. «Впрочем, этих людей только и есть в России, – восклицал допущенный к “нашим” молодой Достоевский, – они одни, но у них одних истина... о, к ним, с ними!» Действительно: к кому бы еще мог он пойти?

Беллинский, литературный законодатель, самодержавно царит в этом кружке. Он не может ограничиться условными рамками журнальных статей и обрушивается на головы своих корреспондентов эпистолярные диссертации объемом в брошюру средней величины. Он занимательнее в своих письмах, нежели в иных написанных им по обязанности рецензиях. Очевидцы утверждают, что еще интереснее были его разговоры. (Этот вечный самовинало и потребность самондентификации в координатах враждебного мира благополучно перейдут на наши ночные кухни в следующем столетии.) Немудрено, что в жертву приносилось здоровье: глухое покашливание сопровождает отныне все российские споры. Белая ночь лишь подчеркивает безытийность общей картины и известную призрачность всех действующих лиц. «Физическая беспомощность,

неприспособленность к миру, – говорит Д. Мережковский, – таково свойство первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции»²⁰. «Он страдал некомпьюрированностью, он был некомпьюрированный человек», – добавляет Розанов.

Белинский вел «жизнь чуть не монашескую» – утверждает Тургенев²¹. Справедливо указывалось на религиозную природу его служения. С одной стороны, Белинский – наследник русского раскола, аскет, стремившийся из мира в секту, в братство посвященных, в монашеский орден, коим, по сути дела, и стала русская интеллигенция, колыскающая целостного, «на все случаи жизни», мировоззренца и непременно впадающего на этом пути в смертный соблазн тоталитаризма. С другой – он потенциальный устроитель всеобщего рая, ибо, как сказано, русский скиталец «дешевые не примирится». Это сочетание жесткой личной аскеты и сладких эдemonических грёз создало тот странный человеческий тип, который не имеет аналогов в практике мировой интеллектуальной жизни.

Герцен сравнивал Белинского с Робеспьером: «Человек для них – ничего, убеждение – все». В своем знаменитом громокипящем послании (как утверждает И. Аксаков, не было ни одного учителя гимназии, который бы не знал его наизусть; автор письма мог рассчитывать на свою публичку) Белинский не щадит Гоголя именно потому, что тот, как ему кажется, переменна убеждениям. (Имяна Гоголя вообще воспринимается как женская измена.) Автору не приходит на ум, что его оппонент пережил отнюдь не идейную, а «всего лишь» душевную драму: вопль, неуловимое исторпуганный из одинокой груди, закалеймался как «артистическая рассчитанная подлость» (при этом напрочь забыты собственные верноподданнические восторги времен «примирения с действительностью»)»²².

Но бесчисленных читателей «Письма» меньше всего занимала подоплека этого спора. Слова, в праведном гнѣве брошенные умирающим «Робеспьером» (истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Бе-

ливский», – скажет Блок), – эти слова сами по себе были грядущими и неотразимо горькими: «вся мыслящая Россия» отзывалась на них поднимавшим сочувственным гулом. С этого момента Беллинский действительно становится мучеником и пророком. За публичное чтение его эссеистикой чтецов приговаривают к смертной казни: литературная критика не знала более высокой оценки. Семилетнее, вплоть до кончины императора Николая, упоминание имени Беллинского только усиливает тайное мерцание кнута над его головой. Когда в 1859 году начинает выходить первое собрание его сочинений, это воспринимается не столько как литературное событие, сколько как знак перемен. Счастливым поименованный «Онегина» энциклопедией русской жизни, он сам становится энциклопедическим словарем – в пригрозительных классах отечественного либерализма.

Посмертная судьба Беллинского с блеском подтвердила его собственные, сказанные в «Письме к Гоголю», слова: «...У нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта...» Последняя характеристика явно не относится к автору «Письма». Хотя, по выражению князя Вяземского, он есть сочинитель «ужасно-длинно-многопустословных статей». Но современники только посмеиваются над старческим бредом князя. Тем более что из вскоре живших воспоминаний друзей (Герцена, Тургенева, И. Панаева, Анненкова и др.) вырисовывается образ, чище и самоотверженней которого не ведала русская словесность. Здесь, правда, был момент скрытой полемики: превозносил лучшего из критиков 40-х годов, дабы понять критикам 60-х, что они во всех отношениях уступают учителю (так вступившая в новый брак вдовица колет нынешнего супруга покойным мужем).

Наследники между тем спешат заставить наследство. В литературных кружках, утрачивающе замечает Добролюбов, «едва ли найдется пять-шесть грозных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его [Беллинского, – И.В.] имя»²³. Кто захотел

бы оказаться в их числе? Н.К. Михайловский горько сетует на то, что «со времен Белинского русская беллетристика осталась без критического руководства»²⁴. Стоит лишь удивляться, как не вымерли оказавшиеся без присмотра бедные художники слова.

«...Рукал мне Христа по-матерну...»

9 августа 1871 года Н.Н. Ге представляет отчет в Академию художеств: «Вылепла бюст В.Г. Белинского с посмертной маски, руководствуясь указаниями знавших покойного; 3 экземпляра отлиты из бронзы для гг. Н.А. Некрасова, М.П. Сырейщикова и К.Т. Соколатенкова (первый издатели сочинений Белинского. – И.В.)»²⁵.

Образ Белинского тоже лепится под строгим приглядом господ, знавших покойного; он становится эталоном, бронзовеет, тиражируется, помещается в красный угол. Часто поносимый при жизни журнальный боец в своем посмертном существовании превращается в фигуру неприкосновенную. Публичный спор с ним отныне немислен (не ведающий пощады Писарев лишь символически пожурит предшественника за его преувеличенные понятия о Пушкине). Может быть, именно этим объясняется та площадная ругань, какую позволяла себе Достоевский – в частной, не предназначенной для посторонних глаз переписке.

Интересно было бы прочесть рукопись «Знакомство мое с Белинским»: сочиненная в 1867 году за границей и отосланная в Россию, она бесследно исчезла (это, очевидно, самый значительный по объему из не дошедших до нас текстов автора «Преступления и наказания»). Не оттуда ли взяты повторенные позже в «Дневнике писателя» слова: «...о, к нему! с ним!»? В письмах же рубежа 1860–1870-х годов, проклиная давно изжитую им закваску «шелудивого русского либерализма», Достоевский как бы мстит себе тогдашнему. Разумеется, он не может простить Белинскому слова о Христе, которого крестик, если верить его глубоко потрясенному слуху, «ругал по матерну». Но разве пристойнее выгал-

дит сам вспоминаватель, аттестующий своего как-никак «крестного отца» – «навозной букашкой» и «т...ком».

«Я обрутил Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо, – пишет Достоевский Страхову, – это было самое сырадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение – в неизбежности этого явления»²⁸.

Достоевский, как и тот, о ком он так яростно судит, тоже «человек экстремный». И в данном случае он тоже иконоборец и еретик. Кроме того, его безмерно раздражают самонадеянные эпитоны, присвоившие наследство, – те, о которых Герцен как-то заметил, что они из пидляцкиа быют своих матерей. Он как бы предвосхищает умозаключение авторов «Век», что история русской публицистики после Белинского «в смысле жизненного разумения – сплошной кошмар». Обвиняя интеллигенцию в беспочвенности, искажении народной правды и корпоративном эгоизме, автор «Бесов» не может не распространить свои антипатии на того, кто, по его мнению, «стоял у истоков нынешних заблуждений»²⁹. Но, признавая неизбежность Белинского, он как бы признает органичность процесса.

В «Братьях Карамазовых» Коля Красоткин с важностью заявляет, что в нынешний век Христос «прикнул бы к революционерам», и на вопрос Алеши («о каком это дураком вы говорите?») значительно отвечает:

– Это еще старик Белинский тоже, говорит, говорил.

– Белинский? Он этого нигде не написал, – возражает Алеша³⁰.

Откуда следует, что «русский иннок» Алеша Карамазов внимательно читал «прогрессивного критика», и, как справедливо замечает один исследователь, «нигде в романе мы не находим указаний, чтобы это чтение помещало Алеше сделаться той прекрасной личностью, какой изобразил его Достоевский». Да и сам автор «Карамазовых» за несколько недель до смерти на вопрос, какого рода литературу можно рекомендовать молодому человеку для полезного чтения, советует ему «меньше то, что производило прекрасное впечатление и родит

высокие мысли». В предлагаемом списке наряду с Библией значится и Белинский: тот, кто только что был жестоко оспорен в Пушкинской речѣ.

Итак, даже у субъективнейшего из оппонентов Белинского не вызывает сомнений, что знакомство с ним рождает высокие мысли. Иными словами, признается моральный характер его деятельности, его бесспорные педагогические заслуги. Следовательно, «опасность Белинского» состоит в другом: в той ментальной угрозе, которую заключают в себе благие порывы, не поддержанные «самоодолением» или, если угодно, внутренним опытом христианства. Достоевский одним из первых догадался о том, что головная гуманистическая безрелигиозная (хотя бы и с признаками страстной веры) альтернатива «богочеловеческому» разрешению мировых судеб становится для ее сторонников той самой всемогущей дорогой, которая приводит известно куда. Достоевский впервые исследует механизм возникновения зла из, казалось бы, не вызывающего подозрений добра. Степан Трофимович Верховенский (в котором «собираательно» присутствует и Белинский) недаром родня сына Петрушу. Иван Карамазов излагает брату Алексею парадоксы, заданные «невстовым Виксарьевым»: вот пролог к богоборчеству и богонскачеству XX века.

«Зачем он государство отрицал?»

Однажды в Лондоне (дело было в 1875 году) 22-летний Владимир Соловьев пригласил друзей отпраздновать свои именины. В испанском ресторанчике на Оксфорд-стрит, по обычаю русских интеллигентных застолий, речь зашла о Белинском. Уже сильно выпивший Соловьев неожиданно воскликнул: «Что такое Белинский? Что он сделал? Я уже теперь сделал гораздо больше, чем он, и надеюсь в течение жизни уйти далеко от него и быть гораздо выше...» На невнятное замечание согражданина, что стыдно так говорить о себе и лучше подождать, когда другие признают твои заслуги, Соловьев вдруг «разразился рыданиями, слезы потекли у него обильно из глаз»²⁹.

Казалось бы: что ему до давно умершего критика? Сфера интересов, в которой обретается Вл. Соловьев, на первый взгляд, довольно отдалена от той, где мог ощущать себя полновластным господином Беллинский. Но будущий автор «Оправдания добра» рвется именно к такому сопернику: он понимает, кто есть настоящим игра.

Можно, пожалуй, сказать, что Беллинский мнил не только двенадцатиклассникам.

В 1898 году, на исходе жизни, Соловьев поставил себе в вину, что, увлеченный вопросом о соединении церквей, он «упускал из виду более насущные интересы современности, которым служил Беллинский»²⁰. Сам в известном смысле сделавшись властителем дум, он ощущает непопулярность этой власти.

У В. Розанова сказано: «И вот заявил волюх» (Беллинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого ни о чем у себя не мог бы сказать Соловьев»²¹. Не то, конечно, чтобы Соловьев был «тепл», а Беллинский – «горяч»; нет, речь идет о мере «вещности», о несходстве общественных темпераментов. И, может быть, – «темпераментов религиозных».

«Подлец тот, кто не верит бессмертию души!» – страстно внушала Константину Аксакову впечатлительный Виссарион. А на другой день с не меньшей горячностью завыл: «Тот мерзавец и проч., кто верит в бессмертие». Рисуется, эти максимы изрекались не для того, чтобы скорее приступить к обеду (вспомним: «...а вы хотите есть!»). Говорящий был искренен, как всегда.

«На примере Беллинского мы видим, – говорит Д. Мережковский, – в каком противоречии находится явное безбожие интеллигентского сознания с тайной религиозностью интеллигентской совести»²². Суждение, схожее с мыслью Достоевского, что полый атеист ближе к истинной вере, нежели человек в религиозном отношении индифферентный.

Русскую интеллигенцию мучит «теургическое бесплодие», иначе говоря, проблема ответственности за историю (В. Зеньковский)²³. Но русские богословы отталкиваются от церкви и ищут духовного обновле-

ния либо «уходя из Ясной Поляны», либо в лоне реалистично-философских кружков.

7 июня 1937 года М. Пришвин записал в дневнике: «Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти, но когда зачула смертное одиночество жизни, то все признал – и Христа, и церковь, выгнав на себя только право до конца жизни – право на шалость пера»¹⁴.

Это написано в Сергиевом Посаде (Загорске), где жила Пришвин и где в 1919 году умер Розанов. Последний много думал и много рассуждал о Белинском: при этом, конечно, он позволял себе «шалость пера».

Тошкун в «Опанших листьях» о загадочной миссии государства, о вечной нерасположенности русской интеллигенции к правительству, Розанов вопрошает: «...какую роль во всем этом играли "Письма Белинского", "Michel" (Бакушин), Герцен с его "Kathalie", Чернышевский, писавший с прописной буквы "Ты" своей супруге, а вся эта чехарда, и вся эта поистине житейская пошлость... не выступающая из рамок, – "как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"?». Для Розанова «история русской литературы» или, скажем, «выработка мировоззрения» не есть реальная историческая заслуга, а некий фантом, иллюзия, интеллигентская блажь. «Этот батальон отлучено стреляет – вот дело, вот гиря на мировых весах, перед которой "Письма Белинского к Гоголю" не важнее "писем к тетеньке его Шпоньки" (у Гоголя)».

Это – художественное (именно так!) осквернение (или, если угодно, «отстранение») всех интеллигентских святых; предвещение того грядущего ужаса, к которому стремительно влечется Россия. В своем «антиобщественном» бунте Розанов исходит из того, что с «письмами Белинского» и Балканы остались бы за турками, и «Сербия осталась бы деревенькой у ног Австрии», и т.д. Поэтому «ОДИН Аракчеев» есть более творческая и либеральная личность, «чем все ничтожества из 20-ти томов "Былого" (журнала по истории освободительного движения. – И.В.)»¹⁵. «Мужское», деятельное государ-

ственное начало противопоставлено «женскому» празд-
нословию оппозиции.

«Сколько глупостей наговорил Романов в своих "Опас-
ных листках", – записывает Пришвин, – и ничего: книга
остается гениальной, а о глупостях не вспоминаешь».

Между тем суждения Романова о Беллинском – это
знак некоего умственного поворота.

Вопрос ставился все актуальнее: была ли права рус-
ская интеллигенция, на протяжении века брезгливо сто-
ронившаяся «неинтеллигентной» власти? Не оказались ли
напрасными ее бесчисленные жертвы? Или прав Карам-
зин, замечавший (по свидетельству Пушкина), что «чест-
ному человеку не следует подвергать себя виселице»?

Когда наконец победила горько призываемый Белин-
ским «прогресс» (а победителя пытались доказать, что
призывался он именно в этом виде), часть интеллиген-
ции (в первую очередь эмигрантской) вынуждена была
взглянуть на результаты своей деятельности изумлен-
ными и горестными очами.

На сухих берегах, у Вавилонских рек,
Взврав на прохладные течения,
Стоил интеллигентный человек
И вспоминал бывшие прегрешенья.
Зачем он государство отрицал,
И божественности власти сомневался?
Зачем на потрясение начал,
Безумием сохвачен, покушался?

Так в 1935 году писал Дон Амниадо. Его герой, вы-
брошенный из России за ненадобностью интеллигент,
готов теперь растоптать прежних кумиров. Он кается
«не просто, а по списку»:

Почто горел на жертвенном огне?
Грозил, орал, и требовал, и рыдал,
И клокотал на собственной стене
Марусю Спиридову истязал?
Испытывая сладостную грусть,
И тошноту, и даже дрожь в коленках,
Зачем учил он Маркса наизусть,
И само поклонился Корсакову?²⁶

Белинский не назван в этом почтенном ряду, хотя, собственно, должен бы открывать его. Известная формула «сын за отца не отвечает» не действует в искомым смысле. Правда, далеко не все дети готовы признавать отцовство.

...В 1901 году 19-летний Чуковский заносит в дневник: «Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей Н. Иванова, Евг. Сокольева-Андреевича и проч. нынешних говорунчиков, которых я ныне терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтено 10, 15 стр., тр., тр., тр... говорит, говорит, говорит, круто, шестисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет»²⁷.

Признание будущего критика (и – что в данном случае важно – автора «Мухи-Цокотухи») очень симптоматично. Свободное от каких-либо «идеяных» мотивов (просто: «интересно»), оно свидетельствовало о том, что период первоначального интеллектуального накопления завершился. Общество выходило из приговорительных классов.

Намечалась акустика века (впрочем, система нумерации и сам век). Читатель стал догадываться о том, что Гоголь не только «обанчал» (за что его, по словам Достоевского, особенно уважал глава «натуральной школы»). Что же касается вливающего в силу нового искусства, ему наставнические заботы Белинского были просто скучны. Поэты Серебряного века с легким недоумением, а чаще «никак» реагируют на эстетические споры прежней поры. Это явно не их проблемы. Они иронически рифмуют «Белинский» и «Степняк-Кравчинский»: оба неинтересны им по определению.

«Приближались роковые сороковые годы, – скажет в 1921 году А. Блок, мистически перекаляясь с еще не рожденной самойловской строкой («сороковые, роковые...»), – над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского».

Для Блока 40-е годы XIX столетия – исходная точка быстрой уже гиблой культуры. «Грядущие гунноградут именно оттуда. В отличие от бросовских они

представляются Баску классом «фармацевтов», чуждых духу поэзии.

Если Вич. Иванов в поэме «Младенчество» еще может сказать о своей матери (обручав рифмой враждующие стихи):

...Маринский
Забыл; но перечесть Белинский...²⁶ –

то сам автор поэмы не хочет знать ни того, ни другого. Белинский не вынует на «литературный процесс», хотя, казалось бы, остается его почетным участником. В 1898 году, в дни юбилейных торжеств (50 лет со дня смерти), М. Волошин еще успеет увидеть, как «через узенькую дырочку почтительно под руки вводит маленькую, совсем дрожащую и совсем белую старушку в черном платье»²⁷. Это – А.В. Орясова, сводничица Белинского; так бы мог-ли ввести его самого.

Из других современников здравствует еще Лев Толстой. Но, во-первых, будучи на семнадцать лет младше, он не знал Белинского лично. А во-вторых – и это, пожалуй, самое поразительное – он единственный из писателей старшего поколения, кто питает в отношении авторитетнейшего из русских критиков полное и совершенное равнодушие.

«Ну какие мысли у Белинского! – скажет Толстой в 1903 году сотруднику “Южного телеграфа”, – Сколько я ни брался, всегда скучал, так до сих пор и не прочел». Яснополянский патриарх сходится здесь с юным Чуковским – правда, отчасти по разным причинам.

Автора «Исповеди» не занимает автор «проповедей», потому что последний далек от сферы его собственных интересов. «Какая это удивительная вещь! – скажет Толстой П.И. Вирюкову в 1904 году. – Белинский был человек, лишенный религиозного чувства. И мне такие люди чужды...» Был ли Толстой знаком с отзывами обсуждаемого лица о Христе? Но замечательно само толстовское удивление! Как будто писателя поражен тем, что в такой страстной натуре не живет страстная вера...

Бой с сызультатом

В 1896 году Аким Волынский скажет, что русская критика мертва. Он посетует на нечеловечность того огня, «который горел в статьях Белинского», и согласится со словами К.Д. Кавеланина, что подднейшая журналистика только «стереотипировала ваалпургиневу ночь, шабаш ведам, происходивший в наших головах» (вспомним сказанное через тринадцать лет «Вехами»: «спасишвой кошмар»).

Но и по отношению к самому основоположнику А. Волынскому удастся избежать привычных ритуальных движений. В своей книге «Русские критики» спокойно и трезво (может быть, впервые так спокойно и трезво) говорит он о теоретической невинности Белинского и об отсутствии у него научного метода. Эта академически сдержанная оценка не вызывает особого шума. Не повышает больших волнений и статья Б. Садовского в новомодных «Весах» (1907): непоттительность автора к тому, кто «после Достоевского и Ницше» уже не кажется непогрешимым, воспринимается как декадентская резвость.

Скандал разразится в 1913 году. Переиздавая трехтысячным тиражом «Сняты русские писатели», критик Юрий Айхенвальд неожиданно добавит в них краткий очерк о Белинском.

«Белинскому недорого стоила слава, – начинается Айхенвальд, – никто из наших писателей не сказал так много праздных слов, как именно он... Его неправда компрометирует его правду. Белинский ненадежен. У него – шаткий ум и перебор колеблющегося вкуса. Одна страница его книги не отвечает за другую... У него не мирозерцание, а мирозерцания. Именно поэтому он всегда – временный, и каждой мысли, каждой дамы он – рыцарь на час».

«Несчастливая восприимчивость», – сказал о Белинском (еще при его жизни) Юрий Самарин.

Собственно, надо лишь удивляться, что подобные обвинения не были сгруппированы и изложены значительно раньше. Потребовалась известная интеллек-

туальная смыслов, чтобы на следующий год после столетнего юбилея Белинского (встреченного привычной риторикой, мало чем отличающейся от памятных нам домашних восторгов, очевидно, уже поселившего ново-черкасского гимназиста) обнародовать подобный текст.

Статья Айхенвальда написана с писаревской безапелляционностью, но ее пафос прямо противоположен писаревскому. Автор утверждает, что эволюция Белинского по отношению к искусству означала регресс (от идеализма к вульгарному утилитаризму); он говорит, что если бысть у Белинского чужое, «останется живой темперамент, беспредметное кипение, умственная пена». Его убеждению – это дуковница без сердечности: «одни слова, оболочки, листки, одни наслаждения, выливания, воздействия – но где же... он сам?». Белинский принципиально поверхностен, он мог писать о чем угодно (хотя бы даже о бумаге-); он совершенно не познал истинной глубины Пушкина, не смог оценить ни его сказок, ни его прозы; презрел то, «без чего Лермонтов не Лермонтов»; в любой период своей интеллектуальной жизни он «мог мыслить только одну мысль, какую-нибудь одну». Белинского нельзя цитировать, потому что каждую его цитату можно опровергнуть другой. Он столько раз и по столько же поводам «загорался», что в конце концов на его огонь смотришь комедно. Пускай Белинский «великое сердце»: «мы предпочли бы великий ум», – заключает неутомимый эссеист.

Ю. Айхенвальд отнюдь не был журнальным бойцом. Писателя Борис Зайцев свидетельствует о нем как о человеке замкнутом и одиноком (хотя он и читал свои лекции «в воздухе девической палатки»¹⁰). Вряд ли он предполагал, что его статья вызовет столь оглушительный эффект.

«Мы с женой, – вспоминает Зайцев, – присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в Клубе педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями. Он сидел молча, несколько бледный. "Как-то Юлий Исавич ответит?" – спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, пре-

красно владея волнением, внутренне его накалявшим, в упор расстреляла всех, одного за другим»²¹.

Атакующие цели гимназических учителей – иной и не могла быть реакция школы на речи безумца, дерзнувшего усомниться в идейной невинности Главного Педагога. Но не менее бурно реагировали прогрессивные публицисты, а также – академические круги.

«В Москве произошло печальное для русской литературы событие, – писала Р. Иванов-Разумник. – Юлий Айхенвальд уничтожен без остатка Виссарионом Белинским... Сдается мне, что похоронить придется не Белинского, а статью Ю. Айхенвальда»²².

Похороны, однако, получались довольно пышные и привлекали многих. В их числе были Б. Эйхенбаум (считать Айхенвальда критиком вообще невозможно²³), П. Сакулин (давно уже Белинский находится за чертой досягаемости), Н. Вродский, Е. Аяцкий... «Джентльмен-рыцарь», «аристократ духа» Айхенвальд ответил всем подробно, вдумчиво и корректно (если и «расстрелял» оппонентов, то сделал это в очень достойной манере) – в стостраничной брошюре «Спор о Белинском».

Можно ли побороть миф? Тем более – рациональным путем, строго указав на слабости и ошибки мифологических персонажей? Их любят не за правильность их суждений, а за то, что она – есть.

«Он (Белинский. – И.В.), – говорит драматург Е. Шварц, повествуя в дневнике о днях своей юности, – жила в моей душе не только тем, что написал, а тем, что рассказывалось о его жизни. Словом, к моему отношению к Белинскому, так же, как и ко мне лично, споры Сакулина с Айхенвальдом отношения не имели»²⁴.

«...Пустынь пасквилей Вольнского», «не менее отвратительная статья Айхенвальда», – скажут советские критики, впрочем, стараясь обойтись без цитат.

Но остался все-таки один оппонент, не чета всем остальным, которому Айхенвальд ответить не смог. Ибо он не читал оставшееся в столе «Мимолетное».

«Иностранцу с книгою в руках...»

«...“Русский критик” Айхенвальд», – пишет В. Розанов в 1915 году, ироническими кавычками намекая на явную несовместимость этих понятий⁴⁵. Соединяя по известному признаку Айхенвальда и Гершензона, автор находит, что «несчастие их обоих – ум и хороший слог»⁴⁶ (то есть то, в чем трудно отказать самому Розанову: вообще в его инвективах сквозит некоторая стилистическая реинность). Айхенвальд – это «сладенький жидок», который не попал на Беллинского горячо – как критик на критика, а холодно и размеренно отнесся ему убийственные пощечины. «По сему, – иронично подытоживает Розанов, – вы можете заключить, русские, как с нами будут расправляться “вообще” сирен, когда придет их власть»⁴⁷.

Странное дело. Позволявший себе по отношению к Беллинскому полную свободу суждений (порой в высшей степени обидных), автор «Мимолетного» напрочь отказывается в этом праве критику-иностранцу. Он как бы воспроизводит грозный рык самого Беллинского: «Полковой (Николай Полковой, издатель «Московского телеграфа», – И.В.) – да не прикаснется к нему никто, кроме меня!» Беллинский – плох он или хорош – для Розанова национальное достояние.

Беллинский враг или друг в зависимости от того, насколько это в данный момент необходимо Василию Васильевичу.

Здесь, как всегда, оказался талант и неотделимый от него безразмерный розановский релятивизм – чем-то, хотя и в совершенно иной огласовке, напоминающий неисчислимые «протектистические» метаморфозы Беллинского. Конечно, в «Мимолетном», как всегда, наличествует элемент литературной игры: Айхенвальду, однако, не стало бы от этого веселее...

Он, который « всю жизнь работал и всегда ходил в портном пальто» (вот наконец черта, унаследованная им от развешиваемого героя), он, убежденнейший противник большевизма, будет выслан из страны в 1923-м – на «философском пароходе», чтобы в 1928-м неспешно по-

гибнуть в Берлине. «Бессмысленный трамвай раздробил
ему череп», – скажет В. Зайцев. Его – в стихах – спячет
В. Набоков²⁰.

Перешла ты в новое жилище,
и другому отдадут на днях
комнату, где жила писательница
иностранец с книгой в руках²¹.

Нищая смерть Белинского, нищая смерть Розанова,
нищая смерть Айхенвальда... Почти ни в чем не схожие
друг с другом, они уравнены финалом, довольно обы-
чным для русских критиков. Но и сама русская критика –
как жанр – тоже умирала «в мучимый нищете».

Книжка «Спор о Белинском» вышла в 1914 году, ког-
да читателям было уже не до предмета спора. Да и с
самого начала дискуссия носила несколько искусствен-
ный характер. Важен был не столько Белинский, сколь-
ко «верность заветам». Айхенвальдовская «пощечина
общественному вкусу» только поднимала музейную пыль –
в отличие, скажем, от настоящей «Пощечины», раз-
давшейся практически одновременно. (Обрасывание
Пушкина и Белинского с парохода современности пре-
следовало при этом существенно разные цели.) Гринула
европейская катастрофа, которая для России затну-
лась на много десятилетий. Белинский стал официаль-
ной принадлежностью новой культуры, которая за не-
изменением известных родителей торопливо надевала его
преникины отцовства. Это было второй и последней
смертью «неистового Виссариона».

Постсоветская общественность, по-прежнему жаждущая «целостного мировоззрения», в срочном поряд-
ке ищет новых мистоблюстителей.

Подойте мне Аксакова сюда! Киреевского с братом!
Хомякова! И в чашине Страшного суда, Леонтьева! Фе-
дотова! Лескова!

Ныне спор о Белинском бесперспективен. Литерату-
ра перестала быть «центром вселенной», и всё связанное
с ней отодвигается на задворки. И если русская интел-
лигенция – в ее «классическом» варианте – прекращает

свое бытие, значит, должен прекратить свое бытие и Беланский. Вышедший невредимым из всех передряг, он не может перенести одного: всеобщего безразличия к письменной (да, пожалуй, и устной) речи, когда интеллигент в собственной стране становится «иностранцем с книгой в руках».

Но, сделавшись живым «чувствителем» литературы (неважно, хорошим или дурным), Беланский создает прецедент. Независимо от того, прав или виноват он в затеянной им вековой тяжбе, независимо от любых оценок его идей, проще говоря – независимо ни от чего, остается он сам: такой, какой есть. Его отношение к «высокому и прекрасному» как к единственному делу, за которое стоит положить жизнь, и как к смыслу ее самой не может быть опровергнуто доводами рассудка.

Беланский может оставаться предметом любви или нелюбви, но отнюдь не объектом научных изысканий.

И тут мы снова вступаем в область интимных чувств. Вспомним еще раз: к нему относимся «с восторженной любовью, подобной той, какую питают к женщине». Приятель опекает его, как даму, они защищают его честь, они ринутся его к «чужим» (славянофилам, к примеру), и т.д. Тот же подтекст будет присутствовать и в посмертной жизни героя. Любовь, как известно, слепа, и попытки открыть глаза влюбленным приводит лишь к негодованию и отпору с их стороны. Вот вся история «бытования» Беланского в нашей национальной культуре.

Беланский, лишенный страсти (в том числе и нашей, ответной), – это уже не Беланский.

Полюбит ли его снова? «Как дай вам Бог...» – сказал Пушкин.

¹ Гимназический сборник. Работы воспитанников Новочеркасской гимназии. Новочеркасск, 1886. Отпечатано в Областной Вайсковой Дюксской типографии. С. 23.

² Там же. С. 44, 51, 53.

³ Встретил судьбу / Архивариус А.В. В.Г. Беланский (Речь и 75-летие смерти Беланского) // Вестник Беланскому. М., 1924. С. 129. Цит. по: Ар-

ноцкий А.В. и др. Скукота: политические портреты. М., 1991. С. 135.

⁴ При этом, однако, была проделана колоссальная исследовательская работа – по сборанию библиографических материалов, публикации текстов и т.д. (см., например, посвященные Болонскому тома «Литературного наследия»). Мало кто из русских литераторов изучен так досконально с фактической стороны.

⁵ Славин В. В.Г. Болонский в народном творчестве // *Земля родная*. Вып. 3. Пенза, 1948. С. 88.

⁶ Там же. С. 89.

⁷ *Вордэн М.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. Цит. по: http://www.gumanit.info/voriden_M_A/Philos/Vord/Woridism.php.

⁸ *Киселов К.Д.* Воспоминания о В.Г. Болонском // *Болонский и современники*. М., 1977. С. 175.

⁹ *Влас А.А.* Судьба Аггалама Григорьевича. Цит. по: http://aallife.ru/b/Blas_a_a/1915_aallife_ar_grigorieva.shtml.

¹⁰ *Никонов В.В.* Дар // *Никонов В.В.* Собрание сочинений. Т. 3. М., 1990. С. 180.

¹¹ *Амеликов П.В.* Из «Экзистенциального десятилетия» 1836–1848 // *Болонский и современники*. М., 1977. С. 325.

¹² *Киселов К.Д.* Указ. соч. С. 173.

¹³ *Амеликов П.В.* Указ. соч. С. 453.

¹⁴ *Достоевский*, как всегда, предвосхищает ситуацию. В черновом наброске к предполагавшейся переработке «Дьяволика» (1861–1862) сказано: «Мечты старшего Гомадкина. – Н.В.; мы бы были, близники, в дружбе, общество бы умышленно сыграло на нас, и мы бы устроили, мечты рядом».

– Мысли бы даже в одном гробе, – замечает наброском младший.

– Зачем ты заметил это наброском? – спрашивает старший.

¹⁵ *Романов В.В.* Мимолетное. 7 мая 1915 г. Цит. по: *Романов В.В.* Мимолетное. М., 2004. С. 424.

¹⁶ Письмо к надгробью. Цит. по: *Прутков А.С.* Полное собрание сочинений В 10 т. Т. 7. М.; А., 1949. С. 441.

¹⁷ Мимолетное. 7 мая 1915 г. Цит. по: *Романов В.В.* Мимолетное. М., 2004. С. 424.

¹⁸ *Никонов В.В.* Указ. соч. С. 194.

¹⁹ *Дружина писателя*. 1877. Январа. Цит. по: *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений В 30 т. Т. 23. А.; Наука, 1983. С. 31.

²⁰ *Мерзляковский Д.С.* Знает Болонского. Религиозность и общественность русской интеллигенции: Публицистическая эссе. Пг., 1915. С. 11.

²¹ *Прутков М.С.* Воспоминания о Болонском // *Болонский и современники*. М., 1977. С. 486.

²² Чувствуя себя Валемским, что это сказанное опубликовано в книге Гоголя «исполнено какой-то странной злобой против автора. Ему как будто не могут простить, что, неслыханным нам стоишь времени, ему издумалось раз поговорить с нами не на шутку». Сам же Валемский замечает, что письмо Болонского к Гоголю «несколько до грубости и в этом отношении дает меру образования и благожелательности того, кто писал это». Он, однако, упускает из виду, что сверхзадача письма (история В. Романов называл пародией на *Россию*) как раз и предполагает подобный литературный эффект.

¹¹ Добролюбов М.А. Сочинения Д.Г. Великого // Собрание сочинений. Т. 4. М.: А., 1962. С. 277. Впервые: Спаренская. 1859. № 4.

¹² Михайловский Н.К. О Тургеневе // Михайловский Н.К. Литературная критика. А., 1969. С. 245. Впервые: Отечественные записки. 1883. № 9.

¹³ Гл Н.М. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. М., 1978. С. 84.

¹⁴ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 29, кн. 1. А.: Наука, 1986. С. 215.

¹⁵ Поэма, в частности тетради 1876–1877 года, писал, очевидно, в пору тех же неслыхотских, но высказанных совсем иначе: «...самые извращенные Востокского, сам только у него есть они, выте извещ пруды и всего, что мы говорили и писали».

¹⁶ Подробнее об источниках этого романного эпизода, а также о другом его знаменосительстве Достоевского и Великого см.: Волков Н.А. Родился в России. Достоевский и современники: жизнь в документах. М., 1991. Глава IV «Белая ночь».

¹⁷ Цит. по: Арсеньев С.М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Кн. 3. М., 1990. С. 132–133.

¹⁸ Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 276.

¹⁹ Рязанов В.В. Мемуары. 8 июля 1913. Цит. по: http://ipb.ru.ru/etib/Vostokov_Memoires.html.

²⁰ Мережковский Д.С. Указ. соч. С. 41.

²¹ Зельковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. А., 1991. С. 60, 64.

²² Октябрь. 1994. № 11. С. 165.

²³ Абсолютно солидарность романовской теме 1913 года «чуждо признать правительством со словами из черноморского путаницного письма к Чаадаеву (1836): «Наде было пребывать (не в качестве уступки, не как привилегия, что правительство все еще единственный сдерживающий в России. И слова бы грубо и даже не совсем на были, от него могло бы стать его крат хуже» (Дружинин А.С. Указ. соч. Т. 10. М.: А., 1949. С. 582). Поразительно, что Пушкин не причисляет к «сверхчуждым» даже собственный круг, который, по его мнению, лишь следствие цивилизации, социализации Петрова.

²⁴ Дом Амальды. От ворот поворот. 1935. Цит. по: Дом Амальды. Наша малая жизнь. М., 1994. С. 135–136.

²⁵ Чуковский К.И. 9 марта 1901 г. Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 14.

²⁶ Никита Дан. Молодость. Поэма. Пе., 1918. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 235.

²⁷ Волошин М. Из литературного наследия. Вып. 1. СПб., 1991. С. 60.

²⁸ Зайцев Б.К. Ю.И. Айхенвальд // Зайцев Б.К. Сочинения В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 409.

²⁹ Там же.

³⁰ Никита-Радужный Р.В. Правда или крах? // Заветы. 1913. № 12.

³¹ Крестов В. О Юлии Айхенвальде. Цит. по: Счастья русских писателей. М., 1994. С. 10.

³² Шаура Е. Живу безумством... Цит. по: <http://www.ru/eng/eng-shura-ghiva-bezpykoyun-la-dreznikare.html>.

¹⁵ Ливанов В.В. Мисколетное. 30 марта 1915. Цит. по: http://iph.msk.ru/iph/Volakov_Miskoletnoe.html.

¹⁶ Там же. 11 июня 1915.

¹⁷ Там же. 13 ноября 1915.

¹⁸ Ю. Айхенвальд одним из первых высказался против Набокова. Кстати, в «Даре» есть прямое указание на айхенвальдовский «слух»: Вольфганг. «Но если смр, – говорит один из героев романа о Голдмане-Чердынцеве (намысливиста, как помним, книгу о Чердынцевском), – скажем просто, хочется вынести на чистую воду прогрессивных критиков, смр не надо стараться: Вольфганг и Айхенвальд давно это сделали» (Набоков В.В. Указ. соч. Т. 3. С. 179). В «Других берегах» сказано: «Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых нравов, которого и уважал как критика, терпавшего Ереминых и Горьких...» (Т. 4. С. 282–288). «Айхенвальд умер, для него теперь писать...» – продолжает Буков.

¹⁹ Цит. по: <http://nabokov.niv.ru/nabokov/utbi/373.htm>. «В пыльный гроб судьба тебя сложила, / Как очки разбитые в футляре», – пишет дядя Набоков. Знал ли эти строки Борис Пастернак, создавая стих «В футляре»: «Ты держал меня, как надежду, / И причесал, как перетень, в футляре? Разбитые очки – символ гибели интеллигента: то, что остается от разорванной культуры. А Сосожонидын в «Архипелаге ГУЛАГ» замечает, что самые ценные вещи в камере – от подмышки до запястья, когда заключенному приспугут отобранные на ночь очки.

Н.Н. СКАТОВ

В Чембаре Белинского

Пензенский хлебный край богат и литературно: здесь жили Лермонтов и Белинский, в одно в сущности время и почти рядом – какие-нибудь два десятка километров. Впрочем, познакомылись соседи лишь через много лет, в 1837 году, и далеко отсюда, на Кавказе, сошлись же и того позднее, в Петербурге, уже совсем незадолго до рокового лермонтовского, сорок первого года.

Здесь сразу возникает настрой на литературное прошлое. И настрой этот здесь создают и поддерживают умело, любовно и горделиво. Собирают, реставрируют, восстанавливают и пропагандируют.

А вот и еще одно, привычное уже увещевание: старый Чембар – ныне город Белинский. И все-таки не можешь отделаться от чувства, что название Чембар (как, впрочем, многие его здесь по-прежнему и называют) ведь не менее увещевывает имя своего ставшего великим жителя и что, может быть, именно Белинский тоже не даст исчезнуть вполне, окончательно пропасть этому старому названию.

Несколько лет назад в Чембаре-Белинском в здании бывшего уездного училища – здесь учился будущий критик – открылась новая экспозиция. Старинный дом хорошо сохранился, а после реставрации вообще выглядит, наверное, не хуже, чем в день своего первого открытия, полтора столетия назад. Сохранению его много способствовал император Николай I, естественно, не думавший о том, какую роль сыграет он в деле увещевания памяти сына чембарского уездного лекаря. В 1836 году инспектировавший империю государь, проезжая вблизи Чембара, на очередной колдобине вывалился из кареты и сломал ключицу. Больного царя

доставляли в Чембар и помещали в лучшем городском здании, каковым нашли усадное училище. При отъезде императора на память о его пребывании городничий попросил денег на ремонт тюрьмы, духовенство – на собор, а пензенский губернатор на учреждение памятной «царской» церкви в здании усадного училища. Так-то и появилось в Чембаре первое мемориальное здание. Сейчас это одно из двух зданий, входящих в мемориал Белинского. Другое – дом, где прошло детство критика.

Вообще очень поучительно само движение по дороге в этот музей, дороге подлинно исторической, в том смысле, что она как бы зафиксировала движение русской истории, два ее важнейших этапа. Ведь почти каждый проезжающий, едет ли он от Пензы или от станции Камешка (теперь – Белинская) сначала попадает в мермонтоновское заповедное место – Тарханы. В этой, хотя и не родовой, то есть ни мермонтоновской, ни арсеньевской, усадьбе все-таки все дышит старой родовой культурой, будь то бытовые интерьеры или устройство паркового ландшафта или собрание книг и портретов. И наконец, владельцы и обитатели этих мест, собранные под последней крышей, – родовой усыпальница. Дворянский период нашей истории.

Чембар Белинского совсем иное. Это провинциальное разноречие. Удивительное ощущение истории, ее движения, разных пластов культуры овладевает, когда сразу после Тархан ходишь по Чембарскому мемориалу. Именно только тогда, когда сам ходишь и смотришь и видишь все своими глазами, наглядно, проникаешь в то, что и здесь есть свой быт, своя утраченность в традицию, приверженности, своя культура в своей сложности и противоречивости, в многообразном влиянии на человека. И когда думаешь о Белинском, то пытаешься понять, что и как здесь его воспитало, что к себе призывало, что от себя отталкивало.

В свое время Герцен, возможно, даже под впечатлением каких-то личных рассказов Белинского, писал о его детстве: «Его развитие очень характерно для той среды, в которой он жил. Рожденный в семье бедного

чиновника провинциального города, Белынский не вынес из все ни одного светлого воспоминания. Его родители были жестоки и необразованны, как все люди этого извращенного класса. Белынскому было десять или одиннадцать лет, когда его отец, придя раз домой, начал его бранить. Ребенок хотел оправдаться. Разъяренный отец ударил его и свалил на пол. Малыш встал, совершенно преображенный: обида, несправедливость сразу порвали в нем все родственные связи. Долго его занимала мысль об отыщении. Но сознание собственной слабости претворило ее в ненависть против всякой семейной власти, которую он сохранил до самой смерти. Многое точно в этой характеристике, яркой и все же несколько односторонней, и, так сказать, отягченной. К тому же, пожалуй, есть в этой оценке «извращенного класса» что-то от взгляда сверху вниз – барина, дворянина. Конечно, была и жестокость. Но разве не страшный результат ее в двадцати километрах отсюда, в дворянских Тарханах. Фамильный склеп, в котором покоится прах одного из лучших поэтов России, – и в нескольких метрах могилы его отца (и то прах перенесен лишь в 1974 г.), отделенного от сына всю жизнь и после – тоже.

С другой стороны, Чембар рождал не только жесткость и даже жестокость, но и свои «светлые воспоминания». Начать с того, что отец Белынского не только не был «необразованным человеком», но был человеком очень образованным, и литературно тоже, уже даже по окончании семинарии. Кстати сказать, и в Медицинскую академию, куда поступил и которую окончил Григорий Никифорович Белынский, принимали семинаристов при условии хорошего знания латыни, словесных наук и, как правило, окончивших философский курс. Таким образом, многое сформировало в отце нашего Белынского критика человека философского склада мышления, вынесшего, по воспоминаниям хорошо его знавшего мемуариста, «из школы идеи, заброшенные первою французскою революцією, и здравый взгляд на литературу».

Книги, находящиеся сейчас в музейной экспозиции, убедительно говорят о широте интересов чембарско-

го врача, а специальная литература и периодика подтверждают его высокий профессионализм, Впрочем, многократно и многими засвидетельствованный. Кстати сказать, устроителя нынешнего музея выступшая и в роли своеобразных археологов. Немудрая медицинская посуда начала прошлого века, принадлежавшая отцу критика, раскопана при последних реставрационных работах и входит сегодня в музейную экспозицию.

Работа Г. Н. Белинского как врача, кстати, единственного на весь уезд, носила характер самоотверженный, подчас подвигический. «Природный ум и доступное по времени образование, – вспоминает близкий семье Д. Иванов, – естественно ставшая его выше малограмотного провинциального общества. Совершенно чуждый его предрассудков, притом склонный к остроумию и насмешке, он открыто высказывал всем и каждому в глаза свои мнения и о людях и о предметах, о которых им и подумать было страшно. В религиозных убеждениях Григорий Никифорович пользовался репутацией Амоса Федоровича, с тем только разницею, что не один городничий, но и все грамотное население города и уезда обвиняло Григория Никифоровича в неверии в Христа, исхождении в церковь, в чтении Вольтера, Эккартсгаузена, Юнга, любимых писателей Григория Никифоровича». А жить и работать этот человек должен был в провинциальной среде – темной и жестокой. И по роду службы он вовлекался в дела страшные и темные. «На Виссарьона, – вспоминает тот же Д. Иванов, – сильно действовали рассказы отца и городские слухи о разных проделках чинов полиции. Его сильно возмущала тиранья помещиков с крепостными людьми». В 1832 году уже из Москвы Белинский писал брату Константину: «При всей откровенности и благородстве характера, при добром сердце он (отец. – Н.С.) страдает страшным недугом – подозрительностью... Он не верит ни честности женщины, ни добросовестности мужчины».

Виссарьон был сыном своего отца. Все это – и философский склад ума, и самостоятельность суждений, и откровенность характера имели свои истоки. Но еще

очень молодым жесткое отцовское имя – Белынский Виссарион Григорьевич смягчил на – Белянский, одновременно и сохранив имя – связав и как бы приняв новое. Смягчил, как оказалось, почти символически: на место отцовской мрачной подозрительности и неверия пришла страстная вера в людей, питающая душу борца.

При всей сложности и внутренней неустраивенности (у отца и матери – женщины доброй и радушной, но грубой и вспыльчивой, к тому же полутрагичной – лада не было) внешне семья жила не так уж плохо: большой, в семь комнат, типа усадьбы дом, несколько человек крепостной прислуги. Общая культура книги в доме принадлежала всем детям. Детская. Здесь по-особому смотришь на всё – особенно на книги, Белянским-малышечком читавшиеся.

Впоследствии Некрасов в поэме «Белянский» писал о его детстве:

Проще развитым – в России
 Не чуждый многим – прохода,
 Книжонки дальные, пустые
 Читало с жадностью дитя.
 Притом, как водится, украдкой...
 Тоска мечтательности сладкой
 Им овладела с малых лет...
 Какой прозвонк наль поэт
 Помога душе его развиться
 К добру и славе применитьсь –
 Не знав я...

Мы знаем, какие «прозвонки» и «поэты» помогали «душе его развиться». «Дальними» были и книги Карамзина, и «Робинзон Крузо» и «Детское чтение» Новикова. Недаром позднее Белянский в критическом отзыве о «Новой библиотеке для воспитания» П. Редкина писал: «Бедные дети! Мы были счастливей вас, мы имели "Детское чтение" Новикова». Действительно, энциклопедически разнообразный журнал «Детское чтение для сердца и разума» был одним из примечательных изданий

великого русского просветителя Н.И. Новикова. Но и с «пустыми» книжками не все так просто. Опять-таки все мы помним хрестоматийные некрасовские же строки –

..Когда мужик не Базюга
И не милорда глупого –
Белинского и Гоголя
с базара похитит?

На столыке в детской чамбарского дома лежит одно из первых чтений Белинского: «Повесть о приключении английского Милорда Георга», изданная в 1819 году в Москве. Да, да, тот самый «глупый милорд», – приключенческая литература, своеобразный детектив, которым зачитывалась Россия еще с конца XVIII века. В 1839 году Белинский-критик напишет рецензию уже на девятое издание этой книги и в форме неких «мемуаров приятеля» вспомнит о своем детском увлечении: «О, милорд англичанской, о великий Георг! ощущаешь ли ты, с каким грустным, тосканным и вместе отрадным чувством беру я в руки тебя, книга почтенная, хотя и бессмысленная! В то время, когда я уже бойко читал по полкам, хотя еще и не умел писать, в то время, когда еще только начиналось мое литературное образование, когда я прочел и "Воиу" и "Ерусалма" гражданскою лечашью и "Повести и романы господина Вольтера" и "Зеркало добродетели" с раскрашенными картинками, – скажи, не тебя ли жадно искал я, не к тебе ли тоскливо порывалась душа моя, пламенная ко всему благому и прекрасному?.. Помню тот день незабвенный, когда достав тебя, уединился я далеко, кажется, в огороде, между грядками бобов и гороха, под открытым небом, в лесу пышных подсолнечников – этого роскошного украшения огородной природы, и там, в этом изумительном уединении, быстро переборачивал твои толстые и жесткие страницы... О, милорд! Что ты со мною сделал? Ты так живо напомнила мне золотые годы моего детства, что я вижу их перед собою; железная современность исчезает из моего сознания; я снова станов-

люсь ребенком и вот уже с бьющимся сердцем бегу по пыльным улочкам моего родного городка, вот вхожу на двор родимого дома с тесовою кровлею, окруженный бревенчатым забором... А в доме – там нет ни комнаты, ни места на чердаке, где бы я не читал или не мечтал, или поднес не сочинил... Постоите, я поведаю вам... Но, милорд, что ты со мною сделаешь?.. Какая кому нужда до моего детства?..»

Сейчас всем нам «нужда» до всего, из чего складывается облик великого русского литератора и, конечно, до его детства. И мы тоже благодарны «милорду»: ведь из-за него сама речевая конструкция приобрела характер драгоценного сейчас древиникового свидетельства о «темных годах» детства Беллинского.

В 1822 году одиннадцатилетним мальчиком поступил Беллинский в чембарское только что открытое (официально оно считалось освоенным 1 ноября 1821 года) уездное училище. Пребывание Беллинского в училище совпадает и с гораздо более тяжелым периодом в жизни самой семьи, особенно в отношениях с пившим отцом.

Сейчас в училище размещена также экспозиция, посвященная прошлому Чембара. Это превращает музей как бы в общий краеведческий музей и одновременно расширяет наши представления уже об отнюдь не домашнем, но очень широком, бытовом, социальном, природном контексте, каким была для мальчика Беллинского вся эта чембарская сторона. Приведу лишь один пример того, как захватывала Чембар «Большая» история и как запечатлевалась она в детском сознании. В августовские дни 1824 года в Чембаре пребывал император Александр I, славивший на войсковые маневры под Пензу. «Помнишь ли, – напишет Беллинский Д.П. Иванову через тринадцать лет, – как мало вели себя господа военные, особенно кавалеристы, в царствование Александра, которого мы с тобою видели собственными глазами за год или за два до его смерти? Помнишь ли, как они начальствовали на постоях, увозя на жен от мужей из одного удалятья, бывая ужасом и страхом мирных граждан и безнаказанно разбойничали».

Интересен этот училищный музейный комплекс, и не только памятной для нас связью с именем Беллинского, но и как своеобразный образчик народного просвещения на, так сказать, уездном уровне. В чымбарском училище был двухгодичный курс обучения. Судя по отчетной ведомости смотрителя, в первом классе обучали «катехизису, Священной истории, чтению Священного Писания, российской грамматике, правописанию, первой части арифметики, чистописанию и рисованию. Во втором классе – катехизису, второй части арифметики, Всеобщей и Российской географии, Всеобщей и Российской истории, начальным основаниям геометрии и физики, правилам слога и рисованию».

В ведомости за 1823 год Беллинский значится в числе лучших учеников. Но уже тогда кое-кому становилось ясно, что, может быть, дело идет не просто о хорошем ученике, не об «отличнике». В 1823 году Чымбар посетил директор народных училищ Пензенской губернии, будущий автор исторических романов И. И. Алакевичков: «Во время длительного мною экзамена выступил передо мною, между прочими учениками, мальчик лет 12, которого наружность с первого взгляда привлекла мое внимание: лоб его был прекрасно развит, в глазах светилась разум не по летам... Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывала их непрерывною цепью, и, признаюсь, старался свести его... Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством... Я спросил, кто этот мальчик. "Виссарион Беллинский, сын здешнего уездного штаб-лекаря", – сказали мне. Я поцеловала Беллинского в лоб, с душевной теплотою приветствовала его... Общество, которое дитя встречало у отца, были городские чиновники, большую частью члены полиции, с которыми уездный лекарь имел дело по своей должности (от которой ничего не наживал). Общество это видел он выроспашку... Душа его, в которую пала с малолетства искра Божия, не могла не возмущаться при слушании этих речей, при виде разного рода отвратительных сцен. С ранних лет нажила в нем и ненависть к обскурантизму, ко

всякой несправде, ко всему ложному, в чем бы они ни проявлялись, в обществе или литературе. Оттого-то его убеждения перешли в его плоть и кровь, сливаясь с его жизнью».

В 1824 году после уездного училища Белянский начинает готовиться к поступлению в гимназию. Чамбарский период его жизни заканчивался. Впереди были Пенза... Москва... Петербург.

В.В. НЕФЁДОВ

**Свеаборг – место рождения
В.Г. Белинского**

Первой страной на моем пути в Германию (в 2006 г.) через Швецию, Норвегию и Данию оказалась Финляндия. Добравшись до Хельсинки 12 июля 2006 г., сразу же направляюсь на Рыночную площадь, откуда каждые полчаса отправляются кораблики до острова Суоменлинна (Свеаборг). Финляндия много лет до начала XIX века была в составе Швеции, поэтому там используют два языка – финский и шведский, поэтому этот остров и имеет два названия. «Свеаборг» – по-шведски «Шведская крепость». «Суоменлинна» – по-фински «Финская крепость».

Основанная на островах, на подступах к Хельсинки, морская крепость Свеаборг сегодня – национальный памятник и одно из культурных сокровищ Финляндии. Её строительство началось в XVIII веке, когда Финляндия принадлежала Швеции. О российском периоде XIX – начала XX веков говорит по-прежнему направленные на запад пушки на базах Куусаиниекка.

Ныне Свеаборг (Суоменлинна) является также частью финской столицы с 900 жителями. Военная история Свеаборга закончилась в 1970-е гг., однако по-прежнему сохранялись характерные черты оживленного гарнизонного городка – церкви, магазины и школа посреди острова, военные моряки в формах, играющие дети на улице. Здесь я вскоре узнал, что управление по сохранению и развитию крепости отвечает за реставрационные работы, сохранение и развитие региона. Помещения некогда воинственной крепости и постройки гарнизона переделаны под квартиры, производственные помещения, конференц-залы и залы торжеств, рестораны и музеи.

Почти 300-летний Свеаборг играет значительную роль в истории народов и политики на Балтийском море. Строительство береговых крепостей на Финском заливе в середине XVIII века было последней попыткой шведской державы отвоевать обратно у России потерянные в начале XVIII века в результате Северной войны (1700–1721 гг.) территории. Современники Болотского называли построенную из гранита крепость Северным Гибралтаром. Считавшаяся непокорённой, крепость сдалась русским войскам во время осады 1808 г., после чего Финляндия была присоединена к России, в составе которой и находилась до конца 1917 г.

Именно в российский период истории Свеаборг был основным гарнизонным городом. Столицей Финляндии много лет был город Турку, а с выбором Хельсинки столицей автономной Финляндии в 1812 г. связан и расцвет Свеаборга.

До приобретения независимости крепость оставалась центром культурной и светской жизни, откуда многие формы строительства и культуры были распространены в другие районы Финляндии. Крепость была повреждена пушечным огнём англо-французской эскадры во время Крымской войны в 1855 г. Более чем 100 лет продававшаяся власти России в Финляндия закончилась чуть позже Октябрьской революции, начало которой видели в Свеаборге ещё в 1906 г., когда русские военные моряки Свеаборгской крепости восстали против вопиющих фактов общественной несправедливости. Здесь произошло восстание солдат и матросов Балтийского флота.

Финны много помогали В.И. Ленину, поэтому в 1917 г. страна Суоми отошла от России. После провозглашения независимости Финляндии, уже в 1918 г., в стране была короткая гражданская война. После неё в Свеаборге около года был лагерь для красных военнопленных. После гражданской войны здесь снова стал финский гарнизон. Во время Второй мировой войны в крепости находилась береговая артиллерия, войска противовоздушной обороны и база подводных лодок.

Сухим доком распоряжается механическая мастерская, которая после 1945 г. производила суда для СССР в качестве репарационных выплат. Свеаборг перешла в гражданское управление лишь в 1973 г., но военные традиции продолжает действующее на острове военно-морское училище.

Ныне Свеаборг – настоящая и со знанием дела мастерски отреставрированная крепость – является популярной и всемирно известной достопримечательностью, которая занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Крепость открыта для посетителей круглый год. Начинаясь с центра Хельсинки с берега Рыночной площади морской путь к Свеаборгу красив в любое время года, но лучше всего зимой, когда паром идет через ледяной покров моря в середине холодного времени года. Основной туристский маршрут на островах проходит по местам исторических событий, бастионам, валам, внутренним дворам крепости (Аннинаншиха) и Королевским воротам (Кунинкампорти).

Но, видимо, периоды истории раскрываются лучшим образом на пешеходных экскурсиях, которые начинаются от находящегося в середине крепости центра Свеаборга. Пушки и толстая, храм и стены никого не оставляют равнодушным. Кафе и рестораны со своими террасами летом служат уютными местами для отдыха.

В Свеаборге представлены многие значительные исторические этапы развития, как техники укрепления, так и строительства доков. В своем нынешнем виде Свеаборг – это бастионное укрепление нерегулярного типа, которое построено на неровной местности и на разных островах. Свообразные черты придает крепости её значение в защите трех государств – Швеции, России и Финляндии.

В шведскую и российскую эпохи известный как посредник новых направлений искусства и культуры быта Свеаборг снова стал центром творческой деятельности. Предлагаемая здесь культурная программа высокого уровня включает в себя музыку, театр, живопись и народные ремесла. Летний театр относится к самым по-

пулярным театрам всей Финляндии. Проходящий здесь в августе фестиваль «Свеаборг джаз» привлекает джаз-музыкантов отовсюду.

Наряженную в одежду XVIII века пубанку и музыкантов-исполнителей старинной музыки слышно в парках и залах во время июньского фестиваля культуры эпохи Просвещения «*Le Lumières*». В береговой казарме художественные выставки галереи Хельсинкского художественного общества представляют финское и скандинавское изобразительное искусство. Традицию ремесленников поддерживают и продолжают работающие в крепости многочисленные художественные умельцы и ремонтники традиционных деревянных судов.

Около основного маршрута находится также семь музеев Свеаборга. Информацию о строительстве крепости и жизни военных и офицерских семей предлагают музей Свеаборга и музей, носящий имя первого коменданта и главного архитектора крепости Августа Эренсварда. Музей береговой артиллерии, Манесис и подводная лодка Весikko военного музея рассказывают о защите страны и военную историю крепости.

Экспозиция музея таможни представляет историю таможенного досмотра и контрабанды в Финляндии. В музее игрушек собраны экспонаты более чем столетнего периода, в том числе и военных времен. Да и сами здания музея достойны того, чтобы их увидеть. Когда-то они служили порохомым складом, тюрьмой и учебными классами артиллеристов. Жалко, что надписей по-русски нигде нет – это осложняет знакомство с экспонатами. Хотя буклеты и туристская информация на русском языке есть в достаточном количестве. Здесь всегда много туристов, говорящих по-русски.

Можно было представить, как у этих неуютных и грязных в начале XIX века берегов находилась военный корабль, где появился на свет Вассарий Григорьевич Беллинский в июне 1811 года. Это было уже 200 лет назад.

Ныне здесь, в Свеаборге, о великом сыне России туристам напоминает мемориальная доска. Она была открыта 15 мая 1987 года в связи с празднованием 40-ле-

тия финского Института Советского Союза (сейчас Институт России и Восточной Европы). Инициатором ее установки выступило одно из местных отделений общества «Финляндия – Советский Союз».

На трех языках – финском, шведском и русском – там есть надпись: «Здесь родился 30 мая 1811 года Виссарион Белинский, известный русский гуманист, литературный критик и исследователь». Ниже римскими цифрами обозначен год установки мемориальной доски – 1987-й.

2010

Р.В. СЕНЧИН

Конгревова ракета*

Все чаще в нашей литературе случаются крутые даты с трехзначными числами. Двести лет со дня рождения Пушкина, двести лет со дня рождения Гоголя, сто лет со дня смерти Чехова, сто лет со дня смерти Толстого... Вот и у Белинского крутая дата – двести лет, как родился...

Эти крутые даты, и радостные, и печальные, равно важны – они заставляют вспомнить о писателе, поговорить о нем, а то и почитать (или перечитать) его произведения. Но они же все дальше уводят от нас реальную фигуру. Заменяют жизнь историей.

Помню, как отмечалась 95-я годовщина со дня рождения Есенина. Многие говорили тогда, что Есенин – наш современник, он вполне мог жить и сейчас, писать, говорить о том, что происходит. Тем более что тогда был жив современник и знакомец Есенина Аснемд Асенов... Через пять лет таких слов уже не было: сто лет – это век. Век Есенина кончился.

Век Виссариона Белинского кончился в 1911 году. Тогда звенел век Серебряный, реалисты были не в моде, классики поумирали, о Белинском забыли читатели, он перешел в ведомство историков литературы.

Но, как оказалось, ненадолго. Грядущая Октябрьская революция, возникла новая литература, в которую большевики впустили первоначально очень немногих, в том числе и Белинского, сделав его вскоре неким мерилom литературы, не только современной ему, но и создаваемой ныне (то есть в 1930–1980-е). На его статьи постоянно ссылалась, оценивая то или иное произведение,

* Статья печатается в авторской редакции.

его концепция литературы была основополагающей и бесспорной.

Со временем Белинский и его последователи (о которых он, кстати сказать, ничего не успел узнать и которые нередко злочно спорили с ним) – Чернышевский, Добролюбов и Писарев – превратились в своего рода литературных чекистов. Они, подобно Ленину, который ждал, ждал и будет ждать спустя сотни лет после физической смерти, выносили приговоры, чинили литературу от всего того, что не вписывалось в рамки не нини созданного социалистического реализма.

Неудивительно, что, как только социализм рухнул, Белинский вместе с другими «революционными демократами» оказался в темном чулане истории. Это закономерно – за семьдесят лет Октября на них успело накопиться жгучее раздражение. «Взгляды на русскую литературу» Белинского или «Луч света в темном царстве» Добролюбова у многих поколений советских школьников и студентов вызывали одно только чувство – ненависть. Известно, что чем сильнее человека заставляют любить, тем сильнее он начинает ненавидеть...

Как, скажем, в 1970-е цитата из Белинского была обязательной в критической или литературоведческой статье, так в начале 1990-х стало считаться чуть ли не предательством по отношению к литературе даже упоминать Белинского. «Хватит, писавсь!»

В последние годы его имя снова стало появляться в статьях. Даже цитаты. В основном вспоминают о нем критики нового поколения – пришедшие в литературу в 2000-е годы. И это тоже закономерно.

На мой взгляд, 2000-е очень напоминают 1830-е, когда Белинский заявил о себе. Те же попытки выдумать национальную идею (в 1830-е «Самодержавие, православие, народность», в 2000-е нечто подобное), бессильный и бессмысленный протест бы против оппозиции и – предчувствие, что русская литература созрела до чего-то большого, по-настоящему значительного. Тогда, в XIX веке, это предчувствие сбылось – последовали несколько десятилетий, когда литература была

главным общественным событием, а писатели определяли не только эстетические вкусы, но и политические взгляды своих читателей. Большинство тех, кого мы называем классиками русской литературы, считали своим учителем Беллинского, по крайней мере, постоянно о нем вспоминали, и если оспаривали его идеи (как, например, поздний Достоевский), то горячо, от сердца, как способны только повзрослевшие ученики... После первых же статей Беллинского 1834–1836 годов русская литература вышла на новый уровень своего развития... А что последует за 2000-ми, когда заявили о себе столько новых и ярких писателей и особенно критиков?..

В общем-то, я и хочу здесь попытаться определить, важно ли нынешней литературе, да и, прошу меня извинить за выражение, общественной жизни, наследие Беллинского и современная фигура критика, подобная ему.

Виксарион Беллинский дебютировал в печати в 1834 году большой, но выходящей частями в газете статьей, а точнее, «запиской в прозе» – «Литературные мечтания».

По-моему, это самое свободное, в лучшем смысле юношеское произведение Беллинского. Ему было тогда совсем немного за двадцать (возраст большинства современных выпускников вуза), он еще не имел опыта писания статей (несколько рецензий были лишь пробой пера) и потому воцарил в одно произведение все, что у него накопилось на душе, не очень-то заботясь о доказательствах, выплескивая чувства, не боясь кого-то обидеть, едко шутить (обычная, к примеру, журнала «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» «Инвалидными прибавлениями к литературе»).

«Литературные мечтания» по содержанию вряд ли статья. Сегодня бы их назвали эссе.

Лейтмотив этого эссе – «У нас нет литературы». Мысль принадлежит не Беллинскому, – об отсутствии у нас литературы заявляли и до него Вестушев-Марьяинский, Иван Киреевский, Ксенофонт Помойов; Пушкин же отсылался в своих заметках: «Литература у нас суще-

стиует, но критики еще нет... Правда, Белинский сумел дать, по-моему, очень точное определение того, что должно считаться литературой:

«...литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и безусловных) усилий людей, созданных для искусства, дышавших для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изысканных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и бесний».

Вроде бы утопическая мысль и в то же время строгая, невыполнимая программа. Но она была реализована по крайней мере однажды: в 1850-1890-х годах. Тогда соединились дружные (хотя и безусловные) усилия Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Некрасова, Гончарова, Салтыкова-Шchedрина, Писемского, Алексея Константиновича Толстого, Асеева, народников, Гаршина, Чехова... (Конечно, литературоведы могут вспомнить «Валаамутинское море» Писемского и «На ножах» Асеева и посягнуть над этими «дружные», но я имею в виду не заединство, а общую работу.)

Белинский участвовал лишь в начале этого периода, но вполне, проживая он нормальный для человека век, мог застать и появление Горького, – в 1895 году ему было бы восемьдесят четыре года. Но век критика, как правило, короток...

Стоит отметить и обязательное, по мнению Белинского, условие для литературы – «свободное вдохновение». К сожалению, такое вдохновение, особенно в XX столетии в России (СССР), скажем так, не приветствовалось. Потому и советский период русской литературы вряд ли можно назвать литературой в полной мере. Так, короткие периоды, когда свободное (или почти свободное) вдохновение могло проявить себя. Самые яркие из них – 1920-е годы и конец 1950-х – начало 1960-х...

Конечно, в литературе любого народа бывают спады и подъемы, но, к сожалению, государство способно контролировать свободу вдохновения. Великих книг, созданных свободно в атмосфере несвободы, практически нет. «Мастер и Маргарита», быть может, единственный такой пример. (Можно назвать и «Тихий Дон», но роман этот начал публиковаться в относительно свободные 20-е. А лишь малознаменитый Шолохов со всеми четырьмя томами, скажем, в 1935 году, что бы сделали и с ним, и с его романом?.)

Поэтому мысль Белинского о свободном вдохновении, на мой взгляд, будет ценна всегда (главное – о ней не забывать). По крайней мере, пока литература и государство соприкасаются... Сегодня мы этого соприкосновения почти не видим, но это объясняется тем, что нет (или почти нет) произведений, на которые бы государство обратило внимание. По существу, и литературы как таковой не существует – то ли зачатки ее, то ли агония...

Еще одно, на мой взгляд, важное замечание по «Литературным мечтаньям» такое. Белинский пишет о Пушкине в прошедшем времени – Пушкин *был*, *был*, *был*, и отказывает ему в праве существовать *теперь*. Это и сегодня корбит, ведь в 1834 году Александр Сергеевич находился в полном здравии, и хоть в его творчестве можно при желании увидеть упадок, но вычеркивать его из современной ему литературы – слишком круто.

Вот что мы читаем в «Литературных мечтаньях» (это самые мимкие слова о Пушкине, в них присутствует надежда на его литературное возвращение):

«Пушкин царствовал десять лет: "Борис Годунов" был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерая звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер нам, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское "быть или не быть" скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме "Анжело" и по другим произведениям, обретающимся в "Новоселье" и "Библиотеке для

чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю».

В последующих работах Белинский продолжил литературные похороны Пушкина. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он не включил повести Пушкина в «полный круг истории русской повести», «может быть, чересчур полный», хотя в нем есть Марининский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь.

(Повестям Пушкина Белинский посвятил отдельную, разгромную рецензию, где назвал их «не художественными созданиями, а просто сказками и побасенками», и не забыл еще раз заявить о смерти Пушкина-художника. Точнее, об осени его таланта, которая «бесплодна, грязна и туманна».)

Приветствовал «радушно и искренно» первую книжку пушкинского «Современника», вторую Белинский попросту уничтожил, заодно отказав Пушкину в таланте издателя и журналиста: «...для нас было достаточно имени Пушкина как издателя, чтобы предсказать, что "Современник" не будет иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха. Мы этим никак не думаем оскорблять нашего великого поэта: кому не известно, что можно писать превосходные стихи и в то же время быть неудачным журналистом?»

При этом Белинский действительно считал Пушкина великим поэтом, любил его и в 1831-м, когда написал свою первую рецензию на «Вориса Годунова», и в 1834–1836 годах, когда хоронил литератора Пушкина, и позже. Без анализа пушкинских произведений Белинский не обошелся ни в одной своей большой статье, постоянно цитировал, вспоминал, упоминал. Но все же Пушкин был для Белинского прошлым – «совершенным выражением своего времени (курсив мой. – Р.С.)». Он изучал это прошлое, берег и ценил, но настоящее, пусть часто и спорное, было для Белинского куда ценнее...

Советские литературоведы объясняли нападки Белинского на Пушкина в его ранних произведениях тем, что критику не было известно все, что создал поэт. И, дескать, лишь позже, когда стали выходить не издаваемые

сочинения Пушкина, он понял, что это была за фигура, и посвятил его творчеству серию статей.

Этих статей однанадцать. Из них собственно анализу пушкинских произведений посвящены шесть, точнее, шесть с половиной. Остальные – обзор литературы до Пушкина, теоретические рассуждения о словесности, критике. В этих шести (с половиной) статьях прозе Пушкина уделено лишь несколько абзацев. Они содержатся в последней, уже вынужденной (так как это был долг Белинского перед редактором «Отечественных записок», откуда он ко времени написания статьи уже ушел), статье, где дается беглая оценка «Медного всадника», «Маленьких трагедий», «Повестей Белкина», сказок...

Оценка «Повестей Белкина» Белинским 1846 года не отличается от его же оценки 1835-го: «...эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина». Оценка «Пиковой дамы»: «Собственно, это не повесть, а анекдот...» «Дубровский» «сильно отзывается мелодрамою». «История села Горюхины» – хоть и острая, но все-таки шутка, «нилая и забавная». Искреннее восхищение чувствуется у Белинского лишь «Египетскими ночами», но он не относит эту повесть целиком к прозаическим произведениям (и это справедливо: проза является лишь прелюдией к поэме-высказыванию).

Стоит полностью прощитировать абзац, посвященный «Капитанской дочке»:

«Капитанская дочка» – нечто вроде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие картины, по вероятности, истинные содержания мастерству изложения, – чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его губернатора-француза и в особенности его дядьки из псарей, Савельича, этого русского Калеба, – Зурина, Миронова и его жены, их куна Ивана Игнатьевича, наконец, самого Пугачева, с его «господами егерями»; таковы многие сцены, которых, за их множеством, не находим нужным пересчитывать. Ничтожный, бесцветный характер героя повести и его возлюбленной

Марья Ивановны и мелодраматический характер Швабринна хотя и принадлежат к резким недостаткам повести, однако же не мешают ей быть одним из замечательных произведений русской литературы».

Вроде бы оценка положительная – и множество картин, которые «чудо совершенства», и в целом «одно из замечательных произведений русской литературы» (правда, точно так же несколько выше Беллинский охарактеризовал все повести Пушкина в целом). Но недостатки критик увидел именно в основе: «Капитанской дочке» – в образах Гринцова и Марьи Ивановны. Беллинский назвал их ничтожными и бесцветными. Так оно и есть (сколько бы школьные учителя ни убеждали нас в обратном) – это песчинки, попавшие в vortex грандиозных исторических событий, и эти песчинки в меру своих слабых сил стараются следовать пословице, которая являлась эпитафием повести: «Береги честь смолоду».

«Ничтожный, бесцветный характер героя повести и его возлюбленной» Пушкин сделал наверняка умышленно – это поразительно перекликается с его мыслями, записанными, по-видимому, в 1827 году, но опубликованной лишь сто лет спустя: «Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, – наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками – даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашам бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои приказания».

«Капитанская дочка» – это как раз такие записки; «Повести Белкина» – тоже; «История села Горюхино» – шедевр, который Пушкин почему-то бросил, не закончив. И в «Капитанской дочке», и в «Повестях Белкина» действуют люди ная великие (Екатерина II, Пугачев), или всеобъемлющие (Сидяков), но повествователи-то «люди вовсе ничтожные».

Впрочем, все это частные соображения, к тому же читателя начала ХХ века, которому достаточно было известно наследие и Пушкина, и Беллинского. Беллин-

ский же судил о прозе Пушкина как его современник, но в то же время человек уже иной литературной эпохи. Эпохи Гоголя.

Да и сегодня, если бы «Барышня-крестянка», «Выстрел», «Дубровский», «Капитанская дочка» не принадлежали перу Пушкина, их вряд ли бы заставляли читать школьников. Сам Пушкин, скорее всего, чувствовал степень своего таланта прозаика. Его произведения в прозе – более или менее удачные попытки начать новую литературу в прозе, а не великие результаты. И неспроста (если верить словам Гоголя) Пушкин уступил ему идеи «Ревизора» и «Мертвых душ». Не потому, что ему было недосуг превратить их в произведения литературы, а потому, по всей видимости, что чувствовал, что не сможет превратить. Ограничился анекдотами вроде «Пиковой дамы» или «Барышня-крестянки».

Кстати сказать, удивительна реакция Пушкина на критику (хотя это вряд ли можно назвать критикой, скорее, нечто более жесткое) в свой адрес в статьях и рецензиях Белинского 1834–1836 годов.

Пушкин с симпатией отзывался о критике в письмах, искал возможности лично с ним познакомиться. Он собирался пригласить Белинского к сотрудничеству в «Современнике» (это документально зафиксировано), но закрытие «Телескопа» (для которого в основном и писал в то время Белинский) из-за публикации «Философического письма» Чаадаева, арест редактора Надеждина, угроза ареста Белинского не позволили этим планам осуществиться...

В «Письме к издателю» – отсылке на статью Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», опубликованном в третьем номере «Современника», – Пушкин, скрывшись за псевдонимом А.В., от лица провинциального любителя словесности посетовал: «Жалею, что вы, говоря о “Телескопе”, не упомянули о г. Белинском. Он облачает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединил он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, –

словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».

Слова эти хорошо известны, сотни раз, наверное, цитировались. Но хочется обратить внимание на слово «предание». Это вообще одно из любимых слов Пушкина. Он если и не любил все прошлое целиком, то ценил и берет его. Уважал. Белинский же начал с ниспровержения этого прошлого. Всего целиком. Правда, не утверждая, что в этом прошлом не было ничего ценного, но ясно давая понять, что все это ценное было и современному читателю не нужно и не нужно в нем узнавать.

«Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей поэзии: это наш давнишний порок; по крайней мере прежде причиною этого было невинное обольщение, происходившее из благородного источника – любви к родному; ныне же решительно все основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде еще и было чем похвалиться; ныне же...»

И как заканчивает: «У нас нет литературы»...

Объективно оценивая то время, можно сказать, что автор «Литературных мечтаний» был непростительно строг. Тогда были Пушкин, Баратынский (которых Белинский записал в прошлое), Крылов, Лажечников, Одоевский, Марлинский, Ершов, Гоголь (это лишь несколько имен из настоящего)... Но должен ли критик приходить в литературу без желания отвести в сторону прошлое и сделать о времени нового, которое еще только должно появиться? Если такого желания нет, то это не критик пришел, а некто другой... Историк, наверное... Белинскому в 1834 году некого было предъявлять в качестве этого нового, он предъявлял эмоциональный разбор настоящего положения дел и свои мечтания о будущем русской литературы...

В дебютной статье Белинский делит отечественную словесность на пять периодов: Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский, Прозаическо-народный и Смирдинский. Четыре первых (в том числе и вроде бы только-только формирующийся Прозаическо-народный) –

прошлое. Последний – настоящее словесности 1834 года. Период этот Беллинский назвал по фамилии издателя и книгопродавца Смирдина. «Все от него и все к нему; он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном копытней монеты; он дает направление и указывает путь этим гениям и полетениям, не дает им лениться, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность».

«Есть люди, – иронически продолжает Беллинский, – которые утверждают, что будто г. Смирдин убил нашу литературу, соблазнив барышами ее талантливых представителей. Нужно ли доказывать, что это люди злонамеренные и враждебные всякому бескорыстному предпринятию, имеющему целью оживление какой бы то ни было ветви народной промышленности? <...> Какие же гении Смирдинского периода словесности? Это гг. Барон Брамбеус, Греч, Кукольник, Восйков, Калашиников, Масальский, Ершов и многие другие. Что сказать о них? Удивляюсь, благоговее – и безмолвствую!»

Как это напоминает нынешнюю ситуацию, когда два-три издательства практически определяют лицо нашей литературы, скупая популярных авторов, превращая многих в проекты, навязывая читателю определенную литературу.

Против такой литературы, пусть в некоторых своих проявлениях и талантливой, но все же, прикормленной, не для всех, и поставив своей задачей бороться Беллинский. И словно сама природа стала помогать ему, предоставляя, хоть и достаточно скудно, действительно новые таланты. Гоголь (фактически через несколько месяцев после выхода «Литературных мечтаний» из талантливого школьника превратившийся благодаря «Миргороду» и особенно «Арабескам» в выразителя «сверхчеловеческой истины жизни»), Кольцов, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Достоевский, Гончаров, Григорович, Аполлон Григорьев... Кого-то, как, например, Григорьева, Беллинский нещадно критиковал, но бесспорно ценна, в ком-то, как в Достоевском, разочаровался, кто-то, как Кольцов, Лермонтов, «погибал безвременно».

Но тем не менее в конце жизни Белинский увидел плоды своей критической деятельности. В России появилось новое поколение писателей, тех писателей, кого мы, как своих современников, читаем и сегодня.

* * *

Довольно долго меня отталкивали от Белинского его постоянные и подробнейшие экскурсы в прошлое русской литературы. Почти каждая большая статья (о повестях Гоголя, о стихотворениях Баратынского, о творчестве Пушкина, годовые обзоры русской литературы) открывается огромным вступлением, где анализируется творчество Ломоносова, Кавтемира, Тредьяковского, Сумарокова, Озерова... Мне казалось, что после оценки прошлого в «Литературных мечтаниях» к этому прошлому вообще бы не стоило возвращаться.

Впрочем, это сегодня нам кажется, что в 1830-х и тем более в 1840-х литература прошлого воспринималась писателями и читателями как прошлое. Нет, это прошлое уходило медленно и неохотно, и, что интересно, Белинский, создавая новую литературу, притягивая к ней читателей, не гнал его, а даже радовался смешению прошлого, настоящего и становящегося настоящим будущего. «...Все эти поклонники разных мнений живут в одно и то же время, разделились на пестрые группы представителей и прошедших уже, и проходящих, и существующих еще поколений... И их существование есть признак жизни и развития общества, в которое царственный преобразователь-закондатель вложил душу живу, да живет вечно!.. И чем больше количество, чем пестрее разнообразие представителей прошедших вкусов и мнений, – тем ярче и поразительнее выказывается жизненность общественного развития».

И все же Белинский был противником следов XVIII века в современной ему литературе. Отсюда и вычеркивание Пушкина из числа действующих поэтов, и на первый взгляд несправедливо жесткая критика стихотворений Аполлона Майкова, Евгения Баратынского, Аполлона Григорьева, разгромная рецензия на первый

сборник Некрасова (не рецензия даже, а мыслен, на которые «навел» он Белинского)...

Борьба с остатками XVIII века в литературе велась не только в плане тем, идей, стилей. Белинский пытался (и успешно) осовременить грамматику. Во многих статьях и рецензиях он обращает внимание на грамматику, цитируя, в скобках вставляет знаки препинания, прописные буквы вместо заглавных. И его «Основания русской грамматики для первоначального обучения», написанные в 1836 году (во многом ради заработка), занимают в этом процессе важнейшее место – уже в начале своей критической деятельности Белинский создал крепкую теоретическую базу, на которую затем опирались.

Белинский, конечно, грандиозное явление в нашей литературе. Трудно представить себе, что человек, умерший довольно-таки молодым (тридцать семь лет), успел не просто написать такое количество статей и рецензий о современной ему отечественной литературе, создать как таковую теорию литературы, изучить русскую литературу XVIII – начала XIX века, европейскую (включая и античную) литературу и философию, увлечь драматическим театром людей разных социальных слоев, но и в целом изменить общественную жизнь в России.

В 1834 году, когда начинал Белинский, литература и искусство были делом в основном аристократии. Не в том смысле, что лишь аристократия имела право творить, а в том, что судить о творчестве, оценивать, диктовать моду, вкусы, дискутировать и т.п. считалось делом аристократии. Люди вроде Алексея Козырева воспринимались как нечто из ряда вон выходящее – говоря о его стихотворениях, критики непременно упоминали, что он «присол»; Белинский не раз издевался над этим уточнением...

В наброске 1831 года Пушкин попытался доказать, что принадлежность писателей «хорошему обществу», их благовоспитанность и порядочность «литературы не касаются»; к сожалению, набросок этот, как и подавляющее большинство критических опытов Пушкина, остался неоконченным и был опубликован спустя два десятилетия после его смерти... Белинский, будучи по

рождению дворянина (хотя его право на потомственное дворянство Департамент герольдии утвердил за несколько месяцев до смерти критика), всю жизнь была почти рабом журнальных издателей. Формально большая часть им написанного — рецензии или вовсе коротенькие заметки о книгах-однодневках. Но каждой строкой Белинский создавал новую литературу, новую критику и, что важнее, новое общество.

Может быть, это звучит пафосно, но, на мой взгляд, так оно и есть... Русская литература знает немало критиков умных, с тонким слухом, обладавших большим талантом. Но лишь единицы привлекают интерес будущих, не своих, поколений. Известны ли сегодня кому-то, кроме горстки специалистов, например, Павла Анненкова, Скабичевского, Зайцева, Протопопова, Измайлова? О них вспоминают зачастую лишь в связи с тем писателем, о котором они говорили несколько ярких слов, чтоб прикрасить эти слова в своей статье, докладе, реферате, монографии. Сам по себе такие критики со всем своим часто большим творческим наследием неинтересны. Они канули в Лету. Белинский же среди тех немногих, кто продолжает быть актуальным и сегодня.

Да, могут возразить, что нынче и к Белинскому обращаются лишь специалисты. К сожалению, это так. Но уверен, это кратковременный период — некоторая передышка общества после того, как его на протяжении нескольких десятилетий усиленно пичкали революционными демонами. Возвращение Белинского, по крайней мере, в литературу уже пусть медленно, но происходит... Сейчас совершенно забыт, к примеру, Дмитрий Писарев, и, судя по всему, есть силы, которые не хотят, чтобы о нем вспоминали, — если общество вдруг дружно начнет читать статьи Писарева (очень живые и своевременные), это может привести к процессу, который раньше называли «брожение умов». Умы же современных людей (подавляющего большинства) закованы в кандалы, неразвиты, ленивы.

Может быть, не стоило бы сегодня возвращаться и к Белинскому, и к Писареву. Оставить их там, в их XIX сто-

летии, в советской эпохе, когда их сделали чуть ли не иконами. Но последние двадцать относительно свободных лет не дали нам новых больших критиков, точнее, мыслителей, которые бы размышляли о России, ее народе, опираясь на литературу. Талантливых много, а больших не видно. Нет безудержно бомбардирующего ленинское общество своими статьями-идеями... А двадцать лет – срок немалый. Даже десять. (Творческий путь Белинского укладывается в неполные пятнадцать лет, Писарева – в девять, Константина Аксакова (как критика) – в восемнадцать, Апололона Григорьевна – в неполные двадцать.)

Конечно, смешно было бы утверждать, что Виссарион Белинский является неким идеальным критиком, гением мысли. Его неистовость отталкивала и от него самого, и от того направления литературы, которое он проповедовал, многих потенциальных сторонников.

Ошибкой Белинского я считаю непримиримую войну со славянофилами. И Белинский со своими немногочисленными соратниками (точное определение им дать сложно, это были не западники в чистом виде, не либералы; условно назову их демократами, хотя Белинского демократом назвать никак нельзя – люди так глупы, что их мысленно надо вести к счастью), и славянофилы (особенно младшие их представители – Константин Аксаков, Юрий Самарин) были, в общем-то, очень близки по взглядам, вышли из одного кружка. Точнее, таких кружков – «московских гостинных», как называл их Герцен, – было несколько... Какое-то время – 1830-е, самое начало 1840-х – поколение московской молодежи часто встречалось, спорило, выработывало свои взгляды на жизнь. Люди на пять-десять лет старше их, как Хомяков, Иван Киреевский, казались им старшими, навсегда напутанными расправой над декабристами стариками... Позже многие из того поколения стали, к сожалению, заклятыми врагами, но почти все – фигурами значительными в русской (и не только русской) истории. Бакунин, Герцен, Белинский, К. Аксаков, Вот-

нии, Кавелани, Катков, Огарев, Тургенев... (В последние десятилетия такого рода кружки мыслящей молодежи практически исчезли, все сидит по своим квартирам, и, может быть, поэтому мы остро ощущаем отсутствие новых идей, – у нас, к примеру, давно уже как таковой нет философии, рождающейся, как правильно, не в тиши кабинетов, а в пространных спорах.)

Но вернусь к войне женского Виссариона со славянофилами...

Она началась с полемики Белинского и Константина Аксакова по поводу «Мертвых душ» летом 1842 года и принесла русской литературе, на мой взгляд, много вреда. С одной стороны, она ожесточила Аксакова против Белинского и его соратников и приближала к кругу Хомякова, Киреевских, Языкова. С другой стороны, Белинский, растратив пыл души на эту полемику, практически ничего (и это может удивить) не сказал о самих «Мертвых душах». Точнее, не сказал того, что, по всей видимости, собирался.

Вот нечто вроде рецензии на поэму в № 7 «Отечественных записок». Но это действительно нечто вроде, так как о самом произведении мы в ней почти ничего не найдем, кроме того, что это великое произведение и оно требует изучения. Впрочем, Белинский обещает поговорить о «Мертвых душах» подробно «скоро в свое время и в своем месте»... В следующем номере журнала Белинский возвращается к поэме Гоголя, но лишь затем, чтобы разгромить идею статьи Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя "Похлождения Чичикова, или Мертвые души"». Идея была такой: «Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно ужасаемой; древний эпос восстает перед нами». И Аксаков довольно определенно приравнивает «Мертвые души» к «Илиаде» Гомера.

Белинский в своей небольшой (шесть журнальных страниц) статье это высмеивает также сравнение. В пылу спора он задает и Гоголя, принижает значение «Мертвых душ»: «...Гоголь великий русский поэт, не более; "Мертвые души" его – тоже только для России и в

Россия могут иметь бесконечно великое значение. <...> Повторю: чем выше достоинство Гоголя как поэта, тем важнее его значение для русского общества, и тем менее может он иметь какое-либо значение вне России. Но это-то самое и составляет его важность, его глубокое значение и его – скажем смело – колоссальное величие для нас, русских. Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, нечего и путать чужих в свои семейные тайны. "Мертвые души" стоит "Илиады", но только для России: для всех же других стран их значение мертво и неизвестно».

По воспоминаниям современников, Константин Аксаков был поражен разгромной статьей Белинского, тем более что, объявляя «Мертвые души» эпосом, он наверняка опирался на слова самого Белинского из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», в которой тот назвал «Тараса Бульбу» эпосом, огромной картиной в пыльных рамках, достойной Гомера. И далее: «Если говорят, что в "Илиаде" отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве один пинтихи и риторики прошлого века запретит сказать то же самое и о "Тарасе Бульбе" в отношении к Малороссии XVI века?..» Но в «Мертвых душах» Белинский увидел произведение социальное и отказал ему в эпической основе, в общем-то довольно явной.

Последовал резкий ответ Аксакова, Белинский отозвался еще более резким «Объяснением...», в котором готов был уже сравнивать «Мертвые души» с чем угодно, например, с романами Вальтера Скотта, но только не с «Илиадой». И то ли искренне, то ли в полемической злобности, Белинский дает свое определение современного эпоса как исключительно исторического романа. В данном случае мне лично ближе мысль Аксакова, который видел эпос не в содержании того или иного произведения, а в эстетическом сохранении. «...И только у одного Гоголя видим мы это содержание».

(Нужно заметить, что об этой полемике очень интересно и подробно написано в статье Александры Спаль «Гоголь и его критики» – Литературная учеба, 2010, № 3.)

Скорее всего, стратегически Белинский оказался прав: русская литература с «Мертвых душ» и вышедшей в том же 1842 году «Шинель» стала в первую очередь социальной. В этот период для Белинского социальность литературы вышла на первый план.

Именно после статей о «Мертвых душах» Гоголь явно потерял к Белинскому бывшее доверие. Продолжение поэмы (а ведь поэмника велась лишь о первой из трех заявленных частей произведения) опубликовано так и не было, зато в 1847 году появились «Выбранные места из переписки с друзьями». И отношения Белинского с Гоголем закончились обменом знаменитыми письмами.

* * *

Поэмника Белинского и Константина Аксакова расколола прогрессивную часть русского общества. Именно тогда оформлялся как направление славянофильств, тогда же – крут Белинского. Человеку невозможно было принадлежать к одной группе и дружить с людьми из другой. О своей последней встрече с Аксаковым, фактически о расставании навсегда, с болью пишет Герцен в «Былом и думах»:

«В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проскакал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

– Мне было саншжом больно, – сказала он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между нашими друзьями и мной, я не буду к вам сидеть; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. – Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах».

А пока между «прогрессивными» шла война, представители «официальной» литературы Бумгарин, Греч, Сенковский продолжали определять вкусы и взгляды большей части читателей...

В советское время сочинения Фаддеев Булгарина найти было почти невозможно, приходилось верить на слово советским литературоведам, что это реакционный писатель и тому подобное; цитаты из сочинений Булгарина в статьях того же Беллинского казались по-добрыньскими нарочито, чтобы доказать писательскую беспомощность Фаддеев. В 1990-е — начале 2000-х Булгарина издавали щедро, и любой желающий смог убедиться, что это действительно довольно слабый, недалекый литератор. Хотя в жанре фантастики Булгарин доходит до некоторых озарений, но и они тонут в ужасающем слоге, примитивности мыслей... В общем-то, литература Булгарина и его круга — это уродливый послед литературы истинного XVIII столетия. И удивительно, что он пользовался популярностью и имел вес вплоть до середины XIX века.

Война Беллинского с Булгариным, Гречем, Сенковским известна, но это была лишь одна из его войн и в итоге запутывала читателя, который часто не понимал, чего добивается критик, война и с Булгариным, и со славянофилами, и с откровенными западниками. Тем более что Беллинский не мог высказываться прямо, да и его статьи часто выходили без подписи, и читатель гадал, кто их автор... По-настоящему масштаб Беллинского стал понятен лишь в следующую эпоху — в конце 1850-х, когда после смерти Николая I изменился политический климат в стране и о Беллинском можно стало говорить открыто, окрепла созданная им литературная школа и появились наследующие и развивающие его идеи критики, стало выходить собрание его сочинений.

Идеи умеренных западников (к которым можно отнести и Беллинского) тогда, особенно после поражения в Крымской войне, стали очевидны для большей части образованного слоя русского общества, Россия необходимо было и экономически, и политически догонять Европу и развиваться вместе с ней. Идеи же славянофилов так и остались невостребованными русским обществом. От аристократических салонов до крестьянских изб.

Позволю себе привести довольно большую цитату из письма Ивана Аксакова к брату Константину от 17 сентября 1856 года:

«Нет ни одного учителя гимназии, ни одного уездного учителя, который бы не был под авторитетом русского запада, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю, и под их руководством воспитываются новые поколения. Очень жалею, что кафедры университетские недоступны никому из наших. Кроме небольшого кружка людей, так отдельно стоящего, защитники народности или пустые крикуны, или податели и льстецы, или паузы, или понимают ее ложно, или вредят делу балаганниками представляемыми и глупыми похвалами тому, что не заслуживает похвалы... Будьте, ради Бога, осторожны со словом "народность и православие". Оно начинает производить на меня то же болезненное впечатление, как и "русский барин, русский мужичок" и т.д. Будьте умеренны и беспристрастны (в особенности ты) и не низводите насильственных неестественных сочувствий к тому, чему нельзя сочувствовать: к допетровской Руси, к обрядовому православию, к монахам... Допетровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началам, не выработанным или даже ложно направленным, проявленным русским народом, – но ни одного окверненного часа настоящего я не отдам за прошедшее! Что касается до православия, т.е. не до догматов веры, а до бытового исторического православия, то как ни вертись, а не станешь ты к нему в те же отношения, как и народ или как допетровская Русь; ты постишься, но не можешь ты на пост глядеть глазами народа. Тут себя обманывать нечего, и жить одну целую жизнь с народом, обратиться опять к народу ты не можешь, хотя бы и соблюдал самым добросовестным образом все его обычаи, обряды и подчинялся его верованиям. Я вообще того убеждения, что не воскреснет ни русский, ни славянский мир, не обретет цельности и свободы, пока не совершится внутренняя реформа в самой церкви, пока церковь будет пребывать в такой мертвости, которая не есть дело случая, а законный плод какого-

нибудь органического недостатка... По плоду узнается дерево; право, мы стоим того, чтоб Бог открыл истину православия Западу, а Восточный мир, не давший плода, бросил в огни! – Ну да об этом надо нам много, или ничего не писать. Я хочу только сказать, что поклонение допетровской Руси и слово "православие" возбуждают недоразумение, мешающее распространению истины. – Разумеется, цензура всему мешает. Невольно припомнишь слова митрополита Платона: "Вра, раскольник, и молчи православный!" <...> Не пойми monk слов одно-сторонне. Вспомни, что было время, когда ты протини-ся введенно железных дорог, а теперь, верно, и сам об них хлопочешь».

Все эти слова для одних могут служить показателем того, что Иван Аксаков был таким славянофилом и не совсем патриотом, для других же – что умным и трезво видящим Россию человеком. Я склоняюсь к мнению вторых...

Почему я уделяю столько места войне западников и славянофилов?

В первую очередь это уникальный факт в общественной истории. В ее ходе была создана параллельная проекция-слепковатой линии развития государства... Дело в том, что правительство всецело старалось сохранить в России XVIII век. Его задачей было пресекать ростки инакомыслия и свободомыслия. Давило оно и западников, и в еще большей степени славянофилов (если бы их идеи воплотнялись в жизнь, государственное устройство России переменилось бы сильнее, чем при воплощении идей западников); удары, в том числе и физическим, получала даже нечаянно становившийся проводником инакомыслия Фаддей Булгарин... Но общество развивалось, спорно, волею, рождало новые идеи, невзирая на запрещения и гонимосту правительства. Оно разжигалось уже независимо от государственных институтов своего времени, но с надеждой на будущие перемены. И именно в то время не законы и указы, а статьи и повести стали иметь бо́льший вес... Впрочем, это очень точно выразил Герцен:

«Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии или во Франции следовали за парламентскими прениями».

Такая ситуация продолжалась, все обостряясь, до 1917 года. Силы росла и крепла. Правительство на это предпочитало не обращать внимания. Время от времени, правда, заключало в тюрьмы и ссылало особенно громких сдумьланов, закрывало средства печати, надеясь такими мерами остановить процесс. А в 1917 году общество лопнуло, скинуло и царя, и правительство, и прежнюю жизнь. Катастрофы наверняка можно было избежать, услышь власть сначала Пушкина и декабристов, потом западников и славянофилов, прочитай внимательно Чернышевского и Писарева, ответь на призывы Герцена к Александру II и так далее...

Сегодня ситуация в России очень напоминает ситуацию 1830–1840-х годов. Только вот какое существенное отличие: людей интеллектуальных, культурных вроде бы больше в десятки раз, но нет новых идей, нет как таковой и общественной жизни. В худшем случае люди пребывают в сознательном оупении, а в лучшем – выплескивают свои личные мысли в разговорах или интернете, не желая никого слушать. («Все говорит, и никто не слушает», – сказал кто-то из классиков.)

У нас существуют наследники западников и славянофилов. Наследники западников – нынешние либералы – доходит в своих идеях до анархизма, считая каждое общественное дело, каждое заявление о себе государства проявлением тоталитаризма, утверждая, что все, в том числе и литература, – частное дело. У наследников славянофилов и вовсе, кажется, мутится сознание, – они сливают в одно Христа и Сталина, любые сомнения, даже выраженные в литературном произведении,

считают ересью; среди них встречаются писатели, советующие читать лишь Евангелие...

Мы живем без новых идей, без новых задач, без потребности задуматься, как и ради чего живем. А что будет с Россией, это уж вопрос чуть ли не пошлый. К сожалению, нет людей, способных не просто заговорить об этом (заговаривают-то многие), а заставить себя слушать. Нет материалистов, которые бы горели, как идеалисты.

Да, Белинский прославлял Петра I, называл его реформы кодовизмом, что было ноком по сердцу славянофилам. Но существовала бы Россия, скажем, в 1720 году, когда новсю шел раздел мира, не успей Петр в какие-то несколько лет, жестоко и кроваво, сделать Россию империей? Может быть, и существовала бы в размере двух-трех современных областей где-нибудь между Волгой и Ваткой...

Стоит отметить, что и славянофилы, как и западники, были людьми европейской культуры, даже те, кто носил русскую народную одежду и ел русскую народную пищу. Кстати тут будет упомянуть и о том, что если допустить, что Белинский видел идеал в Европе (что, впрочем, опровергается и его статьями, и письмами), то чудом следует признать появившие именно в его гонимых, кто вскоре наиболее полно и точно опишет жизнь России и русского народа. Тургенев, Григорович, Некрасов, Гончаров... Да и любил (как писателей, по крайней мере) Белинский не авторов разнообразных «Писем из-за границы», – можно сравнить, сколько он написал, скажем, о произведениях Гюгено и сколько о произведениях Дала...

Да, нужно вернуться к литературной деятельности Белинского. Хотя это сложно, – как сложно найти рассуждения Белинского собственно о литературе, в чистом виде оценку того или иного стихотворения, рассказа, поэмы, повести.

В том-то, на мой взгляд, главное достоинство Белинского – сплетение в его статьях и литературы, и филь-

софии, и истории, и так далее. «В ряде критических статей, – писал Герцен, – он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на подороже он бросал ее и вписывался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточно стих “Родные люди вот какие” в “Онегине”, чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства».

Позже Чернышевский развила этот метод, а Писарев довел его до совершенства, умудряясь на основе разбора текста говорить о таких темах, которые невозможно было в то время публично обсуждать. И цензура, как правило, не знала, к чему именно придраться: вроде бы критик пишет об уже опубликованной книге, но пишет так, что получается чистая проповедь революции...

Белинскому и его последователям ставит в вину то, что они уделяли основное внимание не художественной составляющей произведений, о которых писали, а содержательную, ставя акцент на социальности. Но Белинский почти в каждой своей работе отмечал нечто подобное следующему: «...если произведение, претендующее принадлежать к области искусства, не заслуживает никакого внимания по выполнению, то оно не стоит никакого внимания и по намерению, как бы ни было оно похвально, потому что такое произведение уже насколько не будет принадлежать к области искусства».

А вот более конкретное высказывание: «Г-н Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом. Но и одного этого также еще слишком мало, чтобы в наше время заставить говорить о себе, как о поэте. Знаем, знаем, – скажут многие: нужно еще направление, нужны идеи!.. Так, господа, вы правы, но не вспомни: главное и трудное дело состоит не в том, чтоб иметь направление и идеи, а в том, чтоб не выбор, не усилье, не стремление, а прежде всего сама натура

поэта была непосредственным источником его направлений и его идей».

То есть, грубо говоря, Белинский проповедовал некий полезный талант. Талант, способный без видимого усилия, легко, свободно и сильно выражать некие идеи. Авторское усилие в этом случае для Белинского становится тем же бессилием, «утомляющим, скоро наводящим скуку» (это уже из рецензии на один из романов Кукольника).

А вот как он высказался о романе (Белинский называл его повестью) Гончарова «Обыкновенная история» в письме Веткину от 17 марта 1847 года: «У Гончарова нет и признаков труда, работы; читаю его, думаю, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ». И далее – восхищение: «А какую пользу принесет она обществу!» Хотя как о человеке критика отзывалась о Гончарове далеко не лестно...

Конечно, нередко он высоко оценивал те произведения, что очень быстро канули в Лету. Например, одну время восхищался стихами Ивана Каюшкина (в общем-то, далеко не самого плохого поэта своей поры), прозой Петра Кудряшова. Но в целом вкус изменил Белинскому очень редко, и он не пропустил, пожалуй, никого из тех, кто через пять-десять-двадцать лет создал великие произведения нашей литературы.

Не стоит замыкать поэтическую деятельность Белинского на пресловутой натуральной школе. Это была очень удачная и плодотворная идея по выводу реалистической манеры письма, достоверного отображения действительности на ведущую позицию. Но Белинский не видел ее пределом развития русской словесности...

В статье 1857 года «Обзорение современной литературы» Константин Аксаков не без торжества констатировал: «...ясное явление, не имеющее состоятельности внутренней, недолго держится и падает само собою: так пала и натуральная школа, и название ее перестало употребляться. «...» Натуральная школа, или натуральной пини, спускалась в так называемые нижменные слои общества и в силу этого доходила и до крестьян.

Но и здесь она брала сперва лишь то, что ярче бросалось в глаза ее мелочному взгляду, лишь те случайные резкости, которые окружают жизнь, лишь «одни родинки и бородавки». И далее, заметив, что «цель и самое название натуральной школы исчезли сами собою», хотя «приемы ее остались; остались ее мелкий взгляд, ее пустое шествование неизбежными подробностями: от всего этого доселе мы можем избавиться почти все, даже наиболее даровитые, наши писатели», Аксаков с симпатией говорит о новых рассказах и повестях Тургенева и Григорьевича, являвшихся одними из активнейших участников натуральной школы.

Действительно, они переросли ее цели и задачи, но об этом пророчествовал и сам Белинский во «Взгляде на русскую литературу 1846 года»: «Разумеется, нельзя, чтобы все обвинения против натуральной школы были положительно ложны, а она во всем была непогрешительно права. Но если бы ее преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностью, – и в этом есть своя польза, свое добро: привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям (курсив мой. – Р.С.), когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходулях, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически». Да и против буквального переноса на бумагу манеры Белинский не раз выступал. К примеру, в рецензии на вторую часть «Физиологии Петербурга» заметил: «*«Летерейный бал» г. Григорьевича – статья не без занимательности, но, кажется, слабее его же “Шарманщиков”, помещенных в первой части “Физиологии”.* Она слишком обивается на дагерротип и отбывается его сухостью».

Во всяком случае, натуральная школа была явлением позитивным – в ней, этой школе, русская литература научилась писать о действительной жизни. И наверное, во многом благодаря ее влиянию таким, уже практически сразу сложившимися мастерами, пришед в литературу Писемский, Лев Толстой, Александр Островский,

Салтыков-Щедрин, которым много внимания уделял Константин Аксаков в своем «Обзоре...» 1857 года.

Нетто вроде натуральной школы не помещало бы и современной русской литературе, — за несколько последних десятилетий (сначала во времена позднего, сновидчившего до предельа, символизма, затем в период того, что получило название «постмодернизм») была утеряна способность достоверно фиксировать действительность. Попытки чаще всего заканчиваются неудачей — реалистической прозы не получается, да и очерка тоже (жанр очерка вообще почти умер). А всерьез поговорить о жизни, о человеке, о мире, по моему мнению, возможно только в форме реализма. Исключения случаются, но это действительно исключения. Да и реализм очень широк — это доказывает одновременное, на равных, пребывание в нашей литературе таких разных во всем писателей, как Толстой и Достоевский...

* * *

Виктор Белинский не был ортодоксом, пришедшим в литературу с раз и навсегда поставленными целями и упорно старающимся эти цели воплотить в жизнь. Нет, цель у него была — научить людей мыслить. И даже в самых своих программных статьях Белинский не выступает с готовыми приговорами, а размышляет. Спорит не только с оппонентами, но и с собой самим, нередко противоречит себе самому, приходит к неожиданным выводам. Не стесняется признавать ошибки... Нашу сегодняшнюю критику в размышлениях не упустить — сегодняшние критики сначала в голове определяют отношение к тому или иному предмету, а потом фиксируют это отношение на бумаге и объявляют его истиной. Размышлять на бумаге сегодняшние критики то ли не умеют, то ли боятся (какой же это, дескать, критик, который прилюдно сомневается в своей правоте).

О писателях и говорить не стоит — в подавляющем большинстве произведений нет не то чтобы размышлений, но и попросту мыслей... Кажется, еще Пушкин называл это явление мыслелюбным и требовал в прозе мысли.

Русская литература активно мыслила во второй половине XIX и в начале XX века; сквозь все цензуры старалась мыслить и в советскую эпоху. А в последние двадцать лет практически полной свободы писать и публиковать какие угодно тексты мысль из литературы ушла. Редчайшие произведения, где ощущается некое подобие мысли, приводит публику в недоумение: «Что это? Как к этому относиться? Что это за персонажи такие? А этот положительный или отрицательный?» И такие вопросы прекрасны, правда, ответить на них практически никому. Нет, ответить (верно или ложно) есть кому – некому поразмышлять вместе с публикой...

До сих пор нередко можно встретить утверждение: критик – это несостоявшийся писатель. Вроде бы Белинский как раз подтверждает его. Он автор одного дошедшего до нас стихотворения (стилизация под русскую народную песню) и двух пьес – «Дмитрий Калинин» (1830) и «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь» (1839). Пьесы стоят особняком в его наследии, – в собрании сочинений в девяти томах (1976–1982 годов) «Дмитрий Калинин» помещен в «Приложения», а второй пьесы нет вовсе.

Обе вещи нынче как произведения драматургии воспринимаются с трудом. «Дмитрий Калинин» и подзаголовок имеет соответствующий: «Драматическая повесть в пяти картинах». Это действительно повесть, лишь по форме принадлежащая к привычной нам драматургии. Действие не так динамично, как обыкновенно в пьесах, много длинных диалогов и монологов. Драма «Пятидесятилетний дядюшка...» тоже не отличается динамикой.

Не стану разбирать эти пьесы. Лишь советую почитать. «Дмитрий Калинин» напоминает мне послесказочные романы Достоевского (особенно «Униженные и оскорбленные» и «Подросток»), а в «Пятидесятилетнем дядюшке...» есть та нота, что много позже отчетливо зазвучала в пьесах Чехова... Кстати сказать, в этой второй пьесе Белинский попытался достоверно вывести довольно-таки благородного (в душе), милосердного помещика. Его, немолодого уже человека, окружает не

очень-то возвышенная действительность (деревня, мелочные заботы, сплетни и т.п.), но он не скатывается в болото жизни, а находит в себе силы уступить девушку (свою воспитанницу), которую любит, человеку, с которым, как он уверен, она будет счастлива.

Впрочем, важнее не сами эти пьесы и даже не то, что сделал Белинский для развития русского театра (собственно русская драматургия в его время находилась в зачаточном состоянии, и Белинский вынужден был опираться, по существу, на две пьесы – «Горе от ума» и «Ревизор»), а приемы драматургии, художественная одаренность Белинского, которые он применял в своих критических и публицистических статьях.

В форме диалога написаны «Русская литература в 1841 году» и «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке», и хотя прisms этот был далеко не нов (его использовал и Карамзин, и Пушкин, и многие другие предшественники Белинского), но он помогал донести до читателей то, что в иной форме вряд ли бы пропустила цензура. А обаянием, например, из статьи «Александринский театр», лирическими отступлениями, многим образом и ассоциациям из вроде бы чисто критических статей может позавидовать и профессиональный автор романов и повестей...

Из обращения почти исчезло слово «литературатор». Мы пользуемся другими – прозаик, поэт, публицист, писатель, критик, эссеист. Белинский и многие из тех, кто пришел позже, не были критиками в чистом виде (пу какие критики, скажем, Чернышевский или Писарев?). Это были именно литераторы, которые, отталкиваясь от чужих произведений литературы, создавали свои, развивали и боролись за свои идеи.

Советское время приучило нас бояться тех, кто публично критикует. Тогда они могли своей критикой закрыть писателю самый главный путь в литературе, а то и лишить его свободы или вообще жизни. Сегодняшнего критика никто не боится, – даже самая разгромная статья не заставит издателей не выпускать ту или иную книгу, а читателей – не читать раскритикованного писа-

тебя. И это правильно. Так было и во времена Белинского. Была борьба, были полемикя, но не было того, что в советское время стали называть «оргвыводами». Критика не воспринималась приговором, а лишь выражением мнения. «Критика была бы, конечно, ужасным оружием для всякого, – читаем в статье Белинского «Ответ "Москвитинину"», – если бы, к счастью, она сама не подожгла – критике же...» И то, что от какого-то писателя отворачивался читатель, доказывало зрелость общества, а не некий приказ. И такие люди, как Белинский, конечно, сыграли в развитии общества огромную роль.

В книге «Былое и думы» Александр Герцен сравнил Белинского конца 1830-х годов с Конгреновой разбитой, выжигавшей все вокруг... С одной стороны, образ довольно злобный, а с другой – для появления нового необходимо освободить пространство. Невозможно почитать и беречь старое и в то же время создавать нечто новое. Так же выжигалось старое в 1860-е годы, в 1910-е, в 1960-е. По-настоящему ценное не выжигалось, а закрывалось после этого еще пышнее, ложные же ценности не ждало.

Может, потому наша сегодняшняя литература и топчется на месте, почти не дает плодов, что мы слишком увязли в грузе прошлого. Редкие призывы освободиться воспринимаются как вандализм, невежество. Но, поклоняясь сотням (во времена Белинского их были десятки, и то большого труда стоило двинуться дальше) старых гениев, мы незаметно для самих себя превращаемся в этаких отшельников, отстранявшихся в своей увешанной иконами келье от окружающей живой жизни...

Еще лет пять назад мне казалось, что нужен новый Дмитрий Писарев. Чтобы он, этот человек, отталкиваясь от произведений сегодняшней литературы, смело и понятно рассуждал о происходящем в общественной, экономической, политической жизни... Сегодня я уверен, что нужен новый Белинский и новые «Литературные мечтания». Общество одичало до времен крепостного права (а в отношении к понятию «Родина», может,

и до времен феодальной раздробленности). Нужно начинать все сначала. С нуля.

Кто сегодня заразит нас интересом к современной литературе, в которой нет-нет да и появится жемчужина? Кто скажет, в каком мире мы живем? Кто заглянет в будущее? Кто пусть грубо, оскорбляя, но заставит русское общество задуматься о смысле своего существования?.. Голосков много, но сильного голоса нет. Нет той Конгревовой ракеты, которая, упав, выскочет все крутом, чтобы на этом выжженном пространстве поднималось новое – сильное, свежее, способное очистить отравленную атмосферу... К сожалению, у нас давно не было таких исполняющих себя и окружающую запальчивость фигур, как Белинский. Может быть, поэтому мы и воспринимаем существование в мире, где смысла почти нет, как само собой разумеющееся?..

2011

А.А. АННИНСКИЙ

Белинский синдром

Он меня пленял, околдовывал, покорял в пору, когда я не только не знала, кто он, но и самого имени этого не знала.

Дело было сразу после войны; радиоприёмник нам ещё не вернули; главным источником информации оставался чёрный круг репродуктора, из которого ещё недавно непобедимый голос Юрия Левитина возносил фронтовые сводки, а теперь на разные голоса рассказывалось о том, что где происходит.

И вот из этого репродуктора вдруг изшло на меня что-то несомненное. Я, шестиклассник, не поняла, то ли это серьёзная передача, то ли сценический монолог. Но загоревшись слушала, не очень зная в высокие материи, но купаясь в мелодии. И конечно, не соображала, что это такое.

Что это такое, мне объяснил в конце передачи: статья Белинского о Пушкине в исполнении артиста Алексея Консовского.

Имя Пушкина я, разумеется, знала. Имя артиста запомнила почти автоматически. А имя автора статьи запомнила... как-то странно: как человек утоляет жажду, которую чувствовала смутно, а теперь почувствовала явно.

– Белинский...

Через два года я прочитал его по школьной программе 8-го класса. Я узнал, что он – «литературный критик». Я нашёл у него ответы на урочные вопросы. Кто первый поэт на Руси? Достигали ли мы Запад по части художественного мышления? Перегоним ли мы его через сто лет? И т.д.

Не могу сказать, что ответы меня убеждали. Текст – обожгла. Пленяла, околдовывала, покоряла. Это был морок. (Слова «кайф» я тогда ещё не знала. Как и слова «синдром».)

Потом из этого состояния вышел меня Писарев. Своей неумолимой дерзостью. Потом утихомирил Чернышевский. Своей безапелляционностью. Потом успокоил Добролюбов. Своей человечностью, угадываемой сквозь безапелляционность. Всё вроде улеглось.

А дальше я и сам записался в литературные критики. Уже после окончания университета. Начал понемногу печататься. Во второй половине 50-х годов. В железной атмосфере социалистического реализма с его обманчивым оттепелями.

В эту атмосферу надо было вписываться. Чтоб и «вечные истины» было, и «верность основополагающим принципам», и «воля народа», и «социальный заказ».

Я обучался этой системе фраз, но чувствовал, как меня сушит жажда. Надо было что-то делать, чтобы душа дышала при такой сухотке.

И вот я припрорывался: садясь за каждую новую статью, брал с полки кого-то из классиков русской критики и читал пару абзацев... Чтобы «набрать воздуха».

И выяснялось, что дух мой воспаряет – только от Белинского. От пары его абзацев. Безотносительно к тому, что он там доказывает и о чём рассуждает. Я забывался от музыки.

Потом мне попало у одного из русских идеалистов начала XX века суждение, которое всё объяснило. Белинский – при его фантастической противоречивости, непоследовательности и субъективности – ни в чём не убеждал читающую Россию. Но он её поджигал.

Это было сформулировано век назад, когда Белинского вспоминали в связи с его столетием.

Сегодня, вспоминая его в связи с 200-летием, я упираюсь в ту же загадку.

И не я один. Приведу лишь один пример – статью Татьяны Филлиповой «Быть апостолом» из июльского номера журнала «Родина» за 2011 год.

«Возможного ли при отсутствии эстетического чувства стать признанным ценителем словесности? При равнодушии к музыке слова быть популярнейшим лите-

ратурным критиком? (Уточнено: музыка была, своя – пензенская! – А.А.). Не получить систематического образования и обрести статус «ластывшеля душою» нескольких поколений образованного русского общества? Как минимум трижды сменить убеждения и получить звание «совести русской интеллигенции»? Пример личности Виссариона Григорьевича Белинского, появившегося на свет в александровскую эпоху 200 лет назад, в июне 1811 года, в Саввабаре и выросшего в Чумбаре (ныне город Бельский) Пензенской губернии, даёт на эти вопросы утвердительный ответ.

Что же держало около него толпы читателей? Манера критиковать «наотмашь»? Безотносительно к тому, кого лупишь: оппонента справа или оппонента слева. Идеализм, мечущийся от воздушшвышения к брезгливости и обратно? Независимо от того, к славянофилам или к западникам тебя в эту минуту несёт. Христианская безоглядность, оглядывающаяся на русского мужика, который моится, почёсывается? И яростная борьба ради этого мужика – за неканонический образ Христа, в котором страдающая человечность важнее его божественности...

Так в чём же уникальность Белинского в русской интеллектуальной и социальной истории? В том, думается, что знаменитый литературный критик, при всех идейных метаниях оставаясь сторонником сильного реформаторства «сверху», стал вольно или невольно одним из основателей революционно-демократической традиции в русской общественной мысли. Абсолютизация новых, заимствованных из-за границы идей его интеллектуально ослепил, ослепшим умом подкреплялась заразительной категоричностью тона, echoingившего в последующие десятилетия Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Идея Белинского о моральной цели и ценности творчества, о беспристрастности нейтралитета – в жизни, литературе, журналистике – сыграла роль детонатора в условиях,

когда начала развёртываться борьба за общественную свободу и гражданское равенство. Социальная значимость формы затмила со временем идейно-политическое содержание его работ, весьма далёких от революционизма».

Стало быть, детонатор...

Вопрос, который неотступно стоит в моём сознании: а если России нужно было, чтобы кто-то её поджёг – независимо от состава горючего материала и от тонкостей пламенного языка, и это осуществилось трудами и мыслями Белинского, то не следует ли ждать повторения этой ситуации? А если это у нас в крови? Метнуться из крайности революционизма в крайность нелоуэнтства и, нископнув в оргиях непрерывно растущего потребления и шутливости тусовочной развлекаловки – возопить наконец об очистительном огне?

Найдётся ведь пылкий проповедник!

От Свеаборга до Чимбара искать не придётся. Осиндромным до изжоги – сам пройдёт.

В.И. ГУСЕВ

«Был особенно любим»*

Белинский, конечно, не нуждается в панегириках в свой адрес. И не потому, что все панегирики произнесены. Недовольств было еще больше. Не нуждается потому, что он сам отстоит себя.

В последние годы в воздухе как-то носится «проблема Белинского». Есть потребность в свежем взгляде на него, все это чувствуют. И не то что надобно заново пересказать его биографию и изложить его «Взгляды» 1846 и 1847 годов. Биография и взгляды, как эти, так и предшествующие им, изложены в сотнях статей и десятках томов мемуаров и исследований, все в этом сейчас дело. А есть потребность в каком-то заново брошенном общем взгляде.

Не претендуя на этот общий взгляд, – мне с этим не справиться, – попытаюсь все же сказать: почему же это, по-моему мнению, Белинский сам отстоит себя? В чем тут дело – в самом ли Белинском или только ли в самом Белинском? И что это такое – феномен Белинского в русской литературе?

Белинский, по словам многих духовных деятелей XIX–XX веков, сделал и высказал немало правдивого и риторического. «Риторика» – было любимым его ругательством; «Скучно говорить о таких странностях... виноваты – о такой реторике, т.е. о таком наборе слов, лишенном всякого содержания, всякого значения, всякого смысла»; но, может быть, потому оно столь прочно и сидело у него в душе, что он сам был порою не чужд примолапнейности: «Указать же на истинный недостаток общества значит оказать ему услугу, значит любя-

* Статья печатается в авторской редакции.

вить его от недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто виноватее, извительнее Гогарта изображая английское общество в лице всех его сословий? – и однако ж Англия не осуждала Гогарта...» Речи верные, но слишком общие – «глобально-идеальные... Такое смущало строгие умы. Белинский был знаменит и тем, что «улавливался дальше цели» (сказал Лев Толстой не по его адресу, но по сходному поводу) и пытался иногда жертвовать идеей и духом ради какого-нибудь яркого тезиса. (Пытался, но в конечном итоге ему это не удавалось, скажу заранее.) Среди писателей-дворян – начитаннейших людей не только России, но и Европы тех дней – он был по тем временам недостаточно образован, кое-что знал только поникашничке: «узаконенный» упрек в адрес Белинского. Он неважонна некоторых некудших писателей и, по свойственной ему действительности, «прослався» по ним своим жеманным катком.

Читатели ожидают традиционного «однако же», «но», но подумаем: какие же «но», «однако же» можно протинопоставить столь существенным недостаткам хрыльщика? Риторика, необразованность... промахи вкуса... что же остается-то? Прогрессивные общественные убеждения?

Но, во-первых, ни для кого теперь не секрет, что убеждения у Белинского бывали и разные. Он мог, например, увальтаться тезисом «Все действительное разумно, все разумное действительно» и яростно проповедовать против Чацкого как нарушителя этого тезиса. Проповедовать до тех пор, пока Герцен не объяснит ему, что раз все действительное разумно, то и борьба (как действительность!) разумна... И затем проповедовать обратное. Белинский всегда был в принципе на стороне светлых сил, но вот беда: в то время, как оно случается в жизни, не всегда было ясно, где же светлые силы. Белинский не был бы Белинским, если бы не изводился этим, не путался порой «в трех сознаниях», которые лишь для постороннего и вялого – три сосны; но он и не остался в истории, этот вялый и посторонний. Кто ничего не делает, тот не совершает ошибок, но уж и не остается в истории: тут уж нам – нам. Правда, есть византизм-

ский афоризм: «Счастливы народы, у которых не было великих людей». Под этим, конечно, подразумевается, что великий человек вечно что-нибудь путает, и в чем-нибудь заблуждается, и тает за собой и других. А ведь эти другие должны возделывать свой сад, плодиться, размножаться. На это отнет простой: смотри кого считать великим человеком. Подлинное величие души, даже и заблуждающегося (всякий человек слаб, и это известно), неизменно вывет на людей благотворно и благотивно. Есть в человеческой душе, несмотря на всю ее сложность и все ее «бедны», одно вот это светлое, ясное качество: откликаться на благородный и бескорыстный порыв и видеть благородство и бескорыстие за всей внешней конкретикой – за всеми ошибками, неурядицами, оплошностями, бытовым нестройством, падениями и срывами истинно великого человека... Ошибки и конкретика как бы сами по себе, а стоящее за ними величие – само по себе; и человеческая душа, высокий человеческий ум это видит.

Самые умные, глубокие, злые и простые испровергатели Белинского не могли не откликаться в нем не только с привытым «уважением к противнику», но и с особенной, как бы завистливой теплотой. От него исходило ощущение тайного огня, и тепла, и света. Человек это чувствует – ему не дано не чувствовать. Да еще если к тому же этот человек, например, Достоевский. Он может сколько угодно испровергать те конкретные тезисы, уважения, с которыми в тот или иной миг носился Белинский; но не может не чувствовать светонского источника, из которого это исходит. В этом была сила влияния Белинского. Конкретным итогом на данный миг могло быть и заблуждение; но источник вечно был светоносен... А вы как думали? Такова жизнь. Такова земная жизнь, если угодно кому-то подобное добавление. Распутывая, земной человек, трудясь, душа. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Ощущай источник, даже если словесный тезис на данный миг не тот. На этом и культура построена. Ничего на земле не светится в чистом, готовом виде.

Оттого-то многие прогрессисты, куда «более» прогрессивные, чем сам Белинский, особенно из его «последователей» – мнящих и пафосных социалогов второй половины XIX века, вовсе не остались или почти не остались в истории, а он остался: дело требует огня, и веры, и жертвы, а коли этого нет...

Остались они лишь отрицательным способом: кое перед кем дискредитировали своей деятельностью – деятельностью Белинского.

Но деятельность – это деятельность... а Белинский остался.

Потеряв терпение, некоторые умные люди если да и перечисляли все промахи и провалы Белинского. Правда, иногда они при этом утрировали, выводя из контекста и т.п., но это уж как водится. Наиболее, если так можно выразиться, не забытая работа такого рода – «Спор о Белинском» Ю. Айхенвальда. Да и то: если по сути, так кто ее помнит? А если еще более по сути, так кто ее читал-то? Не только эта работа, но и знаменитые в свое время «Снауты» Ю. Айхенвальда почти забыты.

А Белинский остался.

Есть эта некая потребность в человеческой душе, по которой Белинские – остаются. «Для мальчишек не умирают Поэмы».

Ну да, огонь, свет; но и огонь и свет можно понимать по-разному.

К Белинскому – некие особые умнение, благодарность.

В каком-нибудь Наполеоне «Буонапарте» тоже был огонь; свет – вряд ли, а огонь – был, и еще какой; и что же?

Предмет национального честолюбия – пожалуй; свет, умнение, благодарность – нет.

А ведь «Буонапарте» с точки зрения своего дела совершива меньше ошибок, чем литератор Виссарион Белинский.

В чем же еще сила Белинского, кроме самого огня, света, как источника духовной энергии?

За Белинским, по-первых, светлая сила бескорыстия.

Под всякое дело, даже самое благородное, даже самое христианское или социалистическое, можно обделывать какие угодно ловкие дела. Такие «умелыцы» всегда наготове.

Литература мстит им.

В этом отношении она – благодатная, высшее-духовная и по-своему жестокая деятельность.

Человек слаб и ловок, а литература не потакает ему. У всякого была в жизни минута слабости, и всякий, если он литератор, знает, как жестока литература в этой ситуации. Она не дает поточки ни на минуту. И уж тем более не сочувствует тому деятелю, который в принципе устраняет из нее житейский, бытовой промысел. Кто не деньги получает за литературу, а литературу эксплуатирует для денег; кто не успех получает за литературу, а литературу попускает и дергает на успех. Многие даже и крупные связались на этом.

Ведь человек может считаться сколько угодно, а по тексту все равно видно. Как ни вертись, ни выкручивайся, а по тексту все равно видно. И что из того, если современники прут и льстят: для человека, «отраченного» литературой, высшее наказание – знать, что в его «творениях» нету истины, нету полной истины; что пройдет несколько лет – и...

Бывает и наоборот: клевета, шепот; а текст высок и чист...

Каждый в бой иди, а бой решит судьба.

Этот завет русской литературы, высказанный впоследствии, Белинский осуществил своей жизнью; а не говорю, что каждый литератор должен умирать от чужотки, оставив семейство без денег; что каждый должен писать, как чернорабочий, по 20 часов в сутки, рецензируя всё – от Пушкина до книги Шаламова, и при этом еще оставаться неизменно искренним, страстным и талантливым; что каждый должен любому ближайшему другу, а этим другом был Герцен, говорить любую нелицеприятную правду, например, о написанной тем поэме, рискуя потерять последнюю поддержку и помощь; что каждый должен, счита Достоевского новым гением,

уметь тут же объявить ему, что «Двойник» не удался, и тем навредить на себя филиппики этого гения на долгие годы. Не все в человеческих снах, да и не только в этом деле. Искренность, бескорыстие Белинского, главное, судимы именно в его текстах, он мог ошибаться, но не поступался правдой своего «субъективного духа»: «Когда поэзия есть живой галгал действительности, – она великая вещь на земле; но когда она пытается сделать существующим несуществующее, возможным невозможное, когда она прославляет пустое и хвалит ложное, – тогда она не более, как забава детей, которым деревянная лошадка нравится более настоящей лошади... И не поэт тот, кто лишен всякого такта действительности, всякого инстинкта истины; не поэт он, а искусник, который умеет паясать с завязанными глазами между яйцами, не разбивая их... Такой поэт похож на тех жонглеров диалектики, которым все равно, с чем бы и как бы ни спорить, лишь бы только опровергнуть противника; которые, доказав одному, что дважды два – четыре, с тем же жаром доказывают другому, что дважды два – пять...» Белинский тут недооценивает игрового и «невозможного» в искусстве; но каков при этом порыв к истине, к «всесовершенному» – к идеалу?

Это не случайно.

За Белинским всегда – сила идеального начала.

Белинский, этот романтик до мозга костей, сражается против романтизма; что из того? Сам Белинский – романтик в широком и высоком значении этого слова: это нам теперь ясно; сражается же он с романтизмом натужным, ложным – с романтизмом грушницких, александров адуэных... А никогда, в увлечении, и с ненапряженным, невозможным; что и из того тоже? простим ему: он сам был слишком романтик по натуре – и, по русской привычке, давал это в себе...

Да, Белинский может ошибаться конкретно; он может ошибаться и социологически, и духовно; одна из тайных трагедий его, видимо, состоит в том, что он, например, порою путал социализм с христианством, природу с рассудком, духовное с поверхностно полити-

ческим; ничего себе ошибся, скажут опять; но кто же их не совершал тогда? сам Достоевский признаёт впоследствии, что в России споры о социализме и о христианстве в то время были с разных сторон одно и то же; говорят, люди не знают уроков истории; и все-таки они знают их; тогда уроков еще не было; а на Западе так прямо существовал «христианский социализм»: социалистическое сочетание! – и Белинскому это было известно...

Но у Белинского было постоянное, напряженнейшее, высочайшее чувство последнего идеала жизни; оно порою не формулировалось или формулировалось (тезисно) ложно, неточно; но оно сквозило в каждой молекуле, в каждой клеточке его возвышенного и музыкального изложения, слога; «Говорят: время поэзии прошло, и стихов уже никто не хочет читать. Не подумайте, чтоб это говорилось где-нибудь далеко, за морем...» Сам «зачин» – поэтический; интонация такова же.

Отсюда же порой и риторика: порыв к прямому идеалу так резок, что выходит из формы...

Белинский был поэт и критик; собственно, он и не был критиком в современном, аналитическом значении этого слова, хотя сам не стеснялся звания «критик», не кокетничал, что он «тоже писатель», как ныне любит, и прямо относил себя к журналистике; это бывает: человек, которому есть что сказать, не заботится о жанровых пристрастиях, – он знает: огонь и так виден (или не виден), независимо от этих забот; а вот мы теперь – мы теперь обнаруживаем, что вся стилистика у Белинского идеальная, поэтическая, независимо от его чисто журналистских намерений: «Мы показали выше, что пылкая, пенящаяся и кипучая, хотя в то же время и холодная струя поэзии г. Языкова была не из сердца – источника страстной природы, а из головы, которая у людей еще чаще бывает источником прихотей праздного и фантазирующего рассудка, нежели источником разума...» «Не вовсе» справедливо о Языкове; но сильна тут поэзия самой критики. Чем-то мне Белинский по стилю напоминает Блока – интонацией, что аж, кстати, у них есть и разные почти совпадающие высказывания – о романтизме и об эгоизме, хотя Блок,

как известно, не жаловал самого Беллинского – собственно, не столько за него самого, сколько за его жингоизи...

Эта черта – один из сильнейших «секретов» Беллинского, его влияния на русскую литературу, ее общую интенцию; в русской литературе призывы есть, пить, плодиться и ни о чем не думать, раздвинувшиеся время от времени и из уст неглупых и небездарных людей, никогда не могли иметь постоянного и живого успеха; да, на усталое сердце действует порой пожелание – отдохнуть, поесть жирно, размяться, забавиться, повеселиться; но видеть в этом смысл жизни (вспомним этот сутубо русский термин)? «Вить» это на стради навсегда?.. Тут русский человек начинает беспокоиться, как Аркадий Стаханицев при сытой жизни честного прихлебателя: «Беллинский неграмотен? Поменьше бы вам грамотности, хлопотствующие умишки!» – думает он – и вновь нависают над его сознанием какие-нибудь гордые и «важные» слова неумелого в жизни и в тактике, но неистового в духе Виссариона: «...рабочий класс в Париже был искусно приведен в движение партией среднего сословия (bourgeoisie). Между народом и королевскими войсками завязалась борьба. В самом и безумном самоотвержении народ не щадил себя, сражаясь за нарушение прав, которые несколько не делали его счастливей и, следовательно, так же мало касались его, как и вопрос о здоровье китайского богдыхана. Сражались отдельными массами из-за баррикад, без общего плана, без знамени, без предводителей, едва зная против кого и совсем не зная, из чего и за что, народ тешится посылкой к представителям нации, недавно заседавшим в абонированной камере: этим представителям было не до того; они чуть не прятались по погребам, бедные, трепещущие. Когда дело было кончено ревностью слепого народа, представители повыползли из своих нор и по трупам ловко дошли до власти, оттерав от нее всех честных людей и, загребая жар чужими руками, преблагополучно стали греться около него, рассуждая о нравственности. А народ, который в безумной ревности лил свою кровь за слова, за пустой звук, которого

значения сам не понимал, что же выиграл себе этот народ? – Увы!.. Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб...» Сила идеала, сочувствие к ближнему позволяет на миг представить, что перед нами сам пролетарий Парижа, обманутый мещанином. Навечная русская черта – отдать всё, помочь всем...

Белинский – мыслитель; но Белинский – это и главный Дон-Кихот нашей литературы; а поди водами Дон-Кихота, когда с него мысленно нечего взять; он весь беззащитен, нависен – и он же – та сила, с которой вот уже много веков не могут справиться все в мире молчаливы. А уж на что сильны, подлые рабы.

За Белинским – сила какого-то «ненормального», почти истерического «эстетического чутья». – Ага, тут-то ты и пощамся, автор! – воскликнут, быть может, противники Белинского и белинских. – Это Белинский-то?! Эстетическое чутье?! А тот же Чацкий? А Баратынский? А несчастный Бестужев-Марлинский? Да и Бенедиктов не так уж слаб... А тот же «Двойник» Достоевского? А Гоголь с его «Перепиской»?

Знаем без вас, друзья.

Вы-то никогда не писали по несколько печатных листов в день.

Но разберемся.

Мы в последнее время как-то устали от своей культуры. Нам то само собой – и это само собой; нам князь Одоевский слаб, а Лермонтов риторичен.

Нам жаль Мартынова – пострадал, бедняжка; Лермонтов был тяжелый и неприятный тип. И вообще, может, это казак стрелял из кустов (на десяти шагах и при куче свидетелей)? А бедный Дантес, красавец-кавалергард? Пятуландцев в «Истории кавалергардов», ах, как он пишет про этих огромных конников... А граф Александр Христофорович? Ну конечно, был крут; но...

Нас интересуют подробности, нас занимают оборотные стороны дела; везде мы ищем второго плана, двойного дна; всё сложно, всё тонко, всё у нас «обоюдно», и вообще – все амбивалентно.

На самом деле есть, конечно, подробности; и есть часть истины и во всех этих рассуждениях: именно потому, что истина должна быть полна; но есть и главное, о котором мы порой забываем.

На самом деле Лермонтова убил Мартынов, и убил на десяти шагах из крупнокамерного пистолета после выстрела противника в воздух; и убил, будучи двоюродным и образованным человеком, то есть зная, что перед ним стоит не просто тяжёлый и неприятный тип, а деятель высокой русской культуры, который создавал строки:

Когда выстрелит жеманная писта,
И свисая лес шумит при звуке истерка,
И прыгнет в сад маленький сапф,
Под тенью сладостной зелёного листа;
Когда росой обрызганный душистой,
Румянцем вечером или утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Принестьто кивает головой;
Когда студный клош играет по окладу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Асфальт мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

Эти и подобные строки.

Что Пушкина все же убил Дантес; и так далее.

Всё, малые друзья, должно стоять на своих местах, и ничего беспрестанно менять местами низкое и высокое (низ» и «верх») таким образом, что и сами эти слова уже теряют всякий свой смысл. (Ибо вновь и вновь помини: равенство низкого и высокого есть неравенство в пользу низкого: есть не равенство, а уравнивание; «верху» есть что терять, «низу» — ничего.)

Так вот, говоря, что Белинский то-то и то-то, вы забываете, что он левый всесторонне и как следует, пусть с частными ошибками, оценил Пушкина; что он, по сути, первый написал историю русской литературы,

на которую мы и сейчас опираемся, причем почти все оценки остались неизменными; что он первый понял Лермонтова, а это было весьма непросто в то время и при колоссальной разнице индивидуальных пристрастий и направленности деятельности самого Белинского и Лермонтова; что он первый указал на масштабы художественного дарования Гоголя, хотя и не основал каких-то сторон его интересов; что он вывел на свет того же Достоевского, Тургенева, Гончарова, Некрасова, Герцена, Кошцова, Григоровича, В.Ф. Одоевского (и то время, как прежде и Лермонтов, молодых и неизвестных писателей! Не было «перняка», а какой был риск! Какое надо было иметь «суждение вкуса») и ввести писателей второго ряда, создавших атмосферу нашего москутого реализма – второго ряда, стоявшего многих последующих первых; что он основа для нашей литературы Шекспира, Шиллера. («Да здравствует великий Шиллер, великий адвокат человечества!»), Гюго, Бальзак, Жорж Занд, Сю и многих, многих; что он перевел в оборот идеи Гегеля, немецкое столь ясное значение для всей последующей русской мысли; что он сумел остаться прогрессивным и светлым при всем колоссальном напряжении «потустороннего», идеального начала в его сердце.

– Ну, это само собой, – скажут многие и отойдут в сторону.

– А что же вы забываете про это «само собой»? «Само собой» – это ведь и есть главное.

Зачем забывать?

Нравится цитировать Белинского и хвалить Бенедиктова – благо прочли о последнем статью в «Вопросах литературы»?

Это – пожалуйста; антыбыт есть антыбыт.

Но есть еще великая русская литература, которая едина во всей своей диалектике, всех противоречиях; и Белинского, с его огнем, умом и чутьем, из нее не выкинешь.

Да и ошибки-то его: будьте великодушной, о строгие, умные судьи... О Грибоедове он «поправился»: был из-

вестен тем, что с «детской искренностью» признавался в своих ошибках... О Гоголе, как ни верти, а он, с его ясным, несмотря на все увлечения, умом, сказал то простое, что неопровержимо: что сила его – в художестве, а не в умствованиях. Сами религиозные-то идеи Гоголя, которые потом интересовали философов, гораздо мощнее выражены в каких-нибудь «Вие» и «Страшной мести», чем в поучениях. В поучениях, лишь синхронизировав ему сцену Фомы Опескина (и от кого? от Достоевского. Уж этот-то знал толк в православии)... Маранинского он ругал не как такового, а как тенденцию отхода от правды, природы, которая могла помешать вставшей русской литературе; что делать? по-своему он был прав; литература же, усвоив уроки Белинского и став в ближайшие годы великой русской литературой, впоследствии не забыла и Александра Бестужева. Слава богу, в истории культуры спорящие начала, если они истинно духовны, не отменяют одно другое... Достоевский, «Двойник»? Но и сам Достоевский потом ругал своего «Двойника»; да и мы теперь знаем, что это не главное у Достоевского. Гофман Гофманом, а должно было быть – свое, и оно и стало; кто знает, может быть, без урока Белинского, засевшего в подсознании Достоевского, не было бы в их нынешнем виде и поздних его гражданских романов (это ведь там – о Боге и социальное).

За Белинским, как мы снова видим, могучий порыв к правде в литературе (любимое слово – «действительность») и к истине социальных отношений.

Томакуют, Белинский западник, – а прочтите вышеприведенное из статьи о «Парижских тайнах»; томакуют, он всегда недооценивал романтизма, – а прочтите: «...романтизм не есть достоинство и принадлежность одной какой-нибудь страны как эпохи: он – вечная сторона природы и духа человеческого; он не умер после средних веков, а только преобразился»; томакуют, он был за плавскую сатиру, а он отвечает: если сатира обозначает «грозу духа, оскорбленного позором общества, то и "Дума" Лермонтова есть сатира»; томакуют, он не знал языков, – но, по признанию таких авторитетов, как

Герцен и Боткин, он схватывал идеи глубже, чем излагатель излагал...

Белкине дентам русской литературы все это пови-
наи о Белинском.

Толкы оди пример.

Белинский забравшая «Мечты и шум» – первый
опыт Некрасова; трое из четьирих молодых поэтов оби-
даны бы на всю жизнь...

Но оны и оны брали свое...

О Белинском – не только «самы собой» известные
строки:

Белинский был особенно любим...
Моясь твоей многотрадной тени,
Учитель! перед знанием твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

В те дни, как всё казалось на Руси,
Дрема и рабство было позорно,
Твой ум кипел – и новые стоны
Прокладывал, работая усердно...

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый исполнил в народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорства, богуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели...
И, с каждым днем окружая тоской,
Затерана давно твоей могилы...

Кричал от радости «Вперед»,
И горд, и ясен, и доволен:
Всю мерещился народ
И звал московских колоколов...
...на площади, среди народа,
Всю казалась, он стоял...

С тайным настроен на Белинского – и многие иные
строки Некрасова.

Погружась я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От мучоющих, праздно болтающих,
Обагривших руки и хроны,
Уведи меня в стан полюбивших
За великое дело любви!

Это – к матери; но интонация та же.

Не забудем ошибок... но милосердие, о друзья; поминем главное.

Судьба Белынского – это не фарс, не либеральный «офицер» XIX века, не предмет шпикон; судьба Белынского – это одна из великих трагедий русской литературы; и она всегда это втайне знала и знает.

Вот почему Белынский сам отстоит себя.

1981

А.И. КАЗИНЦЕВ

«От избытка сердца...»

«У нас... еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух приду о высоких персонах... Что за безжелье, что за сладострастие души сказать какому-нибудь гению в отставке без мушкетера, что он смешон и жалок с своими... претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикну журналисту обидая своего литературного значительностику; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит по старым воспоминаниям или по старой привычке...» 1834 год. «Литературные мечтания». Так начинал Белинский.

На каких весах колеблются людские судьбы! За год до появления первой большой статьи, сразу же сделавшей его знаменитым, исключенный из Московского университета за «безуспешность», Белинский мечтал о месте учителя в приходском училище в Белоруссии. Не в гимназия, не в уездном училище, а в приходском. Что ждало его в каком-нибудь глухом местечке этого едва ли не самого бедного и отсталого в то время края Российской империи? Тяжелый труд ради куска хлеба, усадная среда, чуждая литературных интересов. Как бы сложились взаимоотношения с журналами у бедного учителя из далекой провинции, не успевшего завязать прочные знакомства в Москве? Да ему и книги-то для той же рецензионной работы было бы неслучко выписывать!

Трудно представить, какой была бы литературная судьба Белинского, получи он тогда, в 1833 году, столь желанное, гарантирующее по крайней мере крышу над головой и пропитание место. Но он не получил его. Официальная Россия не дала ему даже этого. Нет, Бе-

ливскому не отказали, его бумаги просто осели в столе чиновника, некоего Карташевского, и пролежали там без движения целый год.

Вот уж поистине ирония судьбы! Как бы засуетились, забегали чиновники в канцеляриях, если бы знали, кого они, пусть случайно, оставляют в Москве – рядом с журналами, рядом со сверстниками, упоенно решающими «последние» вопросы бытия, сначала по конспектам Шеллинга и Гегеля, а потом и по брошюрам французских социалистов-утопистов. Уж, наверное, нашлась бы место для будущего властителя умов, кумира и оракула молодежи, нашлась бы, пожалуй, и тройка, которая за каменный счет умчала бы новонспеченного приходского учителя подальше от Москвы. Или и тогда инерция бюрократической машины не позволяла бы ей заработать быстрее, и бумаги, приобретшие за время пролежания по инстанциям вес свиных листов, остались бы лежать в чиновничьем столе?

Невозможно ответить на вопрос, что случилось бы, обладай власти предержащие способностью заглядывать хотя бы немного вперед – в будущее. Как бы то ни было, бивстательный дебют Белынского состоялся. И сразу же все условные наклонения, все эти «как бы» и «что бы», сделавшись ненужными – столь очевиден и однозначен был эффект, произведенный «Литературными мечтаниями». Теперь уже не только место жительства, само время не могло лишить критика великого права – во всуеиспытание сказать свое слово.

Более полутора веков прошло с того времени, как «Молва» впервые напечатала статью молодого критика, но и сегодняшнего читателя она привлекает свободой письма, широтой взгляда на литературу и историю, прочной концептуальной основой. И сегодня современен пронизывающий ее пафос очищения от всего косного – устаревших концепций и обветшалых, не подтвержденных реальным литературным трудом репутаций. Достаточно вспомнить цитату, которой я начал эти заметки. Разве не близка она – по букве и по сути – повсеместно звучащим призывам к нашей критике

«страгнуть с себя благодушие и чинопочитание, рать-едающие здоровую мораль», помянуть о том, «что критика – дело общественное, а не сфера обслуживания авторских самолюбий и амбиций»? Разве не современная яростная борьба автора «Литературных мечтаний» против протекций в литературе, по которым бедарные писатели производились в таланты и даже в гении? Порой кажется, что Белинский современнее иных пишущих сегодня критиков, меланхолически декларирующих, что в литературном потоке наших дней будто бы нет произведений, заслуживающих резкого, эмоционального отклика – как отрицательного, так и положительного.

Но, конечно же, не просто совпадение цитаты из великого критика с лозунгами дня (как и не сами по себе юбилейные торжества – Белинский интересен независимо от юбилейной конъюнктуры) привлекает внимание к Белинскому. Именно в последние годы читательский интерес к его работам, воззрениям, судьбе стал намного глубже и, я бы сказала, эмоциональнее. Десятилетиями Белинский был для широкого читателя как бы единственным критиком сороковых годов прошлого века. Из всей интереснейшей критической литературы того времени переиздавались только его сочинения. Страстное слово критика (страстное именно потому, что звучало в острейших спорах) терпело животворные связи со своим предметом, монополизировалось, превращалось в непререкаемую истину. Об этом писал известный исследователь русской критики прошлого века профессор Б.Ф. Егоров: «Из-за необычайно скудного материала о друзьях и врагах великих революционных демократов сплошь и рядом для читателей остается неясным смысл многих полемических баталий 40–60-х годов, как, например, ожесточенные споры Белинского со славянофилами вокруг «Мертвых душ» Гоголя и с Вл. Майковым по поводу национального и общечеловеческого содержания литературы...».

Обединенное представление о литературном контексте эпохи не только затемнило смысл тех давних споров, но и долгое время снижало читательский интерес

к оставленной в почтительной изъясни фигуре Белинского. Да и о каком интересе можно было говорить, если эпоха сороковых годов с ее горячими диспутами, дававшимися далеко за полночь, с ее посланиями, по объему напоминающими сегодняшние повести (и куда более содержательными, чем эти повести, ибо в них было все: признания в любви и исповести, самообличения и инвективы, обращения к адресатам, символализ и пронидатеальнейшие характеристики литературной и общественной жизни), с ее противниками, со связями на глазах протискивающимися друг другу руки, и с единомышленниками, готовыми драться на дуэли, – и все это, замечу, исключительно ради и во имя идеи, – так вот, если эта эпоха (а маодно и послеереформенная ситуация) укладывалась в простенькую схему, с откровенной иронией воспроизведенную Егоровым: «Получается... что враги прогрессивной мысли в течение многих лет высказывали приблизительно одни и те же идеи, причем весьма примитивные, а революционные демократы педантично, почти без изменений, критиковали эти самые идеи, даже, скорее, не критиковали, а легко уничтожали, ибо очень уж беспомощными выглядели, судя по вырванным цитатам, противники».

Но вот в последнее время один за другим начали появляться сборники критических статей участников литературного процесса сороковых годов прошлого века. Были изданы В.Ф. Одолевский, П.А. Вилемский, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ап. Григорьев, В.П. Боткин, А.В. Дружинин, В.Н. Майков. Создавалась уникальная ситуация. До какой-то степени мы (я имею в виду широкий круг любителей литературы) оказались в положении читателей сороковых годов: работы критиков той эпохи приходили к нам едва ли не столь же интенсивно, что и в свое время. Таким образом, литературный контекст эпохи Белинского был в общих чертах восстановлен.

И что же? Голос Белинского не потерялся среди вновь зашумевших голосов. Мы еще раз смогли убедиться в огромном значении Белинского для его времени – на него указывает хотя бы то, что практически все современ-

мечники прямо или косвенно упоминают о нем, о его статьях и идеях. Но мы убедились не только в значении Белинского для прошлого. Мы получили возможность по-новому прочесть ставшие классическими статьи, в полной мере оценить мастерство Белинского-полемиста, убедиться в верности многих его утверждений и оценок, оспаривавшихся его оппонентами. Оказавшись свидетелями воссозданного спустя более полутора веков жаркого спора, мы ощутили, что доводы великого критика обращены и к нам, что он нуждается и в нашем понимании, отклике. Нам открылась современность и своевременность, насущность его слова, его опыта, подхода к литературе.

Вот о насущном я и буду говорить. В первую очередь о художественности, которую вдохновенно пропагандировал Белинский на протяжении всего своего творчества. Опыт Белинского, его идеи здесь едва ли не всего нужны нам. Перечитайте выходящие сегодня рецензии и статьи о современной литературе. Сплошь и рядом в них перескальвается содержание произведения.

Положим, многие из серых однодневков литературного потока и не заслуживают иного подхода. Они просто не дают оснований для разговора о художественных особенностях произведения, о том, как жизненное содержание воплощено в слове. Попробуйте в подобных случаях порассуждать о языке, о стиле, который Белинский так ценит, так выделяет, говоря о литературе, о неповторимом авторском видении мира. Впрочем, пробовали! И в таком материале отыскивали художественные красоты и философские глубины, а создателей этих однодневков сопоставляли... С кем только их не сопоставляли, демонстрируя неумеренную изобретательность и широту собственного культурного кругозора! Нет уж, в данном случае благороднее ограничиться пересказом сюжета. Но ведь пересказывают и подлинно художественные произведения.

Ограничивая угол зрения критиком содержательной стороной произведения, мы зачастую склонны рассматривать Белинского как мощного союзника. Да, вели-

кий критик, глыбист искусства, сделавшегося «выражением общественных вопросов», огромное внимание уделял идее и содержанию литературы, реальным проблемам эпохи, отобразившимся в ней. Но, вербуя союзников в прошлом, не следует за давностью лет путать Белинского с дворянством Василием Боткиным. Это для Боткина – во всяком случае, на словах – «вся сила» литературы «заключается в идеологии» (то есть, по Боткину, в сумме идей и тем произведения). Это Боткин в письме П. Анненкову утешал: «Остается только литературной критике освободиться от своего Моисея – художественности...» Прочтем самое интересное в приведенных высказываниях то, что они направлены против Белинского. «Белинский, – развивая свою мысль Боткин, – все еще крепко сидит в художественности, и от этого его критика еще далеко не имеет той свободы, оригинальности, в котором он способен по своей природе». А чуть ниже читаем: «Сколько же и нагородил он дикостей на своем веку!» Действительно, если в произведении видеть только сумму идей и тем, то, будучи последовательным, следует признать, что преклонение Белинского перед художественным совершенством, перед колоритом – не содержанием, а именно колоритом – пушкинских созданий, способность Белинского «рыдать» – по свидетельству А. Дружинина – над двумя строками вдохновенного поэта – все это есть следствие недостатка критической смелости и свободы, а оценки критика, предостерегаемые горячей любовью к искусству, – не более чем «дикости».

В эстетике Белинского художественность, о которой так презрительно отзывался Боткин, – это, конечно же, не рудимент гегелевской системы, со временем подлежащий отмиранию, но основная категория. В отличие от Боткина Белинский тонко чувствовал специфику искусства. «Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, – вспоминал Достоевский слова Белинского. – А вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности...»

Мы часто – и справедливо – повторяем цитаты из Белинского о социальности искусства. Однако необходимо помнить, что в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», своего рода творческом завещании Белинского, прямо сказано: «Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направлением общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отыпалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, – в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное».

Произведение для Белинского – живая целостность, всегда индивидуальный сплав идей и приемов, с помощью которых она раскрыта, содержания и формы, социальности и художественности. И критик всегда стремился донести до читателей ощущение этой целостности. Порою, когда ему казалось, что это ощущение не удастся передать, он вообще отказывался говорить о произведении. Аппендикс вспоминал, что Белинский умел, когда друзья попросили его разъяснить значение «Каменного гостя», этого, по мнению критика, «лучшего и высшего в художественном отношении создания Пушкина». Точно так же в статье «Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова» Белинский отказывался разбирать «Тамара»: «Это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом: она вся в форме... пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой мы сами не видели».

Всё поразительно в этом признании – и сравнение повести с живым человеком, чью красоту нельзя выразить словами, и сам отказ от слов. Вдумайтесь: великий критик отказывается от анализа, опасаясь, что он может разрушить очарованное произведение. Тут не признание бессилия критика перед феноменом худо-

жестовности, а свидетельство глубочайшего проникновения в сущность этого феномена.

Бережное рассмотрение деталей, подробностей, индивидуальных особенностей произведения – вот подножие гитлеровских критических циклов Белинского. Разбирая произведение, Белинский обычно не демонстрирует готовые формулы, не выдвигает на месте текста, расчлененного анализом, голый костяк «смыслового эквивалента», но показывает становление, оформление художественной идеи. «Проникать острой, аналитической мыслью в "сокровеннейшие глубины" содержания и делать это, не отвлекаясь от своеобразия формы, не разрушая ее, а, напротив, ни на минуту не упуская из вида "прав" и законы формы, будь то объективные, общие "вечные" законы жанра или субъективные особенности данного произведения, – вот принцип Белинского», – свидетельствует современный исследователь М. Кургинин.

Разумеется, было бы неправомерно механически использовать сегодня выработанные более полутора веков назад приемы рассмотрения произведения, воспроизводить в критических статьях особенности работ Белинского. Однако его опыт следует учесть в поисках современных приемов анализа. А теперь уже совершенно ясно, что необходимо выработать принципы и методы анализа – не академически сухого, членившего текст, но именно целостного, о котором так много, но пока бесплодно говорит литературоведы и критики. Иначе мы, даже несмотря на желание, не уйдем далеко от пересказа содержания, опустылевшего, кажется, уже всем – и читателям, и писателям, и самым критикам.

«Ему помогало еще то, чего недоставало другим критикам, – вспоминал И. Гончаров, – это страстное сочувствие к художественным произведениям. Чем ярче и сильнее талант, тем страстнее было и впечатление». Увы, и сейчас этой горячей любви к чужому созданию, не только дающему рецензенту готовый материал для его собственных упражнений и эскапад, но и налагающему на него профессиональные и этические обязательства, очень не хватает критике. Более того, в наше

время распространилось убеждение, что, лишь отказавшись от всяких обязательств перед разбираемым произведением и его автором, отказавшись от стремления понять особенности образов, характеров героев, не говоря уже о стиле, языке, деталях, – так вот, лишь отказавшись от всего этого, критика обретает самостоятельность, становится сама собой.

Думая, и в данном случае обращение к наследию Белинского способно помочь критике преодолеть заблуждение, которое может повредить как развитию литературы, так и формированию читательского сознания, а в конечном счете неизбежно обратится со всей силой против самой критики. Ведь читатель обращается к разбору не для того, чтобы насладиться парадоксальностью взглядов критика или его рублеными фразами. Он читает разборы ради произведений, о которых они говорят нам, во всяком случае, призваны говорить. И, если критика уйдет от литературы, читатель в конце концов отвернется от критики. На мой взгляд, сегодня своевременным будет напомнить поразительное признание Белинского: «Большее всего дает мне счастья и внутренней жизни расширение моей способности восприимчивости внешнего». Это сказано после чтения Пушкина. «Все, что ни читал я, – отзывалось во мне», – замечает он. И видит в способности отзываться на чужие мысли, чужие произведения счастье и, более того, источник своей внутренней жизни. Помимо чисто человеческого обаяния, эти строки писем Белинского привыкают необычайно ясным и глубоким осознанием собственного призвания, задачи критика.

Русской литературе посчастливилось, что в момент ее расцвета она получила такого истолкователя, как Белинский. Он первым написал фундаментальное исследование о Пушкине, первым указал на подлинное значение Лермонтова и Гоголя, с горячностью откликнулся на ранние опыты Достоевского, Гончарова, Некрасова, Фета (да-да, и столь далекого впоследствии от эстетики Белинского Фета тоже). Пожалуй, из современников только Одоевский мог сравниться с Белинским в про-

инициативности, но его критическая деятельность имела куда более камерный характер и не оказала такого влияния на общественное признание названных здесь писателей, как деятельность Белинского.

Правда, Белинский не понял – не захотел понять – Бартыньевского, Языкова, Вяземского (с двумя последними он полемизировал как с выразителями враждебных ему взглядов). Да, в его сочинениях много противоречий и ошибок, в которых он сам, кстати, горько и сокрушенно признавался. Порою его анализ не раскрывает сокровенных глубин произведений, причем страстно им любимых и пропагандируемых, в частности «Мертвых душ» Гоголя. И мы, читая сегодня критические работы современников Белинского, иной раз убеждаемся, что их точка зрения ближе к той, что выработалась благодаря полумоторавесковым усилиям историков литературы, чем точка зрения Белинского.

Но какими бы серьезными и многозначными ни были эти оговорки, они не затмевают существа дела: Белинский впервые и в основном верно охарактеризовал целый период, один из наиболее замечательных периодов русской литературы. Если уподобить труд критика труду картографа (согласитесь, что такое уподобление отчасти правомерно), можно сказать, что Белинский составил карту русской литературы первой половины XIX века и она настолько точна, что мы до сих пор пользуемся ею.

Этот беспрецедентный успех во многом объясняется тем даром отзыва на всякое произведение художественной красоты, о котором так задумчиво сказал сам критик в цитированном уже письме. Дружинин вспоминал, что Белинский, уже измученный болезнью, «не мог без слез говорить о седьмой главе Евгения Онегина и о последних коротеньких стихотворениях Лермонтова!». Кстати, именно Дружинин в статье «Сочинения Белинского» дал краткую и емкую формулировку: «Сила Белинского – в его беспредельной любви к русскому искусству».

Конечно, сегодня не только любой литературовед, но, пожалуй, даже любой студент-гуманитарий может поправить Дружинина – сторонника «чистого» искус-

ствия, намеренно обходившего вопрос о социальных основах критики Белинского, сказав: его сила не только в любви к русскому искусству, но и в прогрессивном мировоззрении, позволявшем выявить основной путь литературы его времени, сформулировать принципы реалистического искусства, критически относящегося к российской действительности. Необходимая поправка. Но если эта сторона вопроса исследована уже не одним поколением историков русской культуры и общественной мысли, то о «беспридельной любви» критика к отечественной литературе, к ее высшим созданиям и их творцам мы нередко забываем. А ведь поистине эта любовь была «беспридельна». «Вы у нас теперь один – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с вашей судьбой (курсив мой. – А.К.); не будь вас – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества», – писал он Гоголю. У кого еще в русской литературе, в какой-либо другой из литератур мира встретишь такое признание в любви к писателю, нет, даже не в любви, а в чувстве, еще более возмущающем, захватывающем и душу, и мысль, и нравственное существование человека!

Белинский не просто анализировал творчество Гоголя, Лермонтова. Он, по выражению Анненкова, «врастался» в него. Он ждал в художественных мирах, созданных ими, проникнулся их идеями. И это была куда более серьезный, глубокий и радикальный по своим результатам процесс, чем, скажем, артистическое вживание в текст. Он требовал от Белинского даже «насилия над собой». Критику приходилось отказываться от многих дорогих для него воззрений и установок, причем отказываться публично, вызывая недоумение одних и обвинения других в неосновательности, в невыработанности его позиции.

«Ничего не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова», – вспоминал Анненков. И что же, оттолкнуло это критика от произведений Лермонтова? Напротив, «новость и оригинальность этого направления... привлекала Белинского к поэту такой полной от-

красивости и такой силой». Думается, только в одном не прав мемуарист: конечно же, не сами по себе «красота и оригинальность», а именно «сила и открытый талант» Лермонтова заставляли Белинского пойти наперекор своим «жизненным привычкам и эстетическим убеждениям». «Врастание» Белинского в произведения Лермонтова и Гоголя в конечном счете перевернуло его эстетические и философские построения, заставляло отказаться от гегелевской теории, которую Белинский сформулировал как «воё разумное действительно, воё действительно разумно» и с таким жаром пропагандировал в работах 38–40-х годов. Авиленков впоследствии так описал эту решающую для Белинского ситуацию выбора: «...Следовало или соглашаться с художником, обещающим еще много новых созданий в том же духе (имеется в виду Гоголь. – А.К.), или покинуть его, как не понимающего той жизни, которую изображает». Белинский согласился с художником, отказавшись от своих теорий. Какой, помимо прочего, источник гордости за могущество русского искусства, за силу жизненной правды, воплотившейся в его творениях, в этом выборе великого критика! И какой урок «коллегам по цеху», какой собственным примером подкрепленный завет – отказаться от самолюбия, от художественных и философских доктрин, если они приняты в противоречие с жизнью и искусством, и служить искусству – не себе.

Не менее сложно, я бы сказала, внутренне драматично, отношение Белинского к Пушкину. Пушкин не по-валял столь радикально на мировоззрение критика, как Гоголь или Лермонтов. Хотя у Белинского были периоды страстного обожания поэта Пушкина, в один из таких периодов он писал: «Пушкин меня с ума сводит. Какой великий гений, какая поэтическая натура!... У меня теперь три бога искусства... Гомер, Шекспир и Пушкин...» Были и периоды охлаждения, когда Белинский подчеркивал социальную природу творчества поэта, довольно вульгарно (приходится признать!) отождествляя его поэзию с жизнью изображаемого в его произведениях класса. Но в данном случае важны не ошибочные оценки критика, а то, что, несмотря на неверные оценки,

несмотря ни на какие периоды охлаждения, критик, оторвавшись от пристрастий, неизменно видел в Пушкине великого художника. «...В мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками», – будто отчеканил он.

В своих пушкинских статьях критик действительно стремился к максимальной объективности. Вчитайтесь в его разбор «Медного всадника», где он, «хотя и не без содрогания сердца», «смирненным сердцем» понимает и принимает апофеоз мощной державной власти, «торжество общего над частным». И это Белинский, восклицавший: «Меня теперь всего поглотила идея достоинства человеческой личности и ее горькой участи!» Повестине, есая отношении Белинского к Гоголю и Лермонтову – это на определенном этапе подвиг самоотвержения, то его отношение к Пушкину – подвиг объективности, не менее, а может быть, более трудный.

Разумеется, было бы совершенно неверно представлять Белинского как критика-Протеза, с легкостью меняющего свое мировоззрение, свою позицию. Всем известно, с какой неутолимой страстью, как красноречиво отстаивал критик заветные идеалы. Появиться на его эволюцию дано было лишь двум его великим собеседникам – Гоголю и Лермонтову. Да и этих исповедников духа нельзя назвать в прямом смысле учителями (пусть даже на определенном этапе развития) Белинского – и критик, и художники учились у жизни, это она формировала их воззрения. Роль Лермонтова и Гоголя заключалась в том, что их творения, столь глубоко понятые и безоговорочно принятые Белинским, с необычайной яркостью и полнотой открыли ему жизненную правду.

Не следует забывать и об обратной связи – о влиянии великого критика на Гоголя и Лермонтова. Анненков утверждал, что в разборе «Ревизора» «находилось множество мыслей, которые потом, к удивлению, были усвоены самим Гоголем и встречаются в его собственной защите своей комедии, как, например, мысль, что грубая ошибка городского, принявшего мальчишку Хлестакова за ревизора, есть действие востроженного совести... Даже знаменитое положение Гоголя, что чест-

ное существо в "Ревизоре" есть смех, – даже и оно сказано было Белинским прежде».

По свидетельству современников, критик настолько «встаивал» в произведения разбираемых им авторов, что постоянно открывал их затаенные, сокровенные мысли. Так было с произведениями Гоголя. Так было и с произведениями Лермонтова. Да и в самом Лермонтове Белинский проникательно подметил «семена глубокой веры» в достоинство человека и жизни, прикрытые «рассудочным, охлажденным... взглядом».

Вот мы и вышли вновь к такому актуальному сейчас разговору о задачах критики, о ее достоинстве как самостоятельной отрасли литературы. Самоотверженное критика наделало его колоссальным могуществом, ему открывались сокровенные, до той поры не сознаваемые самими авторами – гениальными авторами! – глубины произведений. Совершенно очевидно, что он никогда бы не добился таких блестящих результатов, если бы рассматривал литературу только как материал для разработки собственных идей, не ощущал ответственности перед художником и его творением.

Скажу и о том, что живое эстетическое чувство, питаемое самолюбивой любовью к литературе, позволяло Белинскому безошибочно выделить в эпохе, необычайно богатой литературными талантами, три великих имени – Пушкина, Гоголя, Лермонтова, о которых он по преимуществу и писал. Вытует мнение, что для критика, особенно в последний период его жизни, всего важнее было направление писателя, что авторов физиологических очерков он ставил чуть ли не выше Гоголя. На самом же деле Белинский, несмотря на горячее сочувствие к натуральной школе, в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» точно охарактеризовал значение писателей этого направления – «таланты не первой степени».

В этом же обзоре, последнем из его крупных произведений, Белинский недвусмысленно высказался по поводу реальной значимости всякого рода тенденций и направлений в литературе: «Теперь многих унывает волшебное слово: "направление", думают, что всё дело в нем, и не

понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего... Как ни списывайте с натуры, как ни сдобривайте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными "тенденциями", но если у вас нет поэтического таланта, – списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и направления останутся общими риторическими местами».

Риторические формулы, во все времена с легкостью изобретаемые разного рода «направлениями», какими бы припудренными одни им выглядели на первый взгляд, никогда в глазах Белинского не могли заменить или подменить настоящее искусство и его создания. Повторю: его любовь к искусству была действительно «беспредельной». И можно без колебания утверждать, что эта любовь и позволяла ему осуществить его историческое предназначение – составить ту самую карту литературы первой половины XIX века, которой мы пользуемся по сей день.

Обращение к наследию Белинского должно бы научить нас к историзму подхода к художественным явлениям сегодняшнего дня. Историзм как воздух необходим нашей критике. Поистине мочи нет полагать еженедельно и ежемесячно обрушивающийся на нас поток рецензий, обзоров, статей, в которых произведения (обычно не блещущие художественными достоинствами) рассматриваются автономно, как некая «вещь в себе», чуть ли не как единственная данность тысячелетней русской литературы.

Такое «зашоривание» исторического кругозора современной критики ведет к размышлению критериев, к оценочному произволу, ибо где же нам найти художественные образцы, если прошлое отделено стеною и само сознание необходимости оглянуться на историю литературы в поисках этих образцов постепенно слабеет. Тут инноваты и сами критики, и редакторы, с максимальной легкостью вымарывающие исторические экскурсы, размышления об искусстве и жизни как «общие места».

А в результате страдает читатель, страдает литература. И не только потому, что неизмеренные масштабы искажают перспективу литературного процесса, заставляя нас слабые произведения принимать за значительные, и наоборот, но и потому, что сами писатели начинают мыслить в масштабах десяти- и пятилетия, а то и года. Стремится не к тому, чтобы создать произведение, способное пережить свою эпоху и своего творца, но наиболее популярное (а часто просто вызывающее наибольший шум) за тот месяц, что отделяет выход одного номера журнала от другого.

А отношение к традиции! Читаясь статью одного молодого поэта, больше смахивающую на манифест, и рисуется перед мысленным взором этаким ниспровержателем традиций. Но вот выходит книжонка этого поэта, и стихи в ней вполне традиционные. В чем же разгадка? А в том, что стихотворец, оказывается, не с традицией воюет, а пытался заявить о своем праве на независимость по отношению к поэтам старшего поколения. Просто он совершенно искренне считает, что традиция – это не Пушкин, не Тютчев, не Блок и даже не Твардовский, а поэты, ставшие популярными два-три десятилетия назад.

Опасное обеднение исторического кругозора заставляет снова и снова обращаться к опыту русской классической критики, в первую очередь к опыту Белинского. Действительно, историзм – характерная и едва ли не самая сильная черта работ великого критика.

Белинский обладал удивительной способностью ощущать историю литературы как процесс, как живое движение, само по себе исполненное огромного смысла. Из его знаменитых обзоров более других поражает статья «Русская литература в 1841 году». Среди произведений, опубликованных в том году, критик не находит значительных. В конце статьи он прямо говорит: «Вся надежда на будущее». И все-таки пишет статью. В обширной вводной части (по объему почти равной самому обзору) он рассматривает становление самобытной русской литературы от Кантемира и Ломоносова до Пушкина, Грибоедова и Гоголя. Литература собственно

1841 года характеризуется как маленькое и несприятельское – но необходимое! – звено в историческом движении искусства от прошлого к будущему, от подражательности к национальному своеобразию.

В обзоре 1841 года Белинский более, чем в какой-либо другой работе, предстает не оценщиком творчества писателя, но истолкователем и отчасти организатором литературного процесса. Разрозненные, конечно, только на первый взгляд явления, как он сам выражался, «каталог книг», Белинский объединяет – соотносит и противопоставляет, обнаруживая несомненное повсюду повсюду наблюдателю различие творческих установок, методов, жанров.

Саму по себе способность литературы к развитию Белинский рассматривает как доказательство ее жизнеспособности и самобытности. «Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обремененные своим повелеванием внешним законом, подражательности, – у такой литературы не может быть история... Тут время и годы ничего не значат: они могут идти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да приносит с собою, – и это что-нибудь есть прогресс». Историзм Белинского позволял ему предсказывать великую будущность русской литературе.

Судьба отечественного искусства в сознании Белинского, как, впрочем, и всех его современников, неразрывно сплеталась с судьбой России. «Один из величайших... успехов нашего времени, – писал Белинский в одной из поздних статей «Взгляд на русскую литературу 1846 года», – в том и состоит, что мы наконец поняли, что у России была своя история, насколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй ничего не имеющих с нею общего европейских народов. То же и в отношении к истории русской литературы».

Таков итог весьма противоречивого развития воззрений Белинского на историю России, ее культуры, искусства. В поздних работах известный тезис критика об отражении литературой действительности, в первую очередь действительности социальной, ставится в прямую связь с представлениями о самобытном характере русской жизни. Соответственно история литературы рассматривается как процесс освобождения от заемных форм, неизбежно условных на фоне конкретного своеобразия русской действительности и становления подлинно национального искусства, способного отобразить полноту и неповторимость этой действительности. «Вы увидите, – утверждал Белинский, – что до Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова (введшего в литературу, как считал критик, “искусственный европеизм”. – А.К.) и сблизиться с жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою».

Историзм мышления критика позволял ему в сороковые годы – эпоху резких споров между славянофилами и западниками о путях развития России – занять самостоятельную позицию, ничего общего не имеющую с примиренчеством некоторых либеральных деятелей. «Настало для России время развиваться самобытно, из самой себя», – провозглашал Белинский, и это на первый взгляд обломало его со славянофилами, давними противниками, с которыми он прежде столь яростно полемизировал. Теперь же он готов был признать – в статьях и в письмах к друзьям из стана западников, – что «славянофилы правы во многих отношениях...» Правы именно в том, «что они говорят против русского европеизма», в том, что они касаются «самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности», в том, наконец, что «в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль...» Однако для Белинского – и в этом его коренное отличие от славянофилов – самобытное развитие России связано не с отрицанием Петровских реформ, но с развитием всего прогрессивного, что заключено в тех же Петровских реформах.

Замечательно обоснование Белинским утверждения, что обществу невозможно повернуть вспять. Он опять-таки апеллирует к русской истории – той самой истории, чьи обычаи, предания, установления так много значили и для славянофилов. Повернуть вспять к допетровским временам, объясняет Белинский, «значило бы еще признать явное Петра Великого, его реформу и последующие события в России (может быть, до самого 1812 года – эпохи, с которой началась новая жизнь для России), признать их случайными». Однако «подобные события в жизни народа, – подчеркивает Белинский, – слишком велики, чтоб быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может дать произвольное направление легким движением весла». Критик призывает не думать о невозможном, но, «признавши неотразимую и неизмеримую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом».

Эти взгляды, исповедуемые Белинским в последние годы жизни, как ни разнились они с концепцией славянофилов, вызвали ожесточенный отпор Боткина, Грановского и других либералов-западников. Посадка Белинского на лечение в Европу летом 1847 года особенно обострила ситуацию. На Западе, в Германии и во Франции, Белинский чутким сердцем и острым взглядом аналитика увидел ту крайнюю степень нищеты, на которую обрекает народ торжествующая буржуазия. «Только здесь и понял ужасное значение слов: пауперизм и пролетариат, – писал он из Дрездена Боткину. – В России эти слова не имеют смысла. Там бывают неурожаи и голод местами, там есть плутаторы-помещики, третьюющие своих крестьян, как негров, там есть воры и грабители чиновники; но нет бедности, хотя нет и богатства... Бедность есть безвыходность из вечного страха голодной смерти. У человека здоровые руки, он трудолюбив и честен, готов работать – и для него нет работы: нет бедности, нет пауперизма, нет пролетариата».

Получая подобные письма, дающие классическую, верную не только для той эпохи картину капиталистической

эксплуатации, московские западники испытывали все возрастающее беспокойство. «Париж, я надеюсь, постоят за себя», – с тревогой писал Боткин. О том, какое впечатление произвел Париж и вообще Франция, узнаем из письма Боткину, написанного уже из Петербурга в конце 1847 года, одного из последних и наиболее интересных писем Белинского. «Горе государству, которое в руках капиталистов, – вспоминает Белинский о Франции. – Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война ная мир значит только возвышение или упадок фондов – дамы этого они ничего не видят».

Следует особо подчеркнуть, что ненависть к крупным капиталистам, держащим Францию в своих руках, никоим образом не распространяется у Белинского на весь «средний класс», а тем более на простой народ. «А люблю я две нации, – с какой-то необыкновенной задумчивостью признается он, – французы и русаки, люблю их за то общее им обоим свойство, что тот и другой целую неделю работает для того, чтобы в воскресенье прокутить все заработанное». В такой попытке хоть как-то вырваться из бесправия, на которое обречены простые труженики, Белинский видел «что-то широкое, поэтическое».

Впрочем, и тут мы опять видим своеобразие позиции Белинского, обусловленной его зрелым историзмом. Он признает, что буржуазия на данном этапе развития общества «должна быть». И здесь проявляется его принцип: не закрывать глаза на действительность, но действовать, «руководясь разумом и здравым смыслом». Конечно, для него в отличие от либералов-западников буржуазное государство не было и не могло быть венцом исторического развития. Эволюция взглядов Белинского, подкрепленная личными впечатлениями от поездки в Европу, поставила его в последние годы жизни в трудное, трагическое положение. С одной стороны, как мы хорошо знаем, им заинтересовалось III Отделение, с другой, – и это куда менее известные страницы биографии Белинского – его друзья, либералы-западники, начинают высказывать ядовитую критику по его адресу. Он был еще в Европе, когда получил письмо от Боткина, который

сообщил, что он и Грановский недовольны им, и выражал опасение, как бы Белинский с его «теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал бы писать о нас (курсив мой. – А.К.), воротясь в Россию». Критик пока не написал ни строчки для печати, а его уже спешили обречь на молчание. По возвращении Белинского «многие из его друзей, – как свидетельствует Анисенков, – уже отводили к упадку умственных сил (курсив мой. – А.К.) поворот... в направлении Белинского». Один из них, всё тот же Боткин, просто советовал не печатать последних «обзоров» Белинского, говоря: «Нельзя же из уважения к прошлому принимать все маршеры окончательно исписавшегося и выдохшегося господина». При этом Белинский, не подозревая о закулисных интригах, обращался в письмах к Боткину: «Я бы жестоко оскорбил тебя, если б после всего, что ты для меня делал всегда, и особенно в последнее время, я обнаружил, что могу подозревать тебя в желании нагадить мне».

Несколько ранее, в 1846 году, с публичными нападками на Белинского выступил сменявший его в критическом отделе «Отечественных записок» Валерий Майков. Поводом для полемики он выбрал выход сочинений Кошцова с предисловием Белинского. Отвергались те статьи Белинского, данные в ней характеристики, в частности характеристика личности Кошцова: «Он был сыном народа в полном значении этого слова», – оспаривался и основополагающей тезис великого критика о национальном характере всякой развитой литературы. Отталкиваясь от высказываний Белинского, его оппонент развивал собственную концепцию отношений народного и общечеловеческого начал в культуре. По Майкову, «всякая особенность народа, то есть всякое отклонение от человеческого типа, есть слабость». Поэтому «человек, выражающий своею личностью все особенности, то есть слабости своей нации, совершенно лишен средств быть сильным художником». Майков настаивал: «Требовать, чтоб художник в самой личности своей совмещал особенности своей нации, значит требовать от него банальности и исключительности».

Народу критик «Отечественных записок» противопоставлял – как идеал – человечество, лишённое всякой «национальной ограниченности». Он сам признавал абстрактный характер этого идеала, полагая, что его воплощение возможно только в будущем. Правда, Майков указывала, что «французская народность необыкновенно близка к человечеству», ибо здесь «народ не имеет в себе почти ничего, что мог бы противопоставить он новой идее, новому шагу на пути к достижению типического совершенства».

Эти отвлечённые рассуждения вызвали резкие возражения Белинского. В письме К. Кавелину он заметил: «Жалки и неприятны мне... абстрактные человеки, беспартитные бродяги в человечестве. Как бы ни уверали они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество страны, – не верю я их интересам». И далее: «Без непосредственного участия все гнило, абстрактно и безжизненно...» Тут же Белинский отсылкается и от славянофильства: «... Так же, как при одной непосредственности все дико и нелепо».

Спор с Майковым переносится на страницы «Современника». В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский разъясняет свою задруженную мысль: «Без национальностей человечество было бы мертвым абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитиков...» «Но, к счастью, – замечает критик, – надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...»

Зрелый историзм Белинского и в этом вопросе – о соотношении народного и общечеловеческого начал – позволял ему занять верную позицию. Так же, как и Вал. Майков, он верил в исторический прогресс, в способность народов к развитию, совершенствованию. Однако он был убежден, что не абстрактное человечество, лишённое всяких признаков какой-либо национальности, всматривает этот путь. «Как различные реальные личности необходимо для того, чтобы они могли сложиться в общество (в

племня, в народѣ, так необходимы племенные и народные особенности и различия, чтобы племена и народы могли образовать собою... человечество, – писал Белинский. – Только различные струны могут производить аккорд, одинаковые же звучат бессмысленно и дисгармонически... Каждый народ выражает собою преимущественно одну какую-нибудь сторону всеобщего и единого духа человеческого и потому нуждается в соотносложении с другими народами, принимает от них в себя то, чего ему недостает, и дает им от себя то, чего им недостает».

Белинский критик был полон веры и то, что русский народ способен и призван дать человечеству и прекрасные создания искусства, и великую, поистине всемирную идею. В «Литературных мечтаниях», первой его крупной статье, Белинский пророчествовал: «Истинная эпоха русского искусства наступит!..» В одной из последних работ он писал: «Мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль...»

В этих заметках я стремился обратить внимание читателей на те стороны литературно-критического наследия Белинского, которые представляются особенно насущными сегодня. Однако, перечитывая его статьи и письма, убеждаешься (это ощущение возникает всегда при чтении подлинно значительных произведений – будь то роман, стихи или критическая работа), что, помимо идей, стиля, метода, верных, а порою и ошибочных наблюдений, в них есть нечто куда более значительное – объединяющее разрозненные элементы целого и животоворящее их. Это дух Белинского – мощный, бунтарский, опрокидывающий созданные самим же критиком схемы, дух бескомпромиссного поиска истины и любви к русскому искусству.

«Я знаю, – признавался Белинский, – что моя сила не в таланте, а в страсти, в субъективном характере моей натуры и личности, в том, что моя статья и я – всегда нечто неразделываемое». В этом признании скальвается, конечно, извечное недовольство мастера своими созданиями, но есть в нем и большая доля истины. Страстность и та искренность, которая и придает силу и страстность

голосу литератора, не давая ему сфальшивить, сорваться в фальцете, – вот в чем секрет неотразимого впечатления, производимого Белынским на многие поколения читателей. «От избытка сердца уста глаголют», – говорил он о себе. И, думаю, эти слова наиболее точно выражают исповторность его личности и дара.

Разумеется, страстность Белынского – не только черта его характера, воплотившаяся и в его сочинениях. Это примета эпохи. Эпохи сороковых годов, давшей России не только Белынского, но и Достоевского, Некрасова, Герцена, Ал. Григорьев, К. и И. Аксаковых, В. и А. Майковых, Т. Грановского, К. Кавсанна, М. Бакунина. И все же, пожалуй, именно Белынский, как никто другой из этой блестящей плеяды писателей, мыслителей, политиков, ученых, выразил дух своего времени. Не случайно так велик был авторитет его слова среди современников – единомышленников и оппонентов и, конечно, массы читателей, которые, по свидетельствам мемуаристов, с нетерпением ожидали выхода сначала «Молвы» и «Телескопа», потом «Отечественных записок» и, наконец, «Современника», чтобы прочесть очередную статью Белынского.

Белынский умер на исходе «блестящего десятилетия», как называл сороковые годы прошлого века П. Анненков. И тогда под нажимом мрачных предчувствий, уже не оставивших русское общество вплоть до трагического финала николаевского царствования – Крымской войны, многим показалось, что великий критик вовремя ушел из жизни. Эпоха, с которой он был так тесно связан, уходила в историю. В 1848 году Грановский писал: «Сердце беднеет, верования и надежды уходят». Поражительно переключка этих слов с теми, что сказал о себе Белынский. Критик, писавший всегда от «избытка сердца», ушел из жизни, когда обеднела сердца! А быть может, – и я верю – было именно так, – время потому и оскудело, обеднело надеждами и верованиями, что перестало биться великое сердце Белынского.

ПРИМЕЧАНИЯ

Ю.В. Манн. Поэзия критической мысли.

[Вступительная статья.]

В этой статье развиваются некоторые положения одноименной статьи, опубликованной к 150-летию со дня рождения Белинского в журнале «Новый мир» (1961. № 5).

Ю.В. Манн – доктор филологических наук, почетный профессор Российского государственного гуманитарного университета, член редколлегии Собрания сочинений В.Г. Белинского в 9-ти томах (М., 1976–1983). Работы Ю.В. Манна о В.Г. Белинском опубликованы в изд.: *Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. I.* М., 1976; *Манн Ю.В. В кружке Станкевича.* М., 1983; *Манн Ю.В. Русская философская эстетика.* М., 1998; *Манн Ю.В. Тургенев и другие.* М., 2008; *Белинский В.Г. в литературе Запада.* М., 1990 и др.

Часть I

Н.С. Тургенев. Воспоминания о Белинском.

Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1869. № 4). Печатается с сокращениями по изд.: *Тургенев Н.С. Собрание сочинений в 12 т. Т. II.* М., 1979.

И.А. Гончаров. Заметки о личности Белинского.

Впервые опубликовано в 1881 году в книге И.А. Гончарова «Четыре очерка». Печатается с сокращениями по изд.: *Гончаров И.А. Очерки. Литературная критика. Письма. Воспоминания современников.* М., 1986.

А.В. Дружинин. Сочинения Белинского.

Томы 1, 2 и 3. Москва, 1859.

Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения» (1860, № 1). Печатается с сокращениями по изд.: Дружинин А.В. Литературная критика. М., 1983.

Д.С. Мережковский. Завет Белинского.

**Реальность и общественность
русской интеллигенции.**

Впервые опубликовано в 1915 году в брошюре Д.С. Мережковского «Завет Белинского». Печатается по изд.: Мережковский Д.С. Вечные спутники. М., 1996.

В.Г. Короленко. Памяти Белинского.

Впервые опубликовано в журнале «Русское богатство» (1898, кн. 5). Печатается по изд.: Короленко В.Г. Собрание сочинений в 10 т. Т. 8. М., 1955.

Часть II

Ю.В. Манн. Литература в движении эпох.

Первоначальный вариант этой статьи (под названием «Об историко-литературной концепции Белинского») впервые был опубликован в сборнике «В.Г. Белинский и литературы Запада» (М., 1990); опубликован также в книге Ю.В. Манна «Тургенев и другие» (М., 2008).

**В.А. Недзвецкий. В.Г. Белинский
о литературе риторической и художественной.**

Впервые опубликовано в журнале «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология» (2011, № 3).

В.А. Недзвецкий – доктор филологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Работы В.А. Недзвецкого о В.Г. Белинском опубликованы также в изд.: Недзвецкий В.А. Русская литературная критика XVIII–XIX ввек. М., 1994; Недзвецкий В.А., Зыкова Г.В. Русская литературная критика XVIII–XIX ввек. М., 2008.

А.С. Курилов. Уроки Белинского.

Сокращенный вариант этой статьи был опубликован в газете «Литературная Россия» (2008. № 26, 27 июня).

А.С. Курилов – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН, автор книг: «Восстание Белинский» (М., 1985); «В.Г. Белинский в жизни и творчестве» (М., 2012). Работы А.С. Курилова о В.Г. Белинском опубликованы также в изд.: «Революционные демократы и русская литература XIX века» (М., 1986); «А.В. Кольцов и русская литература» (М., 1988); «А.С. Пушкин в литературном развитии XIX–XX веков» (Пенза, 2000); «Пушкин и античность» (М. 2001); «Гёте: личность и культура» (М., 2004) и др.

В.Н. Аношкина-Касаткина.**В.Г. Белинский о лирической поэзии****А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.**

Статья публикуется впервые.

В.Н. Аношкина-Касаткина – доктор филологических наук, профессор Московского государственного областного университета. Работы В.Н. Аношкиной-Касаткиной о В.Г. Белинском опубликованы в изд.: «Вопросы творческого метода и мастерства в литературе и фольклоре» (Томск, 1962); «Вопросы метода и стиля» (Томск, 1963).

Г.Г. Рамазанова.**Нравственно-религиозные взгляды****В.Г. Белинского в период сотрудничества
с журналом «Московский наблюдатель».**

Статья публикуется впервые.

Г.Г. Рамазанова – кандидат филологических наук, доцент Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акимулы. Работы Г.Г. Рамазановой о В.Г. Белинском опубликованы в изд.: «История, современное состояние и перспективы развития теории и практики преподавания литературы и языка» (Уфа, 2011); «В мире научных открытий. Серия гуманитарных и общественных наук» (Красноярск, 2012,

№ 4.4(28): «Вестник Череповецкого государственного университета» (Череповец, 2012, № 1(37), Т. 2).

**В.И. Стрельцов, В.Г. Белянский –
теоретики литературы.**

В этой статье разминаются некоторые положения монографии В.И. Стрельцова «В.Г. Белянский о типологических связях русской и европейских литератур в контексте исторической компаративистики» (М., 2008).

В.И. Стрельцов – доктор филологических наук. Работы В.И. Стрельцова о В.Г. Белянском опубликованы также в изд.: «М.Ю. Лермонтов. Проблемы типологии историзма» (Рязань, Пенза, 1980); «Вопросы стилевого новаторства в русской поэзии XIX века» (Рязань, Пенза, 1981); «М.Ю. Лермонтов. Вопросы традиции и новаторства» (Рязань, Пенза, 1983); «Классическое наследие и современность» (Куйбышев, 1986).

**А.А. Демченко, В.Г. Белянский, В.Н. Майков
и К.Д. Кавелани в 40-е годы XIX века.**

Статья публикуется впервые.

А.А. Демченко – доктор филологических наук, профессор Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Работы А.А. Демченко о В.Г. Белянском опубликованы в изд.: «Вопросы изучения творчества В.Г. Белянского на современном этапе» (Пенза, 1998); «Гоголь и русская литературная культура» (Саратов, 1999) и др.

И.П. Шеблыкин.

Педагогические идеи В.Г. Белянского.

Статья публикуется впервые.

И.П. Шеблыкин – доктор филологических наук, почетный профессор Пензенского педагогического университета им. В.Г. Белянского, автор книги «Виссарион Григорьевич Белянский как журналист и литературный критик» (Пенза, 2008). Работы И.П. Шеблыкина о В.Г. Белянском опубликованы также в изд.: «Взгляды В.Г. Белянского на развитие русской реали-

стической литературы» (Рязань; Пенза, 1987); «Вопросы изучения творчества В.Г. Белинского на современном этапе» (Пенза, 1998); «В.Г. Белинский: Сборник статей» (Пенза, 1996), «В.Г. Белинский: pro et contra» (СПб., 2011) и др.

**Е.Ю. Тихонова. Белинский
и славянофилы о русской действительности.**

Печатается по изд.: Тихонова Е.Ю. Человек без маски: В.Г. Белинский. Грани творчества. М., 2006.

Е.Ю. Тихонова – автор книг: «Мировоззрение молодого Белинского» (М., 1993); «В.Г. Белинский в споре со славянофилами» (М., 1999); «Человек без маски: В.Г. Белинский. Грани творчества» (М., 2006); «Русские мыслители о В.Г. Белинском» (М., 2009). Работы Е.Ю. Тихоновой о В.Г. Белинском опубликованы также в изд.: «В раздумьях о России (XIX век)» (М., 1996); «Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.)» (М., 2003) и др.

**Е.Ю. Тихонова. Понятие личности
в сочинениях Белинского.**

Печатается по изд.: Тихонова Е.Ю. Русские мыслители о В.Г. Белинском. М., 2009.

**Г.Ю. Карпенко. Творчество В.Г. Белинского
в свете философии видения
и эстетики преображения.**

Статья публикуется впервые.

Г.Ю. Карпенко – доктор филологических наук, профессор Самарского государственного университета, автор книги «Возвращение Белинского: Литературно-художественное сознание русской критики в контексте историософских представлений» (Самара, 2001). Работы Г.Ю. Карпенко о В.Г. Белинском также опубликованы в изд.: «XIII Пуршевские чтения. Всемирная литература в контексте культуры» (М., 2000); «Динамика культуры и художественного сознания (филосо-

фика, музыковедение, литературоведение)» (Самара, 2001); «XXIV Кирилло-Мефодиевские чтения: Материалы областной научно-методической конференции преподавателей истории, языка и культуры славянских народов» (Самара, 2001); «Художественный язык эпохи» (Самара, 2002); «Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре» (Волгоград, 2002); «Русская литература и философия: постижение человека» (Анпещк, 2002); «Литература и театр» (Самара, 2008) и др.

**И.Р. Монахова. Гражданство небесное и земное.
Гоголь и Белинский о путях развития России.**

Статья была опубликована под названием «Старые рецепты для нерешенных проблем. Гоголь и Белинский о путях развития России» в журнале «Наш современник» (2009, № 9) и в сокращенном варианте под названием «Гражданство небесное и земное. Гоголь и Белинский: диалог завещаний» в «Литературной газете» (2008, 15 октября).

И.Р. Монахова – литературовед, член Союза писателей России, автор-составитель книги «В.Г. Белинский: “Вся жизнь моя в письмах”. Из переписки В.Г. Белинского» (М., 2011).

**И.Р. Монахова. «Истинный рыцарь духа».
Роль В.Г. Белинского в истории
русской литературы.**

Статья была опубликована под названием «Белинский был особенно любим...» в журнале «Нева» (2011, № 10).

**А.М. Крупчанов. К вопросу о дате рождения
В.Г. Белинского.**

Статья публикуется впервые.

А.М. Крупчанов – доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Работы А.М. Крупчанова о В.Г. Белинском

опубликованы в изд.: Кручинин А.М. История русской литературной критики XIX века: Учебник для педагогических институтов (М., 2005); Кручинин А.М. Теория литературы: Учебник для педагогических институтов (М., 2012); Введение в литературоведение: Учебник для педагогических институтов / Под общ. ред. А.М. Кручинина (М., 2005).

Часть III

И.А. Волгин. Невостовство Виссариона.

Белинский в историко-литературной традиции.

Печатется по изд.: Волгин И.А. Возвращение билета: Парадоксы национального самосознания. М., 2004.

И.А. Волгин – доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Сюжеты, связанные с В.Г. Белинским, затрагиваются также в книге И.А. Волгина «Родиться в России. Достоевский и современники: Жизнь в документах» (М., 1991), глава 4 «Белая ночь».

Н.Н. Скотов. В Чембаре Белинского.

Впервые опубликовано под названием «В Чембаре у Белинского. Об открытии новой экспозиции музеев усадьбы Белинского» в журнале «Огонек» (1978, № 4).

Н.Н. Скотов – доктор филологических наук, член-корреспондент РАН. Работы Н.Н. Скотова о В.Г. Белинском опубликованы в изд.: Ученые записки Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова (1957, вып. 3); Ученые записки МГПИИ им. Потемкина (1959, т. 94, вып. 8); Ученые записки Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова (1960, вып. 7).

**В.В. Нефёдов. Свеаборг –
место рождения В.Г. Веллиского.**

Впервые опубликовано в журнале «Урал» (2010. № 6).

В.В. Нефёдов – кандидат исторических наук.

Р.В. Сенчин. Конгревова ракета.

Впервые опубликовано в журнале «Урал» (2011. № 6).

Р.В. Сенчин – писатель, заместитель главного редактора газеты «Литературная Россия».

А.А. Ашнинский. Веллинский синдром.

Статья публикуется впервые.

А.А. Ашнинский – писатель, литературный критик.

В.И. Гусев. «Была особенно любима».

Впервые опубликовано в изд.: Гусев В.И. Память и стиль. Современная советская литература и классическая традиция. М., 1981.

В.И. Гусев – писатель, литературный критик, доктор филологических наук, профессор Литературного института им. А.М. Горького.

А.И. Казинцев. «От избытка сердца...»

Впервые опубликовано в журнале «Октябрь» (1986. № 6). Печатается с сокращениями.

А.И. Казинцев – литературный критик, публицист, заместитель главного редактора журнала «Наш современник».

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Истинный рыцарь духа

Статьи о жизни и творчестве В.Г. Белинского

Составитель: Монахова Ирина Рудольфовна
Научный редактор: Малин Юрий Владимирович

Директор издательства В.В. Орлов
Зам. директора Е.Д. Горюновская

Компьютерная верстка Е.А. Лобичева

Подписано в печать 20.12.2012
Формат 60х90/16 Печать офсетная.
Бумага офсетная. Объем 35 п.л.
Тираж 2000 экз. Заказ №

Издательство «Прогресс-Традиция»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9
Тел. 8-499-245-49-03

ISBN 9785898264024



9 785898 264024